БИБЛИОТЕКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

О. БИСМАРК

МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНИЯ

ОГИЗ-СОЦЭКГИЗ



БИБЛИОТЕКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

О. БИСМАРК

МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Перевод с немецкого
под редакцией проф. А. С. ЕРУСАЛИМСКОГО

ТОМ
I

ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — 1940

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Государственное социально-экономическое издательство приступает к изданию «Библиотеки внешней политики». В эту серию будут включены мемуары видных политических деятелей и дипломатов, ряд работ по истории международных и дипломатических отношений, пособия по международному праву и руководства по дипломатической практике.

«Библиотека внешней политики» открывается изданием «Мыслей и воспоминаний» Бисмарка (в трех томах).

Вслед за первым томом будут изданы остальные два тома.

В дальнейшем Издательство намечает выпустить следующие мемуары: Ллойд-Джордж «Правда о мирных договорах», Тардье «Мир», Эдуард Грэй «Двадцать пять лет», Ишии «Дипломатические комментарии», Черчиль «Мировой кризис», Соловьев «25 лет дипломатической службы 1893—1918 гг.», Камбон «Дипломат». Далее будут изданы «Документы» Лансинга, «Письма» Сольсбери, «Архив полковника Хауза», Десмонд «Пресса и мировая политика», Альдрованди Марескотти «Дипломатическая война», Криспи «Мемуары и документы», Хаяси «Секретные мемуары» и др.

По истории международных и дипломатических отношений в первую очередь будут изданы работы: Дебидур «История европейской дипломатии от Берлинского конгресса до 1916 г.», Зонтаг «История европейской дипломатии с 1871 по 1932 г.», Дрио «Восточный вопрос» и др.

Одновременно Издательство подготовляет к изданию несколько книг по дипломатической практике. Среди них в первую очередь будут изданы работы: Сатоу «Руководство к дипломатической практике», Оппенгейм «Руководство по дипломатии», Никольсон «Дипломатия» и др.

Издательство включает также в «Библиотеку внешней политики» ряд работ по международному праву, в частности «Международное право» Оппенгейма, «Система международного права» Листа.

Издательство ставит перед собою задачу ознакомить советского читателя и с другими мемуарами русских и иностранных дипломатов и политических деятелей, а также с наиболее интересными книгами по вопросам внешней политики и дипломатии.

Русский перевод первого тома «Мыслей и воспоминаний» Бисмарка сверен по немецкому изданию: Otto Furst von Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, Neue Ausgabe, Erster Band, Stuttgart und Berlin, 1924.

Отмеченные звездочкой (*) подстрочные примечания принадлежат Бисмарку. Необходимые для понимания текста слова, вставленные немецким издателем или редакцией русского перевода, заключены в квадратные скобки [ ].

В переводе первого тома Бисмарка «Мысли и воспоминания» на русский язык принимали участие *Н. С. Волчанская, Н. Г. Касаткина* и *О. В. Шаргородская.*

Примечания составили *В. В. Альтман* и *В. Д. Вейс.*

В редактировании русского перевода первого тома «Мыслей и воспоминаний» Бисмарка и примечаний к нему принимали участие доцент Института истории, философии и литературы имени Чернышевского *Б. Г. Вебер* и *Э. И. Теумин.*

БИСМАРК КАК ДИПЛОМАТ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ)

«Мысли и воспоминания» Бисмарка — это не столько воспоминания, сколько мысли, изложением которых закончил свою продолжительную политическую жизнь один из крупнейших государственных деятелей Европы второй половины XIX века. Политические деятели дворянства и буржуазии, когда они составляют свои мемуары, преследуют обычно определенную, более или менее ясно выраженную цель. Одни пытаются задним числом свести счеты со своими политическими противниками; другие стремятся приоткрыть завесу над некоторыми дотоле неизвестными событиями, в которых они участвовали или к которым имели то или иное отношение; третьи хотят напомнить современникам и потомству о своих подлинных или мнимых подвигах и заслугах. Но все они прежде всего стремятся оправдать свою собственную политическую деятельность, показав в убедительном или привлекательном свете ее подлинные или позднее придуманные мотивы. С этой целью мемуаристы обычно замалчивают одни факты, излишне подчеркивают другие, пронизывают все определенной тенденцией и вдобавок пытаются всему этому придать черты достоверности и убедительности. Таким образом, мемуары — это прежде всего апологетический документ, где автор имеет возможность выступить в качестве своего собственного адвоката и судьи одновременно. Дело историка дать мемуарам критическую оценку.

«Мысли и воспоминания» Бисмарка — это не только апологетический документ. Это прежде всего политическое завещание основателя Германской империи, написанное, как гласит посвящение, «сынам и внукам для понимания прошлого и в поучение на будущее». Свои обширные, трехтомные воспоминания Бисмарк начал писать вскоре после вынужденной отставки в 1890 г. Уединившись в Саксонском лесу, в одном из своих имений, он вел оттуда борьбу против так называемого «нового курса», взятого молодым Вильгельмом II и новым канцлером Каприви. Охваченный тревогой за судьбы империи,

в создании которой он принимал столь большое участие, обиженный своей отставкой, недовольный и фрондирующий, —он посвятил последние годы своей жизни составлению политического завещания[1]. Оглядываясь назад, подводя итоги своей долголетней политической деятельности, Бисмарк пытался не только оправдать ее перед современниками, но и предостеречь, на основе собственного политического опыта, своих преемников от возможных ошибок. А опыт этот был огромен и многообразен.

I

Бисмарк прошел большую жизнь. Он родился в 1815 г. Европа в этом году окончательно сбросила с себя владычество Наполеона. На Венском конгрессе по-новому перекроили политическую карту европейского континента. Гнетущая реакция, воцарившаяся под эгидой Священного союза[2], стремилась преодолеть веяния Французской буржуазной революции XVIII века, пронесшиеся над миром. Реакция пыталась в самом зародыше задушить пробуждающееся национально-освободительное движение.

Бисмарк был современником ряда европейских революций, сам являлся участником — на стороне реакции — многих классовых битв. Бисмарк был современником всех войн, происходивших после низвержения Наполеона I, вплоть до конца XIX века. Он сам являлся активным организатором нескольких войн, в огне которых завершилось воссоединение

---

[1] К работе над «Мыслями и воспоминаниями» Бисмарк приступил тотчас же после отставки. Как сообщает профессор Коль, немецкий издатель и комментатор мемуаров Бисмарка, последний уже в июле 1890 г. передал издательству Котта право издания своего труда. Вскоре Бисмарк начал диктовать свои воспоминания почти постоянно гостившему у него Лотару Бухеру — некогда, в 1848 г., участнику революционного движения, а затем ставшему близким, доверенным лицом Бисмарка. Стенографические записи, сделанные Лотаром Бухером, явились остовом первого наброска, над которым Бисмарк впоследствии много и тщательно работал, внося дополнения, исправления и пр. В 1893 г. по первоначальной рукописи был изготовлен типографский макет «Мыслей и воспоминаний», который Бисмарк снова два или три раза перерабатывал, внося не только отдельные изменения, но и переделывая целые главы. Большую часть работы Бисмарк, по-видимому, считал законченной. Первые два тома «Мыслей и воспоминаний» вышли в свет через несколько месяцев после смерти автора (1898 г.). Третий том, посвященный резкой характеристике Вильгельма II и острой критике его политического курса, должен был, согласно воле Бисмарка, выйти в свет лишь после смерти Вильгельма. Однако вскоре после ноябрьской революции в Германии (1918 г.) и отречения Вильгельма издатели, вопреки протестам наследников Бисмарка, опубликовали этот том как самостоятельное издание. Приводимого нами в тексте посвящения в первом немецком издании не было. Оно было впоследствии обнаружено в бумагах Бисмарка и напечатано во втором и в последующих изданиях «Мыслей и воспоминаний».

[2] См. прим. 104 к гл. VIII.

Германии. Бисмарк родился на заре капиталистического развития Пруссии. Он умер, когда капитализм» уже вступил в последнюю, империалистическую стадию развития, стадию загнивания, когда буржуазия из страха перед поднимающимся рабочим классом окончательно перешла в лагерь реакции и стала поддерживать те самые силы, против которых некогда боролась. Бисмарк умер в июле 1898 г., почти на самом рубеже нового века. Он умер тогда, когда разразилась война между молодой империалистической державой — США и старой колониальной державой — Испанией; эта война являлась предзнаменованием того — только впоследствии осмысленного — факта, что закончился один период новейшей истории — период завершения территориального раздела мира — и начался новый период — период передела мира путем империалистических войн. Вдохновитель и организатор борьбы против рабочего и социалистического движения, Бисмарк умер всего лишь за семь лет до того времени, когда на Востоке Европы вспыхнула в 1905 г. революционная зарница — предвестница победы Великой Октябрьской социалистической революции.

Бисмарк, таким образом, прошел очень большую жизнь, и даже простое повествование о всех событиях его времени представляло бы несомненный интерес. Но Бисмарк был не только свидетелем, но и активным участником многих крупнейших политических событий, в особенности второй половины XIX столетия. Его историческую роль кратко, но ярко и предельно точно обрисовал Ленин в следующих словах: «Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое дело». «Объединение Германии было необходимо... Когда не удалось объединение революционное, Бисмарк сделал это контр-революционно, по-юнкерски»[1]. Этого воссоединения Германии Бисмарк добился путем войн — сначала с Данией (1864 г.), потом с Австрией (1866 г.), наконец, с Францией (1870—1871 гг.), — и в последние годы своей жизни он не без гордости отмечал, что на его совести лежат три войны и восемьдесят тысяч жизней, скрепивших своею кровью фундамент воссоединенной Германской империи. Уже в организации и в проведении этих войн раскрылся его несомненный талант политика и дипломата.

II

Дипломатические способности Бисмарка обнаружились не сразу. На пути к политической и дипломатической карьере, о которой он начал уже рано мечтать, лежал ряд препятствий. В семье Бисмарка не было никаких традиций дипломатической

[1] *Ленин,* Соч., т. XVIII, стр. 82, 92.

службы. Его отец, Фердинанд Бисмарк, был типичный остэльбский юнкер, ничем не выделявшийся среди представителей своего класса. Он хозяйствовал в своем родовом имении Шенгаузен, повидимому, не очень удачно. В руководящих бюрократических кругах иностранного ведомства довольно презрительно относились к отпрыскам старомодного провинциального юнкерства и не слишком охотно допускали их на дипломатическую службу. Бисмарк впоследствии жаловался, что в дни его молодости наиболее крупные дипломатические посты в Пруссии занимали люди, носившие иностранные фамилии, а если встречались немцы, то чаще всего непрусского происхождения. Более всего ценилось отличное знание французского языка, и впоследствии Бисмарк с горечью писал, что владение этим языком хотя бы в объеме знаний обер-кельнера давало значительные преимущества в смысле продвижения по должности на дипломатической службе. Семейные традиции скорее могли склонить молодого Бисмарка к мысли о военной карьере. На протяжении последних трех столетий предки Бисмарка принимали участие во всех войнах против Франции. Его отец вместе с шестью другими родственниками участвовал в войнах с Наполеоном. Впоследствии Бисмарк неоднократно высказывал сожаление, что не выбрал карьеры военного. Он винил в этом свою мать, вышедшую из чиновничьей, профессорской семьи; в качестве бюргерки она не разделяла военных склонностей молодого юнкера и предпочитала видеть своего сына преуспевающим на дипломатическом поприще. Повидимому, под ее влиянием молодой Бисмарк, окончив сначала школу, а затем проучившись правоведению в Геттингенском и в Берлинском университетах, и начал стучаться в двери дипломатического ведомства. Встретив там более чем холодный прием и не имея поддержки со стороны необходимых в таких случаях влиятельных тетушек или бабушек, Отто Бисмарк вынужден был добиваться своей цели окольным путем; он поступил в чиновники судебного, а затем административного ведомства. Служба вскоре начала его тяготить. Его огромное, рано пробудившееся честолюбие не позволяло ему примириться с подчиненным положением. После некоторых столкновений с начальством он отказался от должности. Молодого юнкера потянуло в свое имение. В 1839 г. он получил от своего отца в управление имение в Померании и на этом поприще добился значительных успехов. Революция, вспыхнувшая в марте 1848 г., застала его в имении Шенгаузен преуспевающим помещиком, сумевшим неплохо использовать новшества, внесенные в сельское хозяйство агрохимией Либиха.

К этому времени Бисмарк имел уже вполне сложившиеся политические взгляды. Он давно и окончательно распростился с мимолетными туманными полуреспубликанскими увлечениями своей ранней молодости и стал убежденным монархи-

стом. Если он тогда чем-либо выделялся среди представителей своего класса, то только своенравием сильного характера, резкостью и подчеркнутой, порой грубоватой, прямотой. Страстный охотник и дуэлянт, он в ту пору снискал в своей округе прозвище «дикого». Ничто еще не предвещало тогда, что Бисмарк станет одним из крупнейших политических деятелей и дипломатов своего времени. Все же основные черты его будущего облика — и прежде всего презрение к человеческим иллюзиям, огромная воля, непринужденность в приемах и, наконец, физическая выносливость — сложились уже тогда. Его первое выступление в мае 1847 г. в Соединенном ландтаге[1], в котором он участвовал в качестве «запасного» депутата, привлекло к нему внимание. Молодой депутат, сидевший на крайне правых скамьях ландтага, открыто порвал с весьма умеренной дворянской оппозицией, которая в адресе королю пыталась напомнить о необходимости даровать некоторые, впрочем, весьма ограниченные, «права». Именно тогда король Фридрих-Вильгельм IV заявил, что «никакой силе в мире не удастся превратить естественные отношения между князем и народом в условные, конституционные, — и никогда я не допущу, чтобы между нашим создателем на небе и этой землею встал исписанный лист бумаги». Выступивший в прениях молодой Бисмарк в резких выражениях обрушился на оппозицию, в защиту прав короля.

В марте 1848 г., вслед за революцией во Франции, вспыхнула революция и в Германии. Бисмарк реагировал на нее, как человек, инстинктивно хватающийся за оружие, когда видит, что ему угрожает опасность. Он бросается в Берлин, чтобы побудить испугавшегося короля к активным действиям. Потерпев неудачу, он становится более роялистом, чем сам король. Он связывается с принцем Прусским Вильгельмом (прозванным «картечный принц») и побуждает его к активным действиям в защиту растерявшейся королевской власти. Лично или через посредство доверенных лиц он связывается с некоторыми представителями генералитета прусской армии, пытается и их убедить в том, что войска должны выступить в защиту королевской власти, — но неудачно. До этого он пытался поднять в своей округе крестьянскую Вандею, но и это окончилось неудачей. В этот период ультра роялистские настроения Бисмарка настолько сильны, что даже король, опасаясь скомпрометировать себя, вынужден избегать встреч с ним.

Приглядываясь к ходу событий, Бисмарк вскоре мог убедиться, что его мечты об укреплении дворянского землевладения в монархии, об укреплении монархии в Пруссии и об укреплении Пруссии в Германии имеют все же значительные

[1] См. прим. 1 к гл. I.

шансы быть осуществленными. Либеральная буржуазия, собравшаяся в Национальном собрании, в церкви св. Павла во Франкфурте-на-Майне, перепуганная первыми самостоятельными выступлениями рабочего класса, оказалась неспособной* к революционному действию. «История прусской, как и вообще немецкой буржуазии с марта по декабрь, — писал тогда Маркс в «Новой Рейнской газете», — доказывает, что в Германии чисто буржуазная революция и создание буржуазной власти в форме конституционной монархии невозможны, что возможна только либо феодально-абсолютистская контрреволюция, либо социально-республиканская революция»[1]. Первая победила, вторая потерпела поражение. Это в большой мере определило будущие пути воссоединения Германии.

III

Уже в период революции 1848 г. у Бисмарка в полной мере обнаружились те черты, которые в последующем оказались столь характерными для его деятельности: уверенность в своих силах, презрение к парламентской болтовне, умение довольно точно оценить силы противников. В ответ на шумную обструкцию, устроенную оппозицией во время его первого выступления в Соединенном ландтаге, он спокойно бросил в лицо своим врагам уничтожающую реплику: «В нечленораздельных звуках я не вижу аргументов». Несколько позднее, глядя на то, как легко трусливая либеральная буржуазия стала сдавать свои позиции перед наступающей реакцией, Бисмарк высказал сожаление, что правительство не смогло в полной мере проявить свою силу и, таким образом, еще более укрепить свое положение. «Насколько иначе,—писал он в письме к жене,—сложилось бы политическое положение правительства, если бы дело дошло хотя бы до маленькой стычки, и Берлин был бы взят не на основе капитуляции, а с боя». Уже в ту пору главным аргументом для него была *сила:* в ней он видел альфу и омегу всякого политического и дипломатического успеха. Несколько позднее он заявлял: «Германский вопрос не может быть разрешен в парламентах, а только дипломатией и на поле битвы, и все, что мы до сих пор болтаем и решаем, стоит не намного больше лунных мечтаний сентиментального юноши». Вскоре после своего назначения министром-президентом Пруссии (1862 г.) Бисмарк формулирует свою позицию: «Германия смотрит не на либерализм Пруссии, а на ее мощь. Великие вопросы времени решаются не речами и парламентскими резолюциями,— это была ошибка 1848—1849 гг., — а железом и кровью»[2].

---

[1] *Маркс* и *Энгельс,* Соч., т. VII, стр. 72.

[2] Следует отметить, что подобную фразу Бисмарк употребил в одном письме еще в 1858 г., но только в латинской редакции: «igni et ferro» («огнем и железом»).

Еще позднее, в 1864 г., Бисмарк заявил: «Вопросы государственного права в последнем счете решаются при помощи штыков». В своих «Мыслях и воспоминаниях» он пытается дать этим своим взглядам теоретическое обоснование.

Если его взгляды на роль *силы,* как решающего аргумента в политической и дипломатической борьбе, сложились еще в период революции 1848 г., то понимание роли силы в воссоединении Германии под гегемонией Пруссии пришло позднее. Германия была раздроблена на ряд мелких государств и княжеств. Некоторые из них были, настолько малы, что, по выражению Гейне, их можно было унести на подошве сапог. Среди десятков раздробленных государств главную роль играла Австрия, между тем как Пруссия должна была довольствоваться более скромным положением. В 1848 г. Бисмарк не помышлял *еще* о том, чтобы одна Пруссия взяла на себя миссию воссоединения Германии и вытеснила габсбургскую Австрию. Он считал нужным проглотить позор Ольмюцского соглашения[1], когда Австрия при помощи России заставила Пруссию отказаться от подобных поползновений и закрепила за собою преобладающее влияние. Немалую роль тут сыграл учет реального соотношения сил. Пруссия, считал он, слабее, и она должна отступить, пока не успеет вооружиться и тем самым в будущем заставить Австрию и все другие немецкие государства считаться с собою. В этой связи он позднее формулировал основные задачи прусской дипломатии: «Не было бы чрезмерным требовать от нашей дипломатии, чтобы она по мере надобности откладывала, предупреждала или вызывала войну». Однако окончательное и ясное понимание путей воссоединения Германии под гегемонией Пруссии за счет вытеснения преобладающего влияния Австрии пришло после того, как ему, наконец-то, удалось вступить на дипломатическое поприще.

В мае 1851 г. Бисмарк получил назначение на пост сначала советника, а затем—посланника Пруссии при Союзном сейме[2] во Франкфурте-на-Майне. Повидимому, именно благодаря своим ультрароялистским взглядам он оказался подходящим кандидатом на этот пост. Очевидно, считали, что этот «сильный человек» будет энергично отстаивать в Союзном сейме интересы Пруссии.

Здесь на собственном повседневном опыте, непосредственно столкнувшись со всем сложным переплетом отношений между отдельными германскими государствами, Бисмарк сумел создать себе политическую концепцию, которой остался верен и впредь и которую последовательно осуществлял. Будучи на голову выше окружающих его руководящих политических деятелей Германии того времени, он понял объективные задачи, которые выдвигались ходом исторического развития. Сло-

---

[1] См. прим. 24 к гл. III.

[2] См. прим. 8 к гл. I.

жившуюся тогда внутреннюю обстановку в Германии Ленин впоследствии характеризовал так: «На очереди стоял вопрос объединения Германии. Оно могло совершиться, при тогдашнем соотношении классов, двояко: либо путем революции, руководимой пролетариатом и создающей всенемецкую республику, либо путем династических войн Пруссии, укрепляющих гегемонию прусских помещиков в объединенной Германии»[1]. Бисмарк понял историческую неизбежность объединения Германии: чтобы сохранить монархию и дворянство, нужно было, чтобы эти силы сами возглавили дело национального воссоединения, чтобы они заставили буржуазию покорно следовать за собою. Он понял также, что на этом пути столкновение между двумя немецкими государствами—Пруссией и Австрией неизбежно. Поняв это, Бисмарк стал настойчиво и последовательно подготавливать столкновение, которое должно было стать одним из существенных этапов на пути к воссоединению Германии на юнкерско-династической основе, под главенством Пруссии. Таким образом, он готовился к роли не только могильщика, но и душеприказчика половинчатой революции 1848 г.

IV

Важно отметить, что, осознав эту историческую задачу, Бисмарк вместе с тем понял, какое значение для ее разрешения имеет международная политическая обстановка. К созданию наиболее благоприятных международных условий и была направлена его деятельность как политика и дипломата. Это был период, когда не только окончательно сложились, но и полностью раскрылись основные черты бисмарковской дипломатии. Как дипломат Бисмарк прошел хорошую школу. В течение восьми лет своего пребывания во Франкфурте, в этой, по выражению Бисмарка, «лисьей норе Союзного сейма», он имел возможность самым тщательным образом изучить «все ходы и выходы вплоть до малейших лазеек», все сложные дипломатические хитросплетения, возникающие из противоречивых интересов отдельных германских государств. Он мог учиться у своих собственных соперников в Союзном сейме; австрийская дипломатия, прошедшая школу Меттерниха, имела огромный опыт по части хитроумных интриг. Его кратковременное пребывание в Вене, в этой, по словам прусского короля, высшей школе дипломатического искусства, также имело в этом смысле немалое значение. Впоследствии, будучи назначен на пост посланника в Петербург (1859—1862 гг.), Бисмарк тщательно изучил опыт русской дипломатии. Вопреки довольно распространенному мнению, здесь было чему учиться,

[1] *Ленин,* Соч., т. XVI, стр. 547.

и были люди, у кого можно было учиться. Маркс и Энгельс, которые ненавидели дипломатию царской России, все же очень высоко ценили ее качества. Бисмарк, по собственному его признанию, брал «уроки дипломатического искусства» у Горчакова. Некогда соученик Пушкина по лицею, русский канцлер Горчаков был не только выдающимся оратором, но и одним из наиболее крупных дипломатов своего времени. Бисмарк сумел завоевать доверие Горчакова, и последний охотно предоставлял своему немецкому ученику возможность регулярно читать поступающую в Петербург дипломатическую почту. Впоследствии, в период охлаждения русско-германских отношений, Бисмарк отплатил своему русскому учителю немалой толикой ненависти, а Горчаков ответил тем же. В известной степени это объяснялось тем, что оба слишком хорошо познали друг друга. Наконец, в области политической и дипломатической у Бисмарка был еще один образец— Наполеон III. В «Мыслях и воспоминаниях» читатель прочтет много страниц, посвященных рассуждениям Бисмарка о французском бонапартизме, о его исторической природе, о его целях и методах. Будучи прусским посланником в Париже (1862 г.), Бисмарк мог многое заимствовать и из этого арсенала.

Таким образом, в течение одиннадцати лет, предшествовавших тому времени, когда Бисмарк призван был королем на должность министра-президента Пруссии, он имел возможность самым непосредственным образом изучить внешнюю политику и дипломатию трех наиболее крупных европейских держав, окружавших Пруссию: России, Австрии и Франции. Воспринятый им опыт не был, однако, механическим соединением и простой комбинацией приемов. В дипломатии Бисмарка были, несомненно, собственные черты.

Бисмарка, крупнейшего немецкого дипломата второй половины XIX века, часто сравнивают с крупнейшим французским дипломатом начала того же века — Талейраном. Обоим сопутствовал успех, оба хорошо умели скрывать свои мысли, умели использовать в своих интересах противоречия не только в лагере своих противников, но и в лагере своих союзников. Но это были люди совершенно разного типа. Талейран прежде всего был продажен, личный успех для него имел решающее значение. Бисмарк был *лично* безупречно честен, и все попытки со стороны иностранных держав подкупить его оказались тщетными. Он бывал подвержен (особенно в 70—80-х годах) влиянию некоторых германских финансовых групп, но всегда решал вопросы, исходя из государственных интересов, — так, как он их понимал. Он всегда был во власти чувства солдатского долга, нарушение которого рассматривал, как измену. Главным орудием Талейрана была тонкая дипломатическая интрига. Бисмарк от этого орудия не отказывался, но наиболее характерной его чертой была огромная сила воли,

которой он порой парализовал своих партнеров. С одними он был подчеркнуто учтив, с другими — прямолинеен и порою даже груб. Он мог приспособиться к каждому, в зависимости от того, какое впечатление он хотел оставить для достижения своей цели. Но он всегда находился в состоянии борьбы и готовности к решающему удару. Грамон, французский дипломат, наблюдавший Бисмарка в середине 60-х годов, передает о нем следующие свои впечатления: «Его улыбка всегда ограничивалась лишь plissure de levres [складкой губ], он никогда не смеялся глазами и говорил, казалось, со стиснутыми зубами, что придавало совершенно особый акцент его французскому языку. Чувствовалось, что он в любой момент готов к борьбе, несмотря на то, что в его поведении заметны были несколько аффектированная легкость в обращении с дипломатическими тайнами и как бы нежелание мешать естественному ходу вещей...Он обнаруживал нетерпение при каждом противоречии и невольно привлекал внимание абсолютностью своих доктрин и смелостью своих мыслей».

Талейран был хитер, и Бисмарк был не лишен этого качества, но дипломатическая сноровка выступала у него в форме простодушия и нарочитой откровенности. Когда ему нужно было, эта откровенность перерастала в прямую угрозу. Так, еще в начале декабря 1862 г. он недвусмысленно дал понять Австрии, к чему клонится его политика в отношении к ней. За четыре года до войны с Австрией он не скрывал ее неизбежности. «Наши отношения, — заявил он австрийскому посланнику графу Карольи, — должны стать либо лучше, либо хуже, чем сейчас, Я готов вместе с вами сделать попытку улучшить их. Если это не удастся из-за вашего отказа, то не рассчитывайте, что нас можно будет связать фразами о дружбе и союзе. Вам придется иметь дело с нами, как с великой европейской державой». Несколько раньше, в июне 1862 г., Бисмарк посетил Лондон и в беседе с Дизраэли раскрыл, со свойственной ему манерой, свои политические планы относительно ближайших лет. «В непродолжительном времени, — заявил он, — я буду вынужден взять на себя руководство политикой Пруссии. Моя первая задача будет заключаться в том, чтобы, с помощью или без помощи ландтага, реорганизовать прусскую армию. Далее, я воспользуюсь первым удобным предлогом для того, чтобы объявить войну Австрии, уничтожить Германский союз, подчинить своему влиянию средние и мелкие государства и создать единую Германию под главенством Пруссии. Я приехал сюда затем, чтобы сообщить об этом министрам королевы». На Дизраэли, привыкшего иметь дело в сфере дипломатии с туманными и осторожными формулами, неожиданное заявление Бисмарка произвело, повидимому, сильное впечатление. Он по достоинству оценил эту новую дипломатическую манеру Бисмарка. «Остерегайтесь его, — сказал он одному из своих

друзей. — Он говорит, что думает!» Разумеется, это было далеко не всегда так.

В качестве политика и дипломата Бисмарк обладал еще одним, впрочем, необходимым качеством — изумительной выдержкой и самообладанием. Он вовсе не был хладнокровен, скорее горяч, а иногда запальчив. Он давал волю этим чувствам, когда хотел кого-либо запугать. В такие моменты Бисмарк бывал страшен. Граф Андраши, министр-президент Австро-Венгрии, рассказывал, что при переговорах о заключении союза с Германией в 1879 г. ему однажды показалось, что Бисмарк готов его задушить, когда он сопротивлялся некоторым его требованиям. Вскоре, однако, Бисмарк выпустил свою жертву. Поняв, что большего добиться нельзя, Бисмарк рассмеялся и отказался от своих дополнительных требований.

Бисмарк считал, что ненависть — один из самых главных двигателей жизни; он умел ненавидеть и яростно ненавидел своих политических врагов. Но он умел сдерживать свои чувства, подчинять их соображениям политической целесообразности. В особо критические моменты он был подвержен острым нервным припадкам и, по собственному признанию, несколько раз подумывал даже о самоубийстве. Но для внешнего мира эти спады оставались неизвестными.

В конце концов сила воли никогда не покидала Бисмарка. Так было, например, в один из самых решающих дней в современной ему истории Пруссии — в день победы над Австрией (1866 г.). Победа была быстрая и неожиданная по своей решительности. Австрийская армия была разгромлена. Дорога на Вену казалась открытой. Прусский король, который раньше так неохотно решился на войну с Австрией, теперь вместе с высшим командованием хотел во что бы то ни стало вступить победителем в австрийскую столицу. Бисмарк, находившийся при главной квартире, категорически запротестовал. Несмотря на полную победу, он требовал немедленного прекращения войны. В своих «Мыслях и воспоминаниях» он объясняет это тем, что, пощадив побежденную Австрию, он открыл путь к будущему союзу с ней. На самом деле большее значение имели соображения другого порядка. Он опасался, что в случае продвижения прусской армии на Вену Австрия сможет оказать еще некоторое сопротивление. Война может затянуться. Между тем на европейском горизонте, по его наблюдениям, сгущались тучи. Наполеон III, в случае затяжки войны, мог выступить. Русский царь, поздравив Пруссию с победой, выразил надежду, что по отношению к побежденной Австрии будет проявлено великодушие. Это казалось опасным симптомом. Пруссия могла попасть во франко-русские щипцы, — и тогда блестящая победа была бы ликвидирована. Доказывая королю необходимость прекращения войны, Бисмарк устроил истерический припадок, но в конце концов добился своего.

Когда нужно было, Бисмарк умел ограничить свои притязания. И, наоборот, добившись своей цели дипломатическим путем, он считал нужным закрепить ее силой оружия. Стремясь присоединить Шлезвиг-Гольштейн (1863—1864 гг.), он, обеспечив себе поддержку России, мог добиться капитуляции Дании и мирного разрешения конфликта. Однако это не входило в его расчеты. Ему нужно было показать, что Пруссия сильна. «Дайте нам возможность обменяться несколькими пушечными залпами»,— обращается он к Горчакову. Вместе с тем Бисмарк умел и выжидать, если к тому были серьезные политические или стратегические основания. Он страстно хотел скорейшей войны против Австрии, но; узнав, что прусская армия не готова, первый настоял на том, чтобы войну оттянуть. В течение нескольких лет он готовил войну против бонапартистской Франции, которая не хотела допустить воссоединения Германии. И когда он увидел, что час настал, —он не захотел медлить. Он считал, что выбор момента для начала войны является одним из решающих факторов ее успеха, — нужно только суметь формальную ответственность за ее возникновение перенести на противника. Это дело дипломатической ловкости, а свое мастерство в этом отношении он показал в истории с фабрикацией эмской депеши[1]. Когда момент наступил, нужно действовать. Раз приняв решение, он никогда не испытывал больше сомнений. «Любая политика, — писал он впоследствии, — лучше политики колебаний». Это, однако, не означает, что в своей политике он был всегда прямолинеен. Как правильно отмечает Рихард Кюльман в своей недавно вышедшей в Германии книге «Дипломаты», Бисмарк имел всегда перед глазами поставленную цель, но для ее достижения он не отказывался итти, в зависимости от условий, и кружными путями. Его обвиняли в «дьявольской хитрости»,—это было преувеличением.

При всем своем, впрочем нарочитом, прямодушии Бисмарк не всегда думал то, что говорил. В течение многих лет он заверял бонапартистскую Францию, лично Наполеона III и его дипломатов в своем самом лучшем расположении к ним. Он сумел добиться настолько близкого доверия, что стали возможны секретные переговоры о взаимных политических и территориальных компенсациях. Инициатива исходила от Бисмарка. Ведя подготовку войны, против Австрии с целью вытолкнуть ее из Германского союза, Бисмарк должен был заручиться благожелательным нейтралитетом Франции. Он отправился во Францию и намекнул Наполеону III, что компенсацией за нейтралитет может быть герцогство Люксембургское. Фран-

[1] Телеграмма, посланная прусским королем из Эмса 13 июля 1870 г. Бисмарку для передачи в Париж. Бисмарк, сократив текст телеграммы, придал ему смысл нарочито оскорбительный для французского правительства и тем самым дал последний повод к объявлению Францией войны Пруссии.

цузский император, выслушав Бисмарка, дал понять, что Люксембург — это хорошо, но Люксембург и Бельгия — еще лучше. Позднее переговоры возобновились в Берлине. На сей раз инициатива исходила от французского посланника Бенедетти, который снова поставил вопрос, не согласна ли будет Пруссия предоставить Франции Бельгию, Бисмарк не отказал, но попросил изложить предложенный проект на бумаге. Получив в свои руки этот документ, Бисмарк вскоре дал понять, что он не может согласиться на предложение Франции, ибо не может предоставить ей то, что ему не принадлежит. Но документ оставался лежать в сейфе прусского министерства. Бисмарк извлек его оттуда в 1870 г., тотчас же после того, как Франция объявила Пруссии войну. Тогда Бисмарк передал фотографии этого компрометирующего документа всем главнейшим европейским кабинетам. Одновременно, пользуясь своими связями с редакцией английской газеты «Таймс», он опубликовал этот документ в прессе. Своевременное разоблачение захватнических планов Франции оказало сильное впечатление на общественное мнение, и это имело немалое значение для позиции, которую должно было занять английское правительство по отношению к франко-прусской войне.

Вообще в отличие от Талейрана Бисмарк в своей политической и дипломатической деятельности весьма умело опирался на прессу. Он не любил и даже презирал прессу, но всегда пользовался ею. Газету он как-то назвал большим листом бумаги, испачканным типографской краской. Он знал, что пресса правящих классов продажна, сервильна, чудовищно беспринципна и лжива. Но он знал ее влияние и потому старался воздействовать на нее в нужном для него направлении. В течение многих лет никто не знал, что в молодости, еще будучи депутатом ландтага, Бисмарк, прикрывшись псевдонимом, занимался журналистской деятельностью. В своих фельетонах, острых и беспощадных не только в отношении врагов, но и в отношении друзей, он бичевал прекраснодушие и пустые слова. Ему всегда больше импонировали дела. Впоследствии, уже будучи министром и рейхсканцлером, он сумел большую часть прессы поставить себе на службу. В политике и дипломатии он никогда не был журналистом, но зато в журналистике он всегда был политиком и дипломатом.. В осуществлении его дипломатических планов пресса всегда выполняла отведенную ей роль. Через ее посредство он предостерегал или разоблачал, приковывал внимание или, наоборот, отвлекал его. Наиболее ответственные статьи писались под его диктовку. Известны случаи, когда статьи, поступавшие в. редакции газет, сопровождались указанием, что они должны быть помещены без всяких изменений, как документы государственного значения. Находясь в отставке, Бисмарк не отказался от того орудия, которым в его руках являлась пресса. И тогда он выступал как политик и

дипломат. Его главные удары были направлены против «нового курса» внешней политики Германии — курса на сближение с Англией, в ущерб отношениям с Россией. На основании всего исторического прошлого и своего собственного большого политического опыта он предостерегал от этого пути. Вопросу об отношениях между Пруссией-Германией и Россией он всегда придавал огромное значение.

V

Своим большим умом и политической проницательностью Бисмарк уже очень рано постиг, какую роль играет Россия на международной арене. Как политик и дипломат, поставивший перед собой определенную цель, он понял также, что Пруссия никогда не сможет разрешить задачу воссоединения Германии, не сможет стать крупной европейской державой, если не добьется благоприятного к себе отношения со стороны своей великой восточной соседки. Подлинное понимание роли России и задач всемерного укрепления отношений с нею пришло вместе с окончательным формированием его взглядов на пути воссоединения Германии. Это было в годы Крымской войны. Англо-французская коалиция совместно с Турцией и Сардинией[1] вела войну против России. Она стремилась привлечь на свою сторону и Австрию. Возможности для этого были. Еще в 1849 г., вскоре после того как царские войска под командованием Паскевича, придя на помощь Габсбургской монархии, задушили венгерскую революцию, австрийский канцлер Шварценберг бросил свою знаменитую фразу: «Мы удивим Европу своей неблагодарностью». Эти слова были произнесены в ответ на опасения, не вынуждена ли будет Австрия превратиться в вассала царской России. Теперь, в период Крымской войны, Австрия имела возможность продемонстрировать «неблагодарность»: нацеливаясь на придунайские княжества, она готова была выступить на стороне англо-французской коалиции против России. В таких условиях позиция Пруссии приобрела неожиданно большое значение. Опираясь в Пруссии на либерально-буржуазные элементы и придворную группу, возглавляемую принцессой. Прусской, Англия стремилась привлечь Пруссию на свою сторону. Она соблазняла ее «компенсациями» в виде Прибалтики и русской части Польши. В противном случае она угрожала Пруссии блокадой. В конце концов Пруссия согласилась подписать с Австрией конвенцию, направленную против России. Она обязалась выставить на своей восточной границе довольно значительную по тому времени армию. Война между Россией, с одной стороны, Австрией и Пруссией, с другой стороны, все же не вспыхнула. Цар-

[1] *Сардинское королевство* -- ядро будущего итальянского государства.

ское правительство, стремясь избежать войны, вывело свои войска из Молдаво-Валахии.

Какова была в этой обстановке позиция Бисмарка? Воспоминания о недавней роли русской политики в Ольмюцском соглашении могли скорее восстановить Бисмарка против России. И все же Бисмарк протестовал против западнического курса прусской политики. Он противился английским планам расчленения России, которые должны были быть осуществлены с участием Пруссии. Тут сказалось то, что было присуще Бисмарку и в его последующей деятельности: голый политический расчет, сообразный с интересами Пруссии, так, как он их понимал. «Самое опасное для дипломата, — говорил он впоследствии, — это иметь иллюзии». В данном случае он боролся против распространенных тогда иллюзий о возможности для Пруссии добиться положения великой державы путем благоволения со стороны Лондона, Парижа и Вены. Этого можно было достигнуть только участвуя в соглашении, направленном против России. Это для Пруссии означало, считал Бисмарк, опуститься до положения какого-нибудь индийского вассала, обязанного сражаться в защиту интересов Англии. Территориальные компенсации за счет русских владений, считал далее Бисмарк, как бы они ни были обширны и соблазнительны, Пруссии не нужны. Бисмарк доказывал, что у Пруссии нет никаких оснований воевать с Россией и что даже победоносная война против России в конечном счете принесет Пруссии в будущем огромный политический ущерб: на своей восточной границе Пруссия в таком случае всегда будет ощущать мощное давление со стороны великой державы, готовой к реваншу. К тому же присоединение русской Польши к Пруссии ослабит внутреннее положение в первую очередь самого Прусского государства и даже будет угрожать его целостности. Бисмарк предостерегал, что было бы крупнейшей политической ошибкой третировать «60 миллионов великорусского народа, ... не опасаясь, что он станет верным союзником всякого будущего врага Пруссии».

До войны с Россией дело не дошло, и, казалось бы, Бисмарк мог быть доволен. Но нет, он негодовал по поводу того, что и в данном случае была упущена возможность. Соглашение с Австрией, по которому Пруссия должна была выставить против России большую армию, он расценивал как крупнейшую ошибку, которая, однако, могла быть выгодно использована: стоило только 200-тысячную армию сконцентрировать в Силезии — на стыке границ России и Австрии. Последняя не могла бы протестовать, так как формально дело сводилось лишь к лойяльному выполнению Пруссией своих обязательств. Затем, однако, Пруссия должна была, по мнению Бисмарка, направить эту армию не против России, а вместе с Россией против Австрии. Это следовало бы сделать в том случае, считал он, если бы Австрия отказалась предоставить Пруссии геге-

монию в Северной Германии. Правда, приходилось считаться с тем, что на стороне Австрии будет находиться англо-французская коалиция, которая и без того угрожала Пруссии блокадой. Но Бисмарк считал, что при добрых отношениях с Россией никакая англо-французская блокада не может быть Пруссии страшна. Вооруженные силы Англии и Франции, занятые на Черном море против России, не смогли бы оказать на Пруссию никакого давления. Так, идя вместе с Россией, Пруссия могла бы добиться многого.

Висмарковский план свидетельствовал о том, что у его автора, бесспорно, не было недостатка в решимости. Но страх перед Австрией и западными державами был тогда настолько силен в правящих кругах Пруссии, что этот план был отвергнут. Более того, Пруссии пришлось испить еще одну чашу унижения: австрийская дипломатия вновь «удивила Европу своей неблагодарностью», на сей раз в отношении Пруссии. По окончании Крымской войны собрался Парижский конгресс (1856 г.). Австрия постаралась не допустить на конгресс Пруссию до тех пор, пока великие державы окончательно не договорились об основных условиях мирного трактата. Пруссии пришлось в передней ожидать, пока великие державы разрешат ей войти туда, где от имени всех германских государств уже выступала Австрия. Прусское правительство добивалось приглашения на конгресс.Оно заранее готово было согласиться на поддержку политики, продиктованной Австрией в угоду западным державам. Бисмарк считал это крупнейшей ошибкой. Он и здесь исходил из интересов Пруссии в ее борьбе за гегемонию среди немецких государств. Слепо следовать за Австрией — эта означало, считал тогда Бисмарк, что за входной билет на Парижский «конгресс Пруссия должна заплатить последними остатками своей самостоятельности.

Впоследствии, бросая ретроспективный взгляд на пройденный исторический путь, Бисмарк указывал, что в истории Пруссии были еще две возможности возглавить воссоединение Германии. Первая возможность была, по его мнению, в 1848 г.: если бы Пруссия вооруженной силой быстро и решительно подавила тогда революцию у себя и на деле показала решимость сделать то же в других немецких государствах, то отдельные немецкие князья сами приехали бы в Берлин искать спасения пор главенством Пруссии. Словом, Пруссия, считал Бисмарк, должна была в отношении остальной. Германии выполнить ту же роль, какую царская Россия выполнила в отношении Австрии, когда послала свои войска помочь задушить революцию в Венгрии. Вторая возможность, указывал далее Бисмарк, была упущена после Крымской войны, в период войны между габсбургской Австрией и бонапартистской Францией за господство в Италии (1859 г.). Тогдашнее правительство Пруссии склонно было выступить на стороне Австрии. Бисмарк

считал это крупнейшей ошибкой. В этом случае всю тяжесть войны против Франции должна была вынести Пруссия, ибо война развернулась бы на Рейне. С другой стороны, Россия обрушилась бы на Пруссию, желая выместить на ней свою ненависть к Австрии. Таким образом, Пруссии пришлось бы сражаться на два фронта. При этом Австрия постаралась бы оказать давление на ту же Пруссию, чтобы не допустить ее успеха. Итак, Пруссии, считал Бисмарк, пришлось бы при всех условиях расплачиваться и за австро-французские противоречия в Италии и за австро-русские противоречия на Балканах. Ей Пришлось бы безнадежно испортить свои отношения с Россией. Во имя каких интересов? Во имя интересов Австрии и Англии?

Бисмарк считал, что предполагавшееся выступление Пруссии на стороне Австрии было бы пагубным. Это выступление, как известно, не состоялось. Во время переговоров Австрия отвергла прусские условия, а тем временем война в Италии закончилась. Немалую роль сыграли и угрозы России, заявившей, что она не допустит вмешательства Пруссии на стороне ненавистной ей Австрии. Таким образом, снова, как и после Крымской войны, Пруссия осталась ни с чем. Бисмарк негодовал. «Моей мыслью было, — писал он впоследствии, — что нам следовало, продолжая вооружаться, предъявить одновременно ультиматум Австрии». Это означало бы удар в спину Австрии, фактический союз с бонапартистской Францией, улучшение отношений с Россией.

И этот план Бисмарка был отвергнут. Впоследствии в правящих сферах решили, повидимому, ближе познакомиться с внешнеполитической программой Бисмарка. Вкратце эту программу можно было бы сформулировать в следующих словах: решительная борьба с Австрией, укрепление отношений с Россией. Эта программа, изложенная Бисмарком на заседании правительства, не встретила в то время поддержки. Кандидатура Бисмарка, закулисно выдвигавшегося на пост министра иностранных дел, отпала. Вскоре, однако, шансы Бисмарка начали подниматься. В стране назревал знаменитый конституционный конфликт[1] между королем и ландтагом. Он был связан с прохождением военного бюджета, представленного правительством и встретившего сильное противодействие в ландтаге. Конфликт был выражением огромной напряженности внутреннеполитических отношений. Обстановка в стране накалилась настолько, что король собирался отречься от престола. Некоторые круги рекомендовали ему встать на путь государственного переворота и прямой отмены конституции. Король не решился ни на то, ни на другое. Под влиянием военного министра Роона король согласился призвать на помощь Бисмарка, который в борьбе с ландтагом должен

---

[1] См. прим. 1 к гл. XIV.

был осуществить политику «сильной руки», 23 сентября 1862 г, Бисмарк был введен в состав правительства и через две недели назначен на пост министра-президента. С этого момента он в течение 28 лет бессменно руководил политикой Пруссии, а затем Германской империи.

Нас интересует здесь не его внутренняя, а его внешняя политика, в частности его политика в отношении к России. Поняв необходимость укрепления отношений с Россией, он стал поджидать благоприятного случая и искать к тому возможности. Разумеется, ожидание не было пассивным, а поиски не были слепыми, В недавнем прошлом возможности были упущены, теперь упущенное следовало наверстать,

Среди немецкой буржуазии была крайне непопулярна политика, ставящая своей целью сближение с Россией. Буржуазия усматривала в этом отход от политики, диктуемой западными «либеральными» державами, ущемление интересов немецкой Австрии. Но Бисмарк, который стремился удовлетворить требования буржуазии по-своему, по-юнкерски, вопреки ее воле, и в вопросе об отношении с Россией мало считался с «западническими» настроениями либеральной партии. В качестве основы для сближения Пруссии с Россией Бисмарк выдвинул идею общности династических интересов обеих держав. Когда в русской части Польши вспыхнуло восстание (1863 г.), которое, при поддержке английской и французской прессы, провозгласило лозунг восстановления Польши в границах от Балтийского до Черного моря, Бисмарк понял, что он близок к достижению своей цели. Он предложил царскому правительству заключить военную конвенцию, которая предусматривала возможность совместного подавления польского восстания. Предложение пришлось как нельзя более кстати. Западные державы, Англия и Франция, а под их влиянием и Австрия, предпринимали дипломатическое вмешательство в Петербурге, имевшее целью не столько защитить поляков, сколько подорвать позиции России. Перед взором царской дипломатии промелькнули очертания крымской коалиции. В таких условиях конвенция, предложенная Бисмарком и подписанная с прусской стороны Альвенслебеном[1], являлась демонстрацией того, что Пруссия на сей раз не идет вместе с западными державами, что она ведёт самостоятельную и независимую от Австрии политику, что она становится на сторону России.

Разумеется, в этом своем первом самостоятельном выступлении на международной арене Пруссия исходила из своих собственных интересов. Впоследствии в своем политическом завещании Бисмарк указывал, что всякое правительство должно в своих поступках сообразоваться со своими интересами, хотя может прикрывать их различного рода правовыми иди

[1] См. прим. 20 к гл. XV.

сентиментальными соображениями и аргументами. И тогда Бисмарк пошел на подписание конвенции Альвенслебена, потому что опасался возможной вспышки польского восстания в Силезии и Познани. Он опасался, что образование самостоятельной Польши ослабит прежде всего Прусское государство. Он подписал конвенцию также потому, что искал случая показать Австрии, что Пруссия не всегда будет тащиться у нее в хвосте. Впоследствии, много лет спустя, Бисмарк раскрыл еще одну цель, которой он добивался, заключая соглашение с Россией: конвенция Альвенслебена, говорил он, окончательно расстроила намечавшееся тогда соглашение между Россией и Францией. К тому же, до выполнения условий конвенции дело не дошло: царское правительство само справилось с подавлением восстания. Но главное, к чему в то время стремился Бисмарк, — это сблизиться с Россией. Однако Бисмарк умел своим побуждениям, продиктованным его собственными интересами, придавать форму политической услуги. А за услугу-- об этом он неоднократно напоминает в своих «Мыслях и воспоминаниях» — надо платить. Он и потребовал в Петербурге уплаты в виде нейтралитета России в войне Пруссии против Дании.

Этой войной Бисмарк хотел предотвратить намечавшееся, в силу сложившихся условий, превращение герцогств Гольштейна и Шлезвига в самостоятельные государства в составе Германского «союза. В этой войне он хотел испытать силу прусской армии, после того как она была реорганизована и увеличена. Он хотел, наконец, осуществить первый этап на пути к воссоединению Германии под главенством Пруссии. «Бисмарк взялся за дело, — писал впоследствии Энгельс.—Надлежало повторить государственный переворот Луи Наполеона, воочию показать немецкой буржуазии действительное соотношение сил, силой разрушить ее либеральный самообман, но выполнить ее национальные требования, которые совпадали с прусскими желаниями»[1].

С точки зрения соотношения сил на международной арене выбор момента для удара против Дании был очень удачен. Австрия, не желая предоставить Пруссии одной воспользоваться лаврами военных побед, вынуждена была к ней присоединиться. Бонапартистская Франция увязла в своей мексиканской авантюре[2]. Англия порывалась рычать, но без поддержки какой-либо континентальной державы ничего практически сделать не могла. Ключ находился в руках России. Это признал и сам Бисмарк: «С европейской же точки зрения, — сказал он Горчакову,-- все зависит от того, бросит ли Россия

[1] *Маркс* и *Энгельс,* Соч., т. XVI, ч. I, стр. 473.

[2] Вооруженная французская интервенция в Мексике в 1862—1867 гг., направленная против республиканского правительства, была организован^ Наполеоном III.

свою гирю на чашу весов великого герцога или же ограничится тем, что устранится из спора». Правда, в дипломатических переговорах Бисмарк при случае не лишал себя удовольствия припугнуть царское правительство тем, что Пруссия пойдет на сближение с Францией, которая поднимет польский вопрос, и т. д. Но Горчаков, который видел Бисмарка насквозь, понимал, чего тот хочет. Он понимал также, что польский вопрос имеет для Пруссии не меньшее, а даже большее значение, чем для России. Он не придавал существенного значения угрожающим намекам Бисмарка. Россия устранилась из спора. На то у нее были соображения и внутренне- и внешнеполитического характера, и не о них сейчас идет речь. Важно то, что позиция России в датской войне 1864 г. в значительной степени решила успех Пруссии. А это в свою очередь укрепило Бисмарка в понимании того, как важно для Пруссии поддерживать добрые отношения с восточной соседкой.

Хорошие отношения с Россией были необходимы и для осуществления следующего этапа воссоединения Германии, а именно — для проведения войны против Австрии, фактически из-за вопроса о том, кому быть гегемоном в Германии. В дипломатическом отношении Бисмарк подготовил эту войну, как известно, блестяще. Он связался с Италией, задобрил обещаниями Наполеона III и действовал в уверенности, что Россия не будет склонна спасать Австрию. Значительно хуже в то время было внутреннее положение Пруссии. Среди буржуазии эта война была крайне непопулярна. Но Бисмарк, который, как и в войне с Данией, осуществлял, по словам Энгельса, «волю немецкой буржуазии против ее же воли», мало с этим считался: «На богемских полях сражений была разбита не только Австрия, но и немецкая буржуазия. Бисмарк доказал ей, что он ее выгоды знает лучше ее самой... Либеральные притязания буржуазии были надолго похоронены, а ее национальные требования с каждым днем все больше выполнялись. С удивлявшей ее самое быстротой и точностью Бисмарк осуществлял ее национальную программу»[1].

Позиция, занятая Россией в период прусско-австрийской войны, являлась одним из наиболее существенных факторов, определивших успех выполнения этой национальной программы. Бисмарк это понимал и настойчиво добивался благожелательного отношения России к третьему, заключительному акту на пути к воссоединению Германии под главенством Пруссии. Ему нужен был нейтралитет России в предстоящей войне О Францией, не желавшей допустить появления на своих восточных границах сильной воссоединенной Германии. О том, как Бисмарк подготовил эту войну в дипломатическом отношении, он сам довольно подробно рассказывает в своих ме-

[1] *Маркс* и *Энгельс,* Соч., т. XVI, ч. I, стр. 479,

муарах. Позиция России и тут имела решающее значение. Прусская армия под руководством генерала Мольтке неожиданно и быстро разгромила бонапартистскую Францию. Наполеон III, который, со своей стороны, искал войны, ибо видел в ней спасение своей обанкротившейся фирмы, попал в плен к немцам. Вспоминая об этих событиях, Бисмарк замечает, что «действовать медленно было неблагоразумно и опасно с военной и с политической точки зрения». Центральное расположение Пруссии в Европе, обнаженность ее флангов и сосредоточение подавляющей части ее армии на западе, против Франции — в с е это требовало стремительной победы; надо было произвести впечатление на нейтральные государства. Это признает и Бисмарк. Успех прусской армии в большой степени определялся тем, что Пруссия могла быть спокойна на своей восточной границе. Путь на Париж оказался бы значительно длиннее, если бы русская армия предприняла марш на Берлин. Это было ясно и тогда, осенью 1870 г., когда разыгрались события. Это было ясно и позднее, спустя четверть века, когда Бисмарк писал свои мемуары. Поэтому в обоих случаях он заговорил об «услуге» и о своей готовности ее оказать.

Дело в том, что разгром Франции создал совершенно новую ситуацию в европейской политике. Одна из главнейших участниц крымской коалиции вышла из строя. Система, на которой были воздвигнуты условия Парижского трактата, дала значительную трещину. Русская дипломатия поняла, что настал час уничтожить самые унизительные статьи парижского мира, а именно те статьи, согласно которым Россия не имела права содержать военный флот в Черном море. Горчаков передал европейским державам циркуляр о том, что Россия не может более считать себя лишенной прав на защиту своих черноморских границ. Этот акт вызвал в Англии тревогу и смущение. Английская пресса негодовала, требовала объяснений. Правительство послало за этими объяснениями лорда Одо Росселя, но не в Петербург, а на прусскую главную квартиру — к Бисмарку. В Лондоне поняли дело так, что русский акт об отмене нейтрализации Черного моря — это и есть бисмарковская «услуга». Бисмарк заявил, что ему «ничего не известно». Единственное, что он может порекомендовать англичанам, — это собрать европейскую конференцию. Правительству Гладстона осталось только принять этот совет. В самом деле, что мог противопоставить русской армии английский кабинет? Французская армия была разгромлена, прусская стояла под Парижем и не видела оснований итти на Петербург во имя интересов Англии на Черном море. Не имея возможности воевать чужими руками, правительство Гладстона компенсировало себя тем, что на Лондонской конференции 1871 г. прочитало русскому делегату Бруннову нотацию на тему о вечности договоров и о нежелательности их нарушения. Больше оно ничего сделать

не могло. На Бруннова английская нотация никакого впечатления не произвела хотя бы уже потому, что он был стар и ничего не слышал...

В мемуарах Бисмарк освещает свое отношение к акту русской дипломатии, вернувшему России права охранять побережье Черного моря. Бисмарк даже приписывает себе инициативу этого акта. «Немыслимо долгое время, — пишет он, — препятствовать стомиллионному народу осуществлять свои естественные права суверенного владычества над побережьем собственных морей. Длительный сервитут[1] такого рода, какой был предоставлен иностранным государствам на территории России, являлся для великой державы невыносимым унижением. Для нас же, — заключает Бисмарк, — это служило поводом к поддержанию добрых отношений с Россией».

Спору нет, в период образования Германской империи Бисмарк усиленно стремился поддерживать и укреплять отношения с Россией. Страх, обуявший его в связи с Парижской коммуной (он признался, что Коммуна впервые в жизни стоила ему бессонной ночи), послужил дополнительным стимулом к укреплению династических и политических связей с тогдашней Россией. Но несомненно, что уже в начале 70-х годов, вскоре после образования Германской империи, в его политику начали вплетаться новые тенденции, которые с исторической точки зрения представляют тем больший интерес, что в своих «Мыслях и воспоминаниях» Бисмарк предпочитает хранить об этом молчание. Мы имеем в виду его попытки договориться с Англией.

VI

Политика, считал Бисмарк, — это наука о возможном. Выступив на политическую арену в середине XIX века, он вскоре понял не только необходимость воссоединения Германии, но и возможные исторические пути к этому воссоединению. Мировая история, как выразился однажды Энгельс, идет своими путями. Бисмарк воссоединил Германию на прусско-юнкерской основе. Монархист, он решительно отвергал путь революции. Он пошел по другому пути — по пути «революции сверху», по пути внешних войн. Таким образом была создана Германская империя.

Образование империи открыло новую страницу в истории международных и дипломатических отношений Европы. Основная цель, к которой в течение многих лет стремился Бисмарк, была достигнута. Воссоединенная Германия превратилась в могучую державу, призванную играть большую роль

[1] *Сервитут* — ограничение государственного суверенитета в каком-либо отношении.

на международной арене. Франция была повержена. Ее правящие классы возместили себя победой над Парижской коммуной» В своей внешней политике реакционная Франция пресмыкалась перед германскими победителями и русским царем. Немецкие либералы, еще недавно на словах негодовавшие по поводу методов «дикого» помещика из Шенгаузена, теперь восхищались им. Удовлетворив национальные требования немецкой буржуазии, юнкер победил ее. Остальное довершил страх, охвативший господ либералов с тех пор, как они узнали, что в Париже провозглашена Коммуна. Бисмарк не отказался от возможности использовать этот страх. Еще одна Коммуна, заметил он как-то, и у меня вовсе не будет оппозиции.

На восточной границе, со стороны России, не было оснований ждать каких-либо осложнений. Отношения с Австро-Венгрией, которую в войне 1870—1871 гг. Бисмарк сумел нейтрализовать, были удовлетворительными. После отставки австрийского реваншиста графа Бейста министром-президентом габсбургской монархии стал венгерский магнат граф Андраши. Эта смена знаменовала, что в дальнейшем отношения между Дnumber Руссией-Германией и недавно потерпевшей поражение Австро-Венгрией будут улучшены. Противоречий с Англией, экономических или колониальных, у новообразовавшейся Германской империи в то время еще не было. Наоборот, влиятельные круги Англии не без симпатии взирали на Германию, в которой хотели бы видеть противовес своим обоим континентальным соперникам — России и Франции. Казалось, положение молодой империи, а вместе с нею и ее первого канцлера было блестящим. «Я скучаю, — говорил в то время Бисмарк.-- Все великие дела свершены. Империя создана. Она признана и уважаема всеми народами. Вражеские коалиции легко предупредить. Охотиться на зайцев у меня нет никакого желания. Вот если бы можно было уложить крупного кабана, — тогда другое дело. Тогда я ожил бы».

Разумеется, это была шутка. Ни международная обстановка, уложившаяся после образования Германской империи, ни политическая и дипломатическая деятельность «железного канцлера» не выглядели столь идиллически. Вовсе не так легко было предупреждать возможные враждебные коалиции, да и со своей стороны канцлер потратил немало усилий, чтобы создать в Европе коалицию под главенством Германии; По словам Петра Шувалова, представлявшего Россию на Берлинском конгрессе, Бисмарк мучился «кошмаром коалиций» и Бисмарк признал справедливость этих слов своего русского друга. Но воля Бисмарка никогда не была парализована этим кошмаром. Зато сам Бисмарк умел гипнотизировать им других. Еще до воссоединения Германии Бисмарк понимал все огромное значение международной обстановки

в истории Пруссии. После образования Германской империи он увидел стоящие перед ней новые внешнеполитические задачи. Он считал, что они вытекают из центрального положения Германии в Европе. Он указывал на опасности, которые грозят империи в связи с тем, что ее границы открыты со всех сторон и легко поддаются нападению извне. Стремясь одолеть мучивший его «кошмар коалиций», Бисмарк сам создал коалицию, опираясь на которую он и проводил внешнюю политику Германии. В лице Австрии он видел до воссоединения Германской империи такого же устойчивого врага Пруссии, как после воссоединения он видел в ней исторического союзника. С Францией он считал необходимым поддерживать добрые отношения до последнего акта воссоединения Германии, а после разгрома Франции и аннексии Эльзаса и Лотарингии он должен был считаться с ней, как с историческим врагом. «С Францией, — пишет он, — мы никогда не будем жить в мире».

В течение двух десятилетий, со времени образования Германской империи вплоть до своей отставки, Бисмарк вел напряженную борьбу в области внешней политики. Старый и опытный знаток методов, применявшихся в студенческих поединках, он оказался незаурядным мастером и в дипломатическом фехтовании. Пробиваясь к новым целям на арене международной политики, он сумел создать вокруг Германии большую и сложную систему союзов и группировок, перекрываемых к тому же другими комбинациями, имеющими более преходящее значение. Он стремился застраховаться и перестраховаться в различных ситуациях, которые так же быстро возникали, как и рушились. Впоследствии дипломатическое искусство Бисмарка уподобляли искусству опытного жонглера, который играл одновременно пятью шарами, из коих два постоянно находятся в воздухе. В конце концов сложная система, созданная им в области международных отношений, все же не выдержала напора реальных и все более нарастающих империалистических противоречий. В своем политическом завещании Бисмарк мог бы подвести итоги своей собственной конечной неудаче. Бисмарк неоднократно утверждал, что после разгрома Франции и завершения воссоединения Германии он считал империю «насыщенной» и более не нуждающейся в войне. Французская реакция всегда выдвигала лозунги реванша, чтобы укрепить свое положение внутри страны. Со своей стороны Бисмарк мог использовать опасность реванша, постоянно грозившую западным границам Германии, для консолидации установленного режима и для непрестанного укрепления его основы — армии. В новообразованной империи юнкерство сохранило свое положение, а буржуазия не претендовала всерьез на власть. Она вместе с большей частью юнкерства поддерживала Бисмарка. С воссоединением Германии она получила огромный внутрен-

ний рынок. Буржуазия имела основание рассчитывать, что перед ней вскоре откроются и мировые рынки.

Франкфуртский мир[1] стал основой внешней политики бисмарковской Германии. Канцлер стремился увековечить этот мир, ибо он предоставлял Германии значительные привилегии в отношении Франции. Между тем мир, завершивший победу воссоединенной Германии над разгромленной Францией, еще более обострил противоречия, уже ранее существовавшие между этими державами. Присоединение Эльзаса и Лотарингии к Германии еще более углубило пропасть между новой империей и ее западной соседкой. Как заранее предвидел Маркс, оно превратило опасность войны между Францией и Германией «в европейскую институцию».

Еще в 1867 г. Бисмарк заверял англичанина Кингстоуна, что никаких аннексий за счет Франции он цроизводить не собирается. «Мы никогда не начнем войны, — говорил тогда Бисмарк, — потому что нам нечего приобретать. Если предположить, что Франция будет совсем завоевана, а прусские гарнизоны расположены в Париже, то что нам придется делать со своей победой? Ведь не можем же мы захватить Эльзас, ибо эльзасцы стали французами и французами желают остаться». В то время когда эти слова были произнесены, Бисмарк уже готовил войну против Франции, как и последняя, не желая видеть рядом с собою воссоединенную Германию, готовилась к войне с Пруссией. Тем не менее в этих словах Бисмарка была известная доля истины. Бисмарк действительно сначала возражал против аннексии Эльзаса и Лотарингии. Он согласился лишь потому, что на этом решительно настаивал генеральный штаб. В основе лежали мотивы прежде всего стратегического, а также экономического характера. Но Бисмарк, которому нельзя отказать в трезвости взглядов, заранее отдавал себе отчет в том, что означает для внешней политики Германии присоединение Эльзаса и Лотарингии. Вскоре после окончания войны 1870—1871 гг. генеральный штаб запросил канцлера, может ли последний гарантировать, что со стороны Франции нет угрозы реванша. Бисмарк ответил, что он может гарантировать обратное, а именно, что новые войны между Францией и Германией неизбежны. Таким образом, после Франкфуртского мира Бисмарк всегда мог быть уверен в том, что в лице Франции любой враг Германии имеет своего потенциального союзника. Это выдвигало перед ним новую задачу: ослабить внутренние силы Франции и изолировать ее на международной арене. Отсюда его стремление предотвратить сближение между реваншистскими элементами Австрии и такими же элементами во Франции: Отсюда же в большой мере и его борьба с католицизмом, который не только прикрывал

[1] *Франкфуртский мир* — мир, подписанный между Германией и Францией после франко-прусской войны, 10 мая 1871 г.

партикуляристские элементы в самой Германии, но и мог способствовать сближению между антипрусскими элементами внутри Германии, с одной стороны, австрийскими и французскими реваншистами — с другой. В большой мере отсюда же и его стремление укрепить отношения с Россией. Стремление к изоляции Франции и привело Бисмарка к необходимости поддерживать добрые отношения с царской Россией и габсбургской монархией. Таковы были внешнеполитические результаты проведенной Бисмарком «революции сверху».

В своих мемуарах Бисмарк рассказывает, что еще в разгар кампании против Франции он был озабочен укреплением отношений с Россией и Австро-Венгрией. Таким образом, он стремился не допустить возможного повторения коалиции Кауница [1] — коалиции трех держав: России, Австрии и Франции. Он раскрывает и свою другую затаенную мысль, которой он был занят уже тогда,— привлечь к будущему союзу монархических держав и Италию. Однако Бисмарк не рассказывает, что уже тогда, когда из колыбели войны только еще вставала Германская империя, он искал сближения и с Англией.

Первые попытки имели место еще в те дни, когда лорд Россель явился к Бисмарку требовать объяснений по поводу отмены Россией запрещения содержать военный флот в Черном море. Уже тогда Бисмарк дал понять, что Англию и Австро-Венгрию он рассматривает как естественных союзников Германии. Этот намек сопровождался другим намеком, столь же многозначительным: Бисмарк говорил, что этот союз мог бы быть куплен ценой отказа от дружественных отношений с другими державами. В переговорах с «либеральной» Англией Бисмарк выдвинул на первый план консервативные принципы борьбы против революции и против Интернационала.

Уже в июне 1871 г. Бисмарк через германского посла в Лондоне обращал внимание лорда Гренвиля — английского министра иностранных дел — на «моральную ответственность» Англии в связи с тем, что руководящие органы Интернационала имеют свое местопребывание в Лондоне. Это было прелюдией, которая заключала в себе последующие мотивы: Бисмарк зондировал далее, не согласится ли Англия вместе с Германией установить «единый фронт против общей опасности». Один из современных нам немецких историков, Ганс Ротфельс, склонен считать, что Бисмарк таким образом пытался нащупать почву к более широкому политическому сближению с Англией. Попытка окончилась неудачей. Английское правительство ответило тем, что заняло весьма сдержанную позицию.

---

[1] *Кауниц* — австрийский канцлер в 1753—1792 гг., вдохновитель и организатор антипрусской коалиции в составе Австрии, Саксонии, России, Франции и Швеции. В Семилетней войне (1756—1763 гг.) эта коалиция привела к изоляции Пруссии на континенте и создала серьезную угрозу самому существованию Пруссии.

Тогда тот же идеологический щит консервативных начал был повернут в другую сторону. Он стал основой для сближения с царской Россией, а также с габсбургской Австрией. Примерно тогда же Бисмарк в одном секретном документе следующим образом формулировал исходные позиции германской политики: «До той поры, — указывал он, — пока мы не заложили более прочную основу наших отношений с Австрией, до той поры, пока в Англии не укоренилось понимание, что своего единственного, полноценного и надежного союзника на континенте она может обрести в Германии, — наши добрые отношения с Россией имеют для нас самую большую ценность». Рука, которую Бисмарк в 1870 г. предполагал протянуть в сторону Лондона, а в 1871 г. протянул, — осталась висеть в воздухе. Пришлось другой рукой укреплять отношения с Россией. В апреле 1873 г. он говорил русскому дипломату Стремоухову: «Ни одна держава не выказала такой трусости, как Англия (в 1870/71 г.). Ее колебания, ее неискренность дали много доказательств тому, что ее политика лишена твердых и нравственных основ; поэтому можно сказать с уверенностью, что Англия навсегда утратила дружбу, уважение и доверие всего мира».

В тот момент когда эти слова были произнесены, они очень приятно прозвучали для уха русской дипломатии. На это и рассчитывал Бисмарк, ибо он видел напряженность, создавшуюся в отношениях между Англией и Россией на Ближнем Востоке и в особенности в связи с успехами русских войск в Средней Азии. Но Бисмарк стремился укрепить свои отношения с царской Россией не потому, конечно, что ее политика, в противоположность английской, была тверда в своих «нравственных основах». Именно тогда, когда Англия теряла «навсегда дружбу, уважение и доверие всего мира», у Бисмарка, как мы видели, впервые, хотя быть может еще в смутной форме, зародился план тесного сближения с Англией. План этот не был осуществлен, и одной из причин этого являлось то, что Англия в то время чувствовала себя еще достаточно сильной и мощной державой, чтобы преждевременно не связывать себе руки. К этому союзу Бисмарк предполагал привлечь и Австро-Венгрию, которая независимо от Берлина делала попытку сблизиться с Англией для совместной в будущем борьбы против России на Балканском полуострове. Намечавшееся тогда, правда, в самых общих очертаниях, Тройственное соглашение между Германией, Англией и Австрией было бы, таким образом, направлено не только против Франции, но и против России. Эту комбинацию осуществить не удалось.

Тогда Бисмарк выдвинул на первый план идею общности династических интересов трех восточно-европейских монархий. На этой основе, в известной мере напоминающей принципы Священного союза, он создал союз трех императоров — гер-

майского, русского и австрийского (1873 г.). Это была временная комбинация, которую Бисмарк смог, однако, использовать для укрепления европейских позиций молодой Германской империи. Более всего он опасался — и тогда и впоследствии — связать себе руки. Еще тогда, когда основа союза трех императоров только закладывалась, Бисмарк стремился не допустить, чтобы русская дипломатия навязала ему какие-либо обязательства. Во время пребывания в Берлине Александра II, Франца-Иосифа и их первых министров он говорил английскому послу лорду Росселю: «Андраши мил и весьма понятлив. Что касается этого старого дурака (!) Горчакова, то он действует мне на нервы своим белым галстуком и своими претензиями на остроумие. Он привез с собою белую бумагу, много чернил и писцов, и он хочет здесь писать!.. Но я не обращаю на это никакого внимания». В союзе трех императоров Бисмарк стремился обеспечить международное положение Германии, сложившееся после Франкфуртского мира. Он стремился использовать не только свое политическое сближение с обеими империями, но и противоречия между ними. Не в меньшей мере он стремился использовать и более значительное противоречие между Россией и Англией, уже тогда развернувшееся на Ближнем Востоке и в Средней Азии. В этом плане отношения Бисмарка к России оказались вовсе не столь прямолинейными, как это представляется в «Мыслях и воспоминаниях».

В тот период Бисмарк напоминал Януса, и притом не двуликого, а имеющего три лица. Взирая с надеждой на Англию, он поддерживал близкие отношения и с Россией. В разговоре с русскими дипломатами он говорил «с пренебрежением об Англии и равнодушно об Австрии». Поддерживая и прикрывая австро-венгерскую экспансию на Балканы, он одновременно заверял русскую дипломатию: «У нас нет политических интересов на Востоке... Кредит, который мы можем там иметь, должен быть предоставлен как залог в распоряжение той державы, чье доброе расположение нам дорого и нужно. Не чувства, — заверял Бисмарк, — но политический расчет говорит нам, что такой державой является Россия, которая одна могла бы быть нам существенно полезна и дружба которой для нас необходима».

В то время дружба России нужна была Бисмарку для того, чтобы изолировать Францию; Бисмарк с неудовольствием замечал, что Франция досрочно выплатила контрибуцию и приступила к укреплению своей армии. Реакция, утвердившаяся во Франции после разгрома Парижской коммуны, стала готовиться к реваншу. В этой обстановке некоторые влиятельные военные и политические круги Германии, и прежде всего генеральшей штаб, начали всерьез думать о возможности новой, на сей раз превентивной войны против Франции. К этому побуждало и стремление найти выход из экономического кризиса, который настиг Германию внезапно и прервал грюндерский

ажиотаж, выросший под золотым дождем французских миллиардов.

Бисмарк не остался безучастным к подобным планам. Позднее в «Мыслях и воспоминаниях» он будет решительно доказывать политическую нелепость идеи превентивной войны. Но тогда он думал иначе. Еще в 1873 г., наблюдая рост французского реваншизма, он стал размышлять на тему о том, что такое своевременная и что такое превентивная война. Он считал, что выбор момента начала войны крайне важен для достижения конечной победы. Он доказывал, что ни одно правительство не будет настолько глупо, чтобы, уверившись в неизбежности или необходимости войны, пассивно выжидать ее и предоставить противнику возможность по собственному усмотрению выбрать момент, для того, чтобы нанести удар. «Немецкий деловой мир, — указывал Бисмарк, — хочет иметь перед собою ясный политический горизонт, и еще перед войной 1870 г. он считался с тем, что возникновение войны принесет ему меньше ущерба, нежели бесконечная угроза, что война вспыхнет». Впоследствии Бисмарк утверждал, что именно деловые круги, и прежде всего биржевики, а также интернациональная пресса повинны в том, что весной 1875 г. на Европу внезапно, как тяжелая туча, снова надвинулась опасность войны.

В «Мыслях и воспоминаниях» Бисмарк неоднократно возвращается к этому, казалось бы, незначительному эпизоду дипломатической истории. Этот факт имеет свое объяснение: здесь «железного канцлера» постигла первая крупная внешнеполитическая неудача, тем более для него досадная, что она сразу обнаружила основную опасность, которая, как дамоклов меч, нависла над Германской империей. Это была опасность борьбы на два фронта.

Дипломатическая подготовка превентивной войны против Франции, проведенная в самом начале 1875 г., не принесла желаемых результатов. Бисмарк понимал, что, не заручившись нейтральной позицией России, генерал Мольтке не сможет совершить свой вторичный победный марш на Париж. Чтобы прощупать позицию, которую может занять Россия, Бисмарк послал в Петербург молодого дипломата Радовица. Последний заверял царя и Горчакова, что «Германия стремится быть полезной русской политике, и во всех вопросах, т. е. вопросах, которые для России имеют особое значение, она стремится присоединиться к ее взглядам». Вскоре германская пресса, инспирированная Бисмарком, забила в барабан. Парижская пресса, инспирированная своим правительством, закричала на весь мир о грозящей Франции военной опасности. Французская дипломатия явно интриговала и в Лондоне и в Петербурге. И тут Бисмарк вскоре убедился, что его обещания, данные в Петербурге, оказались недостаточными. Он убедился также, что его расчеты на благоприятную позицию России довольно необоснованны. Когда

Александр II вместе с Горчаковым приехали в Берлин за объяснением по поводу поднятой военной шумихи, Бисмарку пришлось дать заверение, что о войне ни один серьезный человек в Германии и не помышляет. Вмешательство Горчакова Бисмарк объяснил личными мотивами, и в «Мыслях и воспоминаниях» читатель найдет много острых стрел, пущенных по адресу тщеславного русского канцлера, который постарался подчеркнуть свою легкую дипломатическую победу, одержанную над Бисмарком [1]. «Я никогда не предполагал, — сказал Бисмарк несколько позднее, — что Горчаков выступит в роли миротворца за наш счет, и если бы я был злопамятным человеком, то я запечатлел бы это в своем сердце».

Бисмарк несомненно запечатлел это. Еще и еще раз возвращается он к этому эпизоду, стремясь придать ему характер исключительно личной интриги русского канцлера. Бисмарк неистовствовал потому, что его неудача носила, прежде всего, политический характер. Он понял, что в случае войны с Францией Германия больше не может рассчитывать на нейтралитет России. Самое неприятное заключалось в том, что почти одновременно с Россией и по тому же поводу имело место и дипломатическое вмешательство Англии. Таким образом, вместо желанной изоляции Франции обнаружились симптомы возможной изоляции Германии, в случае если она предпримет новую войну. Было ясно, что союз трех императоров — группировка, на которую Бисмарк пытался опереться, — дал трещину. В этих условиях английская дипломатия заранее ожидала, что Бисмарк будет искать сближения с нею. Так оно и было. В самом начале января 1876 г. Бисмарк убеждал английского посла в Берлине, что в интересах Англии — укреплять отношения с такой

[1] В «Мыслях и воспоминаниях» Бисмарк особенно негодует по поводу той формы, в которой Горчаков анонсировал свою победу, разослав телеграмму: «Теперь мир обеспечен». В этой связи можно отметить одну любопытную деталь. Громы и молнии военной тревоги уже затихли, но Бисмарк все еще продолжал неистовствовать по поводу своей неудачи. Когда в беседе, состоявшейся много месяцев спустя, в декабре 1875 г., русский посол Убри сообщил Бисмарку о решениях, принятых в Петербурге «по восточному вопросу» (очевидно, в связи с восстаниями в Боснии и Герцоговине), Бисмарк прервал его словами, исполненными сарказма: «Теперь мир обеспечен». На недоуменное замечание, повидимому, несколько растерявшегося Убри Бисмарк ответил: «Я в шутку посоветовал князю Горчакову выступить в Петербурге в защиту мира. Ведь в бытность его летом в Берлине он высказался в таком смысле и даже дошел до того, что послал телеграмму германским дворам, которая была даже опубликована в Карлсруэ...» Убри пришлось возразить Бисмарку, стремившемуся «высказать все, что у него накипело», что пресловутая циркулярная депеша Горчакова не была предназначена для печати и что она была адресована не германским дворам, а русским миссиям... «Я не припоминаю, — заявил далее Убри, — чтобы указанная депеша заключала слово «теперь».— «Она и не заключала его»,— пометил Горчаков на полях донесения Убри. Это донесение, до сих пор не опубликованное, хранится в Москве в Государственном архиве внешней политики.

мощной и миролюбивой европейской державой, какой является Германия. Он заметил при этом, что Германия, не имея собственных интересов на Ближнем Востоке, готова предоставить там свое влияние в распоряжение дружественной державы. В Англии эти слова Бисмарка расценили как предложение о союзе. Ответа пока не последовало, и таким образом бисмарковское предложение повисло в воздухе.

Осложнения, возникшие на Балканском полуострове в связи с восстанием в Боснии и Герцоговине (1875 г.), были для Бисмарка сущим даром богов. Внимание всех европейских держав, прежде всего России, а затем и ее соперников — Австрии и Англии, было приковано к Ближнему Востоку. Это сразу укрепило международное положение Германии. Но это означало, что союз трех императоров развалился. Пришлось искать новые комбинации. В 1876 г., подготовляя войну на Балканах, Александр II запросил, какова будет позиция Германии в случае войны между Россией и Австрией. Ответ, продиктованный Бисмарком, гласил: Германия будет сожалеть, если такая война вспыхнет; однако если это все же случится, Германия вынуждена будет выступить на стороне той державы, которая окажется более слабой. В Петербурге поняли это так, что Германия не допустит разгрома Австрии. Таким образом, предположения царского правительства относительно позиции Германии не оправдались. Вскоре выяснилось, что столь же не оправдались и предположения Англии, но уже по другому поводу.

Когда положение на Ближнем Востоке обострилось в еще большей степени и в воздухе запахло порохом, Дизраэли решил, что настал момент для «реальных сделок» («real business»). Он высказался за то, что Германии следует предложить союз против России. Взамен Англия должна была гарантировать Германии неприкосновенность Эльзаса и Лотарингии. Бисмарк добивался гарантии западных германских границ и полной изоляции Франции на европейской арене. Но английские планы были для него неприемлемы, а цена за союз с Англией непомерно высока. Проект Дизраэли об англо-германском союзе означал, что Германия неизбежно была бы вовлечена в войну на два фронта — против России и тотчас же подоспевшей за нею Франции, и все это во имя интересов Англии на Ближнем Востоке. Как образно выразился Бисмарк впоследствии по другому поводу, он не хотел быть «гончей собакой, которую Англия натравливает на Россию». В ноябре 1876 г. он заметил в одном секретном документе: «Предоставим Англии, а также, возможно, Австрии самим для себя таскать каштаны из огня. Незачем нам брать на себя заботы других держав, — у нас и своих достаточно».

К концу 70-х годов, в связи с усилившейся борьбой европейских держав за раздел мира, международная обстановка стала еще более сложной, отношения стали еще более противоречи-

выми, а политических «забот» у Бисмарка стало еще больше. Как-то во время болезни он сделал набросок идеального, по его мнению, положения Германии: никаких новых территориальных приобретений, но общая политическая ситуация должна быть такой — все державы, каждая в отдельности, за исключением Франции, нуждаются в Германии, но противоречия между ними настолько велики, что создание общей коалиции против Германии становится невозможным делом. Разумеется, идеи, развитые в этом наброске, никогда не были осуществлены, хотя, по правде говоря, Бисмарк немало потрудился, чтобы способствовать усилению трений между европейскими державами. При этом он стремился никогда не потерять и своего контроля над событиями, которые иначе могли бы поглотить и всю его систему в области внешней политики. Впрочем, в этом отношении он ничем не отличался и от всех других политических деятелей своего времени.

Несколько позднее, в конце 70-х годов, стремясь по возможности приглушить реваншистские тенденции во Франции, Бисмарк начал поддерживать активную колониальную экспансию французской буржуазии. Он знал, что на этом пути Франция столкнется с Англией (в Индо-Китае, а главное—в Египте) и с Италией (в Тунисе). Вместе с тем он поддерживал и Англию и Италию как колониальных соперников Франции. Еще ранее он начал подталкивать на Ближнем Востоке и царскую Россию и габсбургскую Австрию. Но здесь он, однако, стремился не довести дело до войны. Он считал, что взаимное соперничество этих держав усиливает позицию Германии, а военная победа одной из этих держав над другой чревата для Германии опасностями. Он никогда не питал иллюзии, что Австрия в единоборстве с Россией окажется победительницей. Но он опасался, что в случае победы России над Австрией Германия, в известной мере, попадет в зависимое положение от своей восточной соседки. Поэтому он не хотел допустить поражения Австро-Венгрии. В ней он видел противовес России. Вместе с тем он не отказывался от мысли использовать при случае и другой противовес — Англию. В лавировании между всеми этими противоречивыми интересами главнейших европейских держав, но при точном учете своих собственных политических интересов, и заключалась роль Бисмарка — «честного маклера» на Берлинском конгрессе. Здесь, на этом конгрессе, и даже еще до его открытия, русский царизм, несмотря на военную, правда, с трудом добытую победу над Турцией, должен был отказаться от многих своих первоначальных завоеваний[1]. В этом нашла свое выражение общая историческая

[1] Берлинскому конгрессу предшествовало заключение мирного договора с Турцией, продиктованного Россией после победоносной для нее войны 1877—1878 гг. в Сан-Стефано, под Константинополем, 3 марта 1878 г.

тенденция падения политического влияния царской России на международной арене. Берлинский конгресс обнажил антагонизмы, развертывавшиеся между европейскими державами. Нарастание этих антагонизмов не позволило Бисмарку далее продолжать его прежнюю линию. Перед Бисмарком встал вопрос: с кем итти? Его выбор пал на Австро-Венгрию.

В «Мыслях и воспоминаниях» Бисмарк подробно объясняет причины этого исторического решения. Он забывает, однако, отметить два весьма существенных факта, из коих один имеет значение для понимания исторической обстановки, другой — для понимания его собственных политических планов и методов. Бисмарк не отмечает, какую роль к этому времени начали играть экономические противоречия, нараставшие со второй половины 70-х годов между правящими классами Германии и царской России. Переход к протекционистской системе еще более обострил экономическую борьбу господствующих классов России и Германии. Династические связи, существовавшие между Россией и Германией, не могли выдержать напора этих новых антагонизмов. Император Вильгельму его окружение упорно отвергали проект союза с Австро-Венгрией, так как они видели в нем инструмент, направленный против России. Бисмарк сломил сопротивление императора, но он не рассказывает полностью, каковы были его аргументы. Они — мы это знаем теперь из соответствующих документов — были многообразны. Но в данном случае обращает на себя внимание один: Бисмарк доказывал, что, заключив союз с Австро-Венгрией, Германия сможет легче добиться союза и с Англией.

Это не были пустые слова. Осенью 1879 г. Бисмарк снова запрашивал Англию, не согласна ли она пойти на союз с Германией. Дизраэли ответил, что правящие круги Англии смотрят на Германию и на Австро-Венгрию как на своих естественных союзников и охотно осуществили бы этот союз. Центральный вопрос, указывал он далее, заключается в том, какова будет позиция Франции в случае, если Германии придется воевать на Востоке — против России. Но тогда, заверял он, Германия может быть спокойна: не будучи уверена в благоприятной позиции Англии, Франция не посмеет ударить в тыл Германии,

---

По Сан-Стефанскому договору, Россия добилась независимости Сербии, Румынии и Черногории от Турции, создания Болгарского княжества от Черного до Эгейского моря, возвращения Бессарабии, присоединения Карса, Батуми, Ардагана и Баязета. По настоянию Англии и Австрии Сан-Стефанский договор был пересмотрен на Берлинском конгрессе, заседавшем под председательством «Бисмарка 13 июня — 13 июля 1878 г. Согласно решению Берлинского конгресса Болгария делилась на три части, две из которых — Восточная Румелия и Болгарская Македония — оставались по-старому под полной властью Турции. Уступленные России по Сан-Стефанскому договору долина Алашкерт и г. Баязет в Малой Азии возвращались обратно Турции.

а что последняя не нападет на Францию, добавил он не без иронии, это само собой разумеется. Дизраэли подчеркивал, что самые влиятельные круги Англии, включая королеву Викторию и принца Уэльского, знают только одного врага — Россию. Похоже было на то, что Англия под видом союза пыталась натравить Германию против России. Бисмарка явно не удовлетворил ответ Дизраэли. На донесении германского посла в Лондоне, Мюнстера, сообщавшего, что в случае войны между Германией и Россией Дизраэли обещает сдерживать Францию, Бисмарк написал: «И больше ничего?» В другом месте Мюнстер сообщал из Лондона: «Война против России была бы здесь популярной, и ее считают более безопасной для Англии». Против этих слов Бисмарк написал: «Но не для Германии». Бисмарк понимал, какие трудности представляет война с Россией, и он не видел оснований к тому, чтобы Германия в нее ввязалась. Уяснив себе это, он вышел из игры. Бисмарк подписал в 1879 г. союзный договор с Австро-Венгрией, которой гарантировал вооруженную помощь в случае войны с Россией. Со своей стороны Австро-Венгрия, предоставляя Германии помощь в случае войны с Россией, обязалась соблюдать нейтралитет в случае войны с Францией. Менее чем через три года Бисмарк застраховал себя против Франции также и союзом с Италией.

Однако еще ранее, едва подписав союз с Австро-Венгрией, Бисмарк снова начал подготовлять политическую почву для сближения с Россией. На первых порах из этого ничего не вышло, так как с русской стороны пытались добиться такого соглашения, которое было бы направлено против Австро-Венгрии. Бисмарк на это не пошел. В дальнейшем из политической реторты была извлечена старая, уже однажды поблекшая идея солидарности монархических интересов трех восточных империй. После убийства Александра II (1881 г.) эта идея снова оказалась актуальной, и Бисмарку удалось на короткий срок возродить союз трех императоров. В рамках этого союза ему удалось предотвратить столкновение своей австрийской союзницы с Россией — столкновение, которое неминуемо могло бы втянуть Германию в войну с Россией. Между тем он этой войны не хотел. Далее, в рамках союза трех императоров ему удалось задержать сближение, которое уже явно намечалось между Россией и Францией. Таким образом, он упорно стремился отвратить опасность войны с Россией, которая неизбежно для Германии превратилась бы в войну на два фронта. Наконец, застраховав себя на Востоке, Бисмарк, понукаемый уже возросшими к этому времени интересами экспансии германского капитала, встал на путь активной политики колониальных приобретений.

На этом пути его поджидали серьезные политические и дипломатические осложнения. Англия ревностно следила за колониальной политикой молодой Германской империи и, как только могла, препятствовала ей. Так обнаружилась первая

вспышка англо-германских противоречий на колониальной арене. Германский канцлер, сердцу которого юнкерские интересы были все еще ближе, сначала неохотно принялся за приобретение колоний. Но затем он поддался влиянию некоторых финансовых кругов и крупных торговых компаний. Раз встав на этот путь, он сразу взял высокий тон. На препятствия, чинимые германской колониальной политике в Африке, он готов был ответить разрывом отношений с Англией. Вместе с тем он демонстрировал в тот момент свою готовность итти на сближение даже с Францией, поскольку это ухудшало позицию Англии в колониальных вопросах. Своей твердой политикой в отношении Англии он добился сравнительно многого. Если в 1885—1886 гг. он вынужден был все же свернуть свою политику колониальных приобретений, то в значительной мере потому, что в Европе развернулись события, которые могли втянуть Германию в войну на два фронта.

Соперничество на Балканах между Россией и Австро-Венгрией, особенно обострившееся в это время в связи с их борьбой за влияние в Болгарии, окончательно развалило союз трех императоров. На юго-востоке Европы, таким образом, снова вспыхнула опасность войны между Австро-Венгрией и Россией. С другой стороны, рост буланжизма [1] во Франции вызвал угрозу войны-реванша. Но если на Балканах Бисмарк стремился предотвратить назревавший конфликт между своей австро-венгерской союзницей и Россией, то на Западе он в тот момент сам готов был раздувать опасность войны. Это имело основания в области внутренней, а также и в области внешней политики. Выборы в рейхстаг, проведенные в обстановке «военной тревоги», дали канцлеру более послушное парламентское большинство и развязали ему руки в отношении дальнейших вооружений. С другой стороны, Бисмарк надеялся на то, что Россия, занятая своей борьбой за влияние в Болгарии, не будет чинить ему препятствий на Западе. Если в таких условиях французские реваншисты бросают Германии вызов, почему бы его не принять? Почему бы не воспользоваться условиями и не провести неизбежную войну? Несмотря на продолжавшееся с обеих сторон обострение отношений, дело до войны между Францией и Германией не дошло. Во Франции буланжистское движение вскоре начало затихать. С другой стороны, Германия могла убедиться, что в случае своего нападения на Францию она едва ли может надеяться на нейтралитет России. Как и в 1875 г., военная тревога, на сей раз более острая и продолжительная, пошла на убыль.

Последние пять лет пребывания Бисмарка у власти были периодом его наибольшей дипломатической активности, Нара-

[1] *Буланжизм* — реакционно-шовинистическое и реваншистское движение во Франции во второй половине 80-х годов, названное по имени возглавлявшего это движение генерала Буланже.

стание империалистических интересов в ряде крупнейших европейских стран, погоня за новыми колониальными приобретениями — все это усложняло старые и порождало новые антагонизмы. Приходилось считаться и с тем, что во внешней политике ряда европейских государств начали все более явственно проступать новые тенденции. Непродолжительное сближение между Германией и Францией уже закончилось к весне 1885 г. Одной из основ этого сближения являлись параллельные интересы в области колониальной политики; на этом пути у обеих держав начались неизбежные трения с Англией. Отставка кабинета Жюля Ферри знаменовала, что Франция откажется от антианглийского курса своей политики и что идеи реванша снова выплывут на передний план. С другой стороны, в России усилилась агитация за сближение с Францией. Агитация эта питалась не только противоречиями, которые развертывались на Балканах между Россией и германской союзницей — Австро-Венгрией, но и усилившейся экономической борьбой между господствующими классами царской России и Германии. В интересах прусских аграриев Бисмарк проводил такую таможенную политику, которая могла только обострить отношения между Россией и Германией. Начавшееся проникновение германских капиталов на Ближний Восток также в известной степени охлаждало отношения между этими двумя державами. Свернув колониальную политику Германии и урегулировав некоторые возникшие на этой почве спорные вопросы, Бисмарк расчистил путь к улучшению отношений с Англией. Вместе с тем нужно было продолжать борьбу за предотвращение союза между Россией и Францией, за улучшение отношений с восточной соседкой. Но это было не так просто. Соперничество между Англией и Россией на Ближнем Востоке и в особенности в Средней Азии поставило эти державы, по выражению Ленина, на волосок от войны. Соперничество между Австро-Венгрией и Россией на Балканах не уменьшилось. Бисмарковская Германия подталкивала царскую Россию в обоих направлениях, считая, что это отвлечет последнюю от европейских дел. Английская «Таймс» весной 1885 г. бросила Бисмарку обвинение в том, что он сознательно стремится обострить отношения между Россией и Англией, что он разжигает между ними войну. Бисмарк считал, что это обвинение инспирировано из французских источников, заинтересованных в том, чтобы воздействовать на Англию в антигерманском духе. В этой связи он представил императору Вильгельму свои соображения по существу вопроса. «У Германии, — писал Бисмарк, — нет никаких интересов препятствовать тому, чтобы Россия, которая должна же предоставить своей армии где-то действовать, искала этой возможности лучше в Азии, чем в Европе». При всей напряженности отношений, существовавших тогда между Англией и Россией, Бисмарк считал, что со временем сближение между этими держа-

вами не исключено. Более того, он даже не исключал возможности в будущем союза между ними. Однако в этом он видел страшную для Германии опасность, которую необходимо всеми силами предотвратить. «Поэтому, — считал Бисмарк, — германская политика должна ближе подойти к попытке установить между Англией и Россией скорее враждебные, нежели слишком интимные отношения». Это было сказано по крайней мере откровенно. В этой сложной обстановке нагромождающихся противоречий Бисмарк создал вокруг Германии новую разветвленную систему дипломатических отношений. Подтачиваемая внутренними антагонизмами, эта система в существенных своих звеньях начала распадаться еще в период отставки Бисмарка. Многие историки склонны видеть в ней виртуозное достижение дипломатического искусства Бисмарка.

В 1887 г. истек срок Тройственного союза. Возобновив договор на новый срок, Бисмарк тем самым укрепил свои отношения с Австро-Венгрией и Италией. Как и раньше, одно острие этого союза было направлено против России, другое — против Франции. В отличие от прежнего договора Бисмарк согласился удовлетворить претензии итальянского правительства и поддержать его колониальные требования в Африке. В переговорах он соглашался предоставить Италии не только Тунис, но и Корсику и Ниццу. Несколько позднее между Германией и Италией была подписана военная конвенция, которая предусматривала, в случае войны против Франции, использование итальянских войск на западной германской границе. В то же время, продолжая свою линию, рассчитанную на изоляцию Франции, и стремясь не допустить такого положения, когда Германии придется воевать на Востоке и на Западе, Бисмарк снова пытается укрепить отношения с Россией. Инструмент, существовавший в течение нескольких лет — союз трех императоров, фактически отказал. Союз распался, не выдержав напора заключенных в нем противоречий между Россией и Австро-Венгрией. В 1887 г. срок договора истек, и царское правительство не пожелало более его возобновлять. Бисмарк постарался тогда заменить его новым договором. Он ознакомил русскую дипломатию с содержанием секретного договора, заключенного им с Австро-Венгрией. Затем, на сей раз за спиной своей союзницы, он предложил России заключить новый договор — двусторонний. Договор предусматривал взаимный нейтралитет России и Германии, в случае если одна из держав будет вовлечена в войну. Предусмотрено было, что договор потеряет силу, в случае если Россия нападет на Австро-Венгрию или если Германия нападет на Францию. В результате положение Германии было таково: союз с Италией страховал ее на случай войны с Францией, союз с Австро-Венгрией страховал ее на случай войны с Россией. Теперь договором с Россией Бисмарк перестраховался и с этой стороны (отсюда и обычное

название «договор о перестраховке»). Этим секретным договором Бисмарку удалось на время предотвратить назревавший союз между Францией и Россией. Царская дипломатия потребовала оплаты, и Бисмарк охотно пошел на это. В особом протоколе были сформулированы обязательства Германии «сохранять доброжелательный нейтралитет и оказать моральную и дипломатическую поддержку» России, в случае если она найдет нужным «принять меры к защите входа в Черное море» (п. 2). Протокол этот носил сугубо секретный характер, и потому весь договор иногда называют «договором с двойным дном». Правильней было бы, однако, назвать предложенную комбинацию «договором с пробитым дном», ибо реально все было сделано для того, чтобы обещанная России компенсация не могла быть осуществлена на деле. В «Мыслях и воспоминаниях» Бисмарк об этом не говорит ни слова. Только в одном месте он намекает на это обстоятельство: он говорит, что не в интересах Германии мешать России растрачивать ее силы на Ближнем Востоке. Дело же заключалось в том, что Бисмарку в этом вопросе удалось установить, хотя и не непосредственно, закулисный контакт с Англией.

Инициатива исходила от Англии. Это было время очень острых ее противоречий с Россией. Лондонское правительство озабочено было перспективой войны с Россией в связи с борьбой за раздел в Средней Азии. Еще летом 1885 г. лорд Рандольф Черчиль, занимавший пост статс-секретаря по делам Индии, в беседе с Вильгельмом Бисмарком (вторым сыном канцлера) высказался о желательности англо-германского союза, направленного против России. Молодой Бисмарк, повидимому, уклонился от обязывающих заявлений. Позднее, в декабре того же года, Черчиль обратился с тем же предложением к германскому послу в Лондоне Гацфельду. «Мы с вами вдвоем могли бы управлять всем миром», — говорил Черчиль. Бисмарка подобная многообещающая приманка не соблазнила. Он сразу увидел в ней ловушку: «Мы и теперь готовы были бы, — указывал Бисмарк, — охотно помочь Англии во всех вопросах. Но мы не можем ради этого жертвовать нашими хорошими отношениями с Россией. Наши границы на Востоке имеют слишком большую протяженность, чтобы мы могли поставить себя в такое опасное положение, когда нам, в случае войны с Францией, придется половину нашей армии бросить на защиту восточной границы». Планы Рандольфа Черчиля об использовании Германии для войны против России имели довольно широкое распространение в руководящих правительственных кругах Англии.

Германская дипломатия с самого начала поняла сокровенный смысл многообещающих английских предложений о союзе. Летом 1886 г. лорд Розбери — министр иностранных дел — снова убеждал германского посла Гацфельда в том, как необ-

ходим для Германии союз с Англией. Сообщая об этом в Берлин, Гацфельд дал следующие комментарии: «Это снова все те же расчеты, с которыми я здесь уже многократно встречался, — а именно: то Австрия, то Германия призваны в случае нужды таскать для Англии каштаны из огня». Уклоняясь от союза с Англией, смысл которого был разгадан, Бисмарк, в особенности в последние годы своего канцлерства, все же искал сближения с нею. Сближение это, однако, принимало своеобразные формы. И Англия и Германия — каждая из них стремилась подтолкнуть другую на первую линию огня в борьбе против России. Бисмарк никак не хотел, чтобы Германия попала в такое положение, когда ей придется «таскать каштаны из огня» в интересах Англии, но он отнюдь не возражал, чтобы сама Англия принялась за это занятие.

Первое могло случиться, если бы Германии пришлось выступить в защиту Австро-Венгрии, против России. Бисмарк рассчитывал, что эту опасность он всегда сумеет предотвратить. «Возникновение войны, — признался он однажды в конце 1887 г., — зависит вовсе не от того, нападет ли Россия на Австрию». Бисмарк видел и другие возможности: «Возникновение войны зависит от позиции, которую по отношению к России займет Англия: возьмет ли она на себя роль рабочего быка или ожиревшего, страдающего от удушия». Своим «сближением» с Англией Бисмарк и стремился подтолкнуть английского быка к более активным и притом самостоятельным действиям. Бисмарк считал это очень выгодным для Германии. «Если Англия, — признавался он тогда же, — окажется рабочим быком, то не только будет парализован французский флот, но против России пойдут и турки». В этих словах Бисмарк по существу раскрыл смысл незадолго до того созданной новой международно-политической комбинации, а еще более— свое отношение к ней.

Не добившись союза с Германией, английское правительство должно было итти на соглашение с Австро-Венгрией и Италией (1887 г.). Это соглашение, известное ныне под названием «средиземноморской Антанты», направлено было против русских устремлений к проливам и одновременно против французских колониальных домогательств в Средиземном море. Германия к этому соглашению не примкнула, но Бисмарк участвовал в создании и дальнейшем укреплении этой Антанты. Теперь понятно, почему он согласился положить на «второе дно» секретного перестраховочного договора обещания содействовать русским в вопросе о проливах. Он знал, что на этом пути Россия встретит противодействие со стороны Англии. Более того, он сам закулисно налаживал сотрудничество между Англией, с одной стороны, Австро-Венгрией и Италией — с другой. Таким образом, добившись от России нейтралитета в случае нападения Франции на Германию, он ничего, собственно

говоря, не платил. Но зато он предотвращал возможный союз между Францией и Россией. С другой стороны, он загонял царскую Россию, по его собственным словам, «в мышеловку». Англо-русская война могла бы предоставить Германии значительные преимущества. Перестраховав Германию договором с Россией против Франции, он пытался застраховать Германию сближением с Англией против России.

К этому сближению с Англией его толкали не только требования определенной части германской буржуазии, считавшей, что это облегчит доступ германским товарам на мировые рынки. К сближению с Англией его толкали не только неприязненные отношения с Францией, — к этому его толкало обострение противоречий между Германией и царской Россией. В интересах прусского юнкерства Бисмарк продолжал повышать тариф на хлеб и тем самым установил высокий таможенный барьер для русского экспорта. Со своей стороны, царское правительство вело острую экономическую борьбу против Германии. Оно беспрестанно вводило высокие запретительные тарифы на товары германского происхождения. Оно начало бойкотировать германские порты. Стремясь сохранить блок прусских аграриев и немецкой буржуазии, Бисмарк должен был защищать экономические интересы этих классов. Он должен был бороться против русской конкуренции на хлебном рынке Германии и других стран. Он должен был пробивать дорогу германским товарам и германским капиталам на русский рынок. По существу между Россией и Германией развертывалась экономическая война. Это находилось в полном противоречии с внешней политикой Бисмарка, преследовавшего цель — предотвратить подлинную войну Германии с Россией. Бисмарковская система «перестраховки» была, таким образом, лишь сложной дипломатической конструкцией, воздвигнутой на взрывающейся почве экономических конфликтов. Она отодвигала назревавший конфликт, отражавшийся в сфере *политических* отношений, но не устраняла его опасность. Несмотря на подписание перестраховочного договора (он оставался секретным), и германская и русская пресса вели друг против друга ожесточенную кампанию, которая свидетельствовала об обострении отношений между двумя странами. В руках Бисмарка одним из орудий улучшения отношений с царской Россией являлись финансовые займы, предоставляемые германской биржей. Открывая царскому правительству доступ на германский денежный рынок, Бисмарк тем самым в некоторой степени задерживал ухудшение русско-германских отношений. Займы, предоставленные в середине восьмидесятых годов, сыграли в этом смысле немалую роль. Однако в 1887 г., в ответ на введение в России протекционистского тарифа, Бисмарк решил закрыть царскому правительству дальнейший доступ на германский денежный рынок. Бисмарк надеялся, что подобного рода давле-

ние сделает тогдашнюю Россию более податливой в отношении экономических требований Германии. Он просчитался. Царское правительство ответило на это репрессиями, направленными против немцев и немецких капиталов в России. Нуждаясь в деньгах и узнав, что двери берлинских банков перед ним закрыты, царское правительство обратилось на французский денежный рынок. Это ускорило сближение между русским царизмом и французской биржей. На горизонте европейской политики обрисовались первые контуры будущего франко-русского союза.

В этих условиях в самом начале 1889 г. Бисмарк делает еще одну попытку более тесного сближения с Англией. Он предлагает английскому премьеру Сольсбери заключить союз между Германией и Англией. Формально острие союза предполагалось направить против Франции. Какие цели преследовал Бисмарк этим предложением?

В своей только что вышедшей книге «Германия между Россией и Англией» немецкий историк Вильгельм Шюсслер высказывает предположение, что Бисмарк в данном случае преследовал две цели: во-первых, он стремился сближением с Англией воздействовать на Россию, чтобы заставить ее продлить истекавший «договор о перестраховке»; во-вторых, если бы это не удалось и разрыв с Россией состоялся, Бисмарк стремился застраховать Германию союзом с Англией против России. В этом Шюсслер склонен усматривать огромный успех бисмарковской политики, осуществить которую полностью не удалось ввиду отставки канцлера.

Но об успехах обычно судят по их результатам. Сложные дипломатические комбинации Бисмарка окончились неудачно. Незадолго до своей отставки, в августе 1889 г., Бисмарк на заседании прусского министерства признался, что на протяжении десяти лет задача германской политики заключалась в том, чтобы привлечь Англию к Тройственному союзу. Бисмарк считал, что осуществить это возможно только в том случае, «если Германия будет снова и снова подчеркивать свое равнодушие по отношению к восточным вопросам». «Но если Германия поссорится с Россией, — заявлял Бисмарк, — то Англия будет сидеть смирно, предоставив Германии таскать для нее каштаны из огня». Но Англия, привыкшая воевать чужими руками, на другой союз и не хотела итти. На предложение Бисмарка Сольсбери ответил вежливым отказом. Бисмарку пришлось сделать огромные усилия, чтобы, в условиях обострявшихся экономических противоречий с Россией, сохранить политический «провод», соединявший Россию и Германию. Он всячески стремился добиться восстановления «договора о перестраховке». Иначе вся его система, воздвигнутая с таким искусством в течение двух десятков лет, была бы разрушена. «Я вполне понимаю, — поведал он накануне отставки русскому послу в Берлине

Павлу Шувалову,—что если бы мы роковым образом оказались втянутыми в войну с Францией, то, в случае нашего успеха, Россия в известный момент сказала бы нам: «Стоп!», и мы бы остановились». Но, потерпев неудачу в переговорах с Англией, он тем более энергично должен был добиваться возобновления договора с Россией. Ему пришлось вести борьбу с проанглийским влиянием части германской буржуазии, с некоторыми придворными кругами, а также с генеральным штабом, который считал тогда войну с Россией неизбежной и хотел ее ускорить.

После того как ясно стало, что внутренняя политика Бисмарка, связанная с исключительными законами против социалистов, потерпела крушение, положение Бисмарка явно пошатнулось. Чтобы укрепить свое положение, он стал еще более яростно добиваться укрепления отношений с Россией, но это вызвало подозрение даже у Шувалова. «Я задаюсь также вопросом,— сообщал Шувалов в Петербург в марте 1890 г.,— не является ли утверждение Бисмарка, что причиной его ухода служит, между прочим, то обстоятельство, что император считает его руссофилом, лишь своего рода маневром, имеющим целью вызвать с нашей стороны демонстрацию, которую он мог бы использовать как доказательство того, что он один является гарантией добрых отношений между нашими государствами».

После того как воздвигнутая система перестраховок рухнула, Бисмарк, находясь в отставке, еще более убедился, какая опасность грозила Германии, когда ее отношения с Россией ухудшились. Вместе с тем можно предполагать, что именно неудачи его попыток сближения с Англией послужили побудительной причиной того, что в своих «Мыслях и воспоминаниях» он обошел молчанием те страницы своей внешнеполитической и дипломатической деятельности, которые заполнены были его переговорами с Англией. Но даже идя на сближение с Англией, он никогда не хотел довести дело до войны между Германией и Россией.

Обозревая в своем политическом завещании опасности, грозившие самому существованию Германской империи, Бисмарк останавливался на одной: главную опасность для Германии он видел в столкновении с Россией. Он отрицал наличие таких противоречий между царской Россией и Германией, которые заключали бы в себе «неустранимые зерна конфликтов и разрыва». Разумеется, это не совсем верно. Между правящими классами царской России и гогенцоллерновской Германии существовал ряд весьма существенных противоречий экономического и политического порядка. Но характерно, что в своем политическом завещании Бисмарк считал необходимым отодвигать их на задний план. Необходимость защиты интересов Австро-Венгрии в конце концов также, повидимому, отошла бы на задний план, если бы перед Бисмарком был поставлен ребром вопрос о войне с Россией. По свидетельству Гацфельда, Бисмарк неодно-

кратно говорил в кругу наиболее близких ему людей, что на случай войны с Францией у него всегда имеются средства, «даже в последнюю минуту приобрести нейтралитет России, — бросив Австрию и передав таким образом России Восток». Намеки относительно этой возможности можно уловить и в «Мыслях и воспоминаниях». Бисмарк призывает здесь вести «правильную политику», исходя из которой он советовал: «Не терять из виду заботы о наших отношениях с Россией, несмотря на то, что мы чувствуем себя достаточно защищенными от нападения России уже существующим Тройственным союзом... Даже если бы эта защита по прочности и длительности была несокрушимой,— указывает далее Бисмарк, — у нас все-таки нет никакого права и никаких оснований ставить германский народ ради английских и австрийских ближневосточных интересов под угрозу тяжелой и неблагодарной войны с Россией, — если этого не требуют наши собственные интересы или опасения за целость Австрии».

Каковы же были аргументы, которые Бисмарк столь настойчиво выдвигает в пользу политики, направленной к установлению добрососедских отношений с Россией?

Бисмарк много говорит о необходимости для гогенцоллерновской Германии поддерживать династические связи с царской Россией. Для монархиста, каким был Бисмарк, это естественно. Он видел тот животный страх, который испытывал русский царь и его присные при мысли о возможном революционном возмущении народа. Он видел, что война может привести к падению династии Романовых. Однако это было не единственное и тем более не решающее соображение, которое возникало у него при мысли о дальнейшем направлении политики Германии в отношении России.

Как правильно отмечает упомянутый немецкий историк Шюсслер, в основе этой политики Бисмарка было заложено понимание силы и непобедимости русского народа. Перед взором Бисмарка, любившего, прежде чем бросить взгляд вперед, оглянуться на прошлое, стоял опыт походов в Россию Карла XII и Наполеона I. Оба похода закончились неудачно. Бисмарк видел широкие российские пространства. Он понимал их стратегическое значение и считал, что они непреодолимы для иноземной силы. В «Мыслях и воспоминаниях» он отмечает, что даже при счастливом ходе войны против России никто не сможет уничтожить необъятных возможностей огромной страны.

* * *

В 1890 г. Бисмарк получил отставку и должен был уйти. Личная неприязнь к нему молодого кайзера Вильгельма II сыграла известную, но все же сравнительно второстепенную роль. Он должен был уйти потому, что, в условиях быстрого капи-

талистического развития воссоединенной им Германии, уже успели вырасти глубокие классовые противоречия между усиливающимся рабочим классом и буржуазно-юнкерским блоком. Введенные им и существовавшие в течение 12 лет исключительные законы против социалистов, разумеется, никак не могли устранить эти противоречия. Противоречия среди правящих классов Германии слишком обнажились, и своей экономической политикой Бисмарк не смог эти противоречия преодолеть. Он не смог в полной мере удовлетворить стремление нарождающегося финансового капитала к экспансии на внешние рынки, к приобретению новых колоний. В условиях складывавшихся империалистических антагонизмов его внешняя политика начала претерпевать известного рода кризис. Он колебался между Россией и Англией, стремился использовать одну державу против другой и в конце концов подготовил такое положение, когда обе эти державы отказали империи в своей поддержке. Помещик из Шенгаузена — основатель Германской империи—был крупным дипломатом, реальным и трезвым политиком. Он сумел в области внешней политики подняться выше своего класса, сумел понять исторические задачи, стоявшие тогда перед Германией, и разрешил их по-своему, но на следующем этапе он не смог освоить новые условия классовых и международных отношений, складывавшихся в период империализма. Великий юнкер снова вернулся в свое поместье. Незадолго до своей смерти он посетил крупнейший порт Германии, Гамбург и, глядя на океанские корабли, отправляющиеся в далекий рейс, промолвил: «Да, это другой мир, новый мир...»

А. Ерусалимский

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДО ПЕРВОГО СОЕДИНЕННОГО ЛАНДТАГА[1]

I

В качестве естественного продукта нашей государственной системы образования я к пасхе 1832 г. окончил школу пантеистом[2]. Если я и не был республиканцем, то все же был тогда убежден, что республика есть самая разумная форма государственного устройства; к этому присоединялись размышления о причинах, заставляющих миллионы людей длительно повиноваться *одному,* между тем как от взрослых мне приходилось слышать резкую и непочтительную критику правителей. Из подготовительной гимнастической школы Пламана с ее традициями Яна[3], в которой я воспитывался с шестилетнего до двенадцатилетнего возраста, — я вынес наряду с этим немецко-национальные впечатления. Но эти впечатления оставались в стадии теоретического созерцания и были не настолько сильны, чтобы вытравить во мне врожденные прусско-монархические чувства. Мои исторические симпатии оставались на стороне власти. С точки зрения моих детских понятий о праве, Гармодий и Аристогитон были, так же как и Брут, преступниками, а Телль — бунтовщиком и убийцей. Меня раздражал любой немецкий князь, противодействовавший до Тридцатилетней войны[4] императору; но, начиная с великого курфюрста[5], я был уже настолько пристрастен, что осуждал императора и находил естественной подготовку Семилетней войны[6]. Тем не менее немецкое национальное чувство было во мне так сильно, что в первое время моего пребывания в университете я примкнул к студенческой корпорации (Burschenschaft)[7], которая провозглашала своей целью заботу о развитии этого чувства. Однако при личном знакомстве с членами корпорации мне не понравилось их стремление избегать дуэлей и отсутствие у них внешней благовоспитанности и манер, принятых в обществе. Когда я узнал их еще ближе, то не мог одобрить и их экстравагантных политических взглядов, объяснявшихся недостатком образования и знакомства с существующими, исторически сложившимися условиями жизни, которые

мне, в мои 17 лет, приходилось наблюдать непосредственней, нежели большинству старших, чем я, студентов; у меня сложилось впечатление, что утопизм сочетался у них с недостатком воспитанности. В глубине души я тем не менее сохранял свои национальные чувства и веру в то, что развитие в близком будущем приведет нас к германскому единству [8]; с моим другом, американцем Коффином я заключил пари, что эта цель будет достигнута не позже чем через двадцать лет.

Мой первый семестр совпал с Гамбахским праздником (27 мая 1832 г.) [9], его песни остались в моей памяти; третий семестр совпал с Франкфуртским путчем (3 апреля 1833 г.) [10]. Эти факты произвели на меня отталкивающее впечатление; мне, воспитанному в прусском духе, претило насильственное посягательство на государственный порядок. Я возвратился в Берлин не столь либерально настроенным, как до моего отъезда оттуда. Но эта реакция вновь ослабла, после того как я вошел в более непосредственное соприкосновение с государственным механизмом. То, что я думал о внешней политике, которой публика мало в то время интересовалась, было в духе освободительных войн [11], воспринятых под углом зрения прусского офицера. При взгляде на географическую карту меня раздражало, что Страсбургом владели французы, а посещение Гейдельберга, Шпейера и Пфальца [12] возбудило во мне чувство мести и воинственное настроение. В период, предшествовавший 1848 г., аускультатору [13] каммергерихта и правительственному референдарию без связей в министерских и высших ведомственных кругах почти невозможно было рассчитывать на какое бы то ни было участие в прусской политике. Ему нужно было сначала пройти однообразный, измеряемый десятилетиями путь по ступеням бюрократически лестницы, пока, наконец, высшие инстанции могли обратить на него внимание и приблизить его к себе. В качестве примера, достойного в этом отношении подражания, мне в моем семейном кругу указывали тогда на таких людей, как Поммер-Эше и Дельбрюк, а в качестве подходящего направления деятельности рекомендовали работать [в органах] Таможенного союза [14]. Я же, насколько в моем возрасте вообще мог серьезно думать о служебной карьере, имел в виду дипломатическую деятельность даже после того, как встретил мало поощряющий прием со стороны министра Ансильона при моем обращении к нему по этому поводу. Как на образец тех качеств, которых недоставало нашей дипломатии, он указывал— не мне лично, а высшим сферам — на князя Феликса Лихновского, хотя личность эта вела себя в Берлине так, что не могла, казалось, рассчитывать на сочувственное отношение со стороны министра, происходившего из среды протестантского духовенства [15].

Министр находил, что наше доморощенное прусское поместное дворянство не могло дать дипломатии необходимого ей пополнения и не в состоянии было возместить недостаток в дарованиях, который он замечал в личном составе этого ведомства. Такой взгляд имел известное основание. В качестве министра я всегда питал особое расположение к коренным прусским дипломатам, как к своим землякам, но долг службы редко позволял мне проявлять это предпочтение на деле: обычно — лишь в тех случаях, когда я имел дело с лицами, перешедшими с военной службы на дипломатическую. У чисто прусских дипломатов из штатских, не знакомых вовсе или недостаточно знакомых с военной дисциплиной, я обыкновенно встречал излишнюю склонность к критике, к всезнайству, к оппозиции и личной обидчивости; все это усиливалось неудовольствием, которое испытывает эгалитарное чувство старого прусского дворянина, когда человек одного с ним положения оказывается выше его или, — вне отношений, связанных с военной службой, — становится его начальством. В армии эти круги на протяжении столетий свыклись с подобной возможностью и, достигнув более высоких постов, вымещают на своих подчиненных остаток того недовольства, которое испытывали сами по отношению к прежнему начальству. В дипломатии дело осложняется тем, что аспиранты[16] из числа состоятельных лиц или лиц, случайно владеющих иностранными языками, особенно французским, претендуют в силу этого на особые преимущества и оказываются самыми требовательными и наиболее склонными к критике руководящих сфер. Знание языков, хотя бы в объеме знаний обер-кельнера, легко давало у нас людям повод считать себя призванными к дипломатической карьере. Так было до тех пор, пока предъявлялось требование, чтобы наши дипломатические донесения, в особенности адресуемые ad regem [королю], писались на французском языке. Правда, это соблюдалось не всегда, но официально оставалось в силе до моего назначения министром. Из числа наших посланников старшего поколения я знавал нескольких, которые, не разбираясь в политике, достигли высших постов единственно благодаря тому, что свободно владели французским языком; да и они сообщали в своих донесениях только то, что могли бегло изложить на этом языке. Мне еще в 1862 г.[17] приходилось писать свои служебные донесения из Петербурга по-французски; посланники, которые писали и частные письма министру на этом языке, считались в силу этого одаренными особым призванием к дипломатии, хотя бы даже они были известны как неспособные к политическому суждению.

Кроме того, Ансильон был не так уж неправ, находя, что большинство аспирантов из кругов нашего поместного дворянства обычно лишь с трудом отрешалось от узкого круга

своих тогдашних берлинских, так сказать, провинциальных взглядов; он считал, что на дипломатическом поприще им было бы нелегко изжить в себе специфически *прусских* бюрократов и приобрести лоск *европейских*. К чему это приводило, становится ясным, когда просматриваешь списки наших дипломатов того времени; поражаешься, как мало среди них настоящих пруссаков. Быть сыном аккредитованного в Берлине чужого посланника уже само по себе являлось основанием для привилегий. Дипломаты, выросшие при мелких дворах и принятые затем на прусскую службу, нередко были в более выгодном положении по сравнению с местными уроженцами, так как держались в придворных кругах с большей assurance (уверенностью) и были менее застенчивы. Примером мог бы послужить прежде всего господин фон-Шлейниц. В списках следуют далее члены владетельных домов: происхождение заменяло им таланты. Ко времени когда я был назначен во Франкфурт [18], кроме меня, барона Карла фон-Вертера, Каница и женатого на француженке графа Макса Гацфельда,я едва ли припомню хотя бы одного дипломата прусского происхождения, который возглавлял бы где-либо крупную миссию. Иностранные фамилии котировались выше: Брасье, Перпонше, Савиньи, Ориола. Подразумевалось, что они свободно владеют французским языком, и нравилось, что они «издалека». [Дипломаты прусского происхождения] обычно обнаруживали, кроме того, недостаточную готовность брать на себя ответственность во всех случаях, когда нельзя было укрыться за совершенно точными инструкциями, подобно тому как это было в армии 1806 г. [19], при господстве старой школы времен Фридриха [20]. Мы уже тогда выращивали непревзойденный ни одним государством офицерский материал — вплоть до полкового командира, но за этими пределами прусская кровь перестала оплодотворяться дарованиями, как это было при самом Фридрихе Великом. Наши полководцы, добивавшиеся наибольших успехов, — Блюхер, Гнейзенау, Мольтке, Гебен не были исконными пруссаками, точно так же как Штейн, Гарденберг, Моц и Грольман — на поприще гражданской службы. Дело обстоит так, как если бы наши государственные люди, подобно деревьям в питомнике, нуждались в пересадке для полного развития своих корней.

Ансильон посоветовал мне выдержать прежде всего экзамен на правительственного асессора [21], а затем уже окольным путем, поработав в Таможенном союзе, искать доступа в *германскую* дипломатию Пруссии; призвания к европейской дипломатии он, повидимому, не ожидал от отпрыска отечественного поместного дворянства. Я решил следовать его указаниям и начать с экзамена на правительственного асессора.

Лица и порядки нашей юстиции, где началась моя деятельность, давали моему юношескому уму скорее критический, не-

жели назидательный материал. Практическое обучение аускультатора начиналось с ведения протоколов уголовного суда. Советник фон-Браухич, к которому я был прикомандирован, поручал мне необычно много этой работы, так как я писал тогда исключительно быстро и четко. Из «расследований», как назывались уголовные дела при тогдашнем порядке судопроизводства, на меня произвел особенно сильное впечатление процесс широко разветвленного в то время в Берлине общества приверженцев противоестественных пороков. Организация участников по клубам, списки, нивелирующее влияние совместного занятия запретным представителей положительно всех сословий — все это уже в 1835 г. свидетельствовало о деморализации, не уступавшей тому, что выявил процесс супругов Гейнце (октябрь 1891 г.)[22]. Общество это имело сторонников и в высших кругах. Судебные акты, касавшиеся этого дела, были затребованы министерством юстиции, как говорили, по настоянию князя Витгенштейна и не были возвращены по крайней мере до тех пор, пока продолжалась моя деятельность в уголовном суде.

Проработав четыре месяца над составлением протоколов, я был переведен в городской суд, разбиравший гражданские дела, и сразу же оказался вынужденным перейти от механического писания под диктовку к самостоятельной работе, выполнение которой затруднялось моей неопытностью и моими чувствами. Бракоразводные дела были вообще в то время первой стадией самостоятельной работы юриста-новичка. Делам этим придавалось, очевидно, наименьшее значение. Они были поручены самому неспособному советнику по фамилии Преториус и велись при нем совсем зелеными юнцами-аускультаторами, которые производили, таким образом, in corpore vili [на второстепенном материале [свои первые эксперименты в роли судей, правда, под номинальной ответственностью господина Преториуса, но обычно в его отсутствие. Для характеристики этого господина нам, молодым людям, рассказывали, что, когда его во время заседаний приходилось выводить из состояния легкой дремоты для подачи голоса, он имел обыкновение говорить: «Я присоединяюсь к мнению моего коллеги Темпельгофа»; иной раз при этом ему надо было указывать, что господин Темпельгоф на заседании не присутствует.

Однажды мне пришлось обратиться к нему,так как я оказался в затруднительном положении: мне, в мои двадцать лет и несколько месяцев, предстояло сделать попытку к примирению возбужденной супружеской четы. Задача эта представлялась моему восприятию в своего рода церковном и нравственном ореоле, которому, как мне казалось, не вполне соответствовало мое душевное состояние. Я застал Преториуса в дурном настроении не во-время разбуженного пожилого человека,разделявшего

к тому же довольно распространенное среди старых бюрократов нерасположение к молодым дворянам. «Досадно, господин референдарий, — сказал он мне с пренебрежительной усмешкой, — когда человек до такой степени беспомощен, я покажу вам, как это делается». Я вернулся с ним в комнату присутствия. Дело сводилось к тому, что муж хотел развода, а жена — нет, муж обвинял ее в нарушении супружеской верности, а она, заливаясь слезами, патетически клялась в своей невиновности и, невзирая на дурное обращение мужа, настаивала на том, чтобы остаться при нем. Шепелявя, как это было ему свойственно, Преториус обратился к жене со словами: «Не будь дурой. Зачем тебе это? Придешь домой — муж изобьет тебя так, что тебе не поздоровится. А скажи ты просто «да», и с пьяницей у тебя раз и навсегда покончено». — «Я честная женщина, не могу взять на себя позор, не хочу развода», — завопила женщина. После неоднократного обмена репликами в том же тоне господин Преториус обратился ко мне со словами: «Она не хочет внять голосу благоразумия; пишите, господин референдарий...» — и продиктовал мне заключение; оно произвело на меня столь сильное впечатление, что я и сейчас помню его от слова до слова: «После того как была сделана попытка к примирению сторон и все убеждения, основанные на доводах нравственности и религии, остались безуспешными, было решено, как ниже следует». Мой начальник поднялся со словами: «Запомните, как это делается, и впредь не беспокойте меня подобными вещами». Я проводил его до дверей и продолжал разбирательство. Мой стаж по бракоразводным делам продолжался, сколько помнится, от четырех до шести недель, но мне уже не приходилось больше мирить стороны. Налицо была определенная потребность в *указе,* который регулировал бы бракоразводный процесс, чем и пришлось ограничиться Фридриху-Вильгельму IV после того, как его попытка издать *закон* об изменении имущественно-брачного права потерпела неудачу в результате сопротивления государственного совета [23]. Следует при этом отметить, что упомянутым указом впервые в провинциях общего земского права [24] вводился институт государственных стряпчих, которые должны были выступать в качестве defensores matrimonii [блюстителей брака] и защитников интересов третьих лиц против тайного сговора сторон.

Более привлекательной была следующая стадия разбирательства мелких дел. Молодой, неопытный юрист приобретал здесь по крайней мере навык в приеме жалоб и опросе свидетелей, хотя в общем его больше использовали как подсобного работника и меньше занимались его обучением. Помещение суда и судебное производство несколько напоминали суетливую обстановку у железнодорожной кассы. Пространство, где, спиной

к публике, заседали председательствующий советник и три или четыре аускультатора, было обнесено деревянным барьером, и перед образовавшимся таким образом четырехугольником толпились стороны, сменяя друг друга и производя то больший, то меньший шум.

Мое общее впечатление от лиц и учреждений не изменилось существенным образом с моим переходом в административное ведомство [25]. Стремясь сократить окольный путь к дипломатической карьере, я избрал одно из рейнских управлений, а именно аахенское; курс работы в этом управлении мог быть сокращен до двух лет, тогда как в старых прусских провинциях на это требовалось не менее трех лет.

Мне представляется, что при комплектовании рейнских административных коллегий в 1816 г.[26] поступали подобно тому, как в 1871 г. при организации управления Эльзас-Лотарингии [27]. Власти, которым приходилось уступать часть своего персонала, не считались, видимо, с государственной необходимостью дать лучшее из того, чем они располагали, для выполнения трудной задачи ассимиляции вновь присоединенного населения, а отбирали чиновников, ухода которых желало начальство или они сами; в коллегиях все еще встречались бывшие секретари префектур [28] и другие остатки французской администрации. Личный состав не всегда отвечал тому несколько необоснованному идеалу, который витал передо мной, когда мне было 21 год; еще менее соответствовало ему содержание текущей работы. Мне вспоминается, что при частых разногласиях между чиновниками и населением или среди каждой из этих сторон — разногласиях, полемика вокруг которых длилась годами и нагромождала груды дел, — я обычно оставался под впечатлением: «да, пожалуй, можно сделать и так»; вопросы, то или иное решение которых не стоило затраченной на них бумаги, вполне могли быть разрешены одним префектом при затрате вчетверо меньшего количества труда. Если не считать низшего служебного персонала, то при всем том работа, которую в течение дня должен был выполнить чиновник, была невелика, должности же начальников отделений были чистой синекурой [29]. Уезжая из Аахена, я составил себе невысокое мнение о нашей бюрократии в общем и об отдельных ее представителях в частности, за исключением даровитого президента [30] графа Арнима Бойценбурга. Но относительно некоторых лиц это мнение изменилось в более благоприятном для них смысле, когда я вскоре познакомился с потсдамским управлением, куда я был переведен в 1837 г. по собственному моему желанию; косвенные налоги находились там, в отличие от других провинций, в ведении администрации, а именно они приобретали для меня особое значение, если я действительно стремился сделать таможенную политику базисом моего будущего.

Члены коллегии произвели здесь на меня более достойное впечатление по сравнению с аахенскими, но в своей совокупности они все же представлялись мне людьми с косичкой и в парике[31]. К той же категории я в силу юношеской заносчивости причислял и патриархально-почтенного обер-президента фон-Бассевица. В отличие от него аахенский регирунгс-президент граф Арним хотя и казался мне также человеком в парике общепринятого на государственной службе образца, но без косички — в переносном смысле слова. Переменив впоследствии государственную службу на жизнь в деревне[32], я в своих взаимоотношениях помещика с властями сохранил, как мне теперь представляется, очень уж отрицательное мнение о достоинствах нашей бюрократии и, пожалуй, чрезмерную склонность критиковать ее. Помню, как мне, замещавшему тогда ландрата[33], пришлось дать однажды заключение по плану об отмене выборности ландратов. Я высказался в том смысле, что уважение к бюрократии падает по мере удаления [по иерархической лестнице] от ландрата кверху. Уважением бюрократия пользуется только в образе ландрата — фигуры с головой Януса, одно лицо которого обращено к бюрократии, другое — к земству.

Склонность к нелепому вмешательству в самые разнообразные стороны жизни проявлялась при тогдашнем патриархальном режиме, быть может, сильней, чем в наше время; но те, кто осуществлял это вмешательство, были не столь многочисленны и стояли по уровню своего образования и воспитания выше части своих теперешних преемников. Чиновники достославного королевского правительства были честными, образованными и благовоспитанными чиновниками. Но их благожелательная деятельность не всегда встречала признание, так как сопровождалась недостаточным знакомством с местными условиями и разменивалась на мелочи, относительно которых взгляды ученого горожанина за канцелярским столом не всегда выдерживали критику простого человеческого здравого смысла крестьянина. Членам административных коллегий приходилось тогда делать multa, а не multum [много, но незначительное]. Отсутствие более высоких задач приводило к тому, что они не находили себе достаточного количества действительно нужной работы и в своем должностном рвении выходили далеко за пределы потребностей управляемых, впадая в манию регламентирования, в то, что швейцарцы называют «Befehlerle» [«повелительство»].

Если бросить для сравнения беглый взгляд в сторону современности, то придется отметить: в свое время надеялись, что после введения действующей ныне системы местного самоуправления государственные учреждения будут избавлены от излишка дел и чиновников. На самом деле получилось нечто прямо противоположное этому: количество чиновников и их загруженность

делами значительно возросли в связи с увеличением переписки и возникновением трений между административными инстанциями и органами самоуправления, начиная от провинциального совета и кончая сельским общинным управлением. Раньше или позже наступит критический момент, когда мы окажемся раздавленными под бременем писанины, а главное — низшей бюрократии. Наряду с этим бюрократическое давление на частную жизнь усилилось еще и благодаря тому способу, каким осуществляется «самоуправление»; в сельских общинах оно ощущается теперь острее, чем прежде. Некогда столь же близкий населению и государству ландрат представлял собой последнее звено государственной бюрократии; еще ниже стояли местные органы, которые подлежали, правда, контролю дисциплинарной власти окружной и центральной бюрократии, но не в такой мере,как сейчас. То самоуправление,какое предоставлено теперь сельскому населению, вовсе не равноценно автономии, которой издавна пользуются города: в лице старшины оно получило начальника, который по приказам свыше, со стороны ландрата, и под угрозой дисциплинарных взысканий оказывается вынужденным обременять своих сограждан в пределах своего округа всякого рода списками, извещениями, требованиями, — все это в соответствии с общим духом государственной иерархии. Управляемые— contribuens plebs [платящий народ]—не обладают уже более в лице ландрата гарантией против неуместного вмешательства в свои дела, гарантией, выражавшейся прежде всего в том, что ставший ландратом житель того или иного округа имел обычно твердое намерение оставаться здесь в этой должности всю свою жизнь и разделял, таким образом, радости и горести своего округа. Пост ландрата оказался теперь низшей ступенью дальнейшего продвижения на административном поприще, и его домогаются молодые асессоры, побуждаемые к тому законным честолюбивым стремлением сделать карьеру; для достижения этой цели они нуждаются не столько в добрых чувствах жителей округа по отношению к ним, сколько в благоволении министра, и стараются снискать его, проявляя исключительное рвение и оказывая всемерное давление на старшин мнимого самоуправления при осуществлении даже никчемных бюрократических экспериментов. В этом заключается в значительной мере причина переобременения подчиненного им населения в системе местного «самоуправления». «Самоуправление» означает, таким образом, резкое усиление бюрократии, умножение чиновников, их власти и их вмешательства в частную жизнь.

Природе человека присуще свойство, в силу которого он, соприкасаясь с теми или другими порядками, склонен чувствовать и видеть прежде всего шипы, а не розы. Эти шипы вызывают раздражение против того, что в данное время

существует. Старые правительственные чиновники, вступая в непосредственное соприкосновение с управляемым населением, проявляли педантизм и отчужденность от практической жизни благодаря своим занятиям за зеленым сукном. Но вместе с тем оставалось впечатление, что они искренно и добросовестно стремились быть справедливыми. Этого нельзя сказать об отдельных звеньях современного местного самоуправления в тех частях страны, где партии резко противостоят друг другу; благосклонность к политическим единомышленникам и предубежденное отношение к противникам нередко препятствуют беспристрастной работе учреждений. Сопоставляя на основании моего опыта, относящегося к тому времени, и более позднему периоду, судебные решения с административными с точки зрения их беспристрастия, я не могу признать превосходство исключительно лишь за первыми, по крайней мере — не во всех случаях. У меня, наоборот, создалось впечатление, что судьи низших и местных инстанций легче и полнее поддаются сильному воздействию партийных течений, чем чиновники администрации; да и едва ли можно найти какое-либо психологическое основание к тому, чтобы при одинаковом образовании судей и чиновников последние a priori [заранее] должны были считаться менее справедливыми и добросовестными в своих должностных решениях, чем первые. Но я согласен, что административные постановления отнюдь не выигрывают ни в смысле честности, ни в смысле своего соответствия существу дела от того, что они принимаются коллегиально; независимо от того, что при решении вопроса большинством голосов арифметика и случай заступают место логического обоснования, чувство личной ответственности, — эта существенная гарантия добросовестности решения, — утрачивается сразу же, когда что-либо решает анонимное большинство[34].

Ход дел в обеих коллегиях, как в Потсдаме, так и в Аахене, не мог возбудить во мне особого рвения. Я находил порученный мне круг занятий мелочным и скучным; воспоминания о моей работе по процессам о невзносе пошлин с помола и в связи с повинностью по постройке плотины в Роцисе, близ Вустергаузена, не вызывали во мне впоследствии желания возвратиться к моей тогдашней деятельности. Отказавшись от честолюбивой мечты о чиновничьей карьере, я охотно последовал желанию моих родителей и занялся запутанными делами управления нашими померанскими имениями[35]. Я рассчитывал жить и умереть в деревне, преуспев на поприще сельского хозяйства и, быть может, отличившись на войне, если бы она разразилась[36]. Остававшееся еще у меня в деревенской обстановке честолюбие было честолюбием лейтенанта ландвера[37].

II

Впечатления, воспринятые мною в детстве, мало способствовали тому, чтобы во мне развились черты, свойственные юнкеру. В воспитательном заведении Пламана, устроенном на основе принципов Песталоцци и Яна, частичка «фон» перед моей фамилией [38] мешала мне чувствовать себя непринужденно в обществе сверстников и учителей. Равным образом в гимназии у Серого монастыря (zum Grauen Kloster) мне пришлось испытать на себе со стороны нескольких учителей ту ненависть к дворянству, которую сохранила значительная часть образованного бюргерства как воспоминание из времен, предшествовавших 1806 г. [39] Но даже эта агрессивная тенденция, которая проявлялась при известных обстоятельствах в бюргерских кругах, ни разу не вызвала с моей стороны каких-либо ответных действий. Отец мой был чужд аристократических предрассудков, и если даже свойственное ему внутреннее чувство равенства и подверглось, быть может, некоторым изменениям, то только под влиянием офицерских впечатлений молодости, а отнюдь не в силу преувеличенного представления о преимуществах происхождения. Мать моя была дочерью Менкена, советника кабинета Фридриха Великого,Фридриха-Вильгельма II и Фридриха-Вильгельма III; Менкен слыл в придворных кругах того времени либералом; он происходил из лейпцигской профессорской семьи; ее последние, ближайшие ко мне представители оказались в Пруссии на службе в иностранном ведомстве и при дворе. Барон фон-Штейн отзывался о моем деде Менкене, как о честном и весьма либеральном чиновнике. При таких обстоятельствах воспринятые мной с молоком матери взгляды были скорее либеральными, нежели реакционными, и если бы моя мать дожила до времени моей министерской деятельности, то она вряд ли была бы согласна с направлением этой деятельности, хотя внешний успех, сопровождавший мою служебную карьеру, чрезвычайно порадовал бы ее.Она выросла в бюрократических и придворных кругах. Фридрих-Вильгельм IV, вспоминая о своих детских играх с нею, называл ее «Минхен». Я могу, таким образом, подчеркнуть, насколько несправедливой является такая оценка моих юношеских взглядов, когда мне приписывают «предрассудки моего сословия» и утверждают, будто воспоминание о прерогативах дворянства послужило исходным пунктом моей внутренней политики.

Равным образом и неограниченный авторитет старой прусской королевской власти не был и не является последним словом моих убеждений. На первом Соединенном ландтаге я был, правда, убежден, что в государственно-правовом смысле такой авторитет монарха налицо, но при этом рассчитывал

и стремился к тому, чтобы в будущем неограниченная власть короля постепенно определила сама меру своего ограничения. Абсолютизм требует от правителя в первую очередь беспристрастия, честности, верности своему долгу, работоспособности и скромности. Но даже когда монарх обладает всеми этими достоинствами, то и тогда фавориты — мужчины и женщины, в лучшем случае законная супруга, — собственное тщеславие и восприимчивость по отношению к лести отнимают у государства часть плодов королевского благоволения, ибо монарх не всеведущ и не может одинаково успешно охватить все стоящие перед ним задачи. Я уже в 1847 г. стоял за то, что следует добиваться возможности публичной критики правительства в парламенте и прессе, дабы избежать грозящей монарху опасности со стороны женщин, придворных, карьеристов и фантазеров, стремящихся держать монарха в шорах и мешающих ему видеть его монаршие задачи во всем их объеме и предупреждать или выправлять злоупотребления. Мои воззрения на этот счет становились все более четкими и определенными по мере того, как я ближе знакомился с придворными кругами и должен был отстаивать государственный интерес вопреки придворным течениям и оппозиции со стороны ведомственного патриотизма. Лишь государственный интерес руководил мной, и клевета, когда даже благожелательные ко мне публицисты обвиняют меня в том, будто я когда бы то ни было отстаивал господство дворянства. Я никогда не считал, что происхождение способно восполнить недостаток деловитости; если я и защищал землевладение, то делал это не в интересах землевладельцев одного со мною сословия, а потому, что в упадке сельского хозяйства я вижу одну из величайших опасностей для всего нашего государственного существования. В качестве идеала мне всегда представлялась монархическая власть, которая контролировалась бы независимым, по моему мнению — сословным или профессиональным, представительством от страны в той степени, в какой это необходимо, чтобы ни монарх, ни парламент не могли изменять существующее правовое состояние *односторонне,* а лишь communi consensu [с общего согласия] при условии гласности и публичной критики прессой и ландтагом всего происходящего в государстве.

Даже люди, считающие, что наиболее подходящей формой управления немецкими подданными является бесконтрольный абсолютизм в таком виде, как он был впервые выдвинут на сцену Людовиком XIV, теряют это убеждение при специальном изучении истории отдельных дворов и в результате критических наблюдений, подобных тем, какие я имел возможность производить во времена Мантейфеля[40] при дворе короля Фридриха-Вильгельма IV, лично любимого и почитаемого

мною. Король был верившим в свою миссию абсолютистом, и министры после Бранденбурга обычно [бывали] довольны, когда они оказывались под прикрытием королевской подписи даже в тех случаях, когда они лично не могли бы нести ответственность за содержание подписанного. Я слышал однажды, как при известии о невшательском восстании роялистов[41] высокопоставленный и абсолютистски настроенный придворный сказал при мне и нескольких своих коллегах не без некоторого смущения: «Это — роялизм, который можно встретить в наши дни лишь на большом расстоянии от двора». Сарказмы были, вообще говоря, не в нравах этого старого вельможи.

Мои наблюдения над взяточничеством и крючкотворством окружных фельдфебелей[42] (Bezirksfeldwebeln) и мелких чиновников в деревне и небольшие конфликты со штеттинским управлением, в которые я оказался вовлеченным, как депутат от уезда и заместитель ландрата, усилили мою неприязнь к господству бюрократии. Упомяну об одном из этих конфликтов. В то время как я замещал находившегося в отпуску ландрата, мною было получено предписание окружного управления побудить владельца Кюльца[43], — а это был я сам, — взять на себя определенные повинности. Я отложил предписание в сторону с тем, чтобы передать его ландрату после возвращения последнего, но получил повторные напоминания, и на меня наложили дисциплинарный штраф в размере одного талера[44] со взысканием по почте. Тогда я составил протокол, в котором значилось, что я явился, во-первых, как заместитель ландрата, во-вторых, как владелец Кюльца. Присутствующий сделал самому себе в первом своем качестве предписанное внушение, а затем, в своем втором качестве, изложил мотивы, по которым он должен отклонить обращенное к нему требование, после чего протокол был им дважды подтвержден и подписан. В управлении понимали толк в шутках и распорядились вернуть мне штраф. В других случаях дело доходило до более неприятных трений. Я стал обнаруживать склонность к критике и оказался, следовательно, «либералом» в том смысле, в каком применяли в то время это слово в помещичьих кругах для обозначения недовольства бюрократией, которая со своей стороны в лице большинства своих членов была более либеральной, чем я, но только в ином смысле.

Мое сословно-либеральное настроение не пользовалось в Померании достаточным пониманием и сочувствием; в Шенгаузене же оно встретило одобрение со стороны соседей по уезду: графа Вартенслебена-Каров, Ширштедта-Дален и других, — это были те же элементы, котjрые в известной своей части принадлежали к церковным попечителям, осужденным по суду позднее, при «новой эре»[45]. Из этого настроения я был снова

выведен несимпатичным мне направлением оппозиции первого Соединенного ландтага, к участию в работах которого я был призван лишь в последние шесть недель сессии в качестве заместителя заболевшего депутата фон-Браухича. Речи представителей Восточной Пруссии Заукена-Тарпучен, Альфреда Ауэрсвальда, сентиментальность Бекерата, рейнско-французский либерализм Хейдта и Мевиссена и громогласная порывистость речей Финке — все это внушало мне отвращение; когда я теперь еще перечитываю эти дебаты, они производят на меня впечатление импортированного шаблонного фразерства. У меня было такое ощущение, что король — на правильном пути и имеет право на то, чтобы ему дали время и отнеслись со всей деликатностью к его собственному развитию.

У меня начался конфликт с оппозицией, когда я 17 мая 1847 г. впервые взял слово для довольно пространного выступления. Я опровергал в нем легенду, будто пруссаки пошли в 1813 г. на войну, чтобы добиться конституции[46], и дал выход своему естественному возмущению по поводу того, что господство иноземцев само по себе не могло быть якобы достаточным основанием для борьбы. Мне казалось недостойным, когда за то, что нация *сама себя* освободила, она собирается предъявить королю счет, расплата по которому должна быть произведена параграфами конституции. Мои слова вызвали бурю. Я остался на трибуне, перелистывал лежавшую там газету и, после того как волнение улеглось, закончил свою речь.

На придворных празднествах, происходивших во время Соединенного ландтага, король и принцесса Прусская[47] явно избегали меня, но по разным мотивам: принцесса потому, что я не был либералом и не пользовался популярностью, а король по причине, которая стала для меня ясной лишь позднее. Когда во время приема членов ландтага король избегал говорить со мною или когда во дворце, обходя круг и заговаривая с каждым по очереди, он смолкал, как только доходил до меня, возвращался обратно или направлялся на противоположный конец зала, — в такие моменты у меня невольно являлось подозрение, что я в своем пылком увлечении роялизмом переступил границы, которые король поставил себе. Неосновательность этого предположения выяснилась лишь несколько месяцев спустя, когда, совершая мое свадебное путешествие, я посетил Венецию[48]. Король, узнав меня в театре, назначил мне на другой день аудиенцию и пригласил к столу. Это было для меня такой неожиданностью, что при моем легком багаже и неумелости местных портных я был лишен возможности явиться в соответствующем случаю костюме. Прием был настолько милостив, и беседа, между прочим

и на политические темы, была такова, что я мог заключить из нее об одобрении и поощрении занятой мной в ландтаге позиции. Король приказал мне являться к нему зимой, что и имело место. При этом, а также на малых обедах во дворце я убедился в полном благоволении ко мне обоих высочайших особ и в том, что король, избегавший в период сессий ландтага говорить со мной публично, не имел намерения выразить этим порицание моему политическому поведению, а стремился лишь не обнаруживать тогда своего одобрения перед посторонними.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1848 ГОД

I

Первое известие о событиях 18 и 19 марта 1848 г.[1] я получил в доме моего соседа по имению, графа фон-Вартенслебена-Каров, где нашли приют бежавшие из Берлина дамы. Политическое значение событий подействовало на меня в первый момент не так сильно, как возмутивший меня факт убийства наших солдат на улицах города. Король,— думал я, — быстро стал бы хозяином политического положения, если бы только он был свободен; ближайшей задачей я считал освобождение короля, который оказался, повидимому, во власти мятежников.

20-го числа шенгаузенские крестьяне сообщили мне, что приходили делегаты из расположенного в трех четвертях мили Тангермюнде с требованием водрузить, по примеру их города, трехцветное черно-красно-золотое знамя[2] на колокольне, пригрозив возвратиться, в случае отказа, с подкреплением. Я спросил крестьян, намерены ли они воспротивиться этому, они ответили единодушным и горячим «да», и я посоветовал им выгнать из села горожан, что и было исполнено при живейшем участии женщин. Затем я приказал взять из церкви и поднять на колокольне белое знамя с черным крестом, воспроизводившим форму железного креста, и выяснил, сколько было в деревне ружей и огнестрельных припасов. Налицо оказалось до пятидесяти крестьянских охотничьих ружей. У меня тоже нашлось штук двадцать, считая и старинное оружие. За порохом я послал верховых в Ерихов и Ратенов.

Затем, вместе с женой, я проехал по окрестным деревням и убедился, с каким усердием крестьяне готовы итти на Берлин выручать короля. Особым воодушевлением отличался старый смотритель плотины в Нейермарке Краузе, служивший некогда вахмистром «карабинеров»[3] в полку у моего отца. Лишь мой ближайший сосед сочувствовал берлинскому движению, упрекнул меня в том, что я бросаю горящий факел в страну, и заявил, что если крестьяне в самом деле вздумают высту-

пить, то он вмешается и отговорит их. Я возразил: «Вы знаете, что я человек спокойный, но если вы это сделаете, то я застрелю вас». «Вы этого не сделаете», — ответил он. «Даю в том честное слово, — продолжал я, — вы знаете, что я свое слово держу, а потому прекратите это».

Затем я поехал один в Потсдам и там на вокзале увидел господина фон-Бодельшвинга, который до 19 марта был министром внутренних дел. Ему явно не хотелось, чтобы его видели беседующим со мной, «реакционером»; он ответил на мое приветствие словами: «Ne me parlez pas» [«Не говорите со мной»]. «Les paysans se levent chez nous» [«У нас поднимаются крестьяне»], — возразил я. «Pour le Roi?» [«За короля?»] — «Oui» [«Да»]. — «Этот канатный плясун», — сказал он, закрывая руками глаза, на которых показались слезы. В городе, в сквере возле гарнизонной церкви, я увидел расположившуюся бивуаком гвардейскую пехоту. Я поговорил с людьми и выяснил, что они возмущены приказом об отступлении и стремятся снова в бой. На обратном пути следом за мной шли по набережной канала похожие на шпионов штатские, которые старались вступить в разговор с солдатами и вели по моему адресу угрожающие речи. У меня было четыре заряда, но мне не пришлось пустить их в дело. Я остановился у моего друга Роона, которому, как воспитателю принца Фридриха-Карла, было отведено несколько комнат в городском замке, и посетил в «Немецком доме»[4] генерала фон-Меллендорфа, еще не оправившегося от побоев, нанесенных ему, когда он вел переговоры с мятежниками, а также генерала фон-Притвица, который командовал войсками в Берлине. Я описал им настроение крестьян, а они сообщили мне некоторые подробности событий вплоть до утра 19-го. Все, что они мне рассказали, а также те известия, которые были получены позднее из Берлина, могли лишь укрепить меня в вере, что король был не свободен.

Притвиц, который был старше меня и рассуждал спокойнее, сказал: «Не присылайте нам крестьян, они нам не нужны — солдат у нас хватит; пришлите лучше картофеля и зерна, пожалуй, также денег, так как я не знаю, позаботятся ли о достаточном обеспечении солдат продовольствием и жалованьем. Если бы пришли подкрепления, я получил бы из Берлина приказ отослать их обратно и должен был бы его выполнить». —«Так выручите же короля!» — сказал я. Он возразил: «Это было бы не очень трудно. У меня достаточно сил, чтобы взять Берлин, но тогда придется опять сражаться; что мы можем сделать, когда король приказал нам играть роль побежденного? Без приказа я не могу выступить».

При таком положении вещей я пришел к мысли обеспечить иным путем получение приказа, которого не приходилось ожи-

дать от несвободного короля, и попытался попасть к принцу Прусскому[5]. Мне сказали, что для этого необходимо согласие принцессы, и я явился к ней, чтобы узнать местопребывание ее супруга (как я узнал позднее, он находился на Павлиньем острове)[6]. Она приняла меня на антресолях, в комнате для прислуги, сидя на сосновом стуле, отказалась дать мне просимые сведения и заявила в большом возбуждении, что ее долг оберегать права своего сына. Сказанное ею основывалось на той предпосылке, что король и ее супруг не смогут удержаться, и давало основание заключить, что она думает о регентстве в период несовершеннолетия сына. Чтобы получить для этой цели содействие правых в палатах[7], мне были сделаны формальные предложения через Георга фон-Финке[8]. Так как я не мог попасть к принцу Прусскому, то попытался воздействовать на принца Фридриха-Карла; я указал ему, как важно, чтобы королевская семья сохранила связь с армией, а если его величество не свободен, то и действовала бы ради дела короля, хотя бы и без его приказания. С живым волнением он ответил мне, что при всем сочувствии моей идее не может взять на себя ее осуществление, чувствуя себя еще слишком молодым для этого и не желая следовать примеру студентов, которые вмешиваются в политику, — он ведь не старше, чем они. Я решился тогда сделать попытку проникнуть к королю.

Принц Карл дал мне в Потсдамском дворце следующее открытое письмо, которое должно было служить мне удостоверением и пропуском:

«Податель сего — хорошо мне известный — имеет поручение *лично* осведомиться у его величества, всемилостивейшего брата моего, о высочайшем его здоровье и доставить мне известие, по какой причине я не получаю в течение 30 часов *никакого* ответа на мои неоднократные собственноручные запросы о том, могу ли я приехать в Берлин.

Потсдам, 21 марта 1848 г. *Карл, принц Прусский*
1 час пополудни».

Я поехал в Берлин. Так как со времени Соединенного ландтага меня многие знали в лицо, я счел благоразумным сбрить бороду и надеть широкополую шляпу с пестрой кокардой. Надеясь получить аудиенцию, я был во фраке. На вокзале у выхода было поставлено блюдо с призывом жертвовать в пользу баррикадных борцов, а возле него стоял долговязый верзила из гражданской гвардии[9] с мушкетом за плечами. Мой двоюродный брат, с которым я встретился, выходя из вагона, вытащил кошелек. «Не станешь же ты благодетельствовать этим убийцам, — сказал я, добавив в ответ на предостерегающий взгляд, который он на меня бросил: — и не испугаешься же ты

коровьей ноги!»[10] В стоявшем на посту человеке я успел уже узнать моего приятеля, советника судебной палаты Мейера, когда он, сердито обернувшись на мое замечание, воскликнул: «Господи, да ведь это Бисмарк! Какой у вас вид! Ну, и свинство же здесь!»

Караул гражданской гвардии во дворце осведомился, что мне там нужно. Когда я ответил, что я должен вручить королю письмо от принца Карла, часовой недоверчиво посмотрел на меня и сказал, что этого не может быть: принц как раз сейчас у короля. Следовательно, он должен был выехать из Потсдама еще до меня. У меня потребовали, чтобы я показал письмо; я показал, так как оно было незапечатано, а содержание его — безвредно; меня пропустили, но не во дворец. В гостинице Мейнгарда в окне нижнего этажа я увидел знакомого мне доктора. Я зашел к нему. Там я написал королю все, что намеревался сказать ему. С этим письмом я отправился к князю Богуславу Радзивиллу, который пользовался свободой сношений и мог передать его королю. Я писал между прочим, что революция ограничивается большими городами и что король будет хозяином в стране, как только он оставит Берлин. Король не ответил, но впоследствии сказал мне, что бережно сохранил написанное плохо и на плохой бумаге письмо, как первый знак сочувствия, полученный им в то время.

Когда я бродил по улицам, осматривая следы борьбы, какой-то незнакомый человек сказал мне вполголоса: «Знаете, за вами следят». На Унтер-ден-Линден другой неизвестный шепнул мне: «Идите за мной». Я последовал за ним на Малую Мауэрштрассе, где он сказал: «Уезжайте, иначе вас арестуют». — «Вы меня знаете?» — спросил я. «Да, — ответил он, — вы господин фон-Бисмарк». Откуда мне угрожала опасность и откуда исходило предостережение — я так никогда и не узнал. Незнакомец поспешно удалился. Один уличный мальчишка крикнул мне вслед: «Смотри-ка, да ведь это француз». Впоследствии мне неоднократно представлялся повод к тому, чтобы вспоминать этот отзыв. Моя длинная эспаньолка, — единственное, что я не сбрил, — мягкая шляпа и фрак произвели на мальчишку впечатление чего-то экзотического. Улицы были пусты, не видно было ни одного экипажа; мимо меня прошло только несколько отрядов в блузах и со знаменами, в том числе один, сопровождавший по Фридрихштрассе увенчанного лаврами баррикадного героя на какое-то чествование.

В тот же день я вернулся в Потсдам — не из-за предостережений, а потому, что в Берлине мне, как оказалось, нечего было делать, и мы еще раз обсудили с генералами Меллендорфом и Притвицем вопрос о возможности самостоятельного действия.

«Как нам за это приняться?» — сказал Притвиц. Я пробренчал на открытом фортепиано, возле которого сидел, пехотный марш к атаке. Меллендорф в слезах, превозмогая боль от ран, бросился мне на шею и воскликнул: «Если бы вы могли нам это устроить». — «Я не могу», — возразил я. — «Но чем вы рискуете, сделав это без приказа? Страна будет вам благодарна, и король в конце концов тоже». Притвиц: «Ручаетесь ли вы, что Врангель и Гедеман пойдут с нами? Не можем же мы вдобавок к неповиновению вносить в армию еще и распри». Я обещал выяснить это, поехать в Магдебург лично, а в Штеттин послать доверенного человека, чтобы позондировать почву у обоих командующих там генералов. Ответ от генерала фон-Врангеля гласил: «Как поступит Притвиц, так поступлю и я». Мне самому посчастливилось в Магдебурге меньше. Я попал сначала лишь к адъютанту генерала фон-Гедемана, молодому майору, которому открылся и который выразил мне свое сочувствие. Вскоре, однако, он пришел ко мне в гостиницу и просил меня немедленно уехать, чтобы не ставить себя в неприятное, а старого генерала в смешное положение; последний намеревался арестовать меня как государственного изменника. Тогдашний обер-президент фон-Бонин, олицетворявший высшую политическую власть этой провинции, выпустил обращение следующего содержания: «В Берлине разразилась революция: я буду стоять над партиями». Подобная «опора трона», — Бонин был впоследствии министром и занимал высокие и влиятельные должности. Генерал Гедеман принадлежал к кругу Гумбольдта.

Вернувшись в Шенгаузен, я постарался разъяснить крестьянам, что вооруженный поход на Берлин неосуществим, но тем самым навлек на себя подозрения, что заразился в Берлине революционным головокружением. Поэтому я сделал им предложение, которое было принято, — послать со мной в Потсдам делегатов от Шенгаузена и других деревень, чтобы самим все посмотреть и поговорить с генералом фон-Притвицем, а может быть, и с принцем Прусским. Когда мы 25-го приехали на вокзал в Потсдаме, туда как раз прибыл король, весьма сочувственно встреченный большой толпой людей. Я сказал сопровождавшим меня крестьянам: «Там король, я вас представлю ему, поговорите с ним». .Но они, испугавшись, отказались и быстро ретировались в задние ряды. Я почтительно приветствовал короля; он поблагодарил, не узнавая меня, и поехал во дворец. Я отправился следом за ним и слышал речь, с которой он обратился в Мраморном зале к офицерам гвардейского корпуса. При словах: «Я никогда не был более свободен и в большей безопасности, как под охраной моих граждан», — поднялся такой ропот и такой лязг сабельных ножен, каких в окружении своих офицеров ни один король Пруссии, вероятно, еще

никогда не слыхал и, надеюсь, никогда уже больше не услышит *.

С уязвленным чувством вернулся я обратно в Шенгаузен.

Воспоминание о разговоре, который я имел в Потсдаме с генерал-лейтенантом фон-Притвицем, побудило меня в мае обратиться к нему со следующим письмом, подписанным вместе со мной и моими шенгаузенскими друзьями:

«Всякий, у кого бьется в груди прусское сердце, без сомнения, с таким же негодованием, как и мы, нижеподписавшиеся, читал те нападки, которым подвергались в печати королевские войска в первые недели после событий 19 марта в награду зато, что они честно исполнили свой долг в бою и, получив приказание отступить, показали непревзойденный пример воинской дисциплины и самоотвержения. Если печать с некоторого времени держится более прилично, то причина этого заключается не столько в том, что партия, распоряжающаяся этой печатью, стала с тех пор более правильно разбираться в положении вещей, как в том, что стремительный ход последующих событий оттесняет на задний план впечатления от предыдущих; иные становятся даже в позу, как будто готовы простить войскам их прежние дела ради вновь совершенных ими **. Даже среди сельского населения, встретившего первые сообщения о берлинских событиях с едва обуздываемым озлоблением, начали укореняться искаженные представления, которые распространялись со всех сторон— и почти без противодействия — отчасти прессой, отчасти эмиссарами, обрабатывающими народ по случаю выборов; в результате и благомыслящие люди из сельского населения начинают верить, будто не вовсе лишено оснований, что борьба на улицах Берлина была вызвана войсками умышленно, с ведома и желания столь оклеветанного наследника или независимо от него, с целью вырвать у народа сделанные королем уступки. В подготовку, которая велась другой стороной, в систематическую обработку народа почти никто уже не хочет верить. Мы опасаемся, что по крайней мере в сознании низших слоев народа эта ложь на долгое время станет историей, если не выступить против нее с обстоятельным, подкрепленным доказательствами изложением истинного хода дела, и притом как можно скорей: при совершенно не поддающемся расчету нынешнем стремительном беге времени не сегодня-завтра могут наступить события, которые своей значительностью прикуют к себе внимание публики настолько, что разъяснения, относящиеся к прошлому, не встретят уже никакого отклика.

* Передо мной лежат противоречивые и несогласные с моими личными воспоминаниями рассказы об этом событии, напечатанные в «Allgemeine Preussische Zeitung», «Vossische Zeitung», «Schlesische Zeitung». [*Wolff*, Berliner Revolutions-Chronik, Band I, 424.)

**23 апреля они заняли Шлезвиг.

Если бы удалось хотя бы до некоторой степени открыть глаза населению на мутные источники берлинского движения, равно как и на то, что борьба мартовских героев за достижение *приводимых ими в свое оправдание целей* (защита обещанных его величеством конституционных учреждений) была ненужной, это оказало бы, по нашему мнению, существеннейшее влияние на политические взгляды. Мы считаем, что вы, ваше превосходительство, как начальник достославных войск, действовавших во время этих событий, преимущественно перед всеми другими призваны и можете убедительнейшим образом извлечь на свет правду о них. Убеждение в том, как важно это для нашего отечества и как много выиграет от этого слава нашей армии, послужит нам извинением в том, что мы обращаемся к вашему превосходительству с настойчивой и почтительной просьбой: предать как можно скорее гласности, поскольку это допускают соображения служебного характера, точное и подкрепленное документальными доказательствами описание берлинских событий с военной точки зрения».

Генерал фон-Притвиц не исполнил этой просьбы. Только 18 марта 1891 г. генерал-лейтенант фон-Мейеринк напечатал в приложении к военному журналу «Militar Wochenblatt» статью, которая ставила себе указанную мною цель; к сожалению, она появилась так поздно, что как раз самые важные свидетели событий, а именно флигель-адъютант Эдвин фон-Мантейфель и граф Ориола тем временем уже скончались.

В дополнение к истории мартовских событий приведу здесь разговоры, которые я вел через несколько недель после этого с лицами, пожелавшими встретиться со мной, считая меня доверенным лицом консерваторов. Одни хотели оправдать свое поведение до и после событий 18 марта, другие — передать мне свои наблюдения. Полицей-президент фон-Минутоли жаловался, что его упрекали, будто он предвидел восстание и ничего не сделал, чтобы предупредить его. Он отрицал, что ему были известны какие-либо тревожные признаки. Я возразил, что слышал в Гентине от очевидцев, будто за несколько дней до 18 марта по направлению к Берлину проехали какие-то люди, похожие на иностранцев и говорившие в большинстве по-польски, причем одни из них открыто везли с собой оружие, а другие — тяжелые тюки. В ответ Минутоли рассказал, что министр фон-Бодельшвинг вызвал его в середине марта к себе и выражал ему свои опасения по поводу происходившего брожения умов; тогда Минутоли свел его на одно собрание перед палатками. После того как Бодельшвинг послушал, какие речи там произносились, он сказал: «Люди говорят вполне разумно, благодарю вас, вы удержали меня от глупости». При суждении о Минутоли подозрительной была его популярность в первые дни после

борьбы на улицах. Для полицай-президента[11] популярность, как результат мятежа, была неестественна.

Меня посетил также генерал фон-Притвиц, командовавший войсками, [расположенными] около дворца. Он рассказал мне, что с их отступлением дело обстояло так: после того как ему стало известно обращение «К моим дорогим берлинцам»[12], он прекратил сражение, но продолжал занимать для защиты дворца Дворцовую площадь, цейхгауз и прилегающие улицы. Бодельшвинг обратился тогда к нему с требованием: «Дворцовая площадь должна быть очищена!» — «Это невозможно, — ответил Притвиц, — тем самым я выдал бы короля». — «Король в своем обращении повелел, чтобы все «общественные места»* были очищены, — сказал Бодельшвинг. — Дворцовая площадь — общественное место или нет? Я еще министр и точно знаю, что в качестве министра я должен делать. Я требую, чтобы вы очистили Дворцовую площадь».

«Что же мне оставалось делать, — закончил свой рассказ Притвиц, — как не отойти?» — «А я счел бы самым целесообразным, — ответил я, — скомандовать унтер-офицеру: «Возьмите этого штатского под стражу». Притвиц возразил: «Когда приходишь из ратуши, всегда делаешься умнее[13]. Вы рассуждаете, как политик; я действовал исключительно, как солдат — по инструкции руководящего министра, опиравшегося на высочайше подписанное обращение». Я слышал из другого источника, будто Притвиц прервал этот свой последний разговор с Бодельшвингом, происходивший на улице, бросив в гневе саблю в ножны и пробормотав то, что Гец фон-Берлихинген кричит в окно имперскому комиссару[14]. Затем он повернул коня налево и молча поехал шагом по Шлосфрейхейт. Когда посланный из дворца офицер спросил его, где находятся войска, он едко ответил: «Они проскользнули у меня между пальцами, — ведь тут все распоряжаются» **.

От офицеров ближайшего окружения его величества я слышал следующее. Они разыскивали короля, но не могли сразу найти его, так как он удалился по естественным надобностям. Когда он появился, они его спросили: «Ваше величество приказали, чтобы войска ушли?» Король ответил: «Нет».—«Они, однако, уже уходят», — сказал адъютант и подвел короля к окну. Дворцовая площадь была черна от заполнивших ее штатских, за которыми еще видны были штыки уходивших солдат. «Этого я не приказывал, этого быть не может!» — воскликнул король в замешательстве и негодовании.

* В обращении сказано: «все улицы и площади».

** Письмо пастора фон-Бодельшвинга от 8 ноября 1891 г. («Kreuzzeitung» от 18 ноября 1891 г. № 539) и воспоминания Леопольда фон-Герлаха мне известны.

О князе Лихновском мне рассказывали, что он попеременно распространял наверху, во дворце, панические слухи о слабости войск, о недостатке провианта и военных припасов, а внизу, на площади, по-немецки и по-польски уговаривал повстанцев держаться, — наверху, мол, пали духом,

II

На краткой сессии второго Соединенного ландтага 2 апреля я говорил:

«Я принадлежу к числу тех немногих, кто будет голосовать против адреса[15]; и я просил слово только для того, чтобы мотивировать это голосование и объяснить вам, что в той мере, в какой адрес является программой будущего, я его принимаю, но единственно лишь потому, что ничего другого мне не остается. Я делаю это не добровольно, но под давлением обстоятельств; ибо за эти шесть месяцев я не изменил своих взглядов; я полагаю, что это министерство — единственное, которое может вывести нас из теперешнего положения и привести к порядку и законности; поэтому я окажу ему мою скромную поддержку везде, где это окажется для меня возможным. Но что заставляет меня голосовать против адреса — это выражения радости и признательности по поводу того, что совершилось в последние дни. Прошлое погребено, и я скорблю более, нежели многие из вас, о том, что никакие человеческие силы не в состоянии воскресить его, после того как сама корона бросила горсть земли на свой собственный гроб. Но, принимая это под давлением обстоятельств, я не могу закончить свою деятельность в Соединенном ландтаге ложью и выразить благодарность и радость по поводу того, что я должен признать по меньшей мере вступлением на неправильный путь. Если на том новом пути, на который мы теперь вступили, действительно удастся достичь *единого германского отечества* и счастливого или хотя бы только законным образом упорядоченного состояния, в таком случае настанет момент, когда я выражу свою благодарность зачинателю нового порядка вещей, — в настоящее же время это для меня невозможно».

Я хотел сказать больше, но внутреннее волнение не позволило мне продолжать, я судорожно зарыдал и вынужден был уйти с трибуны.

За несколько дней до этого выпад одной магдебургской газеты вынудил меня обратиться в редакцию со следующим письмом, в котором я воспользовался тем достижением, которого так бурно требовали и которое было обеспечено путем отмены цензуры, а именно «правом свободного выражения мнений», не подозревая, что через 42 года это право будут у меня оспаривать[16].

«Милостивый государь,

вы поместили в сегодняшнем номере вашей газеты статью «Из Альтмарка», которая бросает тень на некоторых лиц, косвенно также и на меня; поэтому я надеюсь, что вы сочтете справедливым принять нижеследующее опровержение. Хотя я и не являюсь тем господином, указанным в статье, который якобы приехал из Потсдама в Стендаль, но и я на предыдущей неделе заявлял в соседних со мной общинах, что не считаю короля свободным в Берлине, и призывал их послать депутацию в соответствующую инстанцию. Но. при этом я не склонен допускать, чтобы мне приписывали те эгоистичные мотивы, которые указаны вашим корреспондентом. Во-первых, тот, кому было известно все совершившееся с королем после ухода войск, естественно мог составить себе мнение, что король не был властен делать и не делать то, что он хотел; во-вторых, я считаю каждого гражданина свободного государства в праве высказывать своим согражданам свое мнение даже в том случае, когда оно противоречит в данный момент общественному мнению. К тому же после только что пережитых событий было бы трудно оспаривать у кого-нибудь право поддерживать свои политические взгляды при помощи возбуждения народа; в-третьих, если все действия его величества в последние 14 дней были совершены им вполне добровольно, чего ни ваш корреспондент, ни я не можем знать с уверенностью, то ради чего же сражались берлинцы? В таком случае борьба 18 и 19 [марта] была бы по меньшей мере бесцельна и излишня, а все кровопролитие — беспричинно и безрезультатно; в-четвертых, я полагаю, что выражу мнение значительного большинства дворянства, если скажу, что в такое время, когда дело идет о дальнейшем социальном и политическом существовании Пруссии, когда Германии угрожает раскол не в одном лишь направлении, — мы не располагаем ни временем, ни склонностью растрачивать наши силы на реакционные попытки или на защиту несущественных, еще оставшихся у нас поместных прав. Находя этот вопрос подчиненным, мы охотно готовы употребить наши силы на дело более достойное. Восстановление законного порядка в Германии, сохранение чести и целостности нашего отечества мы считаем единственной в настоящее время задачей всех, взгляды коих на наше политическое положение не извращены партийным пристрастием.

Я не имею никаких возражений против оглашения моего имени, если вы поместите вышеизложенное. Примите уверения в совершенном почтении, с коим имею честь быть вашим, милостивый государь, покорным слугой.

Бисмарк.

Шенгаузен, близ Ерихова, 30 марта 1848 г.»

Считаю нужным заметить, что я с юности подписывал свою фамилию без «v.» и стал подписываться «v. B[ismarck]» лишь в 1848 г. в виде протеста против предложений об упразднении дворянства[17].

Следующая статья, набросок которой, сделанный моей рукой, сохранился, была написана, как показывает ее содержание, в период между вторым Соединенным ландтагом и выборами в Национальное собрание. В какой газете она была напечатана, установить не удалось.

«Из Альтмарка.

Часть наших сограждан, пользовавшихся при системе сословного деления большим представительством, а именно жители городов, начинают ощущать, что при новой системе выборов, когда городскому населению почти во всех округах придется конкурировать со значительно превышающим его по численности сельским населением, интересы горожан должны будут отступить перед нуждами огромной массы сельских жителей. Мы живем в эпоху материальных интересов, и когда новая конституция упрочится, когда происходящее сейчас брожение успокоится, борьба партий развернется вокруг того, должны ли государственные налоги взиматься соразмерно достаткам, или они должны быть возложены преимущественно на всегда готовую к обложению землю, которая представляет самый удобный и самый надежный объект обложения и размер которой ни в малой степени не может быть утаен. Горожане, вполне естественно, стремятся держать сборщика податей подальше от фабричной промышленности, от городского домовладения, от рантье и капиталистов, они предпочитают, чтобы он взимал налоги с полей, лугов и их продуктов. Начало положено уже тем, что в городах, где до сих пор существовал налог на помол, низшие категории освобождены от нового прямого налога, тогда как в деревне крестьяне, как и раньше, платят поразрядный налог (Klassensteuer)[18]. Мы слышим, далее, что принимаются меры к поддержанию промышленности за счет государственной казны, но что-то не слышно о том, чтобы собирались притти на помощь поселянину, который из-за военных перспектив на побережье не может по соответствующей цене сбыть свои продукты, но который вследствие необходимости покрытия ипотечной задолженности вынужден в наше безденежное время продать свой двор. Точно так же, когда говорят о косвенном обложении, мы слышим более о системе покровительственных таможенных тарифов, благоприятствующих отечественной промышленности и ремеслам, нежели о свободе торговли, которая нужна земледельческому населению. Повторяем, вполне естественно, что часть городского населения, учитывая упомянутые спорные вопросы, не пренебрегает никакими средствами, чтобы на пред-

стоящих выборах обеспечить свои интересы и ослабить представительство сельских жителей. Весьма действенным рычагом для достижения этой цели являются попытки опорочить в глазах сельского населения тех из его представителей, которые по своему образованию и развитию с успехом могли бы защищать в Национальном собрании интересы земли; с этой целью стараются искусственно возбудить недовольство против помещиков-дворян (Rittergutsbesitzer); полагают, что если обезвредить этот класс, то сельским жителям придется избирать адвокатов и других горожан, которые не особенно заботятся об интересах деревни, либо же придут простые в своем большинстве деревенские люди, а их рассчитывают незаметно вести за собой в Национальном собрании с помощью красноречия и ловкой политики партийных руководителей. Поэтому существовавшее до сих пор дворянство стараются изобразить такими людьми, которые хотят возвратить и сохранить старый порядок, тогда как дворяне-помещики, как и любой разумный человек, полагают, что было бы бессмысленно и невозможно остановить поток времени или заставить его повернуть вспять[19]. Стараются, далее, пробудить и укрепить на селе представление, что настало сейчас время освободиться безвозмездно от всех выкупных платежей[20], причитающихся помещикам; при этом, однако, замалчивают то обстоятельство, что правительство, которое хочет права и порядка, не может начать с того, чтобы ограбить один класс граждан в пользу другого, что все права, основанные на законе, судебном решении или договоре, все требования, которые один человек может предъявить другому, все права на ипотечные доходы и капиталы могут быть отняты у тех, кто ими владеет, с таким же правом, с каким у дворянских поместий собираются отнять их ренты без полного возмещения. Крестьянина обманывают, [отрицая], что у него с дворянином-помещиком общие интересы сельского хозяина и общий противник в лице добивающейся исключительного положения промышленной системы, которая протягивает свою руку к власти в Прусском государстве; если этот обман удастся, то будем надеяться, что не надолго и что быстрая отмена в законодательном порядке существовавших до сих пор политических прав дворян-помещиков раскроет сельскому населению глаза на то, как тонко его перехитрили умные горожане, раньше, чем придется платить, ибо тогда будет уже слишком поздно».

В те дни, когда собирался второй Соединенный ландтаг, Георг фон-Финке, от имени своих товарищей по партии[21] и, надо полагать, по поручению лиц более высокопоставленных, старался заручиться моим содействием для осуществления плана, согласно которому предполагалось через ландтаг побудить

короля к отречению и, обойдя принца Прусского, но якобы с его согласия, установить регентство принцессы при ее несовершеннолетнем сыне. Я тотчас же отклонил это предложение и заявил, что если будет внесено предложение такого содержания, то я отвечу на него предложением возбудить судебное преследование за государственную измену. Финке защищал свое предложение как политически целесообразное, продуманное и подготовленное мероприятие. Принца ввиду его, к сожалению, незаслуженного прозвища «Картечный принц»[22] он считал неподходящим и утверждал, будто письменное согласие принца имеется. При этом он имел в виду заявление рыцарски настроенного принца о готовности отказаться от наследственных прав, *если* тем самым можно защитить короля от грозящей ему опасности. Я этого заявления никогда не видел, и принц никогда мне об этом не говорил. Под конец господин фон-Финке спокойно и легко оставил попытки привлечь меня на поддержку регентства принцессы, заметив, что без содействия крайних правых, представителем которых он меня считал, не удастся побудить короля к отречению. Беседа происходила у меня в «Hotel des Princes», в нижнем этаже направо, и обеими сторонами было сказано больше, чем можно изложить письменно.

Я никогда не говорил императору Вильгельму ни об этом случае, ни о тех высказываниях, которые мне пришлось слышать от его супруги в мартовские дни в Потсдамском дворце, и не знаю, говорили ли ему об этом другие; я молчал об этих фактах даже в такие времена, как четырехлетний конфликт[23], война с Австрией[24] и времена «культуркампфа»[25], когда в лице королевы Августы я должен был признать противника, подвергшего самому тяжелому за всю мою жизнь испытанию мои нервы и мою способность отстаивать то, что я почитал своим долгом.

Зато принцесса написала, вероятно, своему супругу в Англию, что я пытался проникнуть к нему, чтобы добиться его поддержки для контрреволюционного движения за освобождение короля, ибо, когда принц на обратном пути остановился, 7 июня, на несколько минут на Гентинском вокзале и я отошел подальше, так как не знал, захочет ли он в качестве «депутата от Вирзица» со мною видеться, он меня узнал в самых задних рядах публики, прошел через толпу стоявших передо мною, протянул мне руку и сказал: «Я знаю, что вы действовали в мою пользу, и никогда этого не забуду».

Первая моя встреча с ним произошла зимой 1834/35 г. на придворном балу. Я стоял рядом с господином фон-Шак из Мекленбурга, который был такого же высокого роста, как я, и также носил мундир референдария юстиции, — это дало принцу повод сказать в шутку, что юстиция подбирает себе ныне людей по гвардейской мерке. Затем, обратясь ко мне, он спросил, почему я не стал военным. «У меня было такое желание,—от-

ветил я, — но родители мои были против этого, так как перспективы слишком неблагоприятны». Принц на это сказал: «Карьера действительно не блестящая, но и служба в юстиции — тоже». Во время первого Соединенного ландтага, в котором принц участвовал как член курии господ, он неоднократно на соединенных заседаниях беседовал со мной в таком тоне, который свидетельствовал о том, что он одобрял занимаемую мною тогда политическую позицию.

Вскоре после встречи в Гентине он пригласил меня в Бабельсберг[26]. Я рассказал ему подробности мартовских событий — частью то, что я сам пережил, частью то, что слышал от офицеров и что касалось в частности настроения, в каком войска отступили из Берлина; это настроение выразилось в горькой песне, которую они распевали в походе. У меня хватило жестокости прочитать ему это стихотворение, показательное в историческом отношении для настроения войск, отступавших согласно приказу из Берлина[27].

Он так при этом разрыдался, как это было при мне лишь еще раз, когда я в Никольсбурге оказал ему сопротивление по вопросу о продолжении войны[28].

Принцесса, его супруга, относилась ко мне до назначения моего во Франкфурт настолько милостиво, что приглашала меня иногда в Бабельсберг, чтобы я выслушивал ее политические взгляды и пожелания, изложение которых она обычно заключала словами: «Я рада, что слышала ваше мнение», хотя при этом у меня не было возможности его высказать. Будущий император Фридрих, которому было в то время лет 18—19 — но выглядел он моложе, — выражал мне обыкновенно в этих случаях свои политические симпатии тем, что вечером, когда я, уезжая, садился в экипаж, он в потемках дружески приветствовал меня крепким рукопожатием, как если бы открытое изъявление его взглядов при свете дня не было ему дозволено.

III

В последние два десятилетия царствования Фридриха-Вильгельма III тяга к германскому единству находила свое внешнее выражение лишь в форме студенческих корпоративных стремлений, вызывавших соответствующие репрессии. Немецкое, или, как он писал, «тевтонское»[29] («teutsches») национальное чувство было у Фридриха-Вильгельма IV сердечнее и живее, чем у его отца, но его проявление тормозилось из-за пристрастия короля к средневековым формам и из-за того, что он не любил принимать ясные и твердые решения в своей практической деятельности. Поэтому он упустил благоприятный момент в марте 1848 г., — и это был не единственный упущенный случай. В промежуток между южногерманскими революциями, в том

числе и в Вене, и событиями 18 марта[30], когда было очевидно, что из всех германских государств, включая и Австрию, устояла только одна Пруссия, германские князья готовы были явиться в Берлин и искать там защиты на условиях, которые шли в направлении объединения гораздо дальше того, что осуществлено сейчас. Даже баварское самосознание было поколеблено. Если бы дело дошло до конгресса [германских] князей, который на основе декларации прусского и австрийского правительств от 10 марта должен был собраться 20 марта в Дрездене, то, судя по настроению причастных к этому дворов, можно было ожидать такой же готовности к жертвам на алтарь отечества, какая была проявлена французами 4 августа 1789 г.[31] Это мнение соответствовало фактическому положению дел; в военном отношении Пруссия была достаточно сильна, чтобы остановить революционную волну и предоставить остальным немецким государствам такие гарантии порядка и законности на будущее время, которые казались тогда приемлемыми остальным династиям.

События 18 марта послужили доказательством того, как опасно может быть вмешательство грубой силы даже для тех целей, которые должны быть достигнуты с ее помощью. Между тем к утру 19 марта еще ничего не было потеряно. Восстание было подавлено. Его вожаки, в числе их знакомый мне еще по университету асессор Рудольф Шрамм, бежали в Дессау; первое известие об отступлении войск они приняли за полицейскую уловку и вернулись в Берлин лишь после того, как получили газеты. Я думаю, что если бы эта победа — единственная в то время победа, одержанная европейским правительством над мятежниками, — была использована умно и с твердостью, достигнутое в таком случае германское единство было бы более полным, чем это в конце концов произошло тогда, когда я участвовал в правительстве. Что было бы лучше и прочнее, — этот вопрос я оставляю открытым.

Если бы король окончательно подавил в марте [берлинское] восстание и не допустил его возобновления, то после крушения Австрии император Николай не препятствовал бы нам при создании новой устойчивой организации Германии[32]. Его симпатии сначала склонялись скорее к Берлину, чем к Вене, хотя Фридрих-Вильгельм IV лично не пользовался — да при различии характеров и не мог пользоваться — этими симпатиями.

Когда король проезжал 21 марта по улицам Берлина под знаменами студенческих корпораций[33], это меньше всего могло содействовать восстановлению того, что было утрачено с точки зрения и внутренних и внешних отношений. Дело обернулось таким образом, что король оказался уже во главе не своих войск, а во главе баррикадных борцов, тех непокорных

масс, перед угрозами которых [германские] князья несколько дней назад искали у него защиты. После столь недостойного шествия пришлось отказаться представить дело, как будто перенесение намеченного съезда князей из Дрездена в Потсдам является единственным последствием мартовских событий.

Мягкость, с которой Фридрих-Вильгельм IV под давлением непрошенных, а быть может, и предательских советчиков, уступая женским слезам, хотел завершить победу, одержанную в кровопролитном столкновении в Берлине, приказав своим войскам отказаться от победы, принесла вред дальнейшему развитию нашей политики прежде всего в том отношении, что была упущена благоприятная возможность. Другой вопрос — долго ли оставался бы успех на стороне короля, если бы он удержал и использовал победу своих войск. Во всяком случае король не был бы тогда в таком угнетенном настроении, в каком я застал его во время второго Соединенного ландтага, наоборот: под влиянием победы у него наблюдался бы усиленный подъем красноречия, как это было, например, в 1840 г., когда принималась присяга на верность, в Кельне в 1842 г. и в других случаях[34]. Я не берусь судить, какое влияние на поведение короля, [на] романтику средневековых имперских воспоминаний об Австрии и князьях и [на] столь сильное до и после этого самосознание князей внутри страны оказало бы сознание [короля], что он окончательно расправился с мятежом, [не] победившим лишь его одного на всей нерусской части континента. То, что было бы завоевано в уличных боях, было бы достижением иного рода и меньшей значимости, чем то, что было завоевано позднее на полях сражений. Может быть, для нашего будущего было и лучше, что нам пришлось блуждать в пустыне внутренней борьбы с 1848 по 1866 г.[35], подобно евреям, прежде чем они достигли страны обетованной. Вряд ли удалось бы нам избежать войн 1866 и 1870 гг.[36], после того как наши соседи, силы которых в 1848 г. были подорваны, с помощью Парижа, Вены и еще кого-нибудь снова воспряли и окрепли бы. Представляется сомнительным, чтобы при развитии по более короткому и быстрому пути мартовской победы 1848 г. влияние исторических событий на немцев было бы таким же, как сейчас; когда создается впечатление, что династии — и как раз те, которые в прошлом были настроены особенно партикуляристски, — относятся к империи более дружелюбно, чем фракции и партии.

Мое первое посещение Сан-Суси[37] произошло при неблагоприятных обстоятельствах. В первых числах июня, за несколько дней до отставки министра-президента Лудольфа Кампгаузена, я находился в Потсдаме; ко мне в гостиницу явился лейб-егерь с уведомлением, что король желает со мной говорить. Под влиянием моих тогдашних фрондистских[38] настроений я сказал,

что, к сожалению, не могу исполнить приказания его величества, так как собираюсь ехать домой и жена моя, здоровье которой требует особо бережного отношения, будет волноваться, если я задержусь дольше, чем это было условлено. Немного погодя явился флигель-адъютант Эдвин фон-Мантейфель, повторил предложение в форме приглашения к столу и сказал, что король предоставляет в мое распоряжение фельдъегеря, чтобы известить мою жену. Мне ничего не оставалось, как отправиться в Сан-Суси. Общество за обедом было очень небольшое: насколько я помню, кроме дам и свиты были только Кампгаузен и я. После обеда король повел меня на террасу и дружески спросил: «Как ваши дела?» С раздражением, которое я таил в себе с мартовских дней, я ответил: «Плохо». На это король: «Я думаю, что настроение у вас должно быть хорошее». Под впечатлением указов, содержания которых точно не припомню, я ответил: «Настроение было прекрасное, но оно испортилось с тех пор, как королевскими властями, за королевской печатью нам была привита революция. Нет уверенности в поддержке со стороны короля». В этот момент из-за кустов показалась королева и сказала: «Как смеете вы так говорить с королем?»— «Оставь меня, Элиза, — сказал король, — я уж сам с ним справлюсь».— «В чем же, собственно, вы меня упрекаете?» —обратился он ко мне. «В том, что вывели войска из Берлина». — «Я этого не хотел», — возразил король. А королева, которая еще находилась на таком расстоянии, что могла слышать нас, добавила: «В этом король совсем не виноват, он трое суток не спал». — «Король должен уметь спать», —заметил я. Не смущаясь этим резким ответом, король сказал: «Когда приходишь из ратуши, всегда делаешься умнее; какая была бы польза, если бы я признал, что действовал, «как осел»? Упреки — плохое средство для того, чтобы восстановить пошатнувшийся престол; мне нужна для этого поддержка и действенная преданность, а не критика». Доброта, с какой было сказано это и прочее, покорила меня. Я явился к нему в настроении фрондера, которому совершенно безразлично, если его весьма немилостиво выпроводят вон, а ушел совершенно обезоруженный и покоренный.

На мое замечание, что он является господином страны и обладает властью, чтобы повсюду восстановить находящийся под угрозой порядок, король сказал, что он должен остерегаться сходить с пути формальной законности. Если бы он захотел порвать с Берлинским собранием[39], «парламентом поденщиков», как его называли тогда в известных кругах, то для этого нужно, чтобы на его стороне было формальное право, иначе его предприятие будет покоиться на непрочной основе и вся монархия окажется под угрозой не только со стороны внутренних движений, но и извне. Возможно, что он имел при этом в виду вой-

ну с французами в обстановке восстаний в Германии. Мне кажется, однако, более вероятным, что в тот момент, когда он хотел заполучить мои услуги, он именно мне не пожелал выразить опасения, что его общегерманские перспективы повредят Пруссии. Я возразил, что при настоящем положении формальное право и его границы весьма неясны и что противники, если бы они имели власть, так же мало церемонились бы с ним, как и 18 марта; я рассматриваю положение скорей с точки зрения войны и вынужденной обороны, нежели с точки зрения юридической аргументации. Король все же настаивал на том, что его положение будет слишком неустойчиво, если он сойдет с почвы законности, и у меня осталось впечатление, что вопрос о возможности восстановления порядка в Пруссии он подчинял на первых порах черно-красно-золотому[40], как тогда говорили, направлению мысли, которое поддерживал в нем Радовиц.

Из многочисленных бесед с королем, которые последовали за этой первой беседой, мне запомнились следующие его слова: «Я хочу повести борьбу против тенденций Национального собрания, но как бы я ни был убежден в своих правах, при нынешнем положении вещей, у меня нет уверенности, что другие, а также в конечном счете и широкие массы, разделяют это убеждение. Чтобы я мог быть вполне уверен в этом, [Национальное] собрание должно в еще большей мере сойти с почвы права, и притом в таких вопросах, где мое право защищаться силой было бы вполне ясно не только мне, но и всем вообще».

Мне так и не удалось убедить короля в том, что его сомнения относительно [реальности] своей власти неосновательны и что поэтому все сводится к тому — верит ли он в свое право, когда хочет обороняться против недопустимых посягательств собрания. Моя правота была вскоре подтверждена тем, что перед лицом больших и малых восстаний любое военное распоряжение проводилось беспрекословно и ревностно, и притом даже в таких условиях, когда соблюдение воинской дисциплины было с самого начала связано с подавлением уже начавшегося вооруженного сопротивления. Между тем роспуск собрания, коль скоро деятельность его была бы признана опасной для государства, не возбудил бы в рядах войск вопроса об обязательном выполнении военного приказа. Точно так же вступление большого количества войск в Берлин после штурма цейхгауза[41] и подобных событий было бы понято не только солдатами, но и большинством населения (если не говорить о меньшинстве, игравшем руководящую роль) как заслуживающее признательности использование несомненного королевского права; и если бы даже гражданская гвардия захотела оказать сопротивление, то она только увеличила бы в войсках справедливый воинственный гнев. Мне трудно допустить мысль, чтобы летом король мог сомневаться в том, имеет ли он достаточно материальных сил,

чтобы положить конец революции в Берлине. Скорее я могу предположить, что у него были задние мысли: [с одной стороны], — нельзя ли будет при каком-либо стечении обстоятельств использовать, прямо или косвенно, Берлинское собрание и примирение с ним и его правовой основой, — будь то в комбинации с Франкфуртским парламентом[42] или против него, будь то для оказания давления в германском вопросе в других направлениях; [а с другой стороны], —не скомпрометирует ли формальный разрыв с прусским народным представительством перспективы германского объединения. Шествие под немецкими знаменами я, конечно, не приписываю таким наклонностям короля: он был тогда физически и душевно так потрясен, что не мог оказать достаточного сопротивления тем требованиям, которые ему настойчиво предъявлялись.

Бывая в Сан-Суси, я познакомился там с людьми, пользовавшимися доверием короля также и в политических вопросах, и по временам встречался с ними в кабинете. Из них назову в особенности генералов Леопольда фон-Герлаха и фон-Рауха, позднее Нибура — советника кабинета.

Раух был практичней; Герлах страдал тем, что склонен был при решении актуальных вопросов увлекаться остроумными обобщениями. Он был благородной натурой, [человеком] широкого размаха, но не таким фанатиком, как его брат, президент Людвиг фон-Герлах; в обыденной жизни он был скромен и беспомощен, как дитя, но политик он был смелый, с широким кругозором, ему мешала только его флегматичность. Я помню, как мне пришлось однажды в присутствии обоих братьев, президента и генерала, следующим образом высказаться по поводу сделанного им упрека в непрактичности: «Если бы мы втроем увидели сейчас в окно, что на улице произошел несчастный случай, то господин президент пустился бы в связи с этим в остроумные рассуждения о недостатке в нас веры и о несовершенстве наших учреждений; генерал сказал бы в точности, что следовало сделать, чтобы помочь беде, но не двинулся бы с места; и только я вышел бы на улицу или позвал бы людей на помощь». Таков был генерал, влиятельнейший политический деятель среди камарильи[43] Фридриха-Вильгельма IV: человек благородного и самоотверженного характера, верный слуга короля, но ни морально, ни, может быть, даже и физически — из-за своей тучности — неспособный быстро осуществлять свои правильные идеи. В те дни, когда король был несправедлив или немилостив к нему, в доме генерала на вечерней молитве можно было, вероятно, слышать старую церковную песнь:

Князьям не доверяйся, друг, —
Изменчивы они:
Провозгласят «Осанна» вдруг,
На завтра же—«Распни!»

Но его преданность королю нисколько не умалялась этим христианским излиянием недовольства. Он душой и телом стоял за короля, даже в тех случаях, когда тот, по его мнению, заблуждался. В конце концов он почти добровольно поплатился за это жизнью. В очень холодный и ветреный день он шел за гробом своего короля с обнаженной головой, держа каску в руке. Это последнее формальное выражение преданности старого слуги праху своего короля подорвало его и без того слабое здоровье: он заболел рожей лица и через несколько дней умер. Его смерть заставляет вспомнить дружинников древнегерманского князя, добровольно умиравших вместе с ним.

Таким же, как Герлах, и, быть может, еще большим влиянием на короля пользовался в 1848 г. Раух. Весьма одаренный человек, воплощение здравого смысла, смелый и честный, без школьного образования, с устремлениями настоящего прусского генерала в лучшем смысле этого слова, он неоднократно выступал на дипломатическом поприще в качестве военного атташе в Петербурге. Однажды Раух явился в Сан-Суси с устным поручением министра-президента графа Бранденбурга испросить решение короля по одному важному вопросу. Королю это решение стоило больших усилий, и он никак не мог дать окончательного ответа. Тогда Раух достал из кармана часы и, посмотрев на циферблат, сказал: «Сейчас остается еще двадцать минут до отхода моего поезда. Ваше величество должны будете все же приказать, должен ли я передать графу Бранденбургу «да» или «нет» или я должен буду доложить ему, что ваше величество не хотите сказать ни «да», ни «нет»: Эти слова были произнесены в раздраженном тоне, смягченном воинской дисциплиной, и в них выражалось недовольство, понятное у твердого и решительного генерала, утомленного продолжительной и бесплодной дискуссией. Король сказал: «Ну, так и быть, да». После этого Раух поспешно удалился, чтобы поскорее добраться через город к вокзалу. Постояв несколько минут в задумчивости, как бы взвешивая последствия принятого против воли решения, король, обращаясь к Герлаху и ко мне, сказал: «Ох уж этот Раух! Он не умеет правильно говорить по-немецки, но у него больше здравого смысла, чем у всех нас». И после этого, уходя из комнаты и обращаясь к Герлаху, он прибавил: «А умнее вас во всяком случае». Не знаю, прав ли был король в этом случае: Герлах был умнее, Раух практичнее.

IV

Развитие событий не дало возможности использовать Берлинское собрание для германского дела, между тем недопустимые посягательства все росли; поэтому зародилась мысль перевести собрание в другой город, чтобы избавить его депутатов

от давления и запугивания, а возможно, и распустить его. Но тут возникло затруднение с созданием министерства, которое взялось бы провести это мероприятие. Уже с момента открытия собрания королю вообще было не легко подыскивать министров, в особенности же таких, которые были бы послушны его довольно изменчивым взглядам и чья бесстрашная непреклонность служила бы гарантией, что в решительный момент они не спасуют. Мне памятны многие неудачные попытки, предпринимавшиеся в начале года. Георг фон-Финке, когда я позондировал у него почву, ответил мне, что он человек «красной земли»[44], предрасположенный к критике и оппозиции, а не к роли министра. Бекерат соглашался взять на себя образование министерства только в том случае, если крайние правые безоговорочно пойдут за ним и обеспечат ему поддержку короля. Люди, пользовавшиеся влиянием в Национальном собрании, не хотели портить себе виды на будущее, когда после восстановления законного порядка они смогли бы войти и остаться в конституционном министерстве, опирающемся на большинство. Гаркорт, который намечался на пост министра торговли, выразил между прочим мнение, что восстановление порядка должно быть осуществлено деловым министерством в составе чиновников и военных прежде, чем верные конституции министры смогут принять у него дела; позднее они согласились бы на это.

Нежелание брать министерские посты усиливалось представлением, что это связано с личной опасностью, так как были уже случаи, когда консервативные депутаты подвергались избиениям на улице. При тех привычках, которые усвоила себе уличная толпа, и при том влиянии, каким пользовались у нее депутаты крайней левой, приходилось ожидать и больших эксцессов, в случае если правительство попытается оказать сопротивление демократическому натиску и взять более твердый курс.

Когда граф Бранденбург, равнодушный к этим опасениям, заявил о своей готовности стать министром-президентом, надо было подыскать ему подходящих и приемлемых коллег. В списке, представленном королю, стояло и мое имя; против него, как рассказывал мне Герлах, была сделана королем помета: «Может быть использован лишь при неограниченном господстве штыка» *. Сам граф Бранденбург сказал мне в Потсдаме: «Я взял на себя это дело, но я и газет-то по-настоящему не читал, незнаком с вопросами государственного права и неспособен ни на что другое, как только рисковать головой. Мне нужен «корнак»[45], человек, которому я доверял бы и который говорил бы мне, что я должен делать. Я принимаюсь за это дело,

* Слова Герлаха заслуживают, по моему мнению, большего доверия, нежели тот источник, коим пользовался граф Фицтум фон-Экщтедт (Berlin und Wien, S. 247), который следующим образом передает помету на полях: «Заядлый реакционер, пахнет кровью, использовать *позднее*».

как ребенок, блуждающий впотьмах; но я не знаю никого, кроме Отто Мантейфеля (директор в министерстве внутренних дел), который имеет надлежащую подготовку и которому я лично доверяю, но он все еще колеблется. Если он захочет, я завтра же пойду в собрание, если он откажется, нам придется подождать и поискать другого. Поезжайте в Берлин и уговорите Мантейфеля». Мне это удалось сделать, после того как я уговаривал его с 9 часов до полуночи и обещал уведомить его жену, которая находилась в Потсдаме. Вместе с тем я рассказал ему о мерах, принятых для охраны личной безопасности министров в здании театра[46] и по соседству с ним.

9 ноября рано утром ко мне явился назначенный военным министром генерал фон-Строта; его направил ко мне Бранденбург, чтобы я разъяснил ему положение. Я по возможности выполнил это и спросил его: «Вы готовы?» Он ответил мне вопросом на вопрос: «Как уговорились одеться?» — «В штатское»,— сказал я. «Штатского костюма у меня нет», — заметил он. Я предоставил в его распоряжение слугу, и ему удалось еще до назначенного часа купить в магазине готового платья костюм. Для охраны министров были приняты некоторые меры предосторожности. Прежде всего в здании театра кроме усиленного наряда полиции было размещено около 30 лучших стрелков гвардейского егерского батальона; по условленному сигналу они должны были появиться в зале и на галлереях и защитить своими исключительно меткими выстрелами министров, если бы последним угрожало физическое насилие. Можно было рассчитывать, что при первых выстрелах присутствующие быстро очистят зал. Соответствующие приготовления были сделаны в окнах здания театра, а также в различных зданиях на Жандарменмаркт с целью оградить министров при возвращении из театра от возможных враждебных нападений. Предполагалось, что и более многочисленная толпа, которая могла бы там собраться, рассеется, как только с различных сторон раздадутся выстрелы.

Господин фон-Мантейфель обратил внимание еще на то, что вход в театр с узкой в том месте Шарлоттенштрассе остается неприкрытым. Я предложил разместить солдат в расположенной напротив квартире графа Книпгаузена, ганноверского посланника, находящегося в отпуску. С этой целью я еще ночью отправился в военное министерство к полковнику фон-Грисхейму, на которого было возложено осуществление военных мероприятий; он, однако, выразил сомнение по поводу того, можно ли воспользоваться для этой цели зданием дипломатической миссии. Тогда я отправился к ганноверскому поверенному в делах графу Платену, который проживал на Унтер-ден-Линден в доме, принадлежавшем ганноверскому королю. Он был того мнения, что официальным помещением миссии в данный момент

должна считаться его квартира на Унтер-ден-Линден, и уполномочил меня написать полковнику фон-Грисхейму, что он предоставляет квартиру «своего отсутствующего друга» графа Книпгаузена в распоряжение полиции. Я лег спать поздно, но в 7 часов утра меня уже разбудил посыльный от графа Платена, который просил заехать к нему. Я застал его в большом раздражении, так как оказалось, что отряд около 100 человек занял двор *его* дома, т. е. как раз того дома, на который он указал, как на помещение миссии. Повидимому, Грисхейм, получив мое сообщение, передал приказ какому-нибудь чиновнику, из-за которого и вышло это недоразумение. Я пошел к нему и добился приказа начальнику отряда занять квартиру Книпгаузена. Это и было исполнено, когда уже совсем рассвело, между тем как занятие остальных намеченных зданий было выполнено незаметно, ночью. Возможно, именно эта случайно обнаружившаяся решимость привела к тому, что, когда министры направлялись в здание театра. Жандарменмаркт был совершенно пуст.

Когда Врангель (10 ноября) выступил во главе войск, он начал переговоры с гражданской гвардией и уговорил ее добровольно отступить. Я считал это политической ошибкой; если бы дело дошло хотя бы до самой небольшой стычки, то Берлин был бы занят не в результате капитуляции, а силой, и тогда политическое положение правительства было бы иным. Тот факт, что король не сразу распустил Национальное собрание, а лишь отложил его заседания на некоторое время, что он перевел его в Бранденбург и сделал попытку получить там большинство, с которым можно было бы добиться удовлетворительного соглашения,— этот факт доказывает, что в политическом развитии, как оно, повидимому, представлялось королю, роль Национального собрания и тогда еще не была сыграна до конца. Некоторые признаки, которые приходят мне на память, говорят о том, что такая роль отводилась Национальному собранию на поприще германского вопроса. В частных беседах влиятельных политических деятелей во время перерыва заседаний собрания германский вопрос в большей мере, чем прежде, выдвигался на передний план, в министерских кругах в этом отношении возлагались большие надежды на саксонца фон-Карловича, признанное красноречие которого должно было подействовать в немецко-национальном духе. Какой точки зрения придерживался в германском вопросе граф Бранденбург, об этом он мне тогда не говорил. Он лишь выражал готовность выполнить с солдатской беспрекословностью все, что прикажет король. Позднее в Эрфурте он беседовал со мной об этом более откровенно[47].

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЭРФУРТ, ОЛЬМЮЦ, ДРЕЗДЕН

I

В неудачах нашей политики после 1848 г. повинна не столько затаенная германская идея Фридриха-Вильгельма IV, сколько его слабость. Король надеялся, что то, к чему он стремился, исполнится таким образом, что ему не придется поступиться при этом своими легитимистскими традициями[1]. Если бы кроме того, чем Пруссия владела до 1848 г., король не стремился ни к чему более — даже к mention honorable [лестному упоминанию] в истории, как можно было предположить на основании речей 1840 и 1842 гг.[2]; если бы у короля не было никаких целей и склонностей, для осуществления которых нужна была известная популярность, — что помешало бы ему в таком случае выступить — после того как министерство Бранденбурга упрочилось — против революционных приобретений в пределах Пруссии подобным же образом, как он выступил против Баденского восстания[3] и сопротивления отдельных прусских провинциальных городов. Ход этих восстаний показал тем, кто этого еще не знал, что на армию можно было положиться: в Бадене свой долг исполнил по мере сил ландвер[4] даже из тех округов, которые считались ненадежными. Несомненно, не исключена была возможность военной реакции, возможность — при октроировании[5] конституции — большего заострения в монархическом духе положенного в основу конституции бельгийского образца[6]. Желание использовать эту возможность отступало, вероятно, в душе короля перед опасением потерять то расположение национально настроенных и либеральных кругов, с помощью которых король надеялся добиться для Пруссии главенства в Германии без войны и путем, не противоречившим его легитимистским идеям.

Эта надежда или ожидание, которые вплоть до «новой эры»[7] робко выражались в фразах о германской миссии Пруссии и о моральных завоеваниях, основывались на двойном заблуждении, которое с марта 1848 г. до весны следующего года играло решающую роль как в Сан-Суси, так и в церкви св. Павла[8];

речь идет о *недооценке* жизненной силы немецких династий и подвластных им государств и о *переоценке* тех сил, которые можно обозначить словом «баррикада», понимая под этим словом все подготовляющие баррикаду моменты, агитацию и *угрозу* уличных боев. Не в самой баррикаде заключалась опасность переворота, а в страхе перед ней. Более или менее феакийские правительства[9] были разбиты в марте, еще до того как они обнажили шпагу, — частью вследствие *страха* перед врагом, частью в результате тайного сочувствия врагу со стороны их чиновников. Во всяком случае королю Пруссии во главе князей было бы легче, использовав победу войск в Берлине, восстановить германское единство, чем впоследствии [собранию] в церкви св. Павла. Трудно, конечно, судить, не помешали ли бы своеобразные качества короля, даже при закреплении этой победы, восстановлению такого единства и не сделали ли бы они его снова непрочным после восстановления, как этого в марте опасался Бодельшвинг. Как об этом свидетельствуют заметки Леопольда фон-Герлаха и другие источники, у короля в последние годы его жизни снова выступила на передний план его первоначальная антипатия к конституционным порядкам и убеждение в необходимости предоставления королевской власти большей свободы действий, чем это предусмотрено прусской конституцией[10]. Мысль заменить конституцию «королевской хартией» была у короля еще во время его последней болезни.

Находясь в плену все того же двойного заблуждения, Франкфуртский парламент рассматривал *династические* вопросы как нечто уже преодоленное и со свойственной немцам теоретической энергией применял эту точку зрения и к Пруссии и к Австрии. Те депутаты, которые могли дать во Франкфурте достоверные сведения о настроениях в прусских провинциях и немецких областях Австрии, были отчасти заинтересованы в том, чтобы замалчивать истину; добросовестно или нет, но парламент находился в заблуждении насчет того факта, что в случае противоречия между постановлением Франкфуртского парламента и указом прусского короля парламентское решение у семи восьмых населения Пруссии будет иметь ничтожный вес или же не будет иметь никакого веса. Тот, кто жил тогда в наших восточных провинциях, еще и сейчас помнит, что все те элементы, в чьих руках находилась материальная власть, все те, кому предстояло в случае конфликта руководить или командовать вооруженными силами, относились к деятельности Франкфуртского парламента не с той серьезностью, какой можно было бы ожидать, судя по достоинству собравшихся во Франкфурте научных и парламентских величин. Если бы последовал монарший указ, призывающий кулаки масс на помощь государю, то он возымел бы тогда достаточное действие, и не только в Пруссии, но

и в крупных второстепенных государствах [Германии]; не везде это произошло бы в такой степени, как это имело место в Пруссии, но все же везде в достаточной степени с точки зрения потребностей материальной полицейской силы, если бы только князья имели мужество назначать министров, которые твердо и недвусмысленно защищали бы их интересы. В Пруссии летом 1848 г. этого не было; однако как только в ноябре король решился назначить министров, готовых защищать права короны[11], невзирая на парламентские решения, все наваждение исчезло, и оставалась только опасность, как бы реакция не вышла за пределы разумного. В остальных северогерманских государствах дело не дошло даже до таких конфликтов, с какими пришлось бороться в некоторых провинциальных городах министерству Бранденбурга. В Баварии и Вюртемберге вопреки министрам, враждебным королевской власти, последняя в конце концов также оказалась сильнее революции.

Когда 3 апреля 1849 'г. король отклонил императорскую корону[12], но заявил, что решение Франкфуртского парламента дает ему «право притязания», значение которого он умеет ценить, — его побудило к этому главным образом революционное или, во всяком случае, парламентское происхождение этого предложения и отсутствие у Франкфуртского парламента публично-правовых полномочий при недостаточной поддержке династий[13]. Но если бы даже не было всех этих недостатков или король их не заметил бы, при нем едва ли можно было ожидать того развития и укрепления имперских учреждений, которое имело место при императоре Вильгельме. Войн, которые вел последний[14], нельзя было избежать; только их пришлось бы вести *после* установления империи, как следствие этого установления, а не *до* этого, подготовляя и строя империю. Я не знаю, можно ли было бы побудить Фридриха-Вильгельма IV своевременно вести эти войны; это было трудно даже в отношении его брата[15], у которого преобладала военная жилка и чувства прусского офицера.

Отмечая, что тогдашняя Пруссия в личном и деловом отношении не созрела для принятия на себя руководства Германией в военное и мирное время, я этим вовсе не хочу сказать, что в то время я видел это с такой ясностью, как теперь, оглядываясь назад, на развитие событий за 40 лет. Мое тогдашнее чувство удовлетворения по поводу отказа короля от императорской короны основывалось не на приведенной выше оценке его личности, а скорее на большей щепетильности в отношении престижа прусской короны и ее носителя, но еще больше — на инстинктивном недоверии к развитию событий после баррикад 1848 г. и их парламентских последствий. В отношении последних у меня и у моих политических друзей создалось впечатление,

что руководящие лица в парламенте и печати, частью сознательно, большей частью несознательно, поддерживали и выполняли программу «все должно быть разрушено» и что тогдашние министры — не те люди, которые могли руководить движением или сдерживать его. Моя точка зрения по этому вопросу в основном не отличалась тогда от присущих еще в настоящее время членам парламентских фракций взглядов, основанных на приверженности к друзьям и недоверии или враждебности к противникам. В жизни фракций еще и теперь господствует убеждение, что противнику во всем, что бы он ни предпринимал, свойственна в лучшем случае ограниченность, а вероятнее всего, злонамеренность и бессовестность; господствует также нежелание расходиться в мнениях и рвать с товарищами по фракции; в то время убеждения, на которых основаны такие опасные для жизни государства явления, были значительно живее и честнее, чем в настоящее время. Противники мало знали тогда друг друга; с тех пор, за 40 лет, они имели возможность ближе узнать друг друга, ибо персональный состав партийных руководителей меняется обычно медленно и незначительно. Тогда обе стороны действительно считали друг друга либо глупыми, либо дурными людьми, действительно имели те чувства и убеждения, которыми они в настоящее время лишь *маскируются* с целью влиять на избирателей и на монарха, потому что эти чувства и убеждения составляют часть программы, во имя которой люди стали служить определенной партии, «попали» в нее, поверив в ее правоту и доверившись ее вождям. Политический карьеризм играет в настоящее время большую роль в жизни и деятельности фракций, чем 40 лет назад; тогда убеждения были искреннее и бесхитростнее, хотя страсти, ненависть и взаимное недоброжелательство фракций и их вождей, готовность жертвовать интересами страны ради фракционных интересов развиты в настоящее время, вероятно, сильнее. En tout cas le diable n'y perd rien [при всех обстоятельствах чорт ничего не теряет]. Правда, византинизм и лицемерная спекуляция на симпатиях короля имели некоторое распространение среди небольшой части высших кругов, но в парламентских фракциях борьба за милость двора еще не была в ходу; вера в могущество королевской власти в большинстве случаев ошибочно расценивалась ниже, чем вера в собственное значение; ничего так не боялись, как прослыть раболепствующими или прислуживающимися. Одни стремились по собственному убеждению укреплять и поддерживать королевскую власть, другие полагали, что благо их самих и страны состоит в борьбе против короля и в его ослаблении; это доказывает, что если не мощь, то по крайней мере вера в мощь королевской власти в Пруссии была тогда слабее, чем в настоящее время. Недооценка могущества короны не изменилась и после того, как оказалось достаточно личной

воли такого не очень сильного в волевом отношении монарха,как Фридрих-Вильгельм IV, чтобы отклонением императорской короны обезглавить германское движение; не изменилась она и в результате того, что вспыхивавшие вслед за этим спорадические восстания[16], имевшие целью добиться осуществления национальных стремлений, были легко подавлены королевской властью.

Благоприятное положение, создавшееся для Пруссии в короткий период между падением князя Меттерниха в Вене и выводом войск из Берлина[17], снова, хотя и в более слабой степени, оказалось налицо, когда выяснилось, что король и его армия, несмотря на все допущенные ошибки, еще достаточно сильны, чтобы подавить восстание в Дрездене[18] и осуществить Союз трех королей[19]. Тогда, пожалуй, можно было бы быстро использовать положение в национальных интересах, однако при условии ясной практической цели и решительных действий. Ни того, ни другого не было. Драгоценное время растрачивалось на разговоры о подробностях будущей конституции, среди которых одним из важнейших был вопрос о праве германских князей иметь дипломатическое представительство наряду с представительством Германской империи. В то время я отстаивал в тех придворных кругах, в которых вращался, и среди депутатов ту точку зрения, что право дипломатического представительства не имеет того значения, которое ему придается, и зависит от влияния отдельных государей Германского союза в империи или за границей. Если политическое влияние такого государя ничтожно, то его дипломатические миссии за границей не в состоянии будут ослабить впечатление о единстве империи. Если же влияние его на вопросы войны и мира, на политическое и финансовое руководство империей или на решения иностранных дворов останется достаточно сильным, тогда не будет средств воспрепятствовать тому, чтобы его корреспонденция или какие-нибудь более или менее влиятельные частные лица — вплоть до интернациональных зубных врачей — не были использованы для политических переговоров.

В то время мне казалось более полезным вместо теоретических разглагольствований о параграфах конституции выдвигать на авансцену имеющуюся налицо жизнеспособную прусскую военную силу, как это было сделано при подавлении восстания в Дрездене и как это могло быть сделано в остальных германских государствах. События в Дрездене показали, что дисциплина и верность саксонских войск оставались непоколебимыми, поскольку прусские подкрепления обеспечивали устойчивость военного положения. Точно так же в боях во Франкфурте гессенские, а в Бадене мекленбургские войска доказали, что на них можно положиться[20], как только они получили уверенность, что ими планомерно руководят, и

убедились в единстве командования и как только им перестали внушать, что они должны допускать, чтобы на них нападали, и не [должны] обороняться. Если бы тогда Берлин своевременно и в достаточных размерах пополнил нашу армию и взял на себя без всякой задней мысли руководство военными операциями, то я не знаю, что могло бы оправдать сомнения в благоприятном исходе дела. Ситуация не была такой безукоризненно ясной с точки зрения права и нравственности, как в начале марта 1848 г., но политически она все еще не была неблагоприятной.

Когда я говорю о задних мыслях, то имею в виду боязнь потерять сочувствие и популярность родственных династий, парламентов, историков и ежедневной печати. За выражение общественного мнения принималось тогда веяние дня, наиболее шумно выступающее в прессе и в парламентах, но не отражающее настроения народа, а между тем от этого настроения зависело, откликнутся ли массы на призывы, идущие сверху по естественным каналам. Духовная потенция верхних десяти тысяч в прессе и на трибуне поддерживается и определяется слишком большим многообразием скрещивающихся стремлений и сил; поэтому правительства могут руководствоваться ею в своем поведении только до тех пор, пока евангелия ораторов и писателей, завоевывая массы, не превращаются также в материальные силы, о которых сказано: «В пространстве ж вещь всегда помеха вещи» [21]. Когда же это происходит, наступает vis major [действие непреодолимых обстоятельств], с которым политике приходится считаться. Пока нет налицо этого действия, проявляющегося обычно не скоро, пока в крупных центрах шумят лишь люди rerum novarum cupidi [жаждущих переворота], а также пресса и парламент с их склонностью к бурному выражению чувств, — до тех пор для реального политика остается в силе соображение Кориолана о народных движениях [22], хотя тот при этом не принимал во внимание типографскую краску. В то время, однако, руководящие круги Пруссии давали себя оглушать шумом больших и малых парламентов, не считая нужным измерить их значение по тому барометру, которым могло бы служить для них поведение солдатских масс в строю или во время мобилизации. Ошибочной оценке реального соотношения сил, которую я сам имел тогда возможность констатировать при дворе и у самого короля, много способствовали симпатии высшего чиновничества отчасти к либеральной, отчасти к национальной стороне движения, — элемент, который без импульса сверху мог бы, пожалуй, оказать тормозящее влияние, но фактически решающей роли играть не мог.

Перед тем искушением, которое создавала обстановка, королем владело чувство, сходное с тем неприятным ощущением, которое я, хотя и большой любитель плавания, испытал однажды, когда в холодный день собирался войти в воду.

Его опасения насчет того, созрела ли обстановка, питались между прочим теми историческими изысканиями, которые он обычно производил с Радовицем не только по поводу права Саксонии и Ганновера на дипломатическое представительство, но и по поводу распределения мест в «рейхстаге» по различным категориям его состава между теми, кто продолжал править, и теми, кто был медиатизирован, между владетельными князьями и персоналистами, между реципированными и нереципированными графами[23] и в том числе по такому поводу, как привилегии барона фон-Гроте-Шауэна.

II

Хотя в то время я стоял дальше от военных дел, чем впоследствии, но думаю, не ошибусь, предположив, что при переброске войсковых частей для подавления восстаний в Бадене и Пфальце было двинуто больше кадров и линейных соединений, чем следовало и чем потребовалось бы, если бы были двинуты мобилизованные войска. Во всяком случае во время ольмюцской встречи[24] военный министр приводил в качестве одной из причин, вынуждавших к миру или по крайней мере к отсрочке войны, невозможность своевременно или даже вообще мобилизовать большую часть армии, *кадры* которой в неполном составе находились в Бадене или в других местах, вне районов своего постоянного расположения и мобилизации. Если бы весной 1849 г. мы имели в виду возможность решить вопрос путем войны и сохранили бы полностью свою мобилизационную способность, применив только *готовые к войне* войска, военные силы, которыми располагал Фридрих-Вильгельм IV, были бы вполне достаточны не только для того, чтобы подавить любое повстанческое движение в Пруссии и вне ее, но эти вооруженные силы обеспечили бы нам одновременно и возможность, не вызывая подозрений, подготовить в 1850 г. разрешение основных проблем того времени, в случае если бы последние обострились до степени вооруженной борьбы. Умному королю недоставало не политического предвидения, а решимости, и если в конкретных случаях его в принципе твердая вера в полноту собственной власти могла устоять против *политических* советников, то отнюдь не против опасений министерства финансов.

Я и тогда был уверен, что военные силы Пруссии достаточны, чтобы подавить все восстания, и что результаты такого подавления были бы тем благоприятнее для монархии и для национального дела, чем большее сопротивление пришлось бы преодолеть правительству; лучше всего было бы, если бы можно было разбить в одной кампании все силы, сопротивления которых следовало ожидать. Во время восстании в Бадене

и Пфальце некоторое время оставалось под сомнением, на чью сторону перейдет часть баварской армии. Я вспоминаю, что сказал баварскому посланнику графу Лерхенфельду, когда он как раз в эти критические дни прощался со мной перед отъездом в Мюнхен: «Дай бог, чтобы и ваша армия, коль скоро она колеблется, открыто изменила; тогда борьба будет большая, но решающая, и нарыв вскроется. Если же вы заключите мир с ненадежной частью ваших войск, то нарыв будет загнан вовнутрь». Лерхенфельд, встревоженный и удивленный, назвал меня легкомысленным. Я закончил разговор словами: «Будьте уверены, мы обломаем и ваше и наше дело; чем хуже, тем лучше». Он мне не поверил, однако моя уверенность все же его подбодрила; я и теперь думаю, что было бы еще больше шансов разрешить тогдашний кризис так, как того хотели, если бы перед тем баденская революция усилилась вследствие измены также и части баварских и вюртембергских войск, чего тогда опасались. Впрочем, и тогда эти шансы остались бы, пожалуй, неиспользованными.

Я оставляю открытым вопрос, были ли страхи министерства финансов или династические угрызения совести и нерешительность высших сфер единственной причиной половинчатости и трусливости мероприятий, принятых тогда перед лицом серьезной опасности, или же в официальных кругах имели место опасения, подобные тем, которые в мартовские дни помешали Бодельшвингу и другим принять правильное решение, а именно: опасения, что в той мере, в какой король почувствует себя снова могущественным и уверенным, он сможет взять курс также и на абсолютизм. Я вспоминаю, что замечал такие опасения среди высшего чиновничества и в *либеральных* придворных кругах.

Остается открытым вопрос — не было ли использовано в интересах католицизма влияние генерала фон-Радовица на короля в действовавшей на него форме, с тем чтобы помешать протестантской Пруссии учесть благоприятную возможность и с тем чтобы скрыть эту возможность от короля. Я и сейчас еще не знаю, был ли фон-Радовиц врагом Пруссии, как католик, или же он стремился лишь сохранить свое положение при короле*. Несомненно, он служил искусным костюмером для

* Генерал фон-Герлах в августе 1850 г. писал (Denkwurdigkeiten, I, S. 514):

«Уважение короля к Радовицу основывается на двух вещах: 1. На его внешне острой, логически математической рассудочности, при которой его бездумная индиферентность делает для него возможным избегать каких бы то ни было противоречий с королем; король же видит в этом образе мышления, абсолютно противоположном собственному его ходу мысли, пробный камень для своих построений и приобретает таким образом уверенность в своем деле. 2. Король считает своих министров и меня в том числе быдлом, уже потому, что мы вынуждены разре-

средневековых фантазий короля и способствовал тому, что его величество, увлекаясь вопросами об исторических формах и воспоминаниями из истории империи, упускал возможности практического вмешательства в ход развития современности. Tempus utile [полезное время] для создания Союза трех королей было кунктаторски[25] (dilatorisch) заполнено второстепенными вопросами, пока Австрия не стала снова достаточно сильной, чтобы вынудить Саксонию и Ганновер к отступлению, так что в Эрфурте оба сооснователя этого Тройственного союза отпали. Во время заседаний Эрфуртского парламента у генерала фон-Пфуля среди приглашенных им гостей зашел разговор о доверительных сведениях, полученных некоторыми депутатами, относительно численности формируемой в Богемии австрийской армии, которая должна была служить противовесом и коррективом к парламенту. Называли различные цифры — 80 тысяч и 130 тысяч человек. Радовиц в течение некоторого времени спокойно прислушивался и затем сказал решительным тоном, с присущим его правильному лицу выражением непоколебимой уверенности: «Австрия имеет в Богемии 28 254 человека и 7 132 лошади». Тысячи, которые он назвал, obiter [случайно] сохранились у меня в памяти, остальные цифры я привожу наугад, чтобы дать наглядное представление о подавляющей точности сообщенных генералом данных. Естественно, эти цифры в устах официального и компетентного представителя прусского правительства заставили на время умолкнуть всех инакомыслящих. Какими силами располагала весной 1850 г. в Богемии австрийская армия, можно сейчас установить: к ольмюцскому периоду она насчитывала значительно более 100 тысяч человек, как я узнал на основании доверительных сообщений, сделанных мне военным министром в ноябре того же года.

Более близкое соприкосновение с графом Бранденбургом в Эрфурте убедило меня, что его прусский патриотизм питался главным образом воспоминаниями о 1812 и 1813 гг. и уже поэтому был пропитан немецким национальным чувством. Решающую роль все же играли его династические и борусские[26] чувства, а также идея усиления мощи Пруссии. Он получил от короля, который тогда уже работал по-своему над моим политическим воспитанием, поручение использовать влияние, которое я мог бы оказать на фракцию крайних правых для поддержки эрфуртской политики, и попытался сделать это наедине; —

шать с ним те текущие практические дела, которые никогда не соответствуют его идеям. Он не считает себя способным ни заставить этих министров быть послушными ему, ни найти других министров, а поэтому он отказывается от этого пути и думает, что нашел в Радовице такого министра, который восстановит из Германии Пруссию, как это прямо признает Радовиц в Deutschland und Friedrich-Wilhelm IV» .

во время прогулки между городом и Штегервальде он мне сказал: «Какая опасность может грозить Пруссии при таком положении вещей? Мы спокойно принимаем помощь в том размере, в каком нам ее предлагают — «большем или меньшем» — «сколько дадут», отказываясь на время от того, чего нам не предлагают. Долго ли мы сможем терпеть пункты конституции, с которыми приходится мириться королю, — это покажет лишь опыт. Не выйдет это — «мы вытащим шпагу и выгоним всю компанию к черту». Не могу отрицать, что это воинственное заключение его рассуждений произвело на меня весьма выгодное впечатление, но я остался при своем сомнении— не будет ли зависеть высочайшее решение в критический момент в большей мере от иных влияний, чем от этого рыцарски настроенного генерала. Его трагический конец подтвердил мои сомнения.

Король побуждал также и господина фон-Мантейфеля к попыткам привлечь прусских крайних правых на сторону правительственной политики и подготовить в этом смысле соглашение между нами и партией Гагерна[27]. Он сделал так, что пригласил только меня и Гагерна к обеду и, не сказав даже нескольких вступительных слов, оставил нас вдвоем, когда мы еще сидели за бутылкой вина. Гагерн повторил мне лишь менее точно и вразумительно то, что было нам уже известно как программа его партии и, в несколько сокращенном виде, — как правительственное предложение. Он говорил, не глядя на меня, уставясь в небо. В ответ на мое замечание, что мы, прусские роялисты, прежде всего опасаемся, что при этой конституции монархическая власть будет недостаточно сильной, он, окончив свою длинную и напыщенную речь, погрузился в пренебрежительное молчание, что создавало впечатление, которое можно передать словами: Roma locuta est[28] [Рим высказался]. Когда Мантейфель вернулся, мы еще несколько минут сидели молча: я — потому, что ожидал возражений Гагерна; он — потому, что, помня свое положение во Франкфурте, считал ниже своего достоинства вести переговоры с прусским юнкером иначе, как в безапелляционном духе. Он был более склонен к роли парламентского оратора и президента, нежели серьезного политического деятеля, и воображал себя Jupiter tonans [Юпитером-громовержцем]. После того как Гагерн удалился, Мантейфель спросил меня, что он говорил. «Он произнес передо мной речь, как будто я — народное собрание», — ответил я.

Примечательно, что в обеих семьях — Гагернов и Ауэрсвальдов, представлявших тогда в Германии и Пруссии национальный либерализм, было тогда по три брата и среди них по одному генералу; оба эти генерала были более практичными политиками, чем их братья, и оба были убиты в результате революционных движений, развитию которых оба они из добрых пат-

риотических побуждений содействовали в сфере своей деятельности. Генерал фон-Ауэрсвальд, убитый 18 сентября 1848 г. под Франкфуртом, как говорили, потому, что его приняли за Радовица, похвалялся во время первого Соединенного ландтага тем, что, будучи полковником кавалерийского полка, сделал верхом сотни миль, чтобы оказать во время выборов содействие оппозиции среди крестьян.

В ноябре 1850 г. я был одновременно вызван как офицер ландвера в полк и как депутат — на предстоящую сессию палаты[29]. Проезжая через Берлин в штаб полка[30], я явился к военному министру фон-Штокгаузену, с которым был лично в хороших отношениях и который был мне признателен за кое-какие личные услуги. После того как я преодолел противодействие старика-швейцара и был допущен к министру, я дал выход своему воинственному настроению, будучи несколько возбужден и призывом в полк и тоном австрийцев. Министр, старый, энергичный солдат, в моральной и физической отваге которого я был уверен, сказал мне в основном следующее:

«В настоящий момент мы должны по возможности избегать разрыва. У нас нет достаточных сил, чтобы сдержать натиск австрийцев, если они внезапно на нас нападут, даже без помощи саксонцев. Нам придется отдать им Берлин и объявить мобилизацию в двух центрах вне столицы, скажем, в Данциге и в Вестфалии; к Берлину мы могли бы стянуть лишь через две недели около 70 тысяч человек, но и этого было бы недостаточно против тех боевых сил, которые Австрия уже сейчас имеет наготове против нас». Если мы хотим ударить, — продолжал он, — то нам прежде всего необходимо выиграть время, а поэтому надобно желать, чтобы прения и речи, предстоящие в палате депутатов, не ускорили разрыва, как это можно предвидеть по тону, господствующему в прессе. Поэтому он просил меня остаться в Берлине и негласно воздействовать в духе умеренности на близких мне депутатов, которые уже были здесь или вскоре должны были приехать. Он жаловался на разбросанность линейных частей, которые выступили и были брошены в бой в составе мирного времени и находились теперь вдали от районов своего комплектования и цейхгаузов частью в глубине страны, большею же частью в юго-западной Германии, т. е. в местах, где трудно быстро провести мобилизацию.

Баденские войска повели тогда в Пруссию по трудно проходимым дорогам через брауншвейгский Везерский район — доказательство того, как боялись нарушить границы владений союзных князей, в то время как остальные атрибуты их суверенитета с легкостью игнорировались или совсем упразднялись в проектах конституций империи и Союза трех королей. В проектах доходили почти до медиатизации[31], но не осмеливались претендовать на то, чтобы расквартировать

войска, вне предусмотренных договорами пределов этапных дорог. Эта трусливая традиция была нарушена лишь в Швартау, когда разразилась война с Данией 1864 г. и опущенный ольденбургский шлагбаум был поднят прусскими войсками.

Я не мог подвергнуть критике соображения такого компетентного и проникнутого чувством чести генерала,как Штокгаузен, я и теперь на это не отважусь. Вина за нашу скованность в военном отношении, которую он мне обрисовал, лежала не на нем,—она крылась в той бесплановости, в той смеси легкомыслия и скряжничества, с какой в мартовские дни и после них велась наша политика, как военная, так и дипломатическая. В военной же области она была такого рода, что проводимые мероприятия давали основание предположить, что в высших сферах, в Берлине, вообще не принимали в расчет разрешение назревших вопросов путем войны или хотя бы путем военной подготовки. Слишком много занимались общественным мнением, речами, газетами и возней с конституцией, чтобы наметить твердые планы и достичь практических целей в области внешней или хотя бы даже только внепрусской, германской политики. Штокгаузен не был в состоянии исправить упущения и уничтожить бесплановость нашей политики путем быстрых успехов в военном отношении и оказался поэтому в положении, которое считал недопустимым даже сам политический руководитель министерства — граф Бранденбург. Последний изнемог под бременем разочарований, которые пришлось пережить его высокому патриотическому чувству чести в последние дни его жизни. Было бы несправедливо обвинять Штокгаузена в малодушии, и я имею основания полагать, что и король Вильгельм I ко времени, когда я стал его министром, разделял мой взгляд на военное положение в ноябре 1850 г. Как бы то ни было, я не имел тогда никаких оснований для критики, которую я мог бы осуществить в военной области как консервативный депутат по адресу министра и как лейтенант ландвера — по адресу генерала.

Штокгаузен взялся уведомить мой полк, расположенный в Лаузице, о том, что он приказал лейтенанту фон-Бисмарку остаться в Берлине. Я отправился прежде всего к моему коллеге по ландтагу, советнику юстиции Гепперту, который возглавлял тогда если не мою фракцию, то все же многочисленную группу, которую можно было бы назвать правым центром и которая была склонна поддерживать правительство; она считала лишь необходимым энергично отстаивать национальные задачи Пруссии не только принципиально, но также путем немедленного вмешательства военной силы. Я натолкнулся прежде всего на парламентские взгляды Гепперта, которые не совпадали с программой военного министра; поэтому мне пришлось постараться разубедить его во мнении, которое до разговора

с Штокгаузеном я сам в основном разделял и которое можно определить, как естественное следствие уязвленного национального или военно-прусского чувства чести. Я вспоминаю, что наши разговоры были продолжительны и часты. Влияние их на фракцию правых видно из дебатов по поводу адреса. Я сам высказал 3 декабря мои тогдашние убеждения в речи, из которой привожу следующие выдержки:

«Прусский народ, как всем нам известно, единодушно поднялся по призыву своего короля, поднялся, полный доверия и послушания, поднялся, чтобы по примеру отцов сражаться в боях прусских королей, поднялся, прежде чем он узнал, — заметьте это себе, господа, — прежде чем он узнал, что именно должно быть завоевано в этих боях; этого, вероятно, не знал никто из вступивших в ряды ландвера.

Я надеялся, что вновь встречу это чувство единодушия и доверия в кругах народного представительства, в тех узких кругах, где сосредоточены все нити управления. Краткое пребывание в Берлине, беглый взгляд на то, что здесь делается, показали мне, что я заблуждался. В проекте адреса наше время названо великим; я не нашел здесь ничего великого, кроме личного честолюбия, ничего великого, кроме недоверия, ничего великого, кроме партийной ненависти. Вот три проявления великого, которые в моем понимании клеймят наше время, как ничтожное, и омрачают виды на будущее в глазах верных сынов отечества. Отсутствие единства среди указанных мной кругов едва прикрыто в проекте адреса пышными словами, под которыми каждый разумеет свое. Я не нашел ни в адресе, ни в поправках к нему никакого следа того доверия, которым воодушевлена страна, того полного доверия, которое основано на преданности его величеству королю, которое основано на опыте преуспеяния страны под управлением представляющего ее в течение двух лет министерства. Я считал бы это тем более нужным, что мне казалось необходимым усилить впечатление, которое произвел на Европу единодушный подъем страны, путем единения тех, кто не входит в состав вооруженных сил, в момент, когда наши соседи стоят против нас с оружием в руках, в момент, когда мы с оружием в руках спешим к нашим границам, в момент, когда дух доверия царит даже среди тех, кому, казалось, он не был обычно присущ, в момент, когда каждый вопрос адреса, касающийся внешней политики, таит в себе войну или мир — и какую войну, господа? Это не поход нескольких полков в Шлезвиг или Баден, это не военная прогулка по неспокойным провинциям; нет, — это война большого масштаба против двух из трех великих континентальных держав, в то время как третья, жаждущая добычи, вооружается на наших границах, прекрасно зная, что в Кельнском соборе находится сокровище, обладание которым

может завершить французскую революцию и укрепить положение тамошних властителей, а именно французская императорская корона...

Государственному деятелю в кабинете или палате нетрудно трубить в боевой рог в унисон с популярными веяниями, сидя при этом у камина, и произносить с этой трибуны громовые речи, предоставляя решение вопроса о том, завоюет ли его система победу и славу, мушкетеру, истекающему кровью на снегу. Нет ничего легче этого, но горе тому государственному деятелю, который в это время не позаботится найти такое основание для войны, которое и *после* войны еще сохранит свое значение...

Прусская честь, по моему убеждению, состоит не в том, чтобы Пруссия всюду в Германии разыгрывала роль Дон-Кихота по отношению к обиженным парламентским знаменитостям, считающим, что их местная конституция находится в опасности. Прусскую честь я вижу в том, чтобы Пруссия держалась прежде всего подальше от какой бы то ни было позорной связи с демократией, чтобы в этом, как и во всех других вопросах, Пруссия не допускала бы никаких изменений в Германии помимо своего согласия и чтобы то, что Пруссия и Австрия сочтут после совместного свободного рассмотрения разумным и политически правильным, осуществлялось совместно обеими равноправными державами — защитницами Германии...

Главный вопрос, который таит в себе войну или мир, — устройство Германии и урегулирование отношений между Пруссией и Австрией и отношений Пруссии и Австрии к мелким государствам, должен через несколько дней сделаться предметом обсуждения на свободных совещаниях и, стало быть, не может *сейчас* послужить причиной войны. Тот, кто хочет войны во что бы то ни стало, того я заверяю, что ее *в любое время можно обрести* на этих свободных совещаниях: это вопрос четырех или шести недель, если хотят воевать. Я далек от того, чтобы в столь важный момент, как сейчас, тормозить своими советами деятельность правительства. Если бы я и хотел выразить министерству свое пожелание, то оно заключалось бы в том, чтобы мы *разоружились не ранее* того, как свободные совещания дадут положительный результат; *тогда у нас еще будет время вести войну,* если мы, соблюдая свое достоинство, действительно не сможем или не захотим ее избежать.

Каким образом можно искать германское единство в унии — этого я понять не могу; это — странное единство, когда с самого начала требуется, чтобы в интересах этой своеобразной унии пока что перестреляли и перекололи на юге наших германских соотечественников; когда германскую честь усматри-

вают в том, чтобы центр тяжести всех германских вопросов был непременно перенесен в Варшаву и Париж. Представьте себе, что лицом к лицу с оружием в руках стоят две группы германских государств. По своей военной мощи они отличаются друг от друга лишь настолько, что участие на стороне одной из них даже менее сильной державы, нежели Россия или Франция, может дать ей решающий перевес; я не понимаю, по какому праву тот, кто сам хочет создать подобное соотношение сил, может жаловаться на то, что при этих обстоятельствах центр тяжести решения переносится за границу».

Моей руководящей идеей при произнесении речи было [стремление] добиться, в соответствии с точкой зрения военного министра, отсрочки войны до тех пор, пока мы не вооружимся. Я не мог, однако, со всей ясностью открыто выразить это, я мог только намекнуть. Не было бы чрезмерным требовать от нашей дипломатии, чтобы она по мере надобности умела откладывать, предупреждать или вызывать войну.

В то время, в ноябре 1850 г., в России относились к революционному движению, происходившему в Германии, уже значительно спокойнее, чем в марте 1848г., когда оно началось. Я был в приятельских отношениях с русским военным атташе графом Бенкендорфом и в 1850 г. вынес из доверительной беседы с ним впечатление, что движение в Германии, включая польское, тревожило петербургский кабинет уже не в той степени, как при его возникновении, и не воспринималось уже, как представляющее опасность в случае войны. В марте 1848 г. революция в Германии и в Польше казалась русским еще чем-то непредвиденным и опасным. Первым из русских дипломатов, который в своих донесениях в Петербург защищал другую точку зрения, был тогдашний поверенный в делах во Франкфурте-на-Майне, впоследствии посланник в Берлине, барон фон-Будберг. Его донесения о переговорах и о значении церкви св. Павла с самого начала носили сатирический оттенок, и то пренебрежение, с которым этот молодой дипломат отзывался в своих донесениях о речах немецких профессоров и о могуществе Национального собрания, доставили такое удовлетворение императору Николаю, что карьера Будберга была сделана и он очень скоро был назначен посланником и послом. В этих донесениях он дал оценку политических событий с антигерманской точки зрения, аналогичную той, которая преобладала в старопрусских кругах Берлина, где он прежде вращался, — только там проявляли больше патриотического духа и *озабоченности*. Можно сказать, что та точка зрения, первым проводником которой он был и благодаря которой сделал карьеру в Петербурге, зародилась в берлинском «Казино»[32]. С тех пор Россия не только существенно укрепила свои военные позиции на Висле, но и составила себе также более скромное

мнение о тогдашних военных возможностях революции, равно как и германских правительств; тон речей, раздававшихся в ноябре 1850 г. у русского посланника барона Мейендорфа, с которым я был в приятельских отношениях, и его соотечественников, носил вполне успокоительный, с русской точки зрения, характер и был проникнут лично доброжелательным, но для меня оскорбительным участием к будущему дружественной Пруссии. У меня создалось такое впечатление, что Австрию считают более сильной и надежной державой, а Россию — достаточно сильной, чтобы взять в свои руки решение спора между обеими сторонами.

III

Хотя я не был в то время так хорошо знаком, как впоследствии, со всеми средствами и обычаями дипломатической службы, все же при всей моей неопытности я был уверен, что войну, если бы она казалась нам вообще желательной и приемлемой, можно было бы вызвать в любой момент и после Ольмюца, во время дрезденских переговоров[33], путем прекращения последних. Штокгаузен как-то сказал мне, что ему нужно шесть недель, чтобы иметь возможность сражаться, и, по моему мнению, нетрудно было бы удвоить этот срок путем искусного ведения переговоров в Дрездене, коль скоро неподготовленность к войне в тот момент была единственным основанием к тому, чтобы отказаться от решения вопроса путем войны. Если дрезденские переговоры не были использованы для того, чтобы добиться лучшего — с прусской точки зрения— результата или кажущегося справедливым повода к войне, то я никогда не мог уяснить себе, исходило ли это бросающееся в глаза ограничение наших целей в Дрездене от короля или от господина фон-Мантейфеля, нового министра иностранных дел. У меня в ту пору сложилось только впечатление, что этот министр, будучи ранее ландратом, регирунгспрезидентом и директором министерства внутренних дел, чувствовал себя стесненным и неуверенным в своих выступлениях вследствие заносчивой и важной манеры обращения князя Шварценберга. Уже домашняя обстановка жизни их обоих в Дрездене — князь Шварценберг в первом этаже, с ливрейными лакеями, серебряной посудой и шампанским, прусский министр этажом выше, с канцелярскими служителями и стаканами с водой, — была такова, что действовала в невыгодном для нас смысле на самочувствие представителей обеих великих держав и на оценку их остальными германскими представителями. Старинная прусская простота, рекомендованная Фридрихом Великим своему представителю в Лондоне, в изречении: «Если тебе приходится ходить пешком, говори, что за тобой идут 100 тысяч человек», —

свидетельствует о бахвальстве; остроумный король мог сказать это лишь в припадке чрезмерной скупости. Сейчас всякий имеет 100 тысяч человек, только у нас, кажется, в дрезденские времена их не было. Главная ошибка тогдашней прусской политики заключалась в том, что считали возможным добиться путем публицистических, парламентских и дипломатических ухищрений тех успехов, которые могли быть достигнуты лишь борьбой или готовностью к ней; успехи эти казались как бы навязанными нашей добродетельной скромности в качестве воздаяния за ораторскую деятельность, в которой проявлялся наш «немецкий дух». Это называли впоследствии «моральной» победой. Это была надежда, что другие сделают за нас то, на что мы сами не решались.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ДИПЛОМАТ

Когда прусское правительство решилось послать своего представителя в Союзный сейм[1], возобновивший в результате австрийских усилий свою деятельность, и пошло на то, чтобы восполнить таким образом его состав, посланником при сейме был временно назначен генерал Рохов, продолжавший оставаться в то же время аккредитованным в Петербурге. Одновременно в штат миссии были зачислены два советника: я и господин фон-Грунер. Перед моим назначением советником миссии его величество и министр фон-Мантейфель дали мне понять, что в ближайшем времени предполагается назначить меня посланником при сейме. Рохов должен был ввести меня в дела и подучить, но он и сам неспособен был работать по-деловому, меня же использовал как редактора и не держал au fait [в курсе] политических дел.

Предшествовавшая моему назначению беседа с королем, вкратце переданная в письме покойного моего друга Д. Л. Мотли к его жене, происходила следующим образом. После того как на внезапный вопрос министра Мантейфеля, согласен ли я принять пост посланника при сейме, я коротко ответил «да», король вызвал меня к себе и сказал: «Вы очень смелы, сразу же соглашаясь принять совершенно не знакомую вам должность». «Ваше величество, — ответил я, — смелость проявляете вы, вверяя мне такой пост; впрочем, ничто не обязывает ваше величество оставить в силе назначение, если я не оправдаю вашего доверия. Сам я не могу с уверенностью сказать, по силам ли мне эта задача, пока не ознакомлюсь с ней ближе. Если я найду, что не дорос до нее, то сам же первый буду ходатайствовать о моем отозвании. Я имею смелость повиноваться, коль скоро ваше величество имеете смелость повелевать». «В таком случае попытаемся», — заключил король.

11 мая 1851 г. я прибыл во Франкфурт. Господин фон-Рохов, человек не столько честолюбивый, сколько склонный к покою и уюту, утомленный климатом и шумной придворной

жизнью в Петербурге, предпочел бы надолго остаться во Франкфурте. Это вполне удовлетворяло всем его желаниям, и он хлопотал в Берлине о назначении меня посланником в Дармштадт, с тем чтобы я одновременно был аккредитован при герцоге Нассауском и городе Франкфурте[2]; он был даже, пожалуй, непрочь уступить мне взамен свой петербургский пост. Ему нравилось жить на Рейне и общаться с немецкими дворами. Но его старания не увенчались успехом. 11 июня господин фон-Мантейфель известил меня о том, что король утвердил мое назначение посланником при Союзном сейме. «Само собой разумеется, — писал министр, — что господина фон-Рохова нельзя уволить brusquement [внезапно]; поэтому я предполагаю сегодня же написать ему об этом несколько слов и уверен, что вы согласитесь со мною, если я поступлю в этом случае, сообразуясь с желаниями господина фон-Рохова; я в сущности весьма благодарен ему за то, что он взял на себя тяжелую и неблагодарную миссию, не в пример некоторым другим, которые всегда готовы критиковать, а как только доходит до дела, — бьют отбой. Незачем доказывать, что я имею в виду не вас, так как и вы защищаете брешь и не отступите, полагаю, даже в том случае, если останетесь один».

15 июля последовало мое назначение посланником при Союзном сейме. Хотя с Роховым обошлись очень предупредительно, он был тем не менее расстроен и выместил на мне досаду за несбывшиеся желания: однажды утром он выехал из Франкфурта, не предупредив меня и не сдав мне ни дел, ни документов. Узнав стороной об его отъезде, я успел как раз вовремя явиться на вокзал, чтобы выразить ему благодарность за проявленное им доброжелательное отношение ко мне. О моей деятельности и о моих наблюдениях в Союзном сейме опубликовано так много официального и частного материала, что мне остается дать лишь кое-какие дополнения.

Я застал во Франкфурте двух прусских комиссаров, оставшихся со времен интерима[3]: обер-президента фон-Беттихера, сын которого в качестве статс-секретаря и министра стал впоследствии моим помощником, и генерала фон-Пейкера, доставившего мне повод впервые призадуматься над тем, что представляют собою ордена. Это был дельный и храбрый офицер с серьезным научным образованием, которое он имел случай применить впоследствии на посту генерал-инспектора военно-учебных заведений. В 1812 г., когда он служил в корпусе Иорка[4], у него украли плащ; обратный поход ему пришлось совершить в одном мундире; он отморозил себе пальцы на ногах и претерпел еще всякие другие беды в связи с холодами. Этот умный и храбрый офицер добился, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, руки красавицы графини Шуленбург; от нее впоследствии перешло к его сыну богатое

наследство семьи Шенк фон-Флехтинген в Альтмарке. В удивительном контрасте с его общим духовным обликом находилась свойственная ему слабость — излишнее пристрастие к внешним знакам отличия, обогатившее берлинский жаргон особым словечком: о человеке, чрезмерно увешанном орденами, принято было говорить: «er peuckert» [«он пейкирует»].

Придя к нему однажды утром, я застал его перед столом, на котором были разложены честно заслуженные им, первоначально на поле битвы, ордена, стройный порядок коих на груди был нарушен только что полученной новой звездой. Поздоровавшись со мной, он заговорил не об Австрии или Пруссии, а о том, куда, с точки зрения художественного вкуса, приладить эту новую звезду. Чувство глубокого уважения, с каким я с детства привык относиться к заслуженному генералу, заставило меня совершенно серьезно заняться этим вопросом, и, только исчерпав его, мы перешли к деловому разговору.

Признаюсь, что, получив (в 1842 г.) свой первый знак отличия, медаль за спасение[5], я был весьма обрадован и даже польщен, ибо в то время я, простой провинциальный юнкер, не был еще избалован в этом отношении. На государственной службе я быстро утратил эту свежесть восприятия; не припомню, чтобы в дальнейшем получение наград доставляло мне объективное удовольствие; я испытывал только субъективное чувство удовлетворения этими внешними знаками благоволения, коими король отмечал мою преданность, а прочие монархи — успешность моих попыток заслужить их доверие и благосклонность. Наш посланник в Дрездене, фон-Иордан ответил как-то на сделанное в шутку предложение — уступить один из его многочисленных орденов: «Je vous les cede toutes, pourvu que vous m'en laissiez une pour couvrir mes nudites diplomatiques» [«Уступаю вам их все — оставьте мне только один для прикрытия моей дипломатической наготы»]. Grand cordon [орденская лента] составляет в сущности неотъемлемую принадлежность туалета посланника, а возможность переменить ленту, если только она пожалована не собственным двором, а иностранным, является для элегантного дипломата столь же желанной, как для дамы — перемена наряда. В Париже мне приходилось быть свидетелем того, как один вид monsieur decore [господина с орденом] сдерживал бессмысленные насилия над толпой. Я нигде не испытывал потребности носить ордена, кроме как в Петербурге и в Париже; в этих столицах просто необходимо показываться на улице не иначе, как с ленточкой в петлице, если хочешь, чтобы полиция и публика обращались с тобой вежливо[6]. В прочих случаях я надевал обыкновенно лишь те ордена, которые требовались обстоятельствами; мне всегда представлялось сво-

его рода китайщиной, когда приходилось наблюдать, какие болезненные формы принимала у моих коллег и сотрудников на бюрократическом поприще страсть к коллекционированию орденов; как тайные советники[7], которые и так уже были не в состоянии совладать с бившим из их груди каскадом орденов, добивались заключения какого-нибудь ничтожного договора лишь потому, что им хотелось пополнить свою коллекцию орденом того государства, с которым велись переговоры.

Члены палат, которым надлежало в 1849—1850 гг. пересмотреть октроированную конституцию[8], развивали весьма напряженную деятельность: с 8 до 10 часов происходили заседания комиссий, с 10 до 4 часов — пленарные заседания, которые иногда возобновлялись еще и в поздние вечерние часы и сменялись длительными фракционными совещаниями. Поэтому я мог удовлетворять свою потребность в движении только ночью, и мне вспоминается, как неоднократно поздней порой я бродил туда и обратно по Унтер-ден-Линден, между зданием оперы и Бранденбургскими воротами. Случайно я обратил тогда внимание на то, как полезны для здоровья танцы — развлечение, которое я оставил с 27 лет, считая, что оно к лицу только «юности». Как-то на придворном балу одна моя хорошая знакомая попросила меня разыскать для котильона ее исчезнувшего кавалера, а так как я его не нашел, она предложила мне заменить его. После нескольких туров на гладком паркете Белого зала у меня пропало появившееся было опасение, что закружится голова, я продолжал танцовать с удовольствием и спал после этого таким здоровым сном, какого давно не знал. Во Франкфурте танцовали все, начиная с 65-летнего французского посланника monsieur Marquis de Tallenay [господина Марки де Тальнэ], ставшего после провозглашения империи во Франции[9] monsieur le marquis de Tallenay [господином маркизом де Тальнэ]. Я легко усвоил себе эту привычку, хотя работа при сейме оставляла у меня уже достаточно времени как для прогулок пешком, так и для верховой езды. И в Берлине, став уже министром, я не отказывался танцовать, когда меня приглашали знакомые дамы или удостаивали такой чести принцессы; но мне постоянно приходилось выслушивать по этому поводу саркастические замечания короля. «Меня упрекают, — говорил он, — в том, что я избрал в министры человека легкомысленного. Вам не следовало бы поддерживать это мнение своими танцами». Принцессам было запрещено выбирать меня кавалером. Надолго сохранившаяся у господина фон-Кейделя склонность к танцам равным образом была причиной тех затруднений, которые я встречал со стороны его величества к повышению Кейделя по службе. Все это не соответствовало скромной натуре императора, который привык блюсти свое достоинство, избегая между прочим таких внеш-

них проявлений, которые, не имея сами по себе значения, могли подать повод к критике. В его представлении танцующий государственный деятель был уместен только как участник торжественных придворных кадрилей; если же он кружится в вихре вальса, он дает повод усомниться в разумности своих советов.

Когда я уже совершенно освоился со своим положением во Франкфурте, — произошло это не без резких столкновений с австрийским представителем, прежде всего по вопросу о флоте, в связи с его попытками урезать в этом отношении влияние и финансовое значение Пруссии, с тем чтобы парализовать их на будущее, — король вызвал меня 28 мая 1852 г. в Потсдам и объявил мне свое решение послать меня в высшую школу дипломатии — в Вену: на первых порах поверенным в делах, а затем — преемником тяжело заболевшего графа Арнима. С этой целью король вручил мне приведенное ниже рекомендательное письмо к его величеству императору Францу-Иосифу, помеченное 5 июня:

«Ваше императорское величество, прошу вас благосклонно принять те немногие строки, коими я рекомендую подателя сего собственноручного моего письма, господина Бисмарка фон-Шенгаузена, к вашему двору. Он принадлежит к рыцарскому роду, который еще ранее моего дома обосновался в наших марках[10] и издревле сохраняет — особенно в его лице — свои старые добродетели. Его отважным и упорным трудам в недавнюю годину горьких испытаний обязаны мы сохранением и упрочением отрадных порядков в наших селах и деревнях. Вашему императорскому величеству известно, что господин фон-Бисмарк занимает пост моего посланника при Союзном сейме. Так как в настоящее время состояние здоровья моего посланника при дворе вашего императорского величества, графа фон-Арнима, потребовало временного его отсутствия» а отношения между нашими дворами не допускают (по моему мнению) второстепенного представительства, то я избрал господина фон-Бисмарка для исполнения vices [должности] графа Арнима во время его отсутствия. Мне приятно думать, что ваше величество познакомитесь с человеком, которого, за его рыцарски свободную преданность престолу и за непримиримую вражду к революции вплоть до самых глубоких ее корней, многие у нас почитают, а некоторые — ненавидят. Он мой друг и верный слуга и прибудет в Вену под свежим впечатлением и с живым сочувствием к моим принципам, моему образу действий, моим намерениям и, прибавлю, моей любви к Австрии и вашему величеству. Он может, — если это будет признано нужным, — дать вашему величеству и вашим высоким советникам ответы и разъяснения по ряду вопросов [с такой полнотой], как лишь немногие в состоянии

это сделать; его кратковременное пребывание в Вене может оказаться поистине благотворным, если только неслыханные, издавна накапливавшиеся недоразумения не пустили слишком глубоких корней, от чего да сохранит нас господь. Господин фон-Бисмарк едет из Франкфурта, где всегда находило сильнейший отклик, а нередко — и свои истоки то, что средние государства, *чреватые Рейнским союзом*[11], с восторгом называют разногласиями между Австрией и Пруссией; все это, все тамошние происки он наблюдал на месте своим острым и верным взглядом. Я приказал ему отвечать на любой вопрос, который мог бы быть предложен ему по этому поводу вашим величеством или вашими министрами, так, как если бы вопрос был поставлен мною. Вы, ваше величество, пожелаете, быть может, получить у него объяснения насчет моего взгляда и моего отношения к делам Таможенного союза; я питаю уверенность, что в таком случае мой образ действий на этом поприще заслужит если и не полного вашего одобрения, — что было бы счастьем, — то, несомненно, вашего внимания. Пребывание здесь дорогого, прекрасного императора Николая было для меня подлинной отрадой. Подтверждение моей давней и твердой надежды на полное единодушие с вашим величеством в признании той истины, что *только* наше тройственное, нерушимое, исполненное веры и действенное согласие может спасти Европу и наше непослушное, но все же столь дорогое немецкое отечество из нынешнего критического состояния, преисполнило меня благодарности богу и еще более усилило мою давнюю и верную любовь к вашему величеству. Сохраните и вы, дорогой друг, то расположение ко мне, каким я пользовался в дивные дни, проведенные на берегу Тегернского озера, и укрепитесь в своем доверии и столь важной и мощной, столь необходимой для нашего общего отечества дружбе ко мне! Этой дружбе поручаю я себя, дражайший друг, от всей души, пребывая вашего императорского величества верным и искренно преданным дядей, братом и другом[12].
Сан-Суси, 5 июня 1852 г.»

В Вене я застал «односложное» («einsylbige») министерство[13] Буоля, Баха, Брука и пр.; отнюдь не друзья Пруссии, они были со мною весьма любезны, в расчете на мою восприимчивость к высокому благоволению и на ответные услуги в деловой сфере. Внешне я был принят с большими почестями, чем ожидал; но с деловой стороны, т. е. в отношении таможенных вопросов, моя миссия осталась безуспешной. Австрия и тогда уже имела в виду таможенное объединение с нами, но я ни тогда, ни впоследствии не считал разумным итти навстречу этим стремлениям[14]. К необходимым предпосылкам таможенного

единства принадлежит известная степень однородности потребления; даже в пределах Германского таможенного союза лишь с трудом удается преодолеть различие интересов между севером и югом, востоком и западом, и то лишь при добром желании, проистекающем из чувства национальной общности; различие же в потреблении облагаемых пошлиной товаров между Венгрией и Галицией, с одной стороны, и Таможенным союзом [15] — с другой, слишком велико, чтобы таможенное объединение представлялось осуществимым. Распределение таможенных доходов было бы в ущерб Германии даже тогда, когда цифры говорили бы как будто о том же применительно к Австрии. Цислейтания и еще более Транслейтания [16] живут почти исключительно своими собственными, а не привозными продуктами. Кроме того, я в то время вообще не питал, да и теперь еще подчас не питаю, особого доверия к мелким чиновникам ненемецкого происхождения на Востоке.

Единственный секретарь нашей миссии в Вене встретил меня с неудовольствием по той причине, что не он был назначен поверенным в делах, и обратился в Берлин с прошением об отпуске. Министр отказал ему в этом, я же сразу же отпустил его. Вот почему мне пришлось обратиться к моему давнишнему приятелю, ганноверскому посланнику графу Адольфу Платену, с тем чтобы он представил меня министрам и ввел в дипломатическое общество.

В доверительной беседе он спросил меня однажды, считаю ли и я себя намеченным в преемники Мантейфелю. Я ответил, что пока это не входит в мои расчеты, но я полагаю, что король думает сделать меня со временем своим министром и,, видимо, подготовляет меня к этому, почему и возложил на меня данную mission extraordinaire [чрезвычайную миссию] в Австрии. Я же хотел бы прослужить еще лет десять посланником во Франкфурте или при различных дворах, с тем чтобы повидать свет, затем лет десять охотно нес бы службу министра, по возможности со славой, а уж потом, поселившись в имении, размышлял бы о пережитом и по примеру старика-дяди, живущего в Темплине, близ Потсдама, занимался бы прививкою плодовых деревьев. Этот шутливый разговор был передан фон-Платеном в Ганновер, дошел до сведения генерального директора налогового управления Кленце, который вел в то время переговоры с Мантейфелем по таможенным вопросам и в моем лице ненавидел юнкера в либерально-бюрократическом понимании слова. Он поспешил передать Мантейфелю данные платеновского донесения, искаженные в том смысле, будто я стараюсь подкопаться под Мантейфеля. По возвращении из Вены в Берлин (8 июля) я почувствовал по некоторым внешним признакам последствия этих наветов. Проявлялось это в более холодном отношении

ко мне моего начальника, не приглашавшего меня более останавливаться у него во время моих наездов в Берлин. Были взяты под подозрение и мои дружеские отношения к генералу фон-Герлаху.

Выздоровление графа Арнима позволило мне уехать из: Вены и побудило короля воздержаться пока от своего намерения назначить меня преемником Арнима. Но если бы граф и не выздоровел, я неохотно занял бы его место, ибо уже тогда у меня было такое чувство, что мой образ действий во Франкфурте превратил меня в persona ingrata [лицо неприемлемое] в Вене. Я опасался, что со мной будут продолжать обходиться там, как с элементом враждебным, будут затруднять мне мою службу и постараются уронить меня во мнении берлинского двора, а достигнуть этого путем переписки между дворами было бы еще легче, если бы я остался в Вене, нежели [при моем возвращении] во Франкфурт.

Мне припоминаются беседы о Вене, которые я впоследствии имел с глазу на глаз с королем во время продолжительных поездок по железной дороге. Я занимал тогда такую позицию: «Если ваше величество прикажете, я поеду туда, но — не по доброй воле; я уже навлек на себя недоброжелательство австрийского двора во Франкфурте, на службе у вашего величества, и если бы я получил назначение посланником в Вену, то у меня было бы такое чувство, что я выдан моим врагам. Каждое правительство с легкостью может повредить каждому аккредитованному при нем посланнику и пошатнуть его положение, прибегая к тем средствам, какие пускает в ход австрийская политика в Германии». Король обычно отвечал: «Приказывать я не хочу, вы должны отправиться туда добровольно и даже просить меня о том; ведь это высокая школа для вашего совершенствования в качестве дипломата, и вам следовало бы благодарить меня за то, что я беру заботу об этом на себя, зная, что вы того стоите».

Министерский пост также не вполне отвечал в то время моим желаниям. Я был убежден, что в качестве министра я не добился бы *приемлемого* для себя положения у короля. Он видел во мне яйцо, которое сам снес и высиживал, и при любом расхождении во взглядах ему. казалось бы, что яйцо хочет учить курицу. Мне было ясно, что цели прусской внешней политики, как они представлялись мне, не вполне покрывались взглядами короля; так же ясны были мне и те затруднения, которые пришлось бы преодолевать ответственному министру этого монарха при свойственных ему приступах самовластия и изменчивых взглядах, при его деловой беспорядочности и подверженности проникавшим с заднего крыльца непрошенным влияниям политических интриганов; так уже повелось, что, начиная с приспешников наших курфюрстов и вплоть

до более новых времен, подобные влияния — все эти pharmacopolae, balatrones, hoc genus omne [знахари, фокусники и весь этот сброд][17] — находили доступ к царствующему дому, даже при строгом и самобытном Фридрихе-Вильгельме I. Быть покорным слугою и вместе с тем ответственным министром было в то время труднее, нежели при Вильгельме I.

В сентябре 1853 г. мне представилась возможность занять пост министра в Ганновере. Как раз тогда я закончил курс лечения ваннами в Нордернее[18], и бывший министр Бакмейстер, только что вышедший из министерства Шеле, стал зондировать почву, не соглашусь ли я быть министром короля Георга. Я высказался в том смысле, что мог бы служить интересам внешней политики Ганновера лишь при условии, что король всецело пошел бы рука об руку с Пруссией; я не мог бы сбросить с себя, как сюртук, свое пруссачество. Проездом к своим в Вильнев, на Женевском озере, куда я отправился из Нордернея через Ганновер, я имел несколько совещаний с королем. Одна из наших бесед происходила в нижнем этаже дворца, в кабинете, расположенном между спальнями короля и королевы. Король хотел, чтобы факт наших переговоров не разглашался, но пригласил меня на пять часов к обеду. Он не возвращался более к вопросу, соглашусь ли я быть его министром, но пожелал только, чтобы я, как лицо, сведущее в делах Союзного сейма, сделал ему доклад о том, каким образом может быть пересмотрена при помощи союзных постановлений конституция 1848 г.[19] После того как я развил ему свой взгляд, он попросил меня изложить его письменно, и притом тут же. Мне пришлось в присутствии короля, с нетерпением ожидавшего у того же стола, набросать в общих чертах план действий, что было не легко, так как письменные принадлежности, употребляемые, видимо, редко, были из рук вон плохи: густые чернила, скверное перо, грубая бумага, пропускной бумаги вовсе не было; составленная мною записка политического содержания на четырех страницах с чернильными кляксами отнюдь не походила на выполненный по всем правилам канцелярского искусства документ. Король вообще ничего не писал, кроме своей подписи, да и это было ему трудно сделать в том помещении, где он ради соблюдения тайны принял меня. Впрочем, тайна была нарушена тем, что дело затянулось до шести часов, и приглашенные к пяти часам не могли не догадаться о причине опоздания. Когда пробили стоявшие позади короля часы, он вскочил и, не сказав ни слова, с поразительной при его слепоте быстротою и уверенностью прошел по комнате, заставленной мебелью, в смежную спальню или гардеробную. Я остался один, не зная, что делать, не имея понятия о расположении покоев дворца, запомнив только со слов короля, что одна из трех дверей ведет в спальню, где лежит больная корью королева.

Убедившись, наконец, что никто не придет проводить меня, я вышел через третью дверь и наткнулся на лакея; тот, не зная меня, был встревожен и перепуган моим появлением в этой части дворца,но успокоился, когда я, уловив акцент его недоуменного вопроса, ответил по-английски и распорядился проводить меня к королевскому столу.

В тот же или на следующий день вечером, точно не помню, я еще раз имел продолжительную аудиенцию у короля без свидетелей, во время которой был поражен тем, как небрежно обслуживали слепого монарха. Все освещение большой комнаты сводилось к двойному подсвечнику с двумя восковыми свечами, на которые были надеты тяжелые металлические абажуры. Одна из свечей догорела, и абажур свалился на пол, причем раздался такой звук, словно ударили в гонг; но на шум никто не явился, да и в соседней комнате никого не оказалось, так что монарху самому пришлось указать мне, где находится звонок. Эта заброшенность короля показалась мне тем более странной, что стол, у которого мы сидели, был завален всевозможными деловыми и частными бумагами; некоторые из них падали при малейшем движении короля, и мне приходилось поднимать их. Не менее удивительно было и то, что слепой монарх целыми часами беседовал со мной, чужим дипломатом, без ведома кого бы то ни было из министров.

Когда я думаю о моем пребывании в Ганновере, мне вспоминается один случай, который до сих пор остается для меня загадочным. К прусскому комиссару, назначенному в Ганновер для ведения переговоров по текущим таможенным вопросам, был из Берлина прикомандирован в помощники консул Шпигельталь. Когда я упомянул о нем в разговоре с моим приятелем, министром фон-Шеле, как о прусском чиновнике, тот смеясь выразил свое изумление: «Судя по его деятельности, он принял этого господина за австрийского агента». Я послал об этом шифрованную депешу министру фон-Мантейфелю и, так как этот Шпигельталь собирался вскоре ехать в Берлин, посоветовал обыскать его багаж при таможенном осмотре на границе и 'наложить арест на его бумаги. Мое ожидание, что в ближайшие дни я об этом прочту или услышу, не сбылось. А в конце октября, когда я провел несколько дней в Берлине и Потсдаме, генерал фон-Герлах между прочим сказал мне однажды: «У Мантейфеля бывают иногда удивительные причуды: так, недавно он выразил желание, чтобы консул Шпигельталь был приглашен к королевскому столу и под угрозою отставки кабинета добился исполнения своего желания». Когда я сообщил ему в ответ на это мои ганноверские наблюдения, он придал своим мыслям непередаваемое выражение.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПАРТИЯ «ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА». КРЫМСКАЯ ВОЙНА

I

В кругах, противодействовавших королевской власти, продолжали связывать успех германского дела со слабой надеждой на рычаги в духе герцога Кобургского[1], на английскую и даже французскую помощь, в первую же очередь — на либеральные симпатии немецкого народа. В своём практически-действенном проявлении эти надежды ограничивались узким кругом придворной оппозиции, так называемой фракцией Бетман-Гольвега, которая пыталась расположить в свою пользу и в пользу своих стремлений принца Прусского. Это была фракция, которая в народе никакой опоры не имела, а в рядах национал-либерального или, как тогда говорили, «готского» направления[2] пользовалась лишь незначительной поддержкой. Я не считал этих господ попросту национально-немецкими мечтателями, скорей наоборот. Влиятельный и поныне (1891 г.) еще здравствующий долголетний адъютант императора Вильгельма, граф Карл фон-дер-Гольц, к которому всегда имел свободный доступ его брат со своими приятелями, был когда-то изящным и весьма неглупым гвардейским офицером, пруссаком с головы до ног и царедворцем, интересовавшимся остальной Германией лишь в той мере, в какой этого требовало его положение при дворе. Он умел пожить, любил охоту с борзыми, обладал красивой наружностью, пользовался успехом у дам и вел себя уверенно на дворцовом паркете; политика стояла у него не на первом плане и приобретала в его глазах значение лишь тогда, когда она была нужна ему при дворе. Он знал, как никто другой, что нет более верного средства заручиться содействием принца в борьбе против Мантейфеля, чем напоминание об Ольмюце[3], а случай напомнить принцу об этом уколе его самолюбию постоянно представлялся графу и в путешествиях и в домашней обстановке.

Названная впоследствии по имени Бетман-Гольвега партия, вернее — клика, опиралась первоначально на графа Роберта фон-дер-Гольца, человека необычайно способного и

деятельного. Господин фон-Мантейфель проявил неловкость и дурно обошелся с этим даровитым честолюбцем; очутившись в результате не у дел, граф сделался импрессарио труппы, которая выступила на сцену сначала как придворная фракция, а потом — как министерство регента[4]. Она начала завоевывать влияние как в прессе, особенно посредством основанного ею органа «Preussisches Wochenblatt» [«Прусский Еженедельник»][5], так и путем вербовки сторонников в политических и придворных кругах. «Финансирование», как говорят на бирже, шло за счет крупных состояний Бетман-Гольвега и графов Фюрстенберга-Штаммгейм и Альберта Пурталеса; выполнение же политической задачи и достижение ее ближайшей цели—низвержение Мантейфеля—взяли в свои искусные руки графы Гольц и Пурталес. Оба они изящно писали по-французски, тогда как господину фон-Мантейфелю при составлении дипломатических документов приходилось полагаться главным образом на доморощенные традиции своих чиновников из французской колонии Берлина. Граф Пурталес был также обижен по службе министром-президентом и поощрялся королем как соперник Мантейфеля.

Гольц, несомненно, стремился стать, рано или поздно, министром, если даже и не в качестве непосредственного преемника Мантейфеля. Данные для этого он имел гораздо большие, чем Гарри фон-Арним, так как был менее тщеславен, более патриотичен и обладал более сильным характером; правда, в нем было также больше гнева и желчи, а это при свойственной ему энергии оказывалось минусом в его практической деятельности. Я лично содействовал его назначению сначала в Петербург, а затем в Париж и быстро продвинул Гарри фон-Арнима, не без противодействия кабинета, с той незначительной должности, на которой застал его, но оба эти наиболее способные из моих дипломатических сотрудников заставили меня изведать то, что испытал Иглано по милости Ансельмо в стихотворении Шамиссо[6].

К этой фракции присоединился и Рудольф фон-Ауэрсвальд, хотя и держался несколько в стороне. Однако в июне 1854 г. он приехал ко мне во Франкфурт и заявил, что считает кампанию, которую он вел последние годы, проигранной, склонен прекратить все это и готов дать слово не вмешиваться больше во внутреннюю политику, если его назначат посланником в Бразилию. Хотя я и советовал Мантейфелю в его же собственных интересах пойти на это, с тем чтобы нейтрализовать достойным путем тонкий ум этого опытного, заслуживающего уважения человека и друга принца Прусского, все же недоверие или антипатия к Ауэрсвальду со стороны Мантейфеля и генерала фон-Герлаха были так сильны, что министр отклонил его назначение. Мантейфель и Герлах были вообще солидарны если и не

между собой, то против партии Бетман-Гольвега. Ауэрсвальд остался в Пруссии и был одним из главных посредников между принцем и враждебными Мантейфелю элементами.

Граф Роберт Гольц, с которым я был дружен еще с юности, попытался во Франкфурте добиться и моего присоединения к фракции. Поскольку от меня потребовали бы содействия низвержению Мантейфеля, я отказался, сославшись на то, что занял франкфуртский пост при полном в то время доверии ко мне Мантейфеля; поэтому я счел бы нечестным использовать отношение ко мне короля для низвержения Мантейфеля, пока последний сам не поставит меня перед необходимостью порвать с ним; да и в этом случае я предварительно объявил бы ему открыто враждебные действия и обосновал бы это. Граф Гольц собирался тогда жениться и указал мне на пост посланника в Афинах как на то, чего он непосредственно домогался. «Мне следует дать пост, — прибавил он с горечью, — и притом хороший, впрочем опасаться этого мне не приходится».

Острая критика и изображение последствий политики Ольмюца, вина за которую фактически падала не столько на прусского уполномоченного, сколько на неуклюжее — чтобы не сказать больше — руководство прусской политикой до встречи уполномоченного с князем Шварценбергом, — вот оружие, с которым Гольц вступил в борьбу против Мантейфеля и завоевал симпатию принца Прусского. Ольмюц был больным местом солдатского чувства принца, и лишь свойственная ему дисциплина военного и роялиста по отношению к королю подчиняла себе в данном случае ощущавшуюся им обиду и боль. Вопреки всей своей любви к русским родственникам, которая под конец нашла свое выражение в интимной дружбе с императором Александром II, принц продолжал чувствовать унижение, причиненное Пруссии императором Николаем[7]; и это чувство укреплялось в нем по мере того, как неодобрение политики Мантейфеля и австрийских влияний все ближе подводило принца к более чуждой ему прежде германской миссии Пруссии.

Летом 1853 г. казалось, что Гольц близок к своей цели и, хотя не устранит Мантейфеля, но будет министром. Генерал Герлах писал мне 6 июля:

«От Мантейфеля я слышал, будто Гольц заявил ему, что он может вступить в министерство лишь в том случае, если будет изменено окружение короля. Это значит прежде всего — если меня уберут. Впрочем, я полагаю, я мог бы даже сказать — знаю, что Мантейфель хотел бы привлечь Гольца советником в министерство иностранных дел, чтобы иметь там противовес другим лицам, как Ле Кок и др. (скорее— Герлаху и его друзьям при дворе) и т. д., что, однако, славу богу,

сорвалось благодаря упрямству Гольца. Осуществляется, думается мне, план — всеми ли намеченными участниками осознанный или не осознанный и до конца или наполовину, я оставляю в стороне — сформировать под покровительством принца Прусского министерство, в котором, после устранения Раумера, Вестфалена и Бодельшвинга, Мантейфель функционировал бы в качестве председателя, Ланденберг — по культам, Гольц — по иностранным делам и которое обеспечило бы себе большинство в палате, что, по-моему, не очень трудно. Тогда бедный король оказался бы между большинством палаты и своим наследником и не мог бы пошевельнуться. Все, чего добились Вестфален и Раумер, а они единственные люди, которые кое-что делали, пошло бы насмарку, не говоря уже о прочих последствиях. Мантейфель, как дважды человек ноября[8], оказался бы, как и сейчас, inevitable [необходимым]».

Во время Крымской войны[9] противоречия между различными элементами, которые стремились влиять на решения короля, обострились, а вместе с тем вновь усилилось наступление фракции Бетман-Гольвега на Мантейфеля. Свое отрицательное отношение к разрыву с Австрией и к тому направлению политики, которое привело нас на богемские поля сражений[10], министр-президент проявлял особенно настойчиво во все критические для нашей дружбы с Австрией моменты. При князе Шварценберге, тотчас же после Крымской войны, когда содействием Пруссии злоупотребили для проведения австрийской политики на Востоке[11], наши отношения к Австрии напоминали отношения Лепорелло к Дон-Жуану[12]. Во Франкфурте, где ко времени Крымской войны все государства Германского союза, кроме Австрии, пытались добиться того, чтобы Пруссия отстаивала их интересы от засилья Австрии и западных держав, я, в качестве представителя прусской политики, не мог без стыда и огорчения видеть, как мы уступали австрийским притязаниям, предъявляемым даже в не особенно вежливой форме, и как мы приносили в жертву свою собственную политику и свое самостоятельное мнение, отступали шаг за шагом и, угнетаемые сознанием приниженности, боясь Франции и смиряясь перед Англией, искали спасения, тащась на буксире у Австрии. Королю не чужды были эти мои взгляды, но он не склонен был выйти из подобного положения, прибегнув к политике большого стиля.

Когда Англия и Франция объявили 28 марта 1854 г. войну России, мы заключили с Австрией 20 апреля договор о наступательном и оборонительном союзе[13], коим Пруссия обязалась в случае надобности сконцентрировать в течение 36 дней 100 тысяч человек — одну треть в Восточной Пруссии, остальные две трети в Познани или под Бреславлем — и довести состав

армии, если потребуют обстоятельства, до 200 тысяч человек, сговорившись обо всем этом с Австрией.

5 мая Мантейфель написал мне следующее раздраженное письмо:

«Генерал фон-Герлах только что сообщил мне, что его величество король повелел вашему высокородию присутствовать здесь на совещаниях в связи с обсуждением вопроса об австро-прусском союзе в Сейме и что господин генерал уже известил ваше высокородие об этом. В соответствии с этим высочайшим повелением, о котором мне до сих пор, впрочем, ничего не было известно, я позволяю себе покорнейше просить ваше высокородие немедленно прибыть сюда. Учитывая предстоящее в скором времени обсуждение вопроса в Союзном сейме, следует полагать, что ваше пребывание здесь не будет продолжительным».

При обсуждении договора от 20 апреля я рекомендовал королю воспользоваться случаем, чтобы вывести нас и прусскую политику из подчиненного и, как мне казалось, недостойного положения и занять позицию, которая обеспечила бы нам симпатии и руководящее положение среди немецких государств, желавших соблюдать вместе с нами и при нашей поддержке независимый нейтралитет. Я считал это достижимым, если мы, по предъявлении нам австрийского требования выставить войско, изъявим к этому полную дружественную готовность, но выставим свои 66 тысяч человек, а фактически и больше, не у Лиссы, а в Верхней Силезии, чтобы наша армия могла перейти одинаково легко как русскую, так и австрийскую границу, в особенности если мы не постесняемся и выставим негласно гораздо более 100 тысяч человек. Имея в своем распоряжении 200 тысяч человек, его величество был бы в тот момент господином всей европейской ситуации, мог бы продиктовать условия мира и занять в Германии положение, вполне достойное Пруссии.

Франция, занятая разрешением задач, стоявших перед нею в Крыму, была не в состоянии угрожать нашей западной границе. Армия, которой располагала Австрия, находилась в Восточной Галиции, где она теряла от болезней гораздо больше, нежели могла бы потерять на полях сражений. Эта армия была прикована расположенной в Польше русской армией, в которой, по крайней мере на бумаге, числилось 200 тысяч человек. Если бы эта русская армия была переброшена в Крым, она приобрела бы решающее влияние на создавшуюся там ситуацию, но положение на австрийской границе не позволяло осуществить такой поход. Нашлись уже тогда дипломаты, которые включили в свою программу восстановление Польши

под протекторатом Австрии. Обе упомянутые армии стояли одна против другой и не могли никуда двинуться, так что Пруссия имела возможность дать своим содействием перевес любой из них. Возможная блокада нашего побережья Англией не представила бы большей опасности, чем полная блокада, которой мы уже неоднократно подвергались несколько лет тому назад со стороны Дании, но зато мы были бы вознаграждены, достигнув своей и немецкой независимости, освободившись от угрозы и давления австро-французского союза и избавив от насилия расположенные между Австрией и Францией средние государства. Во время Крымской войны престарелый король Вильгельм Вюртембергский сказал мне однажды в Штутгарте в интимной беседе, у камина: «Мы, южногерманские государства, не можем быть во враждебных отношениях одновременно с Австрией и Францией, мы находимся слишком близко от Страсбурга. Это — открытые ворота для нападения, и нас могут оккупировать с запада раньше, чем подоспеет помощь из Берлина. Если Вюртемберг подвергнется нападению и если я честно перейду в прусский лагерь, то мольбы моих подданных, притесняемых неприятелем, призовут меня обратно; вюртембергская рубашка мне ближе к телу, нежели костюм союза»[14]. Не лишенная основания безнадежность, сквозившая в этих словах умного престарелого государя, и более или менее озлобленное настроение в прочих союзных государствах, за исключением Дармштадта, где господин фон-Дальвик-Цегорн твердо уповал на Францию, — все эти настроения, конечно, изменились бы, если бы решительное выступление Пруссии в Верхней Силезии показало, что ни Австрия, ни Франция не могут оказать нам в тот момент превосходящего по силе сопротивления, коль скоро мы решительно воспользовались бы их опасным и уязвимым положением.

Убежденный тон, каким я излагал королю [свой взгляд на] положение дел и на [представлявшиеся нам] возможности, произвел на него, видимо, впечатление; он благосклонно улыбнулся и сказал на берлинском диалекте: «Все это очень хорошо, мой милый, но обойдется мне слишком дорого. Такие насильственные действия может позволить себе человек вроде Наполеона, но не я».

II

Затянувшееся присоединение к договору от 20 апреля средних немецких государств[15], совещавшихся по этому поводу в Бамберге[16]; попытки графа Буоля создать повод к войне, неудавшиеся вследствие очищения Молдавии и Валахии русскими войсками[17]; союз с западными державами[18], предложенный им и заключенный 2 декабря втайне от Пруссии; четыре

пункта Венской конференции [19] и дальнейший ход событий вплоть до Парижского мира[20], заключенного 30 марта 1856 г., — все это описано Зибелем по архивным материалам, а мое официальное отношение ко всем этим вопросам изложено в сочинении «Preussen im Bundestage» [«Пруссия в Союзном сейме»]. О том, что происходило в это время в кабинете, о разных соображениях и влияниях, коими определялись действия короля в изменявшихся условиях, уведомлял меня тогда генерал фон-Герлах; привожу наиболее интересные отрывки из его писем. Для этой переписки мы завели с осени 1855 г. нечто вроде шифра, в котором государства обозначались названиями известных нам деревень, люди же назывались — не без юмора — именами шекспировских персонажей.

«Берлин, 24 апреля 1854 г.

Фра Диаволо (Мантейфель) заключил соглашение с (фельдцехмейстером)[21] Гессом, притом такого рода, что я не могу назвать это иначе как проигранным сражением. Все мои военные расчеты, все ваши письма, решительно доказывавшие, что Австрия никогда не отважится притти без нас к какому-нибудь определенному соглашению с Западом (т. е. с западными державами), ни к чему не привели; испугались тех, кто сам запуган, и отнюдь не исключено — в чем приходится согласиться с Ф[ра] Д[иаволо], — что именно из страха Австрия могла решиться на смелый прыжок в сторону Запада.

Но как бы то ни было, это соглашение стало fait accompli [совершившимся фактом], и теперь необходимо, как после проигранного сражения, собрать распыленные силы, чтобы снова быть в состоянии противостоять врагу; надобно прежде всего заметить, что в договоре все основано на взаимном соглашении. Но именно поэтому ближайшим и весьма скверным последствием будет то обстоятельство, что, коль скоро мы прибегнем к правильному, с нашей точки зрения, толкованию, нас тотчас обвинят в двоедушии и вероломстве. Прежде всего нам надобно стать толстокожими, а затем стараться предупредить это теперь же, пока еще не произошло столкновения, и немедленно изложить и в Вене и во Франкфурте наше толкование договора. Ведь при нынешнем положении дел у сильного и смелого министра иностранных дел руки еще не связаны. Все необходимые шаги в Петербурге мы предпринимаем самостоятельно, можем, стало быть, оставаться последовательными и договориться во всяком случае о взаимности и обо всем том, чего недостает в договоре. Будберга и графа Г. фон М[юнстера] я постарался по мере сил утихомирить, Нибур работает весьма усердно и деятельно в том же направлении, держит себя, как всегда, ловко и превосходно. Но что толку штопать эти прорехи; ведь это в конце концов неблаго-

дарная работа. Такова уж природа человека, а значит, и нашего государя, что если он с *помощью* какого-либо слуги подстрелил козла или тем более козулю, он именно *этого* слугу больше всех приближает к себе, а с рассудительными и верными друзьями обходится плохо. Как раз в таком положении нахожусь я сейчас, и, право, это положение незавидное...

Сан-Суси, 1 июля 1854 г.

...Дела снова страшно запутались, но пока обстоят все же таким образом, что, если ничто не сорвется, можно, пожалуй, рассчитывать на хороший конец... Если мы не удержим Австрию[22] как можно долее, то тем самым возьмем на себя тяжелую вину, вызовем к жизни триаду[23], которая положит начало Рейнскому союзу и распространит влияние Франции до самых ворот Берлина. Сейчас бамбержцы[24] сделали попытку образовать триаду под протекторатом России, отлично понимая, что не трудно переменить протекторат, тем более что кончится вся эта песенка франко-русским союзом, если только у Англии не откроются вскоре глаза и она не поймет всей нелепости войны и союза с Францией...

Сан-Суси, 22 июля 1854 г.

... Для немецкой дипломатии, поскольку она исходит сейчас от Пруссии, открывается в настоящий момент блестящее поле битвы, ибо, к сожалению, Прокеш, видимо, не без основания, трубит в атаку за своего императора. Известия из Вены неважные, хотя я все еще не теряю надежды, что в последний час Буоль разойдется с императором... Было бы величайшей ошибкой, какую только можно сделать, если бы мы не использовали еще не совсем понятный мне антифранцузский энтузиазм Баварии, Вюртемберга, Саксонии и Ганновера. Как только выяснится позиция Австрии, т. е. отчетливо выступят ее симпатии к западным державам, должны начаться самые оживленные переговоры с немецкими государствами, и мы должны заключить союз князей, но совсем иного рода и покрепче, чем тот, который был заключен Фридрихом II[25]...

Шарлоттенбург, 9 августа 1854 г.

... Ф[ра] Д[иаволо] до сих пор вполне благоразумен, но, как вам известно, полагаться на него нельзя. Мне кажется, вам предстоит наставить обе стороны на путь истины. Во-первых, постарайтесь втолковать вашему приятелю П[рокешу] правильную политику и дайте ему понять, что теперь отпадает какой-либо повод потворствовать Австрии в ее желании во что бы то ни стало воевать с Россией, а затем вам надобно указать немецким государствам тот путь, по которому им

надлежит итти... Это прямо несчастье, что пребывание [короля Фридриха-Вильгельма] в Мюнхене снова возбудило в некоем месте энтузиазм германомании. Мечта о немецкой резервной армии с ним во главе — это путанная идея, дурно влияющая на политику. Людовик XIV говорил: «l'etat c'est moi» [«государство — это я»]. Его величество имеет несравненно больше оснований сказать: «l'Allemagne c'est moi» [«Германия — это я»].

Л. ф. Г.»

Следующее письмо, полученное мною от кабинет-советника Нибура, еще более выяснило мне настроения при дворе.

«Путбус, 22 августа 1854 г.

... Я разумеется не закрываю глаза на добрые намерения, если даже они направлены, по моему мнению, не туда, куда нужно, и выполняются не так, как следует; я не отрицаю также права соблюдать свои интересы, хотя бы они были диаметрально противоположны тому, что я не могу не считать правильным. Но я требую правды и ясности, и отсутствие их может повергнуть меня в отчаяние. Я не могу упрекнуть *нашу* политику в недостатке правдивости *во вне,* но она заслуживает этого упрека по *отношению к нам самим.* Мы были бы в совершенно ином положении и многого избежали бы, если бы признались в истинных мотивах такого поведения, вместо того чтобы делать вид, будто отдельные акты нашей политики последовательно вытекают из ее правильных основных идей. Истинная причина того, что мы не отказались от участия в венских совещаниях после прибытия англо-французского флота в Дарданеллы[26] и поддерживали последнее время в Петербурге требования западных держав и Австрии, заключается в ребяческом страхе, как бы не оказаться «вытесненными из concert europeen [европейского концерта]»[27] и «не утратить положения великой державы». Нелепее этого ничего нельзя себе представить: ведь говорить о concert europeen в то время, когда две державы воюют с третьей, — это прямо-таки деревянное железо; а положением великой державы мы, право, обязаны не благоволению к нам Лондона, Парижа или Вены, а нашему доброму мечу. К этому повсеместно примешивается известное раздражение против России, которое я вполне понимаю и даже разделяю, но которому нельзя сейчас поддаваться, не повредив этим себе же.

Где нет правдивости перед самим собой, там нет и ясности. Так мы живем и действуем, хотя все же не столь безотчетно, как в Вене, где, будто в сонной одури, все время действуют так, точно России война уже объявлена; но как [можно] в одно и то же время быть нейтральным, брать на себя мирное

посредничество и в то же время рекомендовать вещи, подобные предложениям, сделанным морскими державами[28], — это моему слабому уму непостижимо».

Приводимые ниже выдержки позаимствованы снова из писем Герлаха.

«Сан-Суси, 13 октября 1854 г.

... После того как я все прочел и по мере сил сопоставил и взвесил, я считаю *весьма вероятным,* что требуемые две трети голосов[29] от Австрии не уйдут. Ганновер ведет фальшивую игру, Брауншвейг настроен в пользу западных держав, тюрингенцы — также, Бавария подвержена всяким настроениям, а его величество король колеблется, как тростник. Даже относительно Бейста поступают подозрительные сведения. К тому же в Вене, повидимому, решили воевать. Приходят к заключению, что дальше выжидать, будучи вооруженными, невозможно уже по финансовым соображениям, и считают, что опаснее повернуть назад, нежели итти вперед. Повернуть назад в самом деле не так-то легко, и я не вижу, откуда у императора могла бы явиться такая решимость. Австрия могла бы скорее, и на первый взгляд легче, нежели Пруссия, помириться с такими революционными планами западных держав, как, например, восстановление Польши, бесцеремонность в отношении России и т. д.; но, с другой стороны, не подлежит сомнению, что Франция и Англия могут причинить затруднения скорей не нам, а Австрии, как в Венгрии, так и в Италии[30]. Император в руках своей полиции; а что это значит, я понял в последние годы *; он поверил, будто Россия подстрекала Кошута и т. п. Этим он окончательно успокоил свою совесть; а то, чего не в состоянии сделать полиция, доделает ультрамонтанство[31], ненависть к православной церкви и к протестантской Пруссии. Поэтому уже" теперь поговаривают о королевстве польском под властью австрийского эрцгерцога[32]... Что из всего этого следует? Что надлежит быть весьма настороже и готовыми ко всему, даже к войне с находящимися в союзе с Австрией западными державами, что немецким князьям доверять нельзя и т. д. Дай бог, чтобы мы не оказались слабыми, но, положа руку на сердце, не могу сказать, чтобы я особенно доверял вершителям наших судеб. Будем поэтому крепко

* Герлах имел, вероятно, в виду Ома и Хантге, а также те донесения об опасных замыслах немецких эмигрантов, которые присылал из Лондона австриец Таузенау, человек с богатой фантазией и хорошо оплачиваемый. Король, повидимому, усомнился в надежности этой информации; непосредственно через свой кабинет он поручил посланнику Бунзену получить соответствующие сведения от английской полиции, согласно которым немецкие эмигранты в Лондоне были слишком поглощены добыванием средств к существованию, чтобы думать о покушениях.

держаться друг друга. В 1850 г. Радовиц активно довел нас до такого же положения, какое пассивно создано теперь Буолем со стороны...»

«[Сан-Суси] 15 ноября 1854 г.

... Что касается Австрии, то тамошняя политика стала мне, наконец, ясна из последних переговоров[33]. В мои лета сображаешь уже туговато. Австрийская политика является в основном не ультрамонтанской, как думает его величество, хотя при случае она непрочь использовать и ультрамонтанство; Австрия не преследует обширных завоевательных планов на Востоке, хотя непрочь отхватить кое-что и там; о германской императорской короне она не помышляет. Все это слишком возвышенно и лишь используется время от времени как маленькое средство на пути к цели. Австрийская политика — это политика страха, основанная на тяжелом внутреннем и внешнем положении Италии и Венгрии, на запутанности финансов, на попранном праве, на страхе перед Бонапартом, на боязни мести со стороны русских, а также на страхе перед Пруссией, которую подозревают в такой злокозненности, какой у нас никогда и в мыслях не было, — все это и служит мнимым оправданием этой политики. Мейендорф говорит: «Мой зять Б[уоль] — политический пройдоха; он боится всякой войны, но войны с Францией во всяком случае больше, нежели с Россией». Суждение вполне справедливое: этим-то страхом и определяется линия Австрии...

Мне кажется, если учесть, что всегда опасно находиться в одиночестве, а положение внутри страны таково, что обострять его тоже опасно, и ни на Ф[ра] Д[иаволо], ни на[34]... положиться нельзя, то, по-моему, было бы благоразумнее пойти на уступки Австрии, насколько только можно. Но возможность эта исключается при каком бы то ни было союзе с Францией, который для нас неприемлем ни с моральной, ни с финансовой, ни с военной точки зрения. Это было бы для нас гибелью, мы потеряли бы нашу славу 1813—1815 гг.[35], которой мы живем, мы должны были бы уступить крепости союзникам, справедливо нам не доверяющим, и мы должны были бы кормить их. Бонапарт, l'elu de sept millions [избранник семи миллионов][36], немедленно подыскал бы короля для Польши с таким же правовым титулом, каким обладает он сам. Для этого короля без труда нашли бы избирателей в любом числе».

«Потсдам, 4 января 1855 г.

... Я полагаю, что, будь вы здесь, мы с вами были бы заодно если и не в принципе, то хотя бы на практике, потому что я, следуя священному писанию, считаю, что нельзя делать зла, чтобы вышло добро; сотворивший да будет осужден[37]. Заигры-

вание же с Бонапартом и либерализмом есть зло, а в данном случае, по-моему, это еще и неразумно. Вы забываете (ошибка, в которую впадает всякий, кто хотя на короткое время покидает наши края) о личностях, а ведь они-то и решают все. Как можете вы предпринимать такие замысловатые обходные маневры при совершенно беспринципном и ненадежном министре, который помимо своей воли оказывается совращенным на ложный путь, и при таком своеобразном, — чтобы не сказать больше,— государе, поступки которого предвидеть невозможно. Учтите же, что Ф[ра] Д[иаволо] —убежденный бонапартист[38]; припомните его поведение во время coup d'etat [государственного переворота], покровительство писаниям Квеля, а если хотите что-нибудь поновее, то могу вам сообщить, что он на-днях в письме Вертеру (тогдашнему посланнику в Петербурге) выражал нелепое мнение, что, если мы хотим принести пользу России, нам следует присоединиться к договору от 2 декабря [39], дабы иметь право голоса в переговорах...

Если переговоры, происходящие в Вене, примут такой оборот, что можно будет рассчитывать на успех, то нас привлекут и не станут игнорировать нас с нашим 300-тысячным войском. Это уже и сейчас было бы невозможно, если бы мы своим постоянным прихрамыванием на две стороны[40], а иногда и на три не подорвали всякое доверие к себе и не утратили способности внушать страх.

Я бы очень хотел, чтобы вы приехали сюда хотя бы на несколько дней для ориентировки. Я знаю по личному опыту, как легко дезориентируешься при сколько-нибудь длительном отсутствии. Именно ввиду сугубо личного характера наших условий трудно рассказать о них в письменной форме, тем более что тут замешаны люди беспринципные и ненадежные. Мне всегда становится жутко, когда его величество секретничает с Ф[ра] Д[иаволо], ибо когда король чувствует, что он чист перед богом и перед собственной совестью, он не только со мной, но и со многими другими бывает откровеннее, нежели с Ф[ра] Д[иаволо]. При этом секретничаньи получается смесь слабости и ухищрений на одной стороне и редкого подобострастия — на другой, что ведет обычно к самым печальным последствиям».

«Берлин, 23 января 1855 г.

... Что меня крайне угнетает,— это всеобще распространенный бонапартизм, а также безразличие и легкомыслие, с какими взирают на эту надвигающуюся величайшую опасность. Неужели же так трудно разгадать, куда гнет этот человек?..[41] А между тем, как обстоят здесь дела? The king can do no wrong [король не может ошибаться]. О нем я умалчиваю;

Ф[ра] Д[иаволо] — ярый бонапартист... Бунзен в Лондоне вместе с Узедомом — совсем не пруссаки. Гацфельд в Париже женат на бонапартистке, и она его так обработала, что здешний его зять считает старого Бонапарта[42] ослом по сравнению с нынешним. Что из этого выйдет, и можно ли упрекать короля, когда у него такие слуги? О случайных советниках нечего и говорить!..»

Активная, предприимчивая антиавстрийская политика встречала со стороны Мантейфеля еще меньше сочувствия, чем со стороны короля. Когда мы обсуждали этот вопрос с моим начальником с глазу на глаз, он производил, правда, впечатление, что разделяет мое борусское негодование по поводу обидного и пренебрежительного обращения с нами, проявлявшегося в политике Буоля—Прокеша. Но когда ситуация требовала дела, когда нужно было совершить решительный дипломатический шаг в антиавстрийском духе или хотя бы только поддержать отношения с Россией, не предпринимая прямых враждебных выступлений против этого доселе дружественного нам соседа, дело обострялось, и отношения между королем и министром-президентом доводили до кризиса кабинета. При этом король угрожал министру-президенту то мною, то графом Альвенслебеном, а однажды, зимой 1854 г., — даже графом Альбертом Пурталесом из клики Бетман-Гольвега, хотя его взгляды на внешнюю политику были совершенно противоположны моим и вряд ли совместимы со взглядами графа Альвенслебена.

Кризис неизменно завершался примирением короля с министром. Один из трех контр-кандидатов на министерский пост — граф Альвенслебен — заявил почти во всеуслышание, что при этом монархе он никогда никакого поста не примет. Король хотел послать меня к нему в Эрклебен[43], но я посоветовал не делать этого, потому что Альвенслебен незадолго перед тем с горечью повторил мне во Франкфурте это свое заявление. Однако, когда мы с ним увиделись вновь, его недовольство уже улеглось, он был склонен ответить на предложение его величества согласием и выражал пожелание, чтобы вместе с ним вошел в министерство и я. Но король не заговаривал со мной больше об Альвенслебене, может быть, потому, что вскоре после моей поездки в Париж (в августе 1855 г.) при дворе наступило некоторое охлаждение ко мне. В особенности охладела ее величество королева. Граф Пурталес из-за своего богатства казался королю «слишком независимым»[44]. Король был того мнения, что министры, небогатые и живущие только на свое жалованье, — послушнее. Сам я уклонялся по мере возможности от ответственного поста при этом государе и всегда старался помирить его с Мантейфелем, к которому ездил с этой целью в его имение (Дрансдорф)[45].

III

При такой ситуации партия «Еженедельника»[46], как иногда называли эту группу, вела странную двойную игру. Я вспоминаю, какими обширными записками обменивались эти господа. Порой они знакомили с содержанием записок и меня, надеясь привлечь на свою сторону. В качестве цели, к которой надлежало стремиться Пруссии как передовому борцу Европы, там намечалось: расчленение России, отторжение ее остзейских губерний[47], которые, включая Петербург, должны были отойти к Пруссии и Швеции, отделение всей территории Польской республики в самых обширных ее пределах, раздробление остальной части на Великороссию и Малороссию, хотя и без того едва ли не большинство малороссов оказывалось в пределах максимально расширенной территории Польской республики. В оправдание этой программы ссылались преимущественно на теорию барона фон-Гакстгаузена-Аббенбург[48] («Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений в России»), который доказывал, что эти три области, взаимно дополняющие своей продукцией друг друга, обеспечат 100 миллионам русских, если они будут едины, преобладание над остальной Европой.

Из этой теории делали вывод о необходимости культивировать естественный союз с Англией, смутно намекая на то, что если Пруссия поможет ей своей армией против России, то и Англия со своей стороны поддержит прусскую политику в том направлении, которое тогда называлось «готским»[49]. Согласно категорическим предсказаниям этих господ, германское устройство, которое впоследствии было завоевано на поле брани армией короля Вильгельма, должно было быть добыто с помощью пресловутого общественного мнения английского народа то ли в союзе с принцем Альбертом, который давал королю и принцу Прусскому непрошенные наставления, то ли в союзе с лордом Пальмерстоном, который в беседе с депутацией радикальных представителей городских предместий назвал в ноябре 1851 г. Англию благоразумным секундантом (judicious bottleholder) всякого народа, борющегося за свою свободу[50], и по наущению которого памфлеты объявили позднее того же принца Альберта опаснейшим противником освободительных стремлений. Никто не чувствовал, — а менее всего сторонники подобных экспериментов,— потребность продумать до конца вопрос о том, захочет ли Пальмерстон или какой-нибудь другой английский министр, идя рука об руку с либерализмом готского пошиба и с фрондой при прусском дворе, вызвать Европу на неравный бой и принести интересы Англии в жертву немецким объединительным стремлениям, а равно и

другой вопрос—в состоянии ли это сделать Англия, не встретив поддержки других континентальных держав, при содействии одной только прусской политики, руководимой в духе герцога Кобургского. Фразой, готовностью одобрить ради партийных интересов всякую глупость — вот чем прикрывались все щели. в шатком здании тогдашней закулисной западнической политики двора (Hofnebenpolitik). Этими ребяческими утопиями тешились в партии Бетман-Гольвега люди, несомненно, умные, разыгрывая роль государственных мужей; они считали возможным рассматривать в своих планах будущей Европы 60 миллионов великороссов как caput mortuum[51]; они считали, что этот народ можно как угодно третировать, не превращая его тем самым неизбежно в союзника всякого будущего врага Пруссии, что вынудило бы Пруссию при всякой войне с Францией прикрывать свой тыл от Польши, ибо невозможно такое решение в провинциях Пруссии, Познани и даже Силезии, которое удовлетворило бы Польшу, не нарушив целостности самой Пруссии. Эти политики не только сами мнили себя в то время мудрецами — их премудрость превозносила и либеральная пресса.

Из творений «Прусского еженедельника» мне запомнилась памятная записка, составленная якобы при императоре Николае в министерстве иностранных дел в Петербурге в качестве руководства для наследника престола; в этой записке были изложены, в применении к современности, основные черты русской политики, намеченные в подложном завещании Петра Великого[52], сфабрикованном примерно в 1810 г. в Париже. Записка изображала Россию, ведущую подрывную работу против всех государств с целью добиться мирового господства. Впоследствии мне сообщали, что это произведение, попавшее в заграничную, а именно в английскую, печать, было доставлено Константином Францом.

В то время как Гольц и его берлинские сподвижники довольно ловко обделывали свои дела, примером чего может служить упомянутая статья, Бунзен, посланник в Лондоне, имел неосторожность послать в апреле 1854 г. министру Мантейфелю пространную записку, в которой выдвигались требования восстановления Польши, расширения Австрии вплоть до Крыма, возведения эрнестинской линии[53] на саксонский королевский престол и т. п. и в которой рекомендовалось, чтобы Пруссия содействовала осуществлению этой программы. Одновременно Бунзен сообщил в Берлин, что английское правительство не возражает против присоединения приэльбских герцогств[54] к Пруссии, если последняя примкнет к западным державам; в Лондоне же он дал понять, что прусское правительство согласно на это при условии означенной компенсации. Оба эти заявления были сделаны Бунзеном без всяких на то полномо-

чий. Король, когда это дошло до него, нашел, при всей своей любви к Бунзену, что дело зашло уж слишком далеко, и через Мантейфеля приказал Бунзену уйти в долгосрочный отпуск, закончившийся отставкой. В биографии Бунзена, изданной его семьей, эта докладная записка перепечатана с изъятием наиболее одиозных мест, но без указания пропусков, а его официальная переписка, доведенная до момента ухода в отпуск, воспроизведена в одностороннем освещении. Попавшее в печать в 1882 г. письмо принца Альберта к барону фон-Штокмару, в котором «падение Бунзена» объясняется русской интригой, а поведение короля оценивается очень отрицательно, послужило поводом к опубликованию полного текста докладной записки и к документальному, хотя все же довольно осторожному, изложению истинного хода дела («Deutsche Revue», 1882, S. 152).

В планы расчленения России принца Прусского не посвящали. Каким образом удалось заручиться сочувствием враждебному России повороту со стороны принца, проявлявшего до 1848 г. свои сомнения против либеральной и национальной политики короля лишь в границах почтительного отношения и подчинения брату, и как удалось довести его до довольно активной оппозиции политике правительства, выяснилось из беседы, которую я имел с ним во время одного из кризисов, когда король вызвал меня в Берлин, чтобы я оказал ему поддержку против Мантейфеля. Тотчас по приезде я был вызван к принцу, который под влиянием своего окружения был в возбужденном состоянии и выразил пожелание, чтобы я воздействовал на короля в антирусском и западническом духе. Он сказал мне: «Вы увидите тут два враждебных течения, из коих одно представлено Мантейфелем, а другое, дружественное России, — Герлахом и графом Мюнстером в Петербурге. Вы здесь свежий человек; король призывает вас в качестве своего рода арбитра. Ваше мнение будет поэтому решающим, и я заклинаю вас, выскажитесь так, как того требуют не только европейская ситуация, но и истинные интересы дружбы к России. Она восстановила против себя всю Европу и будет в конце концов побеждена». — «Все эти великолепные войска, — говорилось это пооле неудачного для русских исхода боев под Севастополем, — все наши друзья, погибшие там, — он назвал ряд имен, — были бы еще в живых, если бы мы должным образом вмешались и вынудили Россию к миру»[55]. Дело кончится тем, указывал он, что Россия, наш старинный друг и союзник, будет уничтожена или серьезно ослаблена. Задача, возложенная на нас провидением, заключается в том, чтобы продиктовать мир и спасти нашего друга хотя бы против его воли.

Примерно в таком приемлемом для принца свете Гольц, Альберт Пурталес и Узедом представили ему враждебную

России роль, которую они отводили Пруссии, исходя из своей политики, рассчитанной на свержение Мантейфеля, и используя, повидимому, антипатию к России супруги принца.

Желая избавить принца от этих навязанных ему идей, я стал доказывать, что мы сами не имеем абсолютно никакой причины воевать с Россией и что у нас нет в восточном вопросе никаких интересов, которые оправдывали бы такую войну или хотя бы необходимость принести в жертву наши давние дружеские отношения к России. Наоборот, всякая победоносная война против России при нашем — ее соседа — участии вызовет не только постоянное стремление к реваншу со стороны России за нападение на нее без нашего собственного основания к войне, но одновременно поставит перед нами и весьма рискованную задачу, а именно — решение польского вопроса в сколько-нибудь приемлемой для Пруссии форме. А раз наши собственные интересы не только отнюдь *не требуют* разрыва с Россией, но скорее даже говорят *против* этого, то, напав на постоянного соседа, до сих пор являющегося нашим другом, не будучи к тому спровоцированы, мы сделаем это либо из страха перед Францией, либо в угоду Англии и Австрии. Мы взяли бы на себя роль индийского вассального князя, который обязан вести под английским патронатом английские войны, или роль корпуса Иорка в начале войны 1812 г.[56], когда обоснованный в то время страх перед Францией заставил нас быть ее покорным союзником.

Принца оскорбило употребленное мною выражение; покраснев от гнева, он прервал меня словами: «О вассалах и страхе не может быть и речи». Тем не менее он не прекратил беседы. Кто однажды снискал его доверие и благосклонность, мог очень свободно говорить ему неприятные вещи и даже в резкой форме. Я понял, что мне не удалось поколебать убеждения, которое принц составил себе под домашним, английским и Бетман-Гольвега влиянием. Влияние на него партии Бетман-Гольвега я, пожалуй, преодолел бы, но преодолеть влияние принцессы я был не в состоянии.

Во время Крымской войны и, сколько мне помнится, именно в связи с ней стало известно о давно практиковавшейся краже депеш. Один обедневший полицейский агент несколькими годами ранее доказал свою ловкость тем, что он, в бытность графа Брессона французским посланником в Берлине, переплыл ночью реку Шпрее, прокрался в виллу графа в Моабите и списал его бумаги. Теперь он получил от министра Мантейфеля поручение найти при посредстве подкупленных служителей доступ к папкам, в которых хранились входящие депеши и переписка между королем, Герлахом и Нибуром по поводу депеш. Он должен был снимать с этих документов копии. Оплачиваемый Мантейфелем с чисто прусской скаредностью, этот агент

искал случая реализовать еще как-нибудь плоды своих усилий и при посредстве другого агента, Гассенкруга, нашел такую возможность сперва у французского посланника Мустье, а затем и у других лиц.

К числу клиентов этого агента принадлежал между прочим и полицей-президент[57] фон-Гинкельдей. Он явился однажды к генералу фон-Герлаху с копией письма, в котором тот писал кому-то, по всей вероятности, Нибуру: «Теперь, когда король находится в Штольценфельсе, туда понаехали такие-то и такие-то, в том числе и Гинкельдей, -- в библии сказано: где падаль, туда слетаются и орлы[58]; а тут можно было бы сказать: где орел, там и падаль». Гинкельдей потребовал у генерала объяснения, а на вопрос, как попало к нему это письмо, ответил: «Это письмо обошлось мне в 30 талеров». «Какая расточительность! — воскликнул Герлах, — за 30 талеров я написал бы вам десять таких писем!»

IV

Дополнением к моим официальным высказываниям по поводу участия Пруссии в парижских мирных переговорах («Preussen im Bundestage», Theil II, S. 312—317, 337—339, 350) служит следующее мое письмо к Герлаху:

«Франкфурт, 11 февраля 1856 г.

Я все еще надеялся, что мы займем более твердую позицию прежде, нежели решатся пригласить нас к участию в заседаниях конференции, и что с этой позиции мы не сойдем, если этого приглашения совсем не последует. По моему мнению, это было единственным способом добиться, чтобы привлекли нас. Но, судя по инструкциям, полученным мною вчера, мы готовы d'emblee [сразу] пойти с теми или иными оговорками и на такую формулировку, которая обяжет нас и Союз[59] к соблюдению прелиминарных условий. Если удастся заручиться таким согласием с нашей стороны, в то время как даже западные державы и Австрия подписали еще только projet [проект] прелиминарных условий [мира], то зачем же еще станут возиться с нами на конференциях; скорее просто по своему усмотрению используют в нашем отсутствии, как заблагорассудится, данное нами и прочими союзными государствами в сейме согласие присоединиться. Они будут уверены, что стоит только потребовать, и мы поддадимся. Мы слишком добры для этого мира. Мне не подобает критиковать решения его величества и моего начальника, раз они уже приняты (12 февраля), но все мое существо помимо воли протестует против этого; по получении этой инструкции, давшей сигнал к отступлению, у меня целые сутки были непрерывные приступы желчной рвоты, и небольшая лихорадка не оставляет меня ни на мгновение. Мое физическое и душевное состояние

я могу сравнить лишь с тем, что я испытывал весной 1848 г.; чем более я обдумываю положение дел, тем менее нахожу я что-либо такое, что могло бы восстановить мое прусское чувство чести. Дней восемь тому назад все казалось мне еще непоколебимо прочным, и я сам просил Мантейфеля предоставить Австрии выбор между двумя приемлемыми для нас предложениями, но мне и в голову не приходило, что граф Буоль отвергнет оба эти предложения и даже предпишет нам ответ, который мы должны дать на его же предложение. Я надеялся, что, каков бы в конце концов ни был наш ответ, мы все же не дадим себя поймать до тех пор, пока наше участие в заседаниях не будет делом решенным. В каком же положении оказываемся мы теперь? За два года Австрия четыре раза провела с нами одну и ту же игру: она требовала, чтобы мы уступили все наши позиции, а мы после некоторого сопротивления уступали половину или около этого. Но теперь дело идет уже о последнем квадратном футе, на котором Пруссия может еще как-нибудь закрепиться. Успех сделал Австрию заносчивой, и она требует теперь не только, чтобы мы, называющие себя великой державой и претендующие на дуалистическое равноправие, принесли ей в жертву этот остаток нашего независимого положения,—она даже предписывает нам, в каких именно выражениях мы должны отречься, торопит нас до неприличия, часами отмеряя сроки, и отказывает нам в какой бы то ни было компенсации, которая могла бы залечить наши раны. Мы не решаемся настаивать даже на малейшей поправке в заявлении, которое она предписывает сделать Пруссии и Германии. Пфордтен обделывает это дело с Австрией, полагая, что заранее можно рассчитывать на согласие Пруссии и что коль скоро Бавария скажет свое слово, то это будет для Пруссии res judicata [дело решенное]. Последние два года при подобных же обстоятельствах мы по крайней мере на первых порах предъявляли немецким дворам свою прусскую программу, и ни один из них не принимал окончательного решения прежде, чем *мы* не приходили к соглашению с Австрией. А сейчас Бавария договаривается с Австрией, а мы присоединяемся в общей куче с Дармштадтом и Ольденбургом. Тем самым мы уступаем все, чего бы от нас пока ни потребовали. Как только Австрия будет иметь в кармане постановление сейма, включая голос Пруссии, мы тотчас же увидим, как Буоль, с прискорбием пожимая плечами, заговорит о невозможности преодолеть возражения западных держав против того, чтобы мы были допущены [на конгресс]. На поддержку России в этом случае мы, насколько я понимаю, рассчитывать не можем, ибо русским придется вполне по вкусу то разочарование, которое у нас неизбежно создастся, когда мы должны будем отдать последние остатки самостоятельной политики за входной билет на заседания [конгресса]. Кроме того, русские явно

больше опасаются того, что мы в роли «посредника» поддержим политику их противников, нежели рассчитывают на какое-либо содействие с нашей стороны на конгрессе. Несмотря на всю дипломатическую хитрость Бруннова, мои беседы с ним и петербургские письма, которые я видел, не оставляют в этом ни малейшего сомнения.

Единственным средством добиться участия в заседаниях было и будет воздержание от всяких заявлений по поводу представленного Австрией проекта. Что им за охота спорить еще на конгрессе с Пруссией, когда решение Союзного сейма будет у них в кармане, а вместе с ним и мы сами. Австрия уж сумеет истолковать это решение, если нас там не будет. Из австрийской правительственной прессы и из поведения Рехберга явствует, что Австрия и теперь уже строго ограничивает статьей V* жалкую оговорку, сделанную к австро-баварскому проекту. В отношении conditions particulieres [специальных оговорок], которые будут выставлены *воюющими* державами, нам и Союзу предоставляется свобода суждений, но отнюдь *не* в отношении условий, предъявляемых Австрией; что же касается истолкования четырех пунктов, то предполагается, что Пруссия и вся Германия заранее присоединятся к мнению Австрии, представляющей их в качестве державы-покровительницы; это предположение находит свое оправдание в том, что оговорка, которой мы *домогались* в связи с этим ранее, была отклонена Баварией и Австрией, и мы на этом успокоились.

Все эти расчеты мы расстроим, отказавшись здесь высказываться до тех пор, пока мы сами не сочтем своевременным. Пока мы будем держать себя так, в нас еще будут нуждаться и будут стараться завербовать нас на свою сторону. Вряд ли здесь сделают попытку произвести на нас давление большинством голосов; даже Саксония и Бавария присоединяются к нынешнему австрийскому проекту, лишь «предполагая» наше согласие. Они уже привыкли к тому, что мы уступаем в конце концов, поэтому они и позволяют себе [делать] подобные предположения. Если же у нас хватит смелости настаивать на своем мнении, то, вероятно, сочтут нужным выждать заявления Пруссии, прежде чем решать вопросы немецкой политики. Если мы будем твердо настаивать на отсрочке решения и заявим о том немецким дворам, то на нашей стороне еще и теперь останется изрядное большинство, хотя бы даже Саксония и Бавария полностью продались Буолю, чего, однако, не случится.

---

* «Les puissances belligerantes reservent le droit qui leur appartient de produire dans un interet europeen des conditions particulieres en sus des quatre conditions» [«Воюющие державы сохраняют за собой принадлежащее им право вносить, исходя из европейских интересов, специальные оговорки сверх четырех условий».]

Если мы не будем настаивать на этом, то должны быть готовы и к тому, что Сардиния и Турция будут самостоятельно обсуждать в Париже вопрос об ограждении германских интересов по обоим пунктам, принятым Союзом, между тем как за нас будет говорить Австрия. Мы не будем даже среди первых в свите Австрии, ибо граф Буоль, действуя якобы по полномочию Германии, посоветуется скорее с Пфордтеном и Бейстом, нежели с Мантейфелем, которого лично ненавидит, а коль скоро ему удастся привлечь на свою сторону Саксонию и Баварию, он будет считаться с противодействием Пруссии еще менее *после* решения сейма, нежели до того.

Не следует ли решительно предпочесть подобным возможностям, чтобы мы в качестве европейской державы вели переговоры о нашем участии непосредственно с Францией и Англией, а не добивались этого, как лицо не sui juris [юридически правомочное], под опекой Австрии и не оказывались на конференции всего лишь одной из стрел в колчане Буоля?..

ф. Б.»

Впечатление, что и формально и по существу Австрия третировала нас, нашедшее свое выражение в приведенном письме, и убеждение, что мы не должны терпеть этого пренебрежительного обращения, не осталось без влияния на позднейшее развитие прусско-австрийских отношений.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

САН-СУСИ И КОБЛЕНЦ

Записки королю и принцу Прусскому, к которым фракция Гольца [1] прибегала как к орудию борьбы против Мантейфеля, предоставляя затем прессе и иностранным дипломатам использовать их, оказали свое влияние на принца. В этом я между прочим убедился, когда случайно обнаружил, что он разделяет теорию Гакстгаузена о трех зонах [2].

Еще сильнее политических доводов бетман-гольвегской клики было влияние на принца его супруги в духе преклонения перед западными державами, вызывавшее у него своего рода оппозицию к брату, чуждую по существу его инстинктам военного. Принцесса Августа с юных лет, проведенных ею в Веймаре, и до конца жизни сохранила убеждение, что выдающиеся личности и авторитеты Франции, а тем более Англии, выше наших, немецких. В этом она была чистокровной немкой с присущим нам национальным свойством, наиболее резко выраженным в поговорке «Das ist nicht weit her, taugt also nichts» [«Что свое, то гнило»]. Несмотря на Гете, Шиллера и другие великие тени Елисейских полей Веймара [3], эта выдающаяся по своему духовному уровню резиденция не была свободна от предрассудка, тяготеющего до сих пор над нашим национальным чувством, будто любой француз и уж во всяком случае англичанин в силу своего происхождения и своей национальной принадлежности — существо высшего порядка по сравнению с немцем и будто похвала со стороны общественного мнения Парижа и Лондона — более убедительное доказательство наших достоинств, нежели наше собственное самосознание. Императрица Августа при всей своей духовной одаренности, при том признании, каким она пользовалась у нас за проникнутую чувством долга деятельность на различных поприщах, никогда не могла вполне отрешиться от этого предрассудка; ей импонировал развязный француз с его бойкой французской речью*, а любой англичанин мог, как правило,

* Ее чтеца (Жерара) считали французским шпионом!

рассчитывать, что с ним обойдутся в Германии, как со знатной особой, поскольку не доказано противное. Так повелось в Веймаре лет 70 тому назад, и с отголоском этого мне довольно часто приходилось сталкиваться в моей служебной деятельности. В то время, о котором идет речь, хлопоты принцессы Прусской об английском браке ее сына, вероятно, еще более укрепляли ее во взглядах, которые Гольц и его друзья старались навязать ее супругу.

Во время Крымской войны обнаружилась антипатия принцессы ко всему русскому, укоренившаяся в ней с детства, но ранее внешне не проявлявшаяся. На балах при дворе Фридриха-Вильгельма III, где я впервые увидел ее — молодую и красивую женщину, она при выборе кавалеров во время танцев отдавала обычно предпочтение дипломатам, не исключая и русских, причем заставляла пробовать свою ловкость на скользком паркете даже тех из них, кто был искуснее в беседе, нежели в танцах. Ту явную и сильную антипатию к России, которую она выказывала впоследствии, психологически не легко объяснить. Воспоминание об убийстве ее деда, императора Павла[4], едва ли могло бы иметь столь длительное влияние. Это было скорее следствием разлада между высокоодаренной, русской по своему общественному и политическому облику, матерью, великой герцогиней Веймарской, окруженной приезжими русскими, и взрослой дочерью, склонной при ее живом темпераменте играть первую роль в своем кругу; возможна и своего рода идиосинкразия по отношению к властной личности императора Николая. Несомненно одно: антирусское влияние этой высочайшей особы и впоследствии, когда она была королевой и императрицей, нередко препятствовало мне у его величества при проведении той политики, которую я считал необходимой.

Существенную поддержку бетман-гольвегской фракции[5] оказывал господин фон-Шлейниц, доверенное лицо принцессы по политической части. К борьбе против Мантейфеля его в свою очередь побуждало озлобление за то, что он был смещен, по служебным соображениям, с видного ганноверского поста, на котором не проявил, однако, особого усердия; смещен он был при таких обстоятельствах, что его жалованье посланника, находящегося в резерве, было выплачено ему задним числом лишь после того, как он стал министром. Сын брауншвейгского министра и профессиональный дипломат, избалованный придворной жизнью и внешними преимуществами службы по иностранному ведомству, не обладающий состоянием, обиженный по службе, но в милости у принцессы, он, естественно, был желанным союзником для противников Мантейфеля и с готовностью примкнул к ним. Он был первым министром иностранных дел «новой эры»[6];

смерть застала его на посту министра двора императрицы Августы.

За завтраком принцесса делала целый доклад своему супругу, подкрепляя свое мнение письмами и газетными статьями, составленными иной раз ad hoc [для этой цели], и такой заведенный *принцем* обычай сохранил и *император* Вильгельм. Когда я позволял себе при случае намекнуть, что некоторые из этих писем могли быть изготовлены и добыты по распоряжению королевы господином фон-Шлейницем, я встречал резкий отпор. Король, как истый рыцарь, неизменно вступался за свою супругу и тогда, когда все данные были явно против нее. Он как бы запрещал верить чему-либо подобному, даже если бы это и была правда.

Я никогда не считал задачей посланника, аккредитованного при дружественном дворе; сообщать своему правительству всякую мелочь, могущую вызвать неудовольствие, тем более — из Петербурга, где я был удостоен такого доверия, какое полагал бы рискованным оказывать иностранным дипломатам в Берлине. При тогдашней, да и вообще, как правило, антирусской политике королевы всякое сообщение, способное возбудить неприязнь между нами и Россией, могло быть использовано для ослабления наших русских связей, — будь то из антипатии к России и из-за преходящих соображений популярности, будь то из доброжелательства к Англии и предположения, что такое доброжелательное отношение к Англии и даже к Франции свидетельствует о более высокой ступени цивилизации и образования, нежели доброжелательство по отношению к России.

Когда в 1849 г. принц Прусский перенес в качестве губернатора Рейнской провинции свою постоянную резиденцию в Кобленц[7], взаимоотношения дворов Сан-Суси и Кобленца вылились мало-помалу в форму тайной вражды, в развитии которой и с королевской стороны играл известную роль женский элемент, хотя все же не в такой мере, как со стороны принца. Влияние королевы Елизаветы в пользу Австрии, Баварии, Саксонии[8] было непосредственным и неприкрытым и являлось результатом солидарности, естественно вытекавшей из совпадения взглядов и из родственных, фамильных симпатий. Между королевой и министром фон-Мантейфелем не было никаких личных симпатий, что уже само по себе вытекало из различия их темпераментов, тем не менее оба они нередко, особенно в критические моменты, одинаково влияли на короля в направлении австрийских интересов; впрочем, что касается королевы, то лишь в тех пределах, которые диктовались ей в решающие минуты интересами венценосного супруга, как она их понимала в качестве супруги и государыни. Забота о престиже короля проявлялась у нее именно в крити-

ческие моменты, правда, не столько в виде поощрения короля к действию, сколько в свойственной женщине робости перед выводами из ее собственных воззрений и вытекавшем отсюда воздержании от дальнейшего влияния.

У принцессы за время пребывания в Кобленце развилась еще одна наклонность, которая отразилась на ее политической деятельности и сохранилась до конца ее дней.

Католицизм, чуждый кругу представлений Северной Германии и особенно небольшого городка в центре чисто протестантского населения, заключал в себе нечто притягательное для государыни, которую вообще больше интересовало иноземное, нежели свое близлежащее, повседневное, близкое. Католический епископ казался ей более знатным, нежели генерал-суперинтендент[9]. Известная благосклонность к католицизму, которая замечалась в ней и ранее и отразилась, например, на подборе мужского персонала ее двора и прислуги, окончательно укрепилась благодаря ее пребыванию в Кобленце. Принцесса привыкла считать себя призванной защищать местные интересы искони подвластного епископскому посоху края[10] и его духовенства. Современное конфессиональное самосознание на основе исторической традиции, нередко приводившее у принца к резким проявлениям протестантских симпатий, было чуждо его супруге. Каким успехом увенчались ее старания достигнуть популярности в Рейнской области, можно судить между прочим по письму графа фон-дер-Рекке-Фольмерштейна, писавшего мне 9 октября 1863 г., что благомыслящие люди на Рейне советуют королю не приезжать на торжество закладки собора, а послать ее величество, «которая будет встречена с энтузиазмом». С какой энергией она отстаивала пожелания католического духовенства, показывает такой пример: при постройке так называемой Мецской железной дороги одно католическое кладбище могло оказаться задетым намеченным направлением линии; против этого выступило духовенство и было настолько успешно поддержано императрицей, что направление железной дороги было изменено и пришлось предпринять ad hoc сложные строительные работы.

27 октября 1877 г. статс-секретарь фон-Бюлов[11] писал мне, что императрица просила министра Фалька выдать деньги на путевые издержки одному художнику-ультрамонтану, который не только сам не хочет просить об этом, но кроме того еще и занят живописью во славу Марпингена[12]. 25 января 1878 г. фон-Бюлов писал мне: «Перед отъездом кронпринца [в Италию] у него произошла бурная сцена с императрицей, которая требовала, чтобы он, как будущий государь восьми миллионов католиков, посетил его святейшество[13] престарелого папу. Когда по возвращении кронпринц явился к императору,

императрица также спустилась [из своих покоев]. Но когда разговор, коснувшись позиции короля Умберто[14], принял оборот, который ей не понравился и на этом оборвался, она поднялась со словами: «Il parait que je suis de trop ici» [«кажется, я здесь лишняя»]. Император сказал потом кронпринцу с грустью: «В этих делах твоя мать сейчас опять невменяема».

К посторонним влияниям, осложнявшим эту дворцовую борьбу, надлежит отнести также и недоразумения между принцессой и обер-президентом фон-Клейст-Рецовым, который занимал нижний этаж дворца, под апартаментами принца; все в нем претило принцессе — и его внешний облик, и то, что он был оратором крайней правой, и, наконец, его деревенский обычай ежедневных молитв с песнопениями в кругу своих домашних. Обер-президент привык скорей к служебным, чем к придворным взаимоотношениям, и рассматривал свою жизнь во дворце с прилегавшим к нему садом, как защиту королевских прерогатив в противовес мерещившимся ему излишествам в домоводстве принца; он искренно полагал, что поступился бы интересами короля, своего повелителя, если бы не отстаивал со всей энергией перед супругой наследника свои оберпрезидентские претензии в отношении хозяйственного использования дворцовых помещений против притязаний двора наследного принца.

Начальником генерального штаба в Сан-Суси[15] после смерти генерала Рауха был Леопольд фон-Герлах, а его помощниками, но иногда и соперниками — советник кабинета Нибур и Эдвин фон-Мантейфель, а во время Крымской войны — также и граф Мюнстер. К придворной камарилье[16] следовало, кроме того, отнести также графа Антона Штольберга, графа Фридриха цу-Дона и графа фон-дер-Гребена.

Твердым и умным защитником государственных интересов, в противовес вредным женским влияниям, являлся при дворе принца Густав фон-Альвенслебен, старавшийся по мере сил примирить оба двора, хотя он и не был согласен с политическими мероприятиями правительства. Он разделял мое мнение о необходимости решить вопрос прусско-австрийского соперничества на поле битвы, ибо иного решения быть не могло. Он, командир четвертого корпуса при Бомоне и Седане, и его брат Константин, чьи самостоятельно принятые решения у Вионвиля и Мар ла Тура задержали перед Мецом французскую рейнскую армию[17], были образцовыми генералами. Когда я спросил при случае, каким может быть, по его мнению, исход первого генерального сражения между нами и австрийцами, он ответил: «Мы так ударим, что они ноги задерут». И его уверенность придала мне духу принять трудные решения в 1864 и 1866 гг. Антагонизм между влиянием, которое оказывал на принца Альвенслебен, руководимый исклю-

чительно государственными и патриотическими соображениями, и влиянием принцессы доводил Альвенслебена подчас до такого волнения, что он изливал его в словах, которые я не хочу повторять; все возмущение солдата-патриота против политиканствующих дам выражалось в форме, граничащей с уголовно-наказуемым деянием. То обстоятельство, что принц держал при себе такого адъютанта в противовес своей супруге, вытекало из особенности, сохраненной им и тогда, когда он стал королем и императором: для верных слуг он был верным господином.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В ПУТИ МЕЖДУ ФРАНКФУРТОМ И БЕРЛИНОМ

I

Отчуждение между министром Мантейфелем и мною, возникшее после моей венской миссии и в результате наушничества Кленце и пр.[1], повело к тому, что король все чаще вызывал меня [в Берлин] для «устрашения» министра, когда тот не хотел уступать ему. Путешествуя между Франкфуртом и Берлином через Гунтерсгаузен, я проехал за год тысячи две миль; в пути я непрерывно курил одну сигару за другой или проводил время в крепком сне. Король не только спрашивал мое мнение по вопросам германской и внешней политики, но и, случалось, поручал мне, когда ему представлялись проекты министерством иностранных дел, составлять контрпроекты. Относительно этих поручений и предлагавшейся мною редакции я совещался затем с Мантейфелем, который, как правило, уклонялся от внесения каких-либо изменений, хотя наши политические взгляды и расходились. Он скорее склонен был угождать западным державам и итти навстречу пожеланиям Австрии, тогда как, не будучи защитником русской политики, я не видел, однако, оснований ставить под угрозу наши давнишние мирные отношения с Россией ради каких бы то ни было непрусских интересов и считал возможное выступление Пруссии против России во имя чуждых нам интересов доказательством нашего страха перед западными державами и смиренной почтительности по отношению к Англии. Мантейфель не хотел еще больше раздражать короля, настаивая на своих взглядах; но не хотел и поддержкой моей якобы русской ориентации раздражать западные державы и Австрию; он предпочитал стушевываться. Маркиз Мустье знал об этой позиции, и мой шеф оставил на его долю задачу обратить меня при случае на путь западнической политики и ее защиты перед королем. Во время одного моего посещения Мустье у него, в силу его живого темперамента, вырвалось такое угрожающее заявление: «La politique que vous faites, va vous conduirea Jena» [«Ваша политика приведет вас к Иене[2]»]. — «Pourquoi pas a Leipsic ou a Rosbach?» («Почему же не к

Лейпцигу[3] или Росбаху[4]?»], — ответил я. Мустье не привык, чтобы в Берлине с ним говорили таким независимым тоном; он не знал, что ответить, и побледнел от гнева. После некоторого молчания я прибавил: «Enfin, toute nation a perdu et gagne des batailles. Je ne suis pas venu pour faire avec vous un cours d'histoire» [«В конце концов всякая нация проигрывала и выигрывала сражения. Я приехал сюда не для того, чтобы изучать с вами историю»]. Разговор больше не клеился. Мустье пожаловался на меня Мантейфелю, а тот передал жалобу королю. Но король похвалил меня, сказав Мантейфелю, а потом и непосредственно мне, что я ответил французу правильно.

Наиболее способные деятели бетман-гольвегской партии, Гольц, Пурталес, иногда и Узедом, приобрели при содействии принца Прусского известное влияние на короля. Некоторые срочные депеши составлялись не Мантейфелем, а графом Альбертом Пурталесом; король давал их проекты на просмотр мне, я в свою очередь сносился по поводу поправок с Мантейфелем, а тот привлекал помощника статс-секретаря Ле-Кока, который проверял текст исключительно с точки зрения французской стилистики и задерживал депеши по нескольку дней, ссылаясь на то, что он еще не нашел вполне подходящего французского выражения — точного оттенка между темным, неясным, сомнительным и рискованным, как будто суть дела была тогда в подобных пустяках.

II

Я старался в подобающей форме уклониться от роли, которую навязывал мне король, и добиться по мере возможности соглашения между ним и Мантейфелем; так было и при серьезной размолвке, возникшей по поводу Рино Кваля. После того как восстановление Союзного сейма[5] временно затормозило осуществление особых национальных устремлений Пруссии, в Берлине приступили к реставраций внутренних порядков, с чем король до тех пор медлил, не желая отпугнуть либералов в прочих немецких государствах. Однако в вопросе о цели и способах проведения этой реставрации тотчас же обнаружилось расхождение во взглядах между министром Мантейфелем и «небольшой, но могущественной партией». Это расхождение, как ни странно, остро обнаружилось в споре — оставить или устранить одно сравнительно второстепенное лицо — и повело к открытой и бурной вспышке борьбы. В том же письме от 11 июля 1851 г., которым Мантейфель ставил меня в известность о моем назначении посланником при Союзном сейме, он сообщал:

«Что касается наших внутренних дел, а именно сословных отношений, то дело шло бы вполне сносно, если бы люди вели

себя при этом с большим чувством меры и с большим искусством. Вестфален в этом отношении превосходен, я ценю его очень высоко, и по существу мы с ним держимся одних взглядов. Клюцов, видно, не очень-то владеет пером,— со стороны формы безусловно имелись кое-какие промахи, которых можно было избежать. Куда хуже позиция, занятая в этом вопросе «Kreuzzeitung»[6]. Она не только выражает свое торжество в неуклюжей, вызывающей форме, но еще и толкает на крайности, которые, вероятно, ей самой пришлись бы не по вкусу. Если бы, например, оказалось возможным и удалось восстановить pure [в чистом виде] Соединенный ландтаг со всеми вытекающими отсюда последствиями[7], — а ведь дальше итти немыслимо, — что было бы этим выиграно? Я нахожу, что позиция правительства куда выгоднее, когда оно оставляет вопрос как бы открытым, пока не выяснилась необходимость коренного, органического преобразования. Я высказываю надежду и пожелание, что в этом случае удастся вернуться от провинциальных чинов (Provinzial-Stande) к общинным чинам (Kommunal-Stande), придерживаясь старых исторических разграничений, следы которых еще не стерлись и в Рейнской провинции[8], а во всех старых провинциях еще очень явственны, и что отсюда и выйдет представительство страны. Но такие вещи не делаются наскоком, во всяком случае не обходятся без серьезных столкновений, и их все же есть основание избегать. А вот «Kreuzzeitung» форменным образом объявила мне войну и в знак моей покорности требует отставки Квеля, не учитывая того, что если бы даже я и решил пожертвовать усердным и самоотверженным человеком, — что вовсе не входит в мои намерения, — то все же при таких обстоятельствах я этого никак не мог бы сделать».

Рино Квель был журналистом, через посредство которого Мантейфель еще во времена Эрфуртского парламента защищал в прессе свою политику, человеком, носившимся со всякими идеями и начинаниями, правильными и ложными, искусно владевшим пером, но непомерно обремененным ипотекой тщеславия. Дальнейшее развитие конфликта между Мантейфелем и Квелем, с одной стороны, «Kreuzzeitung» и камарильей — с другой, а также вся сложившаяся тогда внутренняя ситуация ясно видны из приводимых ниже высказываний Герлаха в письмах.

«Потсдам, 17'мая 1852 г.

Если Мантейфель не прогонит Квеля, это добром не кончится... Я считаю Мантейфеля честным человеком, но как странно сложилась его политическая жизнь. Он подписал декабрьскую конституцию[9], высказался за политику унии[10], решительно проводил в жизнь положение об общинном

устройстве[11] и закон о выкупе[12], амнистировал бонапартизм и т. д. Во всем этом он не был последовательным, что следует поставить ему в заслугу; хотя его величество сказал как-то, что последовательность — презреннейшая из всех добродетелей, но все же непоследовательность Мантейфеля бьет уже через край. Высказываются против палат и против конституционализма. Однако начиная с середины XVIII столетия до настоящего времени все правительства были революционными, за исключением Англии с ее палатами до реформы[13] и Пруссии с небольшими перерывами в 1823 и 1847 гг.[14] «Kreuzzeitung» поистине не так уж неправа в своей скромной апологии палат, и тем не менее наш премьер тоскует по бонапартизму, который уже безусловно никакой будущности не имеет.

Между прочим Мантейфель сказал вчера, что хочет вызвать вас сюда, если только вы успеете еще во-время прибыть, чтобы познакомиться с императором[15] и графом Нессельроде. Но самое важное, это чтобы вы избавили Мантейфеля от Квеля, потому что сам он пока еще необходим, а вместе с Квелем неприемлем. Ему ничего не стоит заявить, что он знать не знает об этой статье в «Zeit»[16] и вообще никакого отношения к «Zeit» не имеет, но этим все же не отделаешься, поскольку и Тиле (редактор) — ставленник Квеля и Мантейфеля. Я опасаюсь также абсолютистских поползновений Мантейфеля-младшего».

«19 мая 1852 г.

В результате газетной статьи, о которой идет речь в вашем последнем письме ко мне, на Мантейфеля снова было оказано с разных сторон давление, чтобы убедить его расстаться с Квелем. Я не принимал в этом участия, ибо однажды уже поссорился с ним из-за этого человека, и тогда мы заключили своего рода соглашение — не касаться больше этой темы. Но вчера Мантейфель сам завел со мной разговор, решительнейшим образом защищал Квеля, заявил, что скорее подаст в отставку, нежели согласится расстаться с ним, выражал, не скрывая, свою ненависть к «Kreuzzeitung» и допустил, кроме того, несколько рискованные выражения о действиях министерства внутренних дел и о некоторых одинаково дорогих для нас лицах».

«Сан-Суси, 21 июля 1852 г.

Только что получил ваше письмо из Офен-Франкфурта от 25 июня и 19 июля, начало которого так же интересно, как и конец. Однако вы требуете от меня невозможного. Вы хотите, чтобы я разъяснил вам здешнее положение дел, которое так запутано и представляет собой такую неразбериху, что его даже на месте никак не поймешь. Выступление Вагенера[17] про-

тив Мантейфеля не может быть оправдано, если только он не хочет совершенно изолировать себя от партии. Такая газета, как «Kreuzzeitung», может выступать против премьер-министра лишь в том случае, если вся ее партия переходит в оппозицию, как это было при Радовице... Такое положение bellum omnium contra omnes [войны всех против всех] не может быть терпимо. Вагенер[17] volens nolens [волей-неволей] должен будет спеться с газетой «Preussisches Wochenblatt»[18], а это было бы уже большой бедой; Гинкельдей и Мантейфель-младший, обычно такие непримиримые враги, объединяются против «Kreuzzeitung», словно Ирод и Пилат против Христа[19]. Но больше всего меня огорчает министр Мантейфель, которого едва можно вытерпеть, но все же приходится оставлять на посту, ибо его предполагаемые преемники просто ужасны. Все вопят, чтобы он уволил Квеля. Я думаю, что от этого пользы будет мало. Возможный преемник Квеля, [Константин] Ф[ранц], пожалуй, еще хуже. Если Мантейфель не решится пойти на соглашение с приличными людьми, пусть пеняет на себя...»

«Сан-Суси, 8 октября 1852 г.

...Я воспользовался странным поведением Мантейфеля в отношении его креатур, я воспользовался назначением Радовица, чтобы откровенно поговорить с Мантейфелем, но из этого ничего не вышло. Я сказал ему, что не принадлежу к тем, которые хотят погубить Квеля, но что ему, Мантейфелю, следует все-таки сблизиться с порядочными людьми и сообща с ними укрепить свое положение. Но тщетно. Сейчас он опять якшается с бонапартистом Францем. Не хочу оправдывать то, что делает Вагенер, особенно его упрямое нежелание слушать чьи-либо советы и предупреждения, но он прав в том, что Мантейфель разрушает консервативную партию и доводит его, Вагенера, до крайности. Ведь это удивительная вещь, что «Kreuzzeitung» оказалась единственной газетой в Германии, которую, преследуют и конфискуют. О том, что во всем этом деле меня особенно волнует, — о влиянии такого положения вещей на е[го] в[еличество], мне не хочется и говорить. Обдумайте же, какими бы способами привлечь людей, которые укрепили бы министерство. Приезжайте сюда еще разок и посмотрите сами, что делается...»

«Шарлотенбург, 25 февраля 1853 г.

...Я, наконец, обратил внимание е[го] в[еличества] на то, как все-таки нехорошо получилось бы, если бы Вагенер, рисковавший всем ради правого дела, очутился в ближайшем будущем в тюрьме, тогда как его противник Квель благодаря одной лишь vis inertiae [инерции] стал бы тайным советником. И Нибуру действительно удалось примирить короля с Вагенером, хотя

последний остается при своем решении отказаться от редактирования «Kreuzzeitung»... Мантейфель имеет тенденцию книзу via [в направлении] Квель, Левинштейн и т. д., ибо сомневается в истинах, исходящих свыше, вместо того чтобы уверовать в них. Вместе с Пилатом он вопрошает: «Что есть истина?»[20] — и ищет ее у Квеля и компании. ...Уже сейчас под влиянием Квеля он при всяком удобном случае пускается в прескверную скрытую и пассивную оппозицию против Вестфалена и его мероприятий, которые все же являются самыми лучшими и наиболее смелыми в нашем государственном управлении со времени 1848 г. Мантейфель терпит, когда Квель бесстыднейшим образом использует прессу против Вестфалена, Раумера и т. д., и, как меня уверяли, заставляет еще платить себе за это... Квель с его компанией доведут Мантейфеля да падения — не иначе, что я считаю несчастьем уже по той простой причине, что не вижу хоть сколько-нибудь подходящего преемника».

«Потсдам, 28 февраля 1853 г.

...Делаю все от меня зависящее, чтобы сохранить «Kreuzzeitung», или, вернее, чтобы сохранить пока Вагенера для «Kreuzzeitung». Он говорит, что не может продолжать вести это дело при интригах Квеля. Из королевских денег, которыми располагает этот субъект благодаря доверию Мантейфеля, он выдает сотрудникам Вагенера крупные гонорары и переманивает их у «Kreuzzeitung»; говорят даже, что по его предложению от [наших] посланников затребовали фамилии заграничных корреспондентов «Kreuzzeitung», чтобы и их сманить у нее...»

«20 июня 1853 г.

...Внутреннее положение мне очень не нравится. Боюсь, Квель одержит верх над Вестфаленом и Раумером уже проста потому, что Мантейфель постарается доказать королю свою незаменимость, — мнение, которое е[го] в[еличество] разделяет по соображениям и верным и неверным...»

«Шарлотенбург, 30 июня 1853 г.

...Когда я сопоставляю различные сведения об интригах Квеля; когда учитываю, что Квель заключил своего рода соглашение с партией Гольвега, по которому Мантейфеля щадят, остальных же неугодных министров — Раумера, Вестфалена, Бодельшвинга — яростно атакуют; когда я замечаю, далее, что Мантейфелю совестно передо мной за сложившиеся у него отношения с принцем Прусским и что сейчас его сердцу ближе Нибур, нежели я, тогда как обычно он часто жаловался мне на Нибура; когда я замечаю, наконец, что этот Квель изображает принца Прусского и его сына в качестве единомыш-

ленников своих и Мантейфеля и в таком смысле высказывается (что мне известно из самого достоверного источника) и когда все это тянет в сторону Радовица (sic!),— то я чувствую, как почва уходит у меня из-под ног, хотя вряд ли удастся склонить короля на сторону всей этой стряпни, и мне самому все это, слава богу, довольно безразлично. Но вы, уважаемый друг, вы еще молоды, и вы должны собираться с силами и готовиться к борьбе, дабы в надлежащий момент во имя спасения страны разорвать все эти хитросплетения лжи...»

«Сан-Суси, 17 июля 1853 г.

... Перед К[велем] сейчас уже заискивают; всякие превосходительства толпятся в его передней и высиживают у него на диване. С другой стороны, я не считаю исключенным, что в один прекрасный день Мантейфель махнет рукой на Квеля, ибо благодарность не является характерной чертой этого скептически настроенного и поэтому часто впадающего в разочарование государственного деятеля. Но что получится, если Мантейфель уйдет? Подыскать министерство можно, но едва ли найдется такое, которое продержалось бы *при* е[го] величестве] хотя бы *только четыре недели*. По этой причине и при том искреннем уважении и любви, которые я питаю к Мантейфелю, я не хотел бы брать на свою совесть инициативу его свержения. Подумайте обо всем этом и напишите мне...»

Вскоре после того как было написано последнее письмо, отношения между королем и Мантейфелем настолько обострились, что последний, надувшись, удалился в свое имение Дрансдорф. Дабы сделать его «послушным министром», король на сей раз решил припугнуть его не моей кандидатурой на пост министра, а поручил мне посетить в Эркслебене графа Альбрехта фон-Альвенслебена, «старого пожирателя жаворонков», как король называл его, и спросить, не согласится ли он возглавить новое министерство, в котором мне поручено было бы ведомство иностранных дел. Незадолго до этого граф, весьма непочтительно отозвавшись о короле, заявил мне, что в правление е[го] в[еличества] он ни при каких обстоятельствах не вступит ни в какой кабинет[21]. Я сказал это королю, и моя поездка отпала. Однако позже, когда вновь всплыла та же комбинация, Альвенслебен все же выразил готовность пойти на нее; но король успел уже договориться с Мантейфелем, который тем временем дал обет «слушаться». Вместо миссии в Эркслебен я по собственному почину отправился к Мантейфелю в его имение и стал убеждать его расстаться с Квелем и приступить вновь, не вступая в излишние объяснения с его величеством, к исполнению своих служебных обязанностей. Он возражал в духе своего письма от 11 июля 1851 г., что не может бросить усердного и преданно служащего ему человека. Мне

показалось, что у Мантейфеля есть еще кое-какие основания щадить Квеля, и я сказал: «Уполномочьте меня избавить вас от Квеля так, чтобы дело не дошло до разрыва между вами; если это мне удастся, то вы сообщаете королю об уходе Квеля и продолжаете вести дела так, словно между вами и е[го] величеством] никакой размолвки не произошло». Он с этим согласился, и мы условились, что он посоветует Квелю, который как раз в то время совершал путешествие по Франции, побывать на обратном пути у меня во Франкфурте, что тот и сделал. Я воспользовался планами короля в отношении Альвенслебена и постарался внушить Квелю, что если он не уйдет, то окажется виновником падения своего покровителя, и порекомендовал ему, пока не поздно, использовать влияние последнего. Я сказал ему: «Куйте железо, пока горячо. Это уже недолго будет длиться», и заставил его точно указать, чего он хочет; оказалось — генерального консульства в Копенгагене со значительно повышенным окладом. Я уведомил Мантейфеля; вопрос, казалось, был исчерпан, но дело еще несколько затянулось, ибо в Берлине действовали так неумело, что возвестили об укреплении Мантейфеля еще до отставки Квеля. Последний, прибыв в Берлин, нашел свое положение и положение Мантейфеля не столь шатким, как я ему это изобразил, и стал чинить кое-какие затруднения, которые создали ему еще лучшие условия при назначении в Копенгаген.

Подобные же переговоры пришлось вести и с агентами, использованными при краже депеш во французской миссии, в том числе с Гассенкругом; последний во время судебного процесса по делу об этой краже был арестован полицией во Франции, повидимому с его собственного согласия, и содержался там в заключении более года, пока дело не было забыто.

Король в то время ненавидел Мантейфеля, обходился с ним уже не с обычной своей вежливостью и зло отзывался о нем. Как вообще смотрел король на должность министра, показывают его слова, сказанные о графе Альберте Пурталесе, которым он также стращал иногда Мантейфеля[22]: «Вот кому бы быть министром у меня, если бы у него не было лишних 30 тысяч рейхсталеров[23] дохода; в этом источник неповиновения». Если бы я стал министром при короле, мне более чем кому-либо пришлось бы испытать на себе этот взгляд, так как король смотрел на меня, как на своего питомца, и считал существеннейшим элементом в моем роялизме безусловное «повиновение». Всякое самостоятельное мнение, выраженное мною, неприятно поразило бы его; ведь уже мое упорное нежелание окончательно принять пост посланника в Вене казалось ему чуть ли не нарушением верности[24]. Два года спустя мне пришлось в этом убедиться на опыте, который имел длительные последствия.

III

Меня вызывали в Берлин не всегда по делам внешней политики, а иной раз и в связи с вопросами, возникавшими в ландтаге, куда я был переизбран 13 октября 1851 г., после моего назначения посланником[25].

Когда возник вопрос о преобразовании первой палаты в палату господ[26], я получил следующее уведомление от Мантейфеля, помеченное 20 апреля 1852 г.:

«Бунзен все более и более разжигает у короля страсть к пэрии[27]. Он утверждает, будто крупнейшие государственные люди Англии полагают, что в ближайшие годы континент распадется на два лагеря: а) протестантские государства с конституционной системой, опирающейся на столпы аристократии; б) католическо-иезуитско-демократическо-абсолютистские государства. К последней категории он относит Австрию, Францию и Россию. Я считаю это совершенно ошибочным. Никаких таких категорий нет. Каждое государство имеет свой собственный ход развития. Фридрих-Вильгельм I не был ни католиком, ни демократом, но все же был абсолютным монархом. Но подобные вещи производят большое впечатление на е[го] в[еличество]. Конституционную систему, провозглашающую господство большинства, я считаю не чем иным, как протестантской».

На следующий день, 21 апреля, король писал мне:

«Шарлотенбург, 21 апреля 1852 г.

Напоминаю вам, дорогой Бисмарк, *что я рассчитываю на вас и на вашу помощь* при прениях, предстоящих во второй палате относительно организации первой. Тем более, что я узнал, к сожалению, из достовернейшего источника, о грязных интригах, затеваемых сообща паршивыми овцами из правой и смердящими козлищами из левой, сознательно (?) или бессознательно (?) объединившимися для того, чтобы расстроить мои планы. Это — зрелище печальное при всех обстоятельствах, до того печальное, что «хоть волосы на себе рви», и все это на почве так дорого обошедшейся нам машины лжи французского конституционализма. Да исправит это господь! Аминь.

Фридрих-Вильгельм».

Я написал генералу Герлаху, что я один из самых молодых среди этой группы людей. Если бы желания его величества были мне известны раньше, то, может быть, я и сумел бы оказать некоторое влияние; но прямое выполнение мною в Берлине

распоряжения короля и защита его в консервативной партии обеих палат с тем, чтобы в краткий срок, в какие-нибудь два дня, пустить в ход свое влияние только в качестве королевского уполномоченного, защищающего не свои собственные взгляды, подорвали бы мое положение в парламенте, а оно может пригодиться королю и его правительству при разрешении других вопросов. Поэтому я запросил, нельзя ли мне уклониться от участия в ландтаге под предлогом исполнения возложенного на меня королем поручения о ведении переговоров с принцем Августенбургским[28]. Я получил по телеграфу ответ—не ссылаться на августенбургское дело, а немедленно ехать в Берлин, куда я и отправился 26 апреля. Между тем в Берлине стараниями консервативной партии было принято решение, противоречившее намерениям короля; тем самым кампания, предпринятая его величеством, казалась проигранной. Явившись 27-го к генералу фон-Герлаху в занимаемый им флигель в Шарлотенбургском дворце, близ гауптвахты, я узнал от него, что король гневается на меня за то, что я не сразу выехал, считая, что если бы я тотчас же появился, то мог бы предотвратить это решение. Герлах пошел доложить обо мне королю, долго не возвращался и, наконец, пришел с ответом, что его величество не желает меня видеть, но чтобы я подождал. Противоречивое приказание прекрасно характеризовало короля: он сердит был на меня и хотел показать это отказом в аудиенции, но в то же время стремился обнадежить меня, что я могу в скором времени снова рассчитывать на его благоволение. Это был своего рода педагогический прием, подобно тому как в школе сначала выгоняют ученика из класса, а затем снова впускают. Я оказался как бы интернированным в Шарлотенбургском дворце—положение, облегчавшееся тем, что мне подали хороший, изящно сервированный завтрак. Вне Берлина, в особенности же в Потсдаме и Шарлотенбурге, король жил, как grand seigneur [вельможа] в своем поместье. Посетителя всегда угощали в замке всем, чем угодно в положенный час, а при желании—и в любое время. Хозяйство велось, правда, не на русскую ногу, но по нашим понятиям все было безусловно изысканно, всего было в изобилии, хотя ни в чем не замечалось расточительности.

Приблизительно через час за мною был прислан дежурный адъютант, и я был принят королем холоднее обыкновенного, но все же не столь немилостиво, как опасался. Его величество ожидал, что я явлюсь по первому зову, и рассчитывал, что мне удастся в течение 24 часов, оставшихся до голосования, повернуть консервативную фракцию, как по военной команде «кругом марш!», в том направлении, которого придерживался король. Я объяснил, что таким предположением переоценивается мое влияние на фракцию и недооценивается ее независимость, что лично я в этом вопросе не расхожусь во взглядах с коро-

лем и готов отстаивать его взгляды перед моими товарищами по фракции, если король даст мне срок и если ему угодно еще раз выразить свои пожелания в новой форме. Король, видимо, примиренный, выразил свое согласие и отпустил меня с поручением вести пропаганду в пользу его плана. Это мне удалось с большим успехом, нежели я сам ожидал; возражения против преобразования палаты имели только руководители фракции, и упорство этих возражений основывалось не на убеждении большинства, а на авторитете, которым во всякой фракции пользуются обычно ее признанные руководители, и пользуются не без основания, ибо обычно это лучшие ораторы и единственно работоспособные, деловые люди, которые избавляют всех прочих от труда подробно вникать в текущие вопросы. Оппонента из рядов фракции, не обладающего таким же авторитетом, вождь фракции, как правило, — более находчивый оратор, умеет без особого труда так поставить на место, что у того отпадает всякая охота к оппозиции в будущем, если только он не одарен способностью не смущаться, что как раз среди тех классов, к которым большей частью принадлежат консерваторы, встречается у нас не часто.

Я застал нашу тогда многочисленную фракцию — в ней было, кажется, свыше 100 членов — всецело под влиянием политических тезисов, установленных ее руководителями. Сам я некоторым образом эмансипировался от этого влияния с тех пор, как занял во Франкфурте оборонительную позицию против Австрии, вступил, следовательно, на путь, не встречавший одобрения руководителей фракции, и хотя в данном вопросе не затрагивались наши отношения с Австрией, все же разногласие по этому поводу поколебало вообще мою веру в руководство нашей фракции. Тем не менее меня поразило, как быстро возымела действие моя plaidoyer [защитительная речь] не столько в пользу данного взгляда короля, сколько в пользу сотрудничества с ним. Руководство фракции осталось при голосовании изолированным; почти вся фракция выразила готовность следовать за королем по его пути.

Оглядываясь теперь на эти события, я думаю, что те трое или шестеро вождей, против которых я поднял консервативную фракцию, были по существу правы в своих разногласиях с королем. Первая палата была более приспособлена к разрешению задач, падающих на ее долю при конституционном строе, нежели нынешняя палата господ. Она пользовалась у населения престижем, какого палата господ до сих пор не сумела завоевать. Последняя имела возможность проявить себя политически выдающимся образом лишь во время конфликта[29], и, вступившись с бесстрашной преданностью за монархию, она показала в те дни, что вполне созрела для выполнения оборонительных задач верхней палаты. Можно предположить, что в

критические для монархии моменты она проявит ту же отважную стойкость. Но я сомневаюсь, сумеет ли она оказать подобное же влияние, как первая палата, в смысле предупреждения подобных кризисов в мирные, на первый взгляд, времена. Когда верхняя палата становится в глазах общественного мнения органом правительственной или даже королевской политики, это свидетельствует о дефекте в конституции. Согласно прусской конституции, король со своим правительством сам по себе имеет такую же долю участия в законодательстве, как каждая из обеих палат; он не только обладает правом абсолютного вето[30], но и полнотой исполнительной власти, в силу чего законодательная инициатива фактически, а проведение законов также и юридически принадлежит короне. Королевская власть, сознающая свою силу и имеющая мужество применять ее, достаточно могущественна и в конституционной монархии, чтобы не нуждаться в качестве опоры в послушной палате господ. Если бы во время конфликта палата господ и присоединилась к постановлению палаты депутатов по представленному бюджету[31], то все же для проведения бюджетного закона, согласно статье 99[32], было бы необходимо согласие третьего фактора — короля, без чего бюджет не приобретает силы закона. А по моему убеждению, король Вильгельм не дал бы своего согласия даже в том случае, если бы палата господ согласилась в своих постановлениях с палатой депутатов. Не думаю, чтобы «первая палата» поступила так; напротив, я предполагаю, что ее дебаты, более деловитые и спокойные, подействовали бы гораздо раньше, умерили бы пыл палаты депутатов и отчасти воспрепятствовали бы крайностям последней. Палата господ не имела того же веса в общественном мнении; в ней склонны были видеть дублера правительственной власти и параллельную форму выражения королевской воли.

Я уже тогда не чуждался подобных соображений. Наоборот, я настаивал перед королем, когда он неоднократно обсуждал со мною свой план, на том, чтобы, наряду с определенным числом наследственных членов палаты господ, большая часть ее выходила из корпораций выборщиков, основу которых составляли бы 12 или 13 тысяч рыцарских имений и в дополнение к ним равноценная им земельная собственность, магистраты[33] крупных городов и плательщики наиболее высоких налогов, не обладающие земельной собственностью, но отвечающие требованиям высокого ценза[34], и чтобы положения о сроке депутатских полномочий и о *роспуске,* действующие в отношении палаты депутатов, были распространены на ненаследственную часть палаты. Король отверг эту идею с такой решительностью и пренебрежением, что пришлось оставить всякую надежду на ее подробное обсуждение. На новом для меня поприще законодательства я тогда не имел еще той уверенности в своей правоте, которая

была необходима, чтобы решиться отстаивать свое особое мнение по конституционным вопросам при непосредственных,— что также было ново для меня, — взаимоотношениях с королем и учитывая мое официальное положение. Чтобы чувствовать себя при известных условиях правомочным и обязанным к этому, я должен был обладать более длительным опытом в государственных делах, чем тогда. Если бы лет 20 спустя зашла речь о сохранении первой палаты или превращении ее в палату господ, то первую часть этой альтернативы я превратил бы в вопрос о доверии кабинету.

IV

Позиция, занятая мною в консервативной фракции, расстраивала те планы, которые король имел или утверждал, что имеет в отношении меня. Когда в начале 1854 г. он стал уже прямо намечать меня в министры, его намерению воспротивились не только Мантейфель, но и камарилья, в которой главными фигурами были генерал Герлах и Нибур. Они , так же как и Мантейфель, не были склонны делить со мною влияние на короля и полагали, что вблизи, в повседневном общении им будет труднее ладить со мною, нежели на расстоянии. Герлаха поддерживал в этом предположении и его брат, президент, который имел обыкновение характеризовать меня, как человека с пилатовской натурой, размышляющего над вопросом: «что есть истина?»[35], стало быть, ненадежного товарища по фракции. Это суждение обо мне резко проявилось и в борьбе внутри консервативной фракции и ее узкого comite [комитета], когда я, основываясь на моем положении посланника при Союзном сейме и докладчика короля по делам немецких государств, потребовал для себя большего влияния на позицию фракции в делах германской и иностранной политики, между тем как президент Герлах и Шталь претендовали на абсолютное руководство во *всех* отношениях. Я был в оппозиции к обоим, но в большей степени к Герлаху, нежели к Шталю; первый из них уже тогда заявил, предвидя будущее, что пути наши разойдутся и мы окажемся в конце концов противниками. Единомышленниками моими на протяжении всех изменчивых фаз, [пройденных] консервативной фракцией, неизменно оставались Белов-Гогендорф и Альвенслебен-Эркслебен.

Зимою 1853/54 г. король неоднократно вызывал меня в Берлин и подолгу задерживал там; тем самым я внешне оказался в категории карьеристов, которые добивались падения Мантейфеля, старались восстановить принца Прусского против его брата, урвать для себя должности или хотя бы поручения и являлись в глазах короля соперниками Мантейфеля cum spe succedendi [надеющимися заместить его]. После того как король заставил меня несколько раз сыграть по отношению к Мантей-

фелю подобную роль, поручая мне составлять контрпроекты депеш, я обратился к Герлаху, которого застал однажды в маленькой передней около кабинета короля в дворцовом флигеле, расположенном вдоль Шпрее, и просил его исходатайствовать мне позволение уехать обратно во Франкфурт. Герлах вошел в кабинет и стал говорить; король воскликнул: «Пусть он, чорт побери, ждет, пока я прикажу ему уехать!» Когда Герлах вышел из кабинета, я сказал, смеясь, что ответ мне уже известен. Таким образом, я пробыл еще некоторое время в Берлине. Когда я собрался, наконец, уехать, то оставил министру составленный мною по повелению его величества проект письма к императору Францу-Иосифу, которое король намерен был собственноручно написать; Мантейфель взялся представить этот проект королю, предварительно обсудив его содержание вместе со мною. Центр тяжести лежал в заключительной фразе; впрочем, и без нее проект представлял собою завершенный документ; в этом случае, правда, существенно модифицировалось его значение. Я просил дежурного флигель-адъютанта при вручении королю чистового экземпляра обратить его внимание на решающее значение заключительной фразы послания. Об этой предосторожности в ведомстве иностранных дел не знали; произведенное во дворце сличение показало, — как я того и опасался, — что первоначальная редакция была изменена, и притом в сторону, более близкую к австрийской политике. Во время Крымской войны и предшествовавших ей переговоров в правительственных кругах нередко происходила борьба по поводу какой-либо фразы — западнически-австрофильской или руссофильской, хотя бы фраза эта, едва ее написали, теряла всякое практическое значение.

Более серьезный вопрос, связанный с редакцией одного документа, — вопрос, затрагивавший ход событий, — возник в августе 1854 г. Король находился в то время на Рюгене; я ехал из Франкфурта в Рейнфельд, где находилась моя больная жена, когда один из старших чиновников почтового ведомства в Штеттине, которому поручено было не упустить меня, передал мне (29 августа) приглашение короля явиться в Путбус[36]. Я охотно улизнул бы, но почтовый чиновник не мог понять, как может человек старого прусского закала уклониться от подобного приглашения. Я отправился на Рюген несколько встревоженный тем, что меня ожидают новые предложения занять министерский пост и что, таким образом, я окажусь в неприемлемом для меня положении по отношению к королю. Он принял меня (30 августа) милостиво и ознакомил с разногласиями по поводу ситуации, возникшей ввиду отступления русских войск из Придунайских княжеств[37]. Речь шла о депеше графа Буоля от 14 сентября и о составленном Мантейфелем проекте ответа, который показался коро-

лю слишком австрофильским. Я набросал по приказанию его величества новый проект ответа, который был им одобрен и послан в Берлин, с повелением, несмотря на возражения министра, препроводить его сначала графу Арниму в Вену, а затем сообщить немецким правительствам*. Настроение короля, сказавшееся в одобрении им составленного мною ответа, отразилось и в приеме, оказанном графу Бенкендорфу, который прибыл в Путбус с письмами и устными поручениями и которого мне пришлось встретить известием, что англичане и французы высадились в Крыму[38]. «Рад этому, —сказал он, — там мы очень сильны». Настроение складывалось в пользу русских. Я полагал, что исполнил свой политический долг, и, получив в это время дурные вести о здоровье моей жены, просил позволения уехать. Косвенно мне было отказано в этом путем зачисления в свиту, что представляло собой знак высокого благоволения. Герлах предупредил меня, чтобы я не придавал этому слишком большого значения. «Только не воображайте,— сказал он, — будто бы вы искуснее нас в политике. В настоящую минуту вы в милости у короля, и он дарит вам эту депешу точно так же, как он поднес бы букет даме».

Как справедливы были эти слова, я узнал тогда же, но в полной мере лишь впоследствии. Когда я продолжал настаивать на своем желании уехать и действительно уехал 1 сентября, король был очень недоволен и сказал Герлаху, что домашние дела мне дороже всей империи. Благосклонно принятый проект составленной мною депеши был телеграфно задержан и затем изменен. Но как глубоко было недовольство его величества, мне стало ясно лишь во время моей поездки в Париж[39] и непосредственно после нее.

---

* Она датирована 21 сентября и напечатана у Yasmund'a, I, 363 f.f.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОСЕЩЕНИЕ ПАРИЖА

I

Летом 1855 г. наш посланник в Париже граф Гацфельд пригласил меня посетить промышленную выставку; он разделял еще распространенное тогда в дипломатических кругах мнение, что я буду вскоре преемником Мантейфеля по министерству иностранных дел. Хотя король иногда и действительно носился с такой мыслью, но уже тогда в интимном придворном кругу было известно, что произошла перемена. Как сказал мне граф Вильгельм Редерн, с которым я встретился в Париже, посланники все еще полагают, что я предназначаюсь в министры, и сам он недавно так думал; но настроение короля резко изменилось. Подробностей он, граф, не знает. Это произошло, очевидно, после моей поездки на Рюген.

День Наполеона[1] — 15 августа — был отпразднован между прочим тем, что по улицам Парижа водили русских пленных, 19-го числа прибыла английская королева, 25 августа в честь ее был дан большой бал в Версале, на котором я был представлен королеве и принцу Альберту.

Принц в своем черном мундире, красивый и холодный, был со мною любезен, но в его обращении проглядывало некоторое неприязненное любопытство, из чего я мог заключить, что ему известно о моем влиянии на короля в духе, враждебном западным державам. По складу своего ума принц искал объяснения моего поведения не в его действительных мотивах, каковые сводились к стремлению обеспечить независимость отечества от сторонних влияний, находивших благодарную почву в нашем провинциальном почитании Англии и боязни Франции, а также—к желанию не ввязываться в войну, которую нам пришлось бы вести не в собственных интересах, а в силу зависимости от австрийской и английской политики. В глазах принца я был ярым реакционером, ставшим на сторону России, чтобы способствовать абсолютистской и юнкерской политике. Это я узнал, разумеется, не в тот момент, когда представился принцу, а из позднейших фактических

и документальных данных. Нет ничего удивительного, что дочь принца Альберта, ставшая в скором времени нашей кронпринцессой[2], усвоила этот взгляд отца и тогдашних сторонников герцога Кобургского.

Уже вскоре после ее прибытия в Германию, в феврале 1858 г. я убедился по собственному опыту и со слов некоторых членов королевского дома, что принцесса лично предубеждена против меня. Меня удивил не самый факт, но способ, которым выражалось это предубеждение в тесном семейном кругу: она, мол, не доверяет мне. К тому, что принцесса не расположена ко мне из-за моих якобы антианглийских взглядов и моего неподчинения английским влияниям, я был подготовлен; но о том, что впоследствии она, видимо, судила обо мне под впечатлением далеко идущей клеветы, я смог догадаться, когда однажды, после войны 1866 г., сидя рядом со мной за столом, она сказала мне полушутя, что я питаю честолюбивое намерение стать королем или, по крайней мере, президентом какой-нибудь республики. В том же полушутливом тоне я отвечал, что не гожусь в республиканцы, так как воспитан в роялистских традициях моей семьи и нуждаюсь для земного благополучия в монархическом строе; но благодарю бога, что мне не суждено, как королю, жить постоянно напоказ и что до конца дней своих я должен буду оставаться верноподданным своего короля. Не могу, однако, поручиться, что этот мой взгляд будет унаследован в будущем, и не потому, что переведутся роялисты, а скорее потому, что не окажется больше королей. Pour faire un civet, il faut un lievre, et pour une monarchie il faut un roi [для рагу нужен заяц, а для монархии нужен король]. Я бы не поручился, что будущее поколение не станет республиканским за неимением короля. Говоря это, я не мог отделаться от грусти при мысли, что престол может перейти к наследнику, не воспринявшему монархических традиций. Принцесса не пожелала придать разговору серьезного оборота и продолжала его в шутливом тоне, оставаясь любезной и сдержанной, как всегда; у меня создалось впечатление, что ей просто хотелось подтрунить над своим политическим противником.

В первые годы моей министерской деятельности я неоднократно замечал во время подобных бесед за столом, что принцессе доставляло особенное удовольствие задевать мои патриотические чувства шутливой критикой лиц и порядков.

На упомянутом балу в Версале королева Виктория говорила со мной по-немецки. Я вынес из ее разговора впечатление, что она смотрела на меня, как на человека незаурядного, но несимпатичного; однако в ее тоне не чувствовалось оттенка иронического превосходства, которое я уловил в словах принца

Альберта. Она была приветлива и учтива, как человек, стремящийся не обидеть забавного чудака.

За ужином меня удивил странный по сравнению с Берлином распорядок: все общество было разделено на три категории с особым меню для каждой, причем все те особы, которые были приглашены к столу, получили при входе билет с номером. На билетах первой категории было обозначено также имя дамы, председательствующей за соответствующим столом. Столы были накрыты человек на 15 или на 20. Я получил при входе билет к столу графини Валевской и позже, уже в самом зале, — еще по билету от двух других дам-патронесс из дипломатического и придворного круга. Стало быть, никакого точного плана размещения гостей не было. Я счел более подходящим занять место за столом графини Валевской, к департаменту которой я принадлежал в качестве иностранного дипломата[3]. Направляясь в зал, где я должен был ужинать, я наткнулся на одного прусского офицера в мундире гвардейского пехотного полка; он вел под руку даму, француженку, и горячо спорил с одним из императорских дворецких, который не хотел пропустить их обоих, так как у них не было билетов. Когда офицер в ответ на мой вопрос объяснил в чем дело и назвал даму, которая оказалась герцогиней с итальянским титулом времен Первой империи[4], я заявил придворному служителю, что билет этого господина у меня, и подал ему один из своих. Но дворецкий все же не хотел пропустить даму, тогда я отдал офицеру и второй билет для его герцогини. «Mais vous ne passerez pas sans carte» [«но вы не пройдете без билета»], — заметил на это служитель; когда я показал ему третий билет, он сделал удивленное лицо и пропустил нас троих. Я посоветовал моим подопечным не садиться за те столы, которые были указаны на билетах, а пристроиться где-нибудь в другом месте, и никаких претензий из-за передачи мною билетов не слыхал. Беспорядок был настолько велик, что за нашим столом не все места оказались занятыми; это объясняется тем, что dames patronesses [дамы-патронессы] между собой не сговорились. Старый князь Пюклер то ли вовсе не получил билета, то ли не мог найти своего стола; когда он, увидев знакомое лицо, обратился ко мне, графиня Валевская пригласила его занять одно из пустовавших за нашим столом мест. Несмотря на установленные три категории, ужин был во всех отношениях не на. высоте в сравнении с тем, что я видел в Берлине на таких больших придворных празднествах; лишь слуг было достаточно, и прислуживали они расторопно.

По сравнению с Берлином меня больше всего поразила беспорядочность движения публики. В Версальском дворце гораздо легче, чем в берлинском, упорядочить движение: и залов по числу больше, и все они, кроме Белого зала, просторнее. Но здесь лица категории № 1, отужинав, шли обратно тем же путем,

каким направлялись к ужину голодные из категории № *2*, которые неслись стремглав, обнаруживая уже большее отсутствие светских манер и навыков. Кавалеры в лентах, в шитых мундирах и элегантные дамы в роскошных туалетах толкали друг друга, причем дело доходило до брани и рукоприкладства, что немыслимо было бы у нас во дворце. Я уехал, с удовлетворением сознавая, что при всем блеске императорского двора придворная служба, воспитание и манеры придворного общества у нас, а также в Петербурге и Вене, выше, чем в Париже, и что прошли те времена, когда Париж и парижский двор были школой учтивости и хороших манер. Даже устарелый, особенно по сравнению с петербургским, этикет малых немецких дворов был достойнее нравов, царивших при французском императорском дворе. Правда, такое впечатление сложилось у меня еще при Луи-Филиппе; во Франции при его правлении положительно вошло в моду обращать на себя внимание утрированной бесцеремонностью и невежливым обращением, особенно с дамами. Хотя в этом отношении при Второй империи [5] стало несколько лучше, но все же тон чиновного и светского общества и этикет самого двора во многом уступал этикету, соблюдавшемуся при дворах трех восточных великих держав. Во времена Луи-Филиппа, как и Луи-Наполеона, только в легитимистских кругах, не имевших ничего общего с официальным миром, дело обстояло иначе: сохранился безупречный тон, учтивый и радушный; исключение составляли разве лишь отдельные молодые люди, более зараженные парижским духом и приобретавшие свои привычки не в семье, а в клубах.

Император[6], которого я впервые увидел во время тогдашнего моего пребывания в Париже, в разговорах на различные темы дал мне тогда понять лишь в общих выражениях о своих желаниях и намерениях в смысле тесного франко-прусского сближения. Он говорил о том, что эти два соседних государства, по своей культуре и внутренним порядкам стоящие во главе цивилизации, нуждаются во взаимной поддержке. Не было заметно стремления прежде всего заявить мне претензии по поводу нашего отказа примкнуть к западным державам[7]. Я чувствовал, что нажим, который осуществляли в Берлине и Франкфурте *Англия и Австрия,* чтобы принудить нас служить военным планам западных держав, производился с гораздо большей силой и, так сказать, запальчивостью и грубостью, нежели те высказанные мне в благожелательном тоне обещания и пожелания, которыми император защищал [идею] нашего соглашения именно с Францией. Он был гораздо снисходительнее к нашим прегрешениям в отношении политики западных держав, нежели Англия и Австрия. Ни тогда, ни впоследствии он ни разу не говорил со мной по-немецки.

На исходе сентября того же года я убедился, что моя поездка в Париж не понравилась нашему двору и усилила уже существовавшее недовольство мною, в особенности со стороны королевы Елизаветы. Во время поездки короля по Рейну на торжества по случаю постройки Кельнского собора я явился к королю в Кобленц и получил вместе с женой приглашение сопровождать его в Кельн на пароходе, но королева не удостоила мою жену ни малейшего внимания ни на пароходе, ни в Ремагене [8]. Принц Прусский, заметив это, предложил моей жене руку и повел ее к столу. После обеда я просил позволения вернуться во Франкфурт, что мне и было разрешено.

Лишь зимой, в течение которой король снова приблизил меня к себе, он, сидя однажды против меня за столом, задал мне вопрос, каково мое мнение о Луи-Наполеоне; в тоне его звучала ирония. Я ответил: «Император Наполеон показался мне человеком умным и любезным, но не таким уж умницей, каким его считает свет, приписывая ему все, что ни делается: если в Восточной Азии дождь пойдет не во-время, то и это стараются объяснить злокозненными махинациями императора. Особенно у нас привыкли считать его неким genie du mal [гением зла],у которого всегда на уме одни только пакости. Мне кажется, он доволен, когда может в тиши радоваться какому-нибудь доброму делу; его ум преувеличивают в ущерб его сердцу; в сущности он добродушен, и ему свойственно испытывать необычайную благодарность за каждую оказанную ему услугу».

Король рассмеялся так, что это меня задело, и я спросил, не будет ли мне позволено угадать, что в данный момент на уме его величества. Он разрешил мне это, и я сказал:

«Генерал фон-Каниц читал в военной академии молодым офицерам лекции о наполеоновских походах. Некий любознательный слушатель спросил его, почему Наполеон упустил из виду такое-то и такое передвижение. Каниц отвечал: «Да, вот видите, что за человек был Наполеон, хороший парень, но глуп, донельзя глуп», что, разумеется, чрезвычайно рассмешило всех слушателей. Боюсь, что мысли вашего величества обо мне сходны с тем, что думал генерал фон-Каниц о Наполеоне».

«Пожалуй, вы правы, — отвечал король, смеясь, — но я недостаточно знаю нынешнего Наполеона, чтобы оспаривать ваше мнение, будто сердце у него лучше, нежели голова». По некоторым мелочам, в которых обычно проявляются настроения двора, я заметил, что королеве мой взгляд не понравился.

II

Неудовольствие по поводу моих отношений с Наполеоном проистекало из понятия, или, точнее говоря, из слова *«легитимизм»* [9]; в его современном смысле оно было сформулировано

Талейраном, который в 1814 и 1815 гг. с большим успехом использовал это слово в интересах Бурбонов, как некую магическую формулу для отвода глаз.

Привожу здесь по этому поводу некоторые отрывки из моей переписки с Герлахом, которая относится к более позднему времени, но велась по поводу, явствующему уже из вышеприведенных выдержек.

«Франкфурт, 2 мая 1857 г.

...При всем единодушии с вами в вопросах внутренней политики я никак не могу усвоить ваш взгляд на внешнюю политику, заслуживающий, по-моему, вообще упрека в *игнорировании реальностей.* Вы исходите из того, что я будто бы жертвую принципом ради единичной импонирующей мне личности. Возражаю и против первого и против второго. Человек этот вовсе не импонирует мне. Склонность восхищаться людьми слабо развита у меня, да и глаза у меня так странно устроены, что я лучше различаю недостатки, нежели достоинства. Если мое последнее письмо написано в несколько приподнятом тоне, то прошу считать это не более, как риторическим приемом, которым я хотел подействовать на вас. Что же касается принципа, якобы принесенного мною в жертву, не могу вполне конкретно представить себе, что именно вы имеете в виду, и прошу вернуться к этому пункту в одном из последующих писем, так как я не хотел бы разойтись с вами принципиально. Если вы подразумеваете под этим принцип, который надлежит применить к *Франции и ее легитимизму,* то я утверждаю, конечно, что *вполне* подчиняю его моему *специфически прусскому патриотизму;* Франция интересует меня лишь постольку, поскольку она оказывает влияние на положение моего отечества; мы можем вести политику лишь *с такой Францией,* какая существует, и не *исключать ее из [политических] комбинаций.* Легитимный монарх вроде Людовика XIV—столь же враждебный элемент [для нас], как и Наполеон I, и если бы нынешний преемник Наполеона вздумал отказаться от престола и удалиться на покой, как частное лицо, он не сделал бы нам этим никакого одолжения, и Генрих V[10] ему бы *не* наследовал; если даже посадить его [Генриха V] на вакантный, незанятый трон, он на нем не удержится. Как романтик, я могу пролить слезу о его судьбе; как дипломат, я был бы его верным слугой, будь я француз; но Франция, кто бы в данный момент ее ни возглавлял, остается для меня только фигурой, и притом неизбежной, в шахматной игре, [называемой] политикой, — игре, в которой я призван служить только *моему* королю и *моей* стране. Мое понятие о долге не позволяет мне оправдывать ни в себе, ни в других проявлений симпатий и антипатий к иностранным державам и лицам при исполнении служебных обязанностей

на поприще внешней политики, ибо в этом таится зародыш неверности по отношению к монарху или стране, которой мы служим, в особенности если начинают ставить в зависимость от этого уже существующие дипломатические отношения и поддержание согласия в мирное время; тут уж, по-моему, прекращается всякая политика, а действует просто личный произвол. Подчинять интересы отечества личным чувствам любви или ненависти к чужому не в праве, по моему убеждению, даже король; однако он несет ответственность перед богом, а не передо мною, поэтому я не касаюсь этого вопроса.

Или, быть может, вы находите принцип, которым я якобы пожертвовал, в формуле: *пруссак непременно должен быть противником Франции?* Из вышесказанного следует, что мое отношение к иностранным правительствам определяется не косными антипатиями, но лишь пользой или вредом, какой может, по моему разумению, произойти отсюда для Пруссии. Политика чувства вовсе не встречает взаимности — это исключительно прусская особенность; всякое иное правительство руководствуется в своих действиях только собственными интересами, как бы оно ни старалось прикрыть их правовыми или сентиментальными рассуждениями. Излияние *наших* чувств милостиво принимают, их используют, рассчитывая, что они не позволят нам уклониться от такого их использования; сообразно с этим с нами и обходятся, т. е. нас даже не благодарят, а просто почитают за удобного dupe [простофилю].

Я полагаю, вы согласитесь со мною, если я скажу, что наш престиж в Европе сейчас уже не тот, каким он был до 1848 г.; думаю даже, что все время с 1763 по 1848 г. [11], — разумеется, за исключением периода с 1807 по 1813 г. [12], — он стоял выше, чем теперь. Я признаю, что в соотношении наших сил с другими великими державами мы до 1806 г. были в смысле агрессии сильнее, чем теперь, но не с 1815 по 1848 г. Почти все были тогда тем же, чем они являются и теперь. Нам же приходится сказать словами пастушка из стихотворения Гете: «Я вниз в долину спустился, но сам не знаю как» [13]. Я не хочу сказать, что я это знаю, но, без сомнения, многое заключается в следующем обстоятельстве: мы ни с кем не находимся в союзе и не ведем никакой внешней политики, — именно активной [политики]; мы ограничиваемся лишь тем, что подбираем камешки, залетающие в наш огород, и по мере наших сил счищаем падающую на нас грязь. Говоря о союзах, я не подразумеваю под этим союзов оборонительных и наступательных, ибо миру не угрожает пока опасность, но все же намеки на возможность, вероятие или намерение заключить на случай войны тот или иной союз, примкнуть к той или иной группировке— эти-то намеки и лежат в основе влияния, которым какое-либо государ-

ство может теперь пользоваться в мирное время. Тот, кто в случае войны может очутиться в слабейшей группировке, склонен быть сговорчивее; тот, кто совершенно изолируется от других, отказывается тем самым от влияния, особенно если это самая слабая из великих держав. Союзы являются выражением общности интересов и намерений. Я не знаю, имеем ли мы сейчас в политике какие-либо осознанные цели и намерения; но что мы имеем *интересы*, об этом-то уж нам напомнят другие. Мы же можем рассчитывать пока на союз лишь с *теми*, чьи интересы наиболее многообразно скрещиваются и даже сталкиваются с нашими, а именно на союз с германскими государствами и с Австрией. Если мы намерены этим ограничить нашу внешнюю политику, то нам придется свыкнуться и с той мыслью, что в мирное время наше влияние на европейские дела будет сведено до семнадцатой части голосов в узком совете Союзного сейма[14], а в случае войны мы останемся одни во дворце Турн-и-Таксис[16] с союзной конституцией в руках. Я спрашиваю вас: есть ли, скажите, в Европе хоть один кабинет, кроме венского, который был бы так кровно, естественно заинтересован в том, чтобы *не* допускать усиления Пруссии, а, напротив, уменьшить ее влияние в Германии; есть ли еще один кабинет, который преследовал бы эту цель более ревностно и искусно, который с таким хладнокровием и цинизмом руководствовался бы вообще в своей политике только *собственными* интересами и который дал бы нам, России и западным державам столько убедительных доказательств своего коварства и ненадежности в качестве союзника? Разве Австрия стесняется входить в любые, отвечающие ее выгодам, соглашения с заграницей и даже открыто угрожать ими членам Германского союза? Считаете ли вы императора Франца-Иосифа натурой, способной к жертвам и преданности вообще, а ради чуждых Австрии интересов — в особенности? Видите ли вы, с точки зрения «принципа», какую-нибудь разницу между его буольбаховским образом правления[16] и наполеоновским? Глава последнего [Наполеон] сказал мне в Париже, что ему, «qui fais tous les efforts pour sortir de ce systeme de centralisation trop tendue qui en dernier lieu a pour pivot un gendarme secretaire et que je considere comme une des causes principales des malheurs de la France» [«всячески старающемуся покончить с системой чрезмерной централизации, которая зиждется в низшей инстанции на полицейском писаре и которую я считаю одной из главных причин всех бедствий, постигших Францию»], очень странно видеть, как Австрия всеми силами стремится к такой централизации. Прошу вас далее ответить мне, не отделываясь уклончивыми выражениями: существуют ли еще помимо Австрии правительства, которые считали бы себя менее обязанными сделать что-либо для Пруссии, нежели средние

немецкие государства? В мирное время они испытывают потребность играть роль в Германском союзе и в Таможенном союзе, оберегать свой суверенитет у наших границ, ссориться с фон-дер-Хейдтом, а во время войны их поведение по отношению к нам обусловливается боязнью или недоверием; ангел—и тот не в состоянии искоренить в них это недоверие, пока существуют географические карты, на которые они могут бросить взгляд. И еще один вопрос: неужели вы и его величество король в самом деле рассчитываете на Германский союз и на его армию в случае войны? Я имею в виду не революционную войну Франции против Германии, находящейся в союзе с Россией, а войну интересов (Interessenkrieg), когда Германия с Пруссией и Австрией оказались бы предоставленными самим себе. Если вы на это рассчитываете, то я не считаю возможным продолжать наш спор: значит, мы с вами исходим из совершенно различных предпосылок. Но что дает вам право предполагать, будто великий герцог Баденский или Дармштадтский, король Вюртембергский или Баварский возьмут на себя, в интересах Пруссии и Австрии, роль Леонида[17], если превосходство *не* на стороне этих держав и если никто не имеет ни малейшего основания верить в единодушие и взаимное доверие между Пруссией и Австрией? Едва ли король Макс заявит Наполеону в Фонтенебло[18], что только через его труп император перейдет границу Германии или Австрии.

Я был весьма удивлен, прочитав в вашем письме, что австрийцы утверждают, будто они сделали для нас в Нейенбурге[19] более, чем французы. Так нагло лгать может только Австрия; если бы австрийцы даже *хотели,* они не могли бы ничего сделать, да и, право же, ради нас не стали бы входить ни в какие сделки с Францией и с Англией. Они, напротив, как только могли, мешали нам в вопросе о пропуске войск; они клеветали на нас, восстановили против нас Баден, а затем в Париже были против нас, заодно с Англией. И французы и Киселев передавали мне, что во всех переговорах, где Гюбнер присутствовал *без* Гацфельдта,—а это были переговоры как раз по решающим вопросам, — он первый всегда присоединялся к протестам англичан против нас; за ним уже выступала Франция, а за нею -- Россия. Да, собственно говоря, с какой стати стал бы *кто бы то ни было* действовать в нашу пользу в вопросе о Нейенбурге и отстаивать наши интересы? Разве можно было от нас ожидать что-нибудь в награду за услугу или опасаться нас в противном случае? Пусть другие ожидают от нас, что мы станем действовать в политике единственно из чувства всеобщей справедливости или из желания угодить,— *мы* не в праве ожидать этого от *других.*

Если мы решаем и впредь оставаться изолированными и хотим, чтобы с нами не считались и при случае третировали, то

я, разумеется, не в силах помешать этому; если же мы хотим восстановить наш престиж, то этого нельзя достигнуть, поскольку мы закладываем фундамент нашего будущего только на песке Германского союза и спокойно ожидаем обвала. Пока все мы убеждены, что часть европейской шахматной доски закрыта [для нас] по собственному нашему желанию или что мы из принципа связываем себе одну руку, в то время как другие пользуются обеими руками к невыгоде для нас, — таким нашим благодушием будут пользоваться без страха и без признательности. Ведь я отнюдь не требую, чтобы мы заключили союз с Францией и конспирировали против Германии; но не разумнее ли быть с французами в дружеских, а не в холодных отношениях, пока они оставляют нас в покое? Мне хотелось бы только, чтобы прочие не думали, будто *они* могут брататься с кем угодно, а *мы* скорее дадим вырезать ремни из нашей кожи, нежели станем защищать ее с помощью Франции. Учтивость— это дешевая монета, и если этой ценой удастся добиться хотя бы того, что другие перестанут думать, будто они *всегда* могут рассчитывать на Францию против нас, а нам постоянно нужна помощь против Франции, то и это уже будет большим выигрышем для мирной дипломатии; если мы пренебрегаем этим средством и даже поступаем противоположным образом, то не знаю, почему бы нам лучше не сэкономить и не сократить расходы на дипломатию, ибо эта каста при всем своем старании не добьется того, что может сделать без особых усилий король, а именно—возвратить Пруссии достойное положение в мирное время видимостью дружественных отношений и возможных союзов. В не меньшей мере его величество в состоянии без труда затормозить всю работу дипломатов демонстрацией *холодных* отношений; в самом деле, чего же могу добиваться здесь я или любой другой наш посланник, когда мы производим такое впечатление, что у нас нет друзей или же что мы рассчитываем на дружбу Австрии. Только в Берлине и можно говорить, не вызывая насмешек, о поддержке со стороны Австрии в каком-нибудь важном для нас вопросе. Да и в Берлине я знаю лишь очень ограниченный круг людей, которые говорили бы без горечи о нашей внешней политике. У нас от всех бед одно средство: броситься на шею графу Буолю и излить ему нашу братскую душу. В бытность мою в Париже некий граф NN потребовал ввиду нарушения супружеской верности развода со своей женой, бывшей наездницей, застигнув ее в *двадцать четвертый раз* на месте преступления; на суде адвокат графа превозносил его как образец галантного и снисходительного супруга. Но и ему не сравниться с нашим великодушием в отношении Австрии.

На внутреннем нашем положении собственные его недочеты отражаются вряд ли тяжелее, чем овладевшее всеми гнетущее

сознание утраты нашего престижа за границей и совершенно пассивной роли нашей политики. Мы — нация тщеславная, нас огорчает, когда мы не можем ничем похвалиться, и ради правительства, которое создает нам вес за границей, мы можем многое стерпеть и многим поступиться, даже кошельком. Но если нам приходится сознаться, что внутри страны мы скорее благодаря здоровому организму справляемся с болезнями, прививаемыми нам лекарями из министров, нежели лечимся и соблюдаем здоровую диэту по их предписанию, то напрасно было бы искать утешения в делах нашей внешней политики. Ведь вы, глубокоуважаемый друг, au fait [в курсе] нашей политики; так можете ли вы назвать какую-нибудь цель, которую ставила бы себе эта политика, хоть один какой-нибудь план на несколько месяцев вперед? Даже rebus sic stantibus [при данных обстоятельствах] знают ли там, чего собственно хотят? Знает ли это кто-либо в Берлине, и неужели вы предполагаете, что у руководителей какого-либо другого государства также отсутствуют положительные цели и взгляды? Далее, можете ли вы мне назвать хоть одного союзника, на которого Пруссия могла бы рассчитывать, если бы теперь дело дошло до войны, или который высказался бы в нашу пользу в таком вопросе, как, например, Нейенбургский, или который сделал бы для нас что-нибудь, рассчитывая на наше содействие или опасаясь нашей враждебности? Мы самые благодушные, самые безобидные политики, и, однако, нам, в сущности, никто не доверяет; мы считаемся ненадежными товарищами и неопасными врагами, точно мы в делах внешней политики ведем себя, как Австрия, а во внутренней так же больны, как она. Я не говорю о настоящем моменте; но можете ли вы назвать мне какой-нибудь *позитивный* план (оборонительных — сколько угодно) или какую-нибудь цель в нашей внешней политике со времени проекта Радовица о союзе трех королей[20]. Правда, был проект относительно залива Яде[21], но он остается до сих пор не осуществленным проектом, а Таможенный союз Австрия любезнейшим образом вытянет у нас, так как мы не решимся наотрез сказать «нет». Удивляюсь, как это у нас еще находятся дипломаты, у которых хватает смелости иметь свое суждение и не угасло еще деловое честолюбие. Кажется, я ограничусь скоро, подобно многим моим коллегам, тем, что буду, не мудрствуя, исполнять получаемые инструкции, присутствовать на заседаниях и уклоняться от участия в общем ходе нашей политики; так и здоровье сохранишь и чернил меньше изведешь.

Вы скажете, наверное, что я вижу все в черном свете с depit [досады], что вы не разделяете моих взглядов, что я резонерствую, как скворец, но я, право, столь же ревностно, как и свои идеи, стал бы отстаивать и чужие, только бы они были» А чтобы и дальше так прозябать, нам вовсе не нужен

весь аппарат нашей дипломатии. Жареные рябчики, которые летят нам прямо в рот, и так нас не минуют; впрочем, даже это может случиться, если мы не потрудимся во-время разинуть рот, разве только зевнем в ту минуту. Я же стремлюсь к одному: не уклоняться от таких шагов, которые могут в мирное время создать у иностранных кабинетов впечатление, что мы не в плохих отношениях с Францией, что им не следует рассчитывать, будто мы нуждаемся в их содействии против Франции, и на этом основании прижимать нас; и что ежели с нами захотят обойтись недостойным образом, то перед нами открыта возможность любых союзов. Я утверждаю, что эти преимущества мы можем получить за одну только учтивость и видимость взаимности; а теперь — пусть мне докажут, что это не представит нам никаких выгод и что нашим интересам больше отвечает такая ситуация, когда иностранные и германские дворы имеют основание исходить из предположения, что мы при всех условиях должны быть вооружены против Запада и нуждаемся в союзах, а, возможно, даже в помощи против него: пусть мне докажут, что нам следует предпочесть такую ситуацию даже в том случае, когда эти дворы пользуются подобным предположением в качестве базиса для направленных против нас политических операций. Или же пусть мне предъявят другие планы и намерения, не совместимые с видимостью хороших отношений с Францией. Не знаю, имеет ли правительство какой-либо план (который мне неизвестен), — я этого не думаю; но когда уклоняются от дипломатического сближения, предлагаемого великой державой, и регулируют политические отношения двух великих держав, руководствуясь исключительно симпатиями или антипатиями к отдельным людям и порядкам, изменить которые ведь не в нашей власти и воле, то я проявлю лишь сдержанность, сказав: не могу согласиться с этим как дипломат и при подобной системе внешних отношений нахожу лишним и фактически упраздненным все дипломатическое ремесло, вплоть до консульской службы. Вы говорите: «Этот человек наш естественный враг; скоро обнаружится, что он именно таков и таким останется». Я мог бы возразить или с тем же правом сказать: «Австрия и Англия — наши враги; что это так, давно уже обнаруживается со стороны Австрии естественным образом, со стороны Англии — неестественным». Но оставим это, допустим даже, что вы правы; и все же я не могу признать политически благоразумным показывать наши опасения другим державам и самой Франции еще в мирное время, а, напротив, считаю, что, до тех пор пока не произойдет предсказываемый вами разрыв, было бы недурно дать понять прочим, что мы *не* считаем войну с Францией неизбежной в более или менее близком будущем, что такая война не есть нечто неразрывно связанное

с положением Пруссии, что натянутые отношения с Францией— это не органический порок, не врожденный недостаток нашей натуры, на котором всякий может с уверенностью спекулировать. До тех пор, пока считается, что мы холодны с Францией, до тех пор и коллега по союзу будет здесь холоден со мной...

ф. Б.»

Вот что отвечал мне Герлах:

«Берлин, 6 мая 1857 г.

Ваше письмо от 2-го числа доставило мне, с одной стороны, большое удовольствие, так как я убедился в вашем искреннем желании сохранить или достигнуть единодушия со мной во взглядах, чему большинство людей не придает значения, но, с другой стороны, оно вызывает необходимость возразить вам и привести доводы в подтверждение моих взглядов.

Прежде всего я считаю, что в глубочайшей основе мы с вами все же единодушны. Иначе я не стал бы вдаваться в столь пространные возражения: ведь это ни к чему бы не привело. Если вы испытываете потребность не расходиться со мной принципиально, то надобно прежде всего установить, в чем заключается самый принцип, и не ограничиваться одними отрицаниями, вроде «игнорирования реальностей», «исключения Франции из политических комбинаций». Нельзя также искать этот общий принцип в «прусском патриотизме», «в пользе и вреде для Пруссии», в «службе исключительно королю и стране», ибо все это само собой разумеющиеся вещи, относительно которых вы должны ожидать моего ответа в том смысле, что я надеюсь осуществить их своей политикой и лучше и полней, нежели вашей или всякой другой. Но для меня установление принципа представляется именно потому делом исключительной важности, что без такого принципа я считаю все политические комбинации ошибочными, непрочными и в высшей степени опасными; в этом в течение последних 10 лет меня убедил его успех.

А теперь мне придется начать несколько издалека, со времен Карла Великого, т. е. оглянуться лет за тысячу назад. В то время принципом европейской политики было распространение христианской веры. Карл Великий служил этому делу, воюя с сарацинами, саксами, аварами[22] и т. д., и его политика, право же, не была непрактичной. Его преемники были поглощены беспринципными распрями, и только великие государи средневековья остались верны старому принципу. Прусская мощь была основана в борьбе бранденбургских маркграфов и Тевтонского ордена[23] с теми народами, которые не хотели подчиниться власти императора — викария церкви, и это длилось до тех пор, пока упадок церкви не привел к территориализму, к упадку империи, к церковному расколу[24]. С тех пор в христианском мире не стало общего принципа. От первона-

чального принципа уцелело только сознание необходимости бороться против опасного могущества турок. Австрия, а впоследствии Россия поистине не были непрактичны, когда сообразно этому принципу воевали с турками. Войны с Турцией упрочили могущество этих держав, и если бы мы только оставались верны этому принципу борьбы с Турецкой империей, Европа или христианский мир оказался бы — насколько в состоянии судить человек — в лучшем положении относительно Востока, нежели теперь, когда нам угрожает оттуда величайшая опасность. До французской революции — этого резкого и весьма практического отпадения от церкви христовой, прежде всего в политической области — проводилась политика «интересов» так называемого патриотизма, и мы видели, куда она привела. Чего-либо более убогого, нежели прусская политика с 1778 г. до французской революции[25], не существовало; напомню о субсидиях, которые Фридрих II платил России[26] и которые были равносильны дани; напомню о ненависти к Англии. В Голландии старый престиж Фридриха II удержался еще до 1787 г.[27]; но Рейхенбахская конвенция[28] была уже позором, вызванным отступлением от принципа. Войны великого курфюрста велись в интересах протестантизма, а войны Фридриха-Вильгельма III с Францией были, собственно говоря, войнами против революции[29]. Протестантский характер имели по существу и три силезские войны 1740—1763 гг.[30], хотя в них играли такую же роль интересы территориализма и соображения равновесия.

Принцип, внесенный в европейскую политику революцией[31], совершившей свой тур по Европе, сохраняет свою силу, по моему мнению, и доныне. Нельзя сказать, чтобы верность этому взгляду оказалась непрактичной. Англия, которая осталась до 1815 г. верна принципу борьбы с революцией и не дала обмануть себя старому Бонапарту, достигла высшей степени могущества; Австрия после многих неудачных войн все же благополучно вышла из этой школы. Пруссия тяжко пострадала от последствий Базельского мира[32] и оправилась только в 1813—1815 гг.; еще более пострадала Испания[33], которую он погубил; немецкие же средние государства, по вашему собственному мнению, являются в Германии печальным продуктом революции и порожденного ею бонапартизма, этой materia peccans [источником греха], продуктом, октроированным и взятым под покровительство на Венском конгрессе[34] из-за половинчатости и взаимного недоверия. Если бы, руководствуясь принципом, в Вене отдали Бельгию Австрии, а франконские княжества — Пруссии[35], то Германия была бы теперь в ином положении, в особенности если бы одновременно были сведены к своим естественным размерам незаконнорожденные — Бавария, Вюртемберг и Дармштадт[36]; однако принципу предпочли

тогда округление [границ] и тому подобные чисто механические соображения.

Но вам, вероятно, уже наскучили мои уходящие слишком далеко рассуждения, поэтому перехожу к новейшим временам. Неужели вы находите благополучным такое положение, что в настоящее время, когда Пруссия и Австрия враждуют между собой, Бонапарт владычествует до самого Дессау[37] и ничто в Германии не делается без его разрешения? Разве союз с Францией может заменить нам тот порядок вещей, который существовал с 1815 по 1848 г., когда в немецкие дела не вмешивалась ни одна чужая держава? Я убежден, как и вы, что Австрия и немецкие государства ничего не сделают для нас. Но я думаю, что Франция, т. е. Бонапарт, *также* ничего для нас не сделает. Я, как и вы, не одобряю, что у нас относятся к нему недружелюбно и невежливо; исключать Францию из политических комбинаций — безумие. Но из этого еще не следует, что надобно забыть о происхождении Бонапарта, пригласить его в Берлин и этим перепутать все понятия и внутри страны и за рубежом. В невшательском[38] вопросе он вел себя хорошо в том отношении, что предотвратил войну и открыто сказал, что больше ничего не станет делать. Но еще вопрос, не лучше ли обстояло бы дело, если бы мы не поддавались «политике чувства», а прямо поставили вопрос перед европейскими державами, подписавшими Лондонский протокол[39] вместо того, чтобы укрываться под крылом Бонапарта, чего как раз и желала Австрия. С пленными же[40], за которых можно было заступиться, не приключилось бы никакой беды.

Далее, вы обвиняете нашу политику в изолированности. В том же винил нас и франкмасон[41] Узедом, когда хотел навязать нам договор от 2 декабря[42]; и Мантейфелю, ныне решительному врагу Узедома, эта мысль весьма импонировала, вам же в то время, слава богу,— нет. Австрия присоединилась тогда к декабрьскому договору, — а какую пользу он принес ей? Она мечется теперь в поисках союзов. Некий квази-альянс она заключила тотчас же после Парижского мира[43], а сейчас как будто заключила тайное соглашение с Англией. Я не вижу в этом никаких выгод, а одни только затруднения. Последний союз может приобрести значение лишь в случае ликвидации франко-английского союза, да и тогда не удержать Пальмерстона от заигрывания с Италией и Сардинией[44].

Моим политическим принципом была и будет борьба с революцией. Вы не убедите Бонапарта в том, что он не на стороне революции. Да он и не хочет быть в другом лагере, ибо он находит в этом свои безусловные выгоды. Стало быть, здесь не может быть речи ни о симпатиях, ни об антипатиях. Эта позиция Бонапарта есть «реальность», которую вы не можете «игнорировать». Но это отнюдь не означает, что не следует быть вежли-

вым и уступчивым, признательным и предупредительным по отношению к нему и что нельзя договариваться с ним в определенных случаях. Однако если мой принцип, как принцип противодействия революции, правилен, — а я думаю, что и вы признаете его таковым, — то следует постоянно держаться его и на практике, дабы к тому времени, когда вопрос станет актуальным, — а это время придет, если принцип правилен,— те, которые также должны признать его (как, возможно, в скором будущем Австрия, а также и Англия), знали, чего они могут от нас ждать. Вы сами говорите, что на нас нельзя полагаться, а ведь нельзя не признать, что лишь тот надежен, кто действует по определенным принципам, а не сообразуется с шаткими понятиями интересов и т. д. Англия, а по-своему и Австрия были с 1793 по 1813 г. вполне надежны и поэтому всегда находили себе союзников, несмотря на все поражения, которые наносили им французы.

Что же касается нашей германской политики, то я думаю, что мы все же призваны показывать малым государствам свое прусское превосходство и не позволять делать с собой все что угодно, например, в делах Таможенного союза и многих других, вплоть до приглашений на охоту, вплоть до поступления принцев в нашу службу и т. д. Здесь, т. е. в Германии, и надлежит, как мне кажется, оказать сопротивление Австрии, но одновременно следовало бы также избегать в отношении Австрии всего вызывающего. Вот что я могу возразить на ваше письмо.

Если же говорить о нашей политике вне Германии, то я ничего удивительного и ничего страшного не нахожу в том, что мы изолированы в такое время, когда все перевернулось вверх дном, когда Англия и Франция находятся еще в таком тесном союзе, что Франция не отваживается принять меры предосторожности против швейцарских радикалов[45], потому что это может не понравиться Англии, между тем как на ту же Англию она наводит страх своей подготовкой к десанту и делает решительные шаги к альянсу с Россией[46], когда Австрия состоит в союзе с Англией, что непрестанно порождает смуту в Италии[47], и т. д. В какую же сторону нам обратиться, по вашему мнению, при таком положении вещей? Не в ту ли, на которую будто бы намекал, находясь здесь, Плон-Плон[48], т. е. к союзу с Францией и Россией против Австрии и Англии? Но такой союз немедленно приведет к преобладающему влиянию Франции в Италии, к полному революционизированию этой страны и вместе с тем обеспечит преобладающее влияние Бонапарта в Германии. Из этого влияния нам уделили бы во второстепенных вопросах известную долю, но небольшую и не надолго. Ведь мы уже видели однажды Германию под русско-французским влиянием в 1801—1803 гг., когда епископства были секуляризованы и распределены по указке из Парижа и Петербурга[49];

Пруссия, которая тогда была в добрых отношениях с этими обеими державами и в дурных — с Австрией и Англией, также получила при дележе кое-что, но очень немного, и влияние ее было в то время меньше, чем когда-либо».

Не входя в подробное обсуждение этого письма, я писал генералу 11 мая:

«... Мне сообщают из Берлина, что при дворе меня считают бонапартистом. Это несправедливо. В 1850 г. наши противники обвиняли меня в изменнической привязанности к Австрии и нас называли берлинскими венцами[50], потом решили, что от нас пахнет юфтью, и прозвали нас казаками с Шпрее. В то время на вопрос, за кого я — за русских или за западные державы, я всегда отвечал, что стою за Пруссию и считаю идеалом в области внешней политики отсутствие предубеждений, образ действий, независимый от симпатий или антипатий к иностранным государствам и их правителям. Что касается заграницы, то я всю жизнь питал симпатию к одной только Англии и ее обитателям, да и теперь еще не лишен подчас этого чувства, но они-то не хотят, чтобы мы их любили; я лично получу одинаковое удовлетворение, против кого бы ни двинулись наши войска — против французов ли, русских, англичан или австрийцев, безразлично, лишь бы мне доказали, что этого требуют интересы здравой и хорошо продуманной прусской политики. Но в мирное время я считаю нелепым подрывом собственных сил навлекать на себя неудовольствие или поддерживать таковое, не связывая с этим никакой практической политической цели. Я считаю нелепым рисковать свободой своих будущих решений и союзов ради смутных симпатий, не встречающих взаимности, и итти только по доброте и из love of approbation [жажды одобрения] на такие уступки, каких Австрия ожидает от нас сейчас в отношении Раштатта[51]. Если мы не можем теперь ожидать эквивалента за подобную услугу, то нам следует от нее воздержаться; случай использовать ее в качестве объекта соглашения представится, возможно, и позже. Соображения о пользе для Германского союза не могут быть *единственной* руководящей нитью прусской политики, ибо самым полезным для Союза было бы, несомненно, если бы мы и все немецкие правительства подчинились Австрии в военном, политическом и торговом отношениях в Таможенном союзе; под единым руководством Германский союз мог бы добиться гораздо большего и в военное ив мирное время, а в случае войны мог бы действительно быть устойчивым...»

Герлах отвечал мне 21 мая:

«Получив ваше письмо от 11-го с. м., я подумал, что это ответ на мою попытку возражения против вашего подробного письма от 2-го с. м. Я находился в напряженном состоянии, ибо

мне крайне тяжело расходитьсяс вами во взглядах,и я надеялся, что мы договоримся. Однако ваши оправдания в ответ на сделанный вам упрек в бонапартизме показывают, что мы еще далеки друг от друга... Я так же твердо уверен в том, что вы не бонапартист, как в том, что большинство государственных деятелей не только у нас, но и в других странах действительно бонапартисты, как, например, Пальмерстон, Бах, Буоль и т. д.; знаю также a priori [заранее], что вам, наверно, попадалось немало экземпляров этой породы во Франкфурте и в Германии, чуть было не сказал — в Рейнском союзе. Уже то, как вы относились к оппозиции в последнем ландтаге, снимает с вас всякое подозрение в бонапартизме. Но именно поэтому мне совершенно непонятен ваш взгляд на нашу внешнюю политику.

Я также нахожу, что нельзя проявлять недоверчивость, упрямство и предвзятость к Бонапарту; надо в обращении с ним применять наилучшие procedes [приемы], но только не приглашать его сюда, как вы хотите; этим мы уронили бы себя, погрешили бы против здравого смысла, где он еще сохранился, возбудили бы недоверие и утратили бы свое достоинство. Поэтому я многое одобряю в вашем меморандуме; историческое введение (страницы 1—5) в высшей степени поучительно, да и большая часть из остального весьма приемлема; но, простите, нехватает головы и хвоста, нет ни принципа, ни цели политики.

1. Можете ли вы отрицать, что Наполеон III, как и Наполеон I, подвержен всем следствиям своего абсолютизма, основанного на народном суверенитете (l'elu de 7 millions[52] [избранник 7 миллионов;), что он и сам сознает так же хорошо, как сознавал прежний [Наполеон]?

2. Франция, Россия и Пруссия — triple alliance [тройственный союз], в который Пруссия лишь вступает: «Ich sei, gewahrt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte»*; она оказывается слабейшей из трех, и ей недоверчиво противостоят Австрия и Англия, она непосредственно способствует победе *«интересов Франции»*, т. е. сперва ее господству в Италии, а затем в Германии. В 1801—1804 гг. Россия и Франция делили Германию и лишь немного отдали Пруссии[53].

3. Чем отличается рекомендуемая вами политика от политики Гаугвица[54] в 1794—1805 гг.? И тогда речь шла лишь об *«оборонительной системе»*. Тугут, Кобенцль, Лербах были ничем не лучше Буоля и Баха; Австрия была также вероломна; Россия была еще менее надежна, чем теперь; Англия, правда, была надежнее. Король в душе также не сочувствовал этой политике...

---

* Заключительные строки баллады Шиллера «Порука»:

«Примите меня в свой союз святой,
Пусть буду я третьим меж вами!» — *Ред.*

При расхождениях с вами мне часто приходит мысль, что я со своими взглядами устарел и что хотя я и не могу признать свою политику неправильной, все же, быть может, необходимо испробовать и другую политику, которую следует сейчас осуществить и преодолеть. В 1792 г. Массенбах был сторонником союза с Францией и в разгар войны написал об этом сочинение; начиная с 1794 г. Гаугвиц был сторонником оборонительной системы или нейтралитета и т. д. Революционный абсолютизм по существу своему носит завоевательный характер, ибо он может держаться внутри страны лишь при условии, что вокруг все обстоит так же, как и у него. Пальмерстон должен был поддержать выступление против бельгийской печати и т. п. По отношению к швейцарскому радикализму Наполеон III оказался весьма слабым, хотя, по его собственному признанию, Бонапарт считал радикализм неудобным для себя. И еще одна параллель. В 1812 г. Гнейзенау, Шарнгорст и еще немногие были против союза с Францией, который, как известно, состоялся и был осуществлен путем [посылки] вспомогательного корпуса[55]. Успех говорил в пользу тех, кто хотел этого союза. Тем не менее я бы весьма охотно стал бы на сторону Гнейзенау и Шарнгорста. В 1813 г. Кнезебек стоял за перемирие, Гнейзенау был против[56]; я, в то время 22-летний офицер, был решительным противником перемирия и, невзирая на [последовавший] успех, берусь доказать, что я был прав. Victrix causa diis placuit, victa Catoni[57] [Дело победителей нравится богам, дело побежденных — Катону] — это также не лишено значения...

Вам не трудно будет провести политику оборонительной системы в союзе с Францией и с Россией, — прежде это называли политикой нейтралитета, и в восточном вопросе Англия не соглашалась примириться с нею; на вашей стороне Мантейфели и еще многие другие (его величество в душе будет, правда, не на вашей стороне, но займет пассивную позицию); но все они будут за вас лишь до тех пор, пока будет держаться бонапартизм. А мало ли что может за это время случиться? Я был бы очень рад, если бы вам удалось, оставшись не замешанным в эту историю, взять бразды в свои руки. Старый Бонапарт царствовал 15 лет[58], Луи-Филипп—18; думаете ли вы, что нынешний строй продержится дольше?

Л. ф. Г.»

Я писал в ответ:

«Франкфурт, 30 мая 1857 г.

Отвечаю на ваши последние два письма, угнетаемый сознанием несовершенства человеческого слова, особенно письменного; каждая попытка объясниться порождает новые недоразумения; человеку не дано высказаться целиком на бумаге или устно, и нам не добиться, чтобы другие восприняли высказы-

ваемые нами обрывки мыслей так, как мы их сами воспринимаем, — отчасти в силу несовершенства нашей речи по сравнению с мыслью, отчасти по той причине, что привлекаемые нами внешние факты редко представляются двум людям в одинаковом свете, разве только один расположен принимать взгляды другого на веру, не имея собственного суждения.

Ко всевозможным помехам, вроде дел, гостей, хорошей погоды, лени, болезни детей и собственного [недомогания], присоединилось упомянутое чувство, и все это вместе было причиной того, что у меня нехватало духа отвечать на вашу критику новыми аргументами, каждый из которых сам по себе страдает неполнотой и имеет свои слабые стороны. Примите во внимание при оценке этих доводов, что я только что оправляюсь от болезни и выпил сегодня первый стакан мариенбадской, и если наши взгляды не сходятся, то ищите причину этого различия в писательском зуде, а не в сути дела, относительно которого я неизменно утверждаю, что мы с вами согласны.

Принцип борьбы с революцией я также признаю своим, но считаю неправильным выставлять Луи-Наполеона как единственного или хотя бы только κατ'ἐξοχήν [по преимуществу] представителя революции; не нахожу возможным проводить этот принцип в политике таким образом, чтобы даже самые отдаленные его следствия ставились выше всяких иных соображений, чтобы он был, так сказать, единственным козырем в игре и самая малая карта его побивала даже туза другой масти.

Много ли осталось еще в современном политическом мире таких образований, которые не имели бы своих корней в революционной почве? Возьмите Испанию, Португалию, Бразилию, все американские республики, Бельгию, Голландию, Швейцарию, Грецию, Швецию[59], наконец, Англию, сознательно опирающуюся до сих пор на glorious revolution [славную революцию][60] 1688 г.; даже и на те владения, которые нынешние немецкие государи отвоевали частью у императора и империи, частью у равных им владетельных князей, частью у собственных сословий, у них нет в полной степени легитимных прав, и мы сами в нашей государственной жизни не можем избежать использования революционных основ. Многие из соответствующих явлений уже укоренились, и мы к ним привыкли, как ко всем *тем* чудесам, которые окружают нас повседневно и именно поэтому уже не кажутся нам чудесными, что, однако, никому не мешало ограничивать понятие «чуда» явлениями, нисколько не более чудесными, чем факт нашего собственного рождения и обыденная жизнь человека.

Признавать какой-нибудь принцип главенствующим и всеобъемлющим я могу лишь, поскольку он оправдывается при всех обстоятельствах и во все времена; положение quod ab

initio vitiosum, lapsu temporis convalescere nequit [изначальне порочное не исправится с течением времени][61] остается верным с точки зрения доктрины. Но даже в тех случаях, когда революционные явления прошлого не были освящены такой давностью, чтобы о них можно было сказать, как говорит ведьма в «Фаусте» о своем адском зелье («у меня имеется флакон; я лакомлюсь порой сама, когда придется. Притом нисколько не воняет он»),[62] даже и в то время люди не всегда были столь целомудренны, чтобы воздерживаться от любовных прикосновений. Весьма антиреволюционные властители называли Кромвеля «братом» и искали его дружбы, когда она представлялась полезной; весьма почтенные государи вступили в союз с Генеральными штатами[63] [Голландии], еще прежде чем последние были признаны Испанией. Вильгельма Оранского[64] и его преемников в Англии наши предки считали вполне кошерными даже в те времена, когда Стюарты предъявляли еще свои права на престол, а Соединенным Штатам Северной Америки мы простили их революционное происхождение еще по Гаагскому договору 1785 г.[65] Ныне царствующий король Португалии[66] посетил нас в Берлине, а с домом Бернадота[67] мы породнились бы, если бы не возникли случайные препятствия.

Когда же и по каким признакам все эти силы перестали быть революционными? Очевидно им прощается их не легитимное происхождение с того момента, как они перестают быть опасными для нас, и впоследствии не возникает принципиальных возражений, когда они без всякого раскаяния и даже с гордостью продолжают признавать бесправие своим источником.

Я не вижу примера до *Французской* революции, чтобы какой-нибудь государственный деятель — даже самый добросовестный и христианнейший — вздумал подчинять все свои политические стремления, все свое отношение к внутренней и внешней политике, принципу «борьбы с революцией», и только *этим* мерилом оценивал бы отношения своей страны к другим странам; а ведь принципы и американской революции и английской революции[68] весьма сходны с теми, которые во Франции привели к нарушению правопреемственности, если не говорить о размерах кровопролития и различных, смотря по национальному характеру, бесчинствах в области религии. Я не могу допустить, чтобы до 1789 г. не нашлось ни одного столь же христианского и консервативного политического деятеля, так же хорошо понимавшего, в чем зло, как мы с вами, и чтобы от его внимания ускользнула истинность того принципа, который мы считаем основой *всякой* политики. Не нахожу к тому же, чтобы мы применяли этот принцип ко всем революционным явлениям *после* 1789 г. так же строго, как к Франции. Аналогичное правовое состояние в Австрии,

процветание революции в Португалии, Испании, Бельгии и в современной, насквозь революционной Дании[69], открытое исповедание и пропаганда основных революционных идей английским правительством и применение их хотя бы в нейенбургском конфликте — все это не мешает нам смотреть на отношения нашего короля с монархами этих стран снисходительнее, чем на его отношения с Наполеоном III. Что же такого *особенного* в Бонапарте и во *Французской* революции вообще? Нелегитимное (unfurstliche) происхождение Бонапартов, разумеется, — немаловажное обстоятельство, но то же мы видим в Швеции, где оно не влечет, однако, подобных последствий. Не заключается ли что-либо «особенное» именно в семействе Бонапартов? Но ведь не оно же породило революцию, и ни устранить, ни хотя бы обезвредить революцию не удалось бы даже с истреблением этой семьи. Революция гораздо старше Бонапартов, и ее основа куда шире Франции. Если искать ее источник на земле, то это следует делать не во Франции, а скорее в Англии, если не еще раньше в Германии или в Риме, смотря по тому, будем ли мы винить во всем крайности реформации или римского католицизма, или внедрение римского права в германский мир[70].

Наполеон I начал с того, что с успехом воспользовался революцией во Франции для своих честолюбивых целей, а затем пытался побороть ее безуспешно и негодными средствами; он с великой охотой вычеркнул бы ее из своего прошлого, после того как сорвал и прикарманил ее плоды; он содействовал революции в гораздо меньшей степени, нежели все три предшествовавшие ему Людовика — установлением абсолютизма при Людовике XIV, непристойностями регентства[71] и Людовика XV, слабостью Людовика XVI, который при утверждении 14 сентября 1791 г. конституции объявил, что революция окончена; созрела-то она во всяком случае. Династия Бурбонов, если даже не ставить им в счет Филиппа Эгалитэ, сделала для революции больше, нежели все Бонапарты вместе взятые.

Бонапартизм не порождает революции; как и всякий абсолютизм, он только плодородная почва для ее семян; это отнюдь не означает, что я помещаю бонапартизм вне сферы революционных явлений; я хочу только показать его без примесей, не неизбежно присущих его существу. К таковым я отношу, далее, несправедливые войны и завоевания. Они не являются характерным атрибутом семейства Бонапартов или названной их именем системы правления. Так умеют поступать и законные наследники древних тронов. Людовик XIV в меру своих сил распоряжался в Германии не менее свирепо, чем Наполеон[72], и если бы последний со своими задатками и наклонностями родился сыном Людовика XVI, то, верно, также отравил бы нам существование.

Завоевательные стремления свойственны Англии, Северной Америке, России и другим не менее, чем наполеоновской Франции; если только хватит сил и представится случай, то даже легитимнейшую из монархий едва ли остановит скромность или любовь к справедливости. У Наполеона III этот инстинкт, видимо, не преобладает. Он не полководец, и в случае большой войны, которая ознаменовалась бы крупными победами или поражениями, взоры французской армии, носительницы его господства, скорее, пожалуй, обратятся на какого-нибудь удачливого генерала, нежели на императора. Поэтому он будет стремиться к войне только в том случае, если решит, что вынужден к тому *внутренними* опасностями. Но такая необходимость представилась бы с самого начала и легитимному королю Франции, если бы он теперь пришел к власти.

Итак, ни воспоминания о дяде[73] с его *жаждой завоеваний,* ни самый факт *незаконного происхождения* власти нынешнего императора французов не дают мне права рассматривать его, как исключительного представителя революции и как предпочтительный объект борьбы с революцией. Второй порок он разделяет со многими существующими властями, а в первом заподозрить его можно пока не больше, чем других. Вы ставите ему в вину, многоуважаемый друг, что он не сможет якобы удержаться, если все вокруг не будет устроено так же, как у него; если бы я признал это справедливым, то этого было бы достаточно, чтобы поколебать мой взгляд. Но бонапартизм тем и отличается от республики, что ему *нет* надобности силой распространять свои принципы управления. Даже Наполеон I не старался навязать свою форму правления тем странам, которые прямо или косвенно не были присоединены к Франции; они, состязаясь друг с другом, добровольно подражали ему. Угрожать революцией другим государствам стало с некоторого времени специальностью Англии, и если бы Луи-Наполеон хотел того же, что Пальмерстон, мы были бы уже давно свидетелями восстания в Неаполе. Распространением революционных порядков на соседние страны французский император создал бы затруднения самому себе; при его убеждении в несовершенстве нынешних французских порядков он скорее постарается в интересах упрочения своего господства и своей династии подвести под собственную власть более прочное основание, чем то, каким может служить для него революция. *Сможет* ли он это сделать — иной вопрос, но он ни в коем случае не закрывает глаз на несовершенства и опасности бонапартистской системы правления, ибо он прямо это заявляет и жалуется на нее. Нынешняя форма правления не представляет собой для Франции чего-то произвольного, что Луи-Наполеон мог бы установить или изменить: она была для него чем-то заранее данным, и, вероятно, это единственный способ,

которым можно будет управлять Францией еще в течение долгого времени; для чего-либо другого отсутствует основание: оно либо отсутствует в самой основе, в национальном характере, либо было разрушено и утрачено; очутись сейчас на троне Генрих V, и он не мог бы править иначе, если бы вообще оказался в состоянии править. Луи-Наполеон не создал революционные порядки своей страны; власть он добыл не путем восстания против *законно* существующей власти, а попросту выудил ее как бесхозяйное имущество из водоворота анархии. Если бы он пожелал теперь сложить с себя власть, то поставил бы этим в затруднительное положение Европу, и его довольно единодушно попросили бы остаться, а уступи он свою власть герцогу Бордосскому[74], тот так же не сумел бы удержать ее, как не сумел добыть. Когда Луи-Наполеон называет себя elu de sept millions [избранником семи миллионов], он признает лишь факт, которого не мог бы отрицать. Он не смог бы приписать своей власти какое-либо иное происхождение помимо действительного; но нельзя о нем сказать, чтобы теперь, находясь уже у власти, он продолжал на практике придерживаться принципа народного суверенитета и считал для себя законом волю масс (что сейчас все сильнее чувствуется в Англии).

Для человека естественно, что притеснения и унизительное обращение, которым подверглась наша страна при Наполеоне I, производят неизгладимое впечатление на всех тех, кому пришлось это пережить, и что в их глазах тот, кого называли l'heureux soldat heritier de la revolution [удачливым солдатом — наследником революции], и весь его род отождествляется с принципом зла, с которым мы боремся в образе революции; но мне кажется, что вы возводите на нынешнего Наполеона слишком многое, когда именно в нем, и только в нем, усматриваете олицетворение ненавистной революции и на этом основании вносите его в проскрипционный список, объявляя всякие отношения с ним бесчестными. Любой знак революционности, который он носит на себе, вы находите и на других, но не обращаете, однако, против них свою ненависть с такой же доктринерской строгостью. Бонапартистская система внутреннего управления с ее грубой централизацией, уничтожением всякой независимости, ее презрением к праву и свободе, ее официальной ложью, ее коррупцией и в государственном аппарате и на бирже, ее бесхребетными и беспринципными писаками процветает в незаслуженно предпочитаемой вами Австрии, точно так же как и во Франции; при этом на берегах Дуная все это насаждается сознательно, свободным отправлением полноты власти, тогда как Луи-Наполеон застал этот режим во Франции как готовый, ему самому нежеланный, но не легко устранимый результат истории.

Я нахожу то «особенное», что побуждает нас сейчас называть революцией преимущественно именно *французскую* революцию, не в семье Бонапартов, а в близости к нам событий и территориально и во времени, а также в величине и могуществе страны, где эти события разыгрались. Они поэтому опаснее, но я не нахожу, исходя из этого, что поддерживать отношения с Бонапартом *хуже,* чем с другими порождениями революции, или с правительствами, которые добровольно отождествляют себя с нею, как Австрия, и активно содействуют распространению революционных начал, как Англия. Всем этим я вовсе не хочу прославлять отдельные личности и порядки во Франции; к первым я никакого пристрастия не питаю, а последние считаю несчастьем для страны; я хочу только объяснить, почему я не считаю ни греховным, ни бесчестным войти в более близкие отношения с *признанным* нами монархом крупной державы, если это требуется ходом политических событий. Я не говорю, что такие отношения были бы ценны *сами по себе,* я говорю только, что все прочие возможности хуже и что, желая их улучшить, мы должны действительно или для вида сблизиться с Францией. Только таким путем мы можем образумить Австрию и заставить ее поступиться своим чрезмерным шварценберговским честолюбием [75] настолько, чтобы она подумала об установлении взаимопонимания с нами, а не пыталась всячески ущемить нас; только таким путем мы можем пресечь дальнейшее развитие непосредственных отношений средних германских государств с Францией. Равно и Англия начнет тогда понимать, как важен для нее союз с Пруссией, когда будет иметь основания опасаться, что может упустить эту возможность в пользу Франции. Следовательно, даже с точки зрения вашего предпочтения Англии и Австрии, мы должны начать с Франции, чтобы образумить первые две державы.

Вы предсказываете в своем письме, многоуважаемый друг, что мы будем играть в прусско-франко-русском союзе ничтожную роль. Я никогда не считал этот союз *целью наших стремлений,* а говорил о нем как о факте, который, очевидно, рано или поздно произойдет из нынешней decousu [неурядицы] и которому мы не можем помешать, с которым мы должны, следовательно, считаться и последствия которого мы должны заранее себе выяснить. Я прибавил при этом, что, поскольку Франция добивается *нашей* дружбы, мы, пойдя ей в этом навстречу, могли бы, возможно, помешать такому союзу или изменить его последствия и во всяком случае избежать необходимости присоединения к нему в качестве *«третьего».* При всяком соединении с другими великими державами мы будем на положении относительно слабого до тех пор, пока мы не станем сильнее, чем сейчас. И Австрия и Англия, если бы мы

вступили с *ними* в союз, использовали бы свое превосходство не в *наших* интересах; мы испытали это, к ущербу для себя, на Венском конгрессе[76]. Австрия не сможет мириться с тем, чтобы мы приобрели значение в Германии; Англия не может мириться с развитием нашей морской торговли или флота и ревниво относится к нашей промышленности.

Вы проводите параллель между мной и Гаугвицем с его «оборонительной политикой»[77]. Но обстоятельства в то время были иные. Франция уже тогда обладала грозным превосходством сил, во главе ее стоял заведомо опасный завоеватель; на Англию, наоборот, можно было вполне рассчитывать. Я имею смелость *не* порицать Базельский мир[78]; союз с тогдашней Австрией, с ее Тугутом, Лербахом и Кобенцлем был так же невыносим, как и с нынешней; и если в 1815 г. мы достигли немногого, то я не могу это отнести за счет Базельского мира; мы не могли одержать верх над интересами Англии и Австрии, противостоявшими нашим интересам, так как наша физическая слабость по сравнению с прочими великими державами не внушала страха. Государства Рейнского союза испытали «Базель» еще не так, как мы, и тем не менее они отлично преуспели на Венском конгрессе. С нашей стороны было поразительной глупостью не воспользоваться случаем в 1805 г.[79] и не помочь сломить превосходство Франции;нам следовало напасть на Наполеона быстро, решительно и драться до последнего вздоха. Бездействие было еще непонятнее, чем выступление на стороне *Франции;* но, упустив этот случай, мы должны были и в 1806 г. a tout prix [любой ценой] соблюсти мир и выждать другого благоприятного случая.[80].

Я вовсе не за «оборонительную политику», я говорю только, что мы можем без каких-либо агрессивных намерений и обязательств пойти навстречу попыткам сближения со стороны Франции; это даст нам то преимущество, что оставляет открытой любую дверь, сохраняет возможность поворота в любом направлении, впредь до того момента, когда положение вещей станет более прочным и ясным; предлагаемую мною линию я рассматриваю не как конспирирование против других, а лишь как меру предосторожности, необходимую для нашей самообороны.

Вы говорите: «Франция не сделает для нас более, чем Австрия и средние [немецкие] государства»; я думаю, что никто для нас не сделает ничего, если это не будет и в *его собственных* интересах. Но то направление, в каком Австрия и средние государства сейчас преследуют свои интересы, совершенно несовместимо с задачами, которые являются жизненными вопросами для Пруссии, и никакая общность нашей политики немыслима, пока Австрия не усвоит по отношению к нам более скромную систему [поведения], на что пока мало надежды.

Вы согласны со мной в том, что мы «должны показать малым государствам превосходство Пруссии»; но каким средством для этого располагаем мы в рамках союзного акта? С одним голосом из 17[81] и имея противником Австрию — многого не добьешься.

Визит к нам Луи-Наполеона по указанным мною в другом месте причинам мог бы уже сам по себе придать нашему голосу большее значение в глазах мелких государств. Их уважение к нам и даже преданность будут прямо пропорциональны страху перед нами; доверять нам они никогда не будут, каждый взгляд на карту лишает их этого доверия; они понимают, что их собственные интересы и вожделения преграждают путь общему направлению прусской политики, что в этом таится для них опасность, против которой единственной гарантией в настоящее время является бескорыстие нашего всемилостивейшего государя. Посещение Берлина французом не увеличило бы недоверия к *Пруссии,* в общем и целом и без того уже существующего, а настроения короля, которые могли бы это недоверие рассеять, отнюдь не вызывают чувства благодарности к его величеству: его лишь используют и эксплоатируют. Предполагаемое «доверие» не даст нам в случае нужды ни одного солдата, тогда как страх, если мы сумеем его внушить, отдаст весь Союз в наше распоряжение. А внушить этот страх можно ощутительным показом наших добрых отношений с Францией.

Если что-либо подобное не будет предпринято, то, вероятно, не удастся долго поддерживать те приязненные отношения с Францией, которые вы сами признаете желательными. Ибо теперь оттуда заискивают перед нами, чувствуют потребность заключить с нами брачный союз, надеются на свидание; отказ с нашей стороны вызвал бы охлаждение, которое не осталось бы незамеченным другими дворами, так как «parvenu» [«выскочка»] почувствовал бы себя [задетым] в самом чувствительном пункте.

Предложите мне какую-нибудь иную политику, и я готов обсудить ее с вами честно и без предубеждения; но, находясь в самом сердце Европы, мы никак не можем пассивно проводить бесплановую политику, радуясь, когда нас оставляют в покое. Такая политика может стать для нас теперь такой же опасной, как в 1805 г.[82], и мы окажемся наковальней, если ничего не сделаем, чтобы стать молотом. Я не могу признать за вами права утешаться тем, что victa causa Gatoni placuit[83], если вы при этом рискуете обречь наше общее отечество на victa causa [поражение]...

Если мои взгляды не находят у вас снисхождения, не произносите, по крайней мере, окончательного приговора, вспомните, что в тяжелые времена мы много лет не только

трудились вместе на одной ниве, но и растили на ней одни и те же злаки; вспомните, что со мной можно столковаться и я всегда готов признать свою неправоту, убедившись в этом...

ф. Б.»

Герлах отвечал:

«Сан-Суси, 5 июня 1857 г.

... Прежде всего я охотно признаю практическую сторону ваших взглядов. Нессельроде справедливо говорил здесь, как и вы, что, пока Буоль у власти (вы правильно упоминаете наряду с ним Баха), сотрудничество с Австрией невозможно. Австрия, рассыпаясь в громогласных уверениях в дружбе, восстановила, говорил он, против них (т. е. русских) всю Европу[84], оторвала у них кусок Бессарабии[85] и сейчас еще причиняет им тяжкое огорчение. Подобным же образом Австрия обращается и с нами, а во время Восточной войны она вела себя до гнусности вероломно. Итак, когда вы говорите, что с Австрией вместе итти нельзя, то это *относительно* верно, и in casu concreto [в конкретном случае] мы едва ли разойдемся с вами на этот счет. Однако не забывайте, что одно прегрешение всегда рождает другое и что Австрия также может предъявить нам список прескверных грешков, как, например, противодействие в 1849 г. вступлению в Б аденский озерный округ, что, собственно, и привело к потере Нейенбурга[86], который должен был тогда завоевать принц Прусский; затем политика Радовица[87]; далее, высокомерное отношение в период интерима[88], когда даже Шварценберг проявлял добрую волю, и, наконец, множество менее значительных деталей: все сплошь повторение политики 1793—1805 гг. Но тот взгляд, что наши дурные отношения с Австрией должны быть лишь *относительно* дурными, практичен при всех обстоятельствах, поскольку он, во-первых, удерживает нас от мести, способной привести только к беде, и, во-вторых, сохраняет волю к примирению и сближению, а следовательно, устраняет все то, что могло бы помешать такому сближению. И то и другое у нас отсутствует. А почему? Потому, что наши государственные люди donnent dans le Bonapartisme [ударяются в бонапартизм].

Но о последнем скорее могут судить старики, чем молодые. Стариками же в данном случае являются король и аз грешный, молодыми — Фра Дьяволо [Мантейфель] и т. д., ибо Ф[ра] Д[ьяволо] в 1806—1814 гг. был в Рейнском союзе, а вас еще на свете не было. Мы же десять лет изучали бонапартизм на практике, нам хорошо его вдалбливали. Поэтому все наши расхождения сводятся — ибо в основе мы единодушны — лишь к различному пониманию сути этого явления. Вы говорите: Людовик XIV был тоже завоевателем; австрийское Viribus unitis[89] [общими силами] также революционно;

Бурбоны более повинны в революции, нежели Бонапарты, и т. д. Вы заявляете, что положение «quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convaleseere nequit» правильно только с точки зрения доктрины (я не согласен даже с этим, ибо из всего неправого может возникнуть правое и возникает с течением времени; из установленной вопреки божьей воле царской власти во Израиле вышел спаситель; столь признанное первородство нарушается Рувимом, Авессаломом и т. д.; на Соломона, прижитого с прелюбодейкой Вирсавией, нисходит благословение господне[90] и т. д. и т. п.). Но когда вы все это валите в одну кучу с бонапартизмом, то это свидетельствует о полном непонимании сущности бонапартизма. Бонапарты — и Н[аполеон] I и Н[аполеон] III — отличаются не только революционным неправомерным происхождением своей власти, как это свойственно, пожалуй, и Вильгельму III, и королю Оскару[91], и т. д.; они сами воплощение революции. Оба, и № 1 и № 3, ощущали в этом свою беду, но избавиться от этого оба были не в силах. Прочтите забытую сейчас книгу «Relations et Gorrespondances de Nap. Bonaparte avec Jean Fievee» [«Отношения и переписка Наполеона Бонапарта с Жаном Фьеве»], вы найдете там глубокие взгляды старого Наполеона на сущность государств; да и нынешний Бонапарт импонирует мне такими идеями, как, например, признание дворянских титулов, восстановление майората[92], понимание опасности централизации, борьба против биржевой спекуляции, стремление восстановить старые провинции и т. д. Но это не меняет существа его власти, так же как и существо Габсбургско-Лотарингского дома[93] не меняется от наличия в его составе либерального и даже революционного и[мператора] Иосифа II[94] или Фр[анца] Иосифа с его высокоаристократическим Шварценбергом и баррикадным героем Бахом[95]. Naturam expeilas furca[96] [гони природу в дверь...]. Никакой Бонапарт не может поэтому отречься от народного суверенитета, он и не делает такой попытки. Как показывает цитированная выше книга, Наполеон I отказался от своего стремления отречься от своего революционного происхождения, когда велел, например, расстрелять герцога Ангьенского[97]; так же будет действовать Наполеон III, и так он уже поступил, например, при нейенбургских переговорах[98], когда ему представлялась наилучшая, и при других обстоятельствах весьма желанная, возможность восстановить Швейцарию. Однако он убоялся лорда Пальмерстона и английской прессы, что честно признал Валевский, Россия убоялась его, Австрия — и его и Англии, и таким путем состоялась эта позорная сделка. Не странно ли, — мы имеем глаза и не видим, имеем уши и не слышим[99], — что тотчас же за нейенбургскими переговорами следует история с Бельгией, победа либералов над клерикалами, победоносный союз парламентского мень-

шинства с уличным восстанием против парламентского большинства [100]. Но тут, оказывается, не должно быть вмешательства со стороны легитимных держав — этого Бонапарт безусловно не потерпел бы; если же все это не угомонится, то бонапартизм вмешается — вряд ли, однако, в пользу клерикалов или конституции, скорее в пользу суверенного народа.

Бонапартизм — это не абсолютизм и даже не цезаризм [101]; первый может опираться на jus divinum [божественное право], как в России или на Востоке, он поэтому не затрагивает тех, кто не признает этого jus divinum, для кого он не существует, разве лишь вздумается такому автократу [102] объявить себя бичом божьим, как Атилла, Магомет или Тимур, но ведь это исключение. Цезаризм есть захват imperii [высшей власти] в правомерной республике и оправдывается необходимостью; но для всякого Бонапарта волей-неволей, хочет он' того или не хочет, революция, т. е. народный суверенитет, есть внутреннее, а при любом конфликте или нужде — и внешнее правовое основание. По этой причине меня не может удовлетворить ваше сравнение Бонапарта с Бурбонами, с абсолютистской Австрией, как не удовлетворяет меня и ссылка на индивидуальный характер Наполеона III, который мне во многих отношениях тоже импонирует. Не *он,* так его преемник будет завоевателем, хотя prince imperial [наследный принц империи] имеет шансов на трон не многим больше многих других и во всяком случае меньше, чем Генрих V [103]. В этом смысле Наполеон III наш такой же естественный враг, каким был Наполеон I, и я хочу лишь, чтобы вы это имели в виду, а вовсе не желаю, чтобы мы с ним ссорились, дразнили его, раздражали, отвергали его ухаживания; но наша честь и право обязывают нас к сдержанности по отношению к нему. Он должен знать, что мы не подготовляем его свержения, что мы относимся к нему без враждебности, искренно, но пусть знает также, что мы считаем происхождение его власти опасным (да и он так думает), и если он попробует использовать это, мы окажем ему противодействие. Это он, да и вся остальная Европа должны знать, не дожидаясь наших заявлений; в противном случае он накинул бы на нас аркан и потащил бы куда вздумается. Суть хорошей политики именно в том и заключается, чтобы, не доводя дела до столкновения, внушать доверие тому, с кем мы действительно единодушны. Но для этого надо откровенно говорить с людьми, а не ожесточать их, как делает Ф[ра] Д[ьяволо], молчанием и коварными выходками. На [совести] Пруссии тяжкий грех: она первая из трех держав Священного союза [104] признала Луи-Филиппа [105] и побудила других к тому же. Луи-Филипп правил бы еще, быть может, и теперь, если бы с ним были искренни, почаще

показывали ему зубы и тем самым напоминали о том, что он узурпатор.

Говорят об изолированном положении Пруссии; но как можно искать прочных союзов, si [если], как выразился император Франц в 1809 г. на Венгерском сейме, totus mundus stultiziat [весь мир сошел с ума]? Политика Англии с 1800 до 1813 г. была направлена к тому, чтобы отвлекать Бонапарта на континенте и не допустить тем самым десанта в Англии, к чему он всерьез стремился в 1805 г. Теперь Наполеон занят военными приготовлениями во всех своих портах, чтобы высадить в нужный момент десант, а легкомысленный Пальмерстон враждует со всеми континентальными державами. Австрия не без основания опасается за свою Италию и враждует с Пруссией и Россией — единственными державами, которые не противодействуют ей там; она сближается с Францией, еще с XIV века с вожделением взирающей на Италию, и доводит до крайности Сардинию, которая держит в своих руках входы и выходы Италии; она перемигивается с Пальмерстоном, который усердно раздувает и поддерживает восстание в Италии. Россия начинает либеральничать во внутренней политике [106] и ухаживает за Францией. С кем же следует соединяться? Возможно тут что-либо иное, кроме выжидания?

В Германии прусское влияние столь невелико потому, что король никак не решается показать немецким государям свое неудовольствие. Как бы странно они себя ни вели, их все же рады видеть и в Сан-Суси и на охоте. В 1806 г. Пруссия начала войну с Францией при очень неблагоприятных предзнаменованиях, тем не менее за ней последовали Саксония, Кургессен, Брауншвейг, Веймар, тогда как Австрия уже в 1805 г. оказалась без всякой свиты...

Л. ф. Г.»

Я не видел оснований дальнейшими возражениями продолжать эту по существу бесцельную переписку.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ. РЕГЕНТСТВО

I

В следующем, 1856 году король снова начал сближаться со мною. Мантейфель, а быть может, и некоторые другие лица опасались, как бы я не приобрел влияния в ущерб им. Ввиду этого Мантейфель предложил мне министерство финансов, с тем что он пока сохранит за собою председательствование и ведомство иностранных дел, а со временем поменяется со мною местами и, сохранив пост председателя, возьмет министерство финансов, а мне отдаст министерство иностранных дел. Предложение это исходило якобы от него лично. Хотя оно показалось мне странным, я не отклонил его прямо, а только напомнил Мантейфелю, что, когда я был назначен посланником при Союзном сейме, газеты отнесли ко мне шутку остроумного декана Вестминстерского аббатства [1] о лорде Джоне Росселе: такого сорта человек возьмется и фрегатом командовать и камень из почки удалить. Если бы я стал министром финансов, то дал бы лишний повод для таких суждений, хотя и мог бы подписывать бумаги не хуже Бодельшвинга, министерская деятельность которого в этом и заключалась. Все зависит от того, долго ли это промежуточное состояние продлится. Предложение это на самом деле исходило от короля, и когда его величество спросил Мантейфеля, чего он добился, тот отвечал: «Он попросту высмеял меня».

Когда король неоднократно предлагал, или, верней, приказывал мне принять портфель Мантейфеля, повторяя: «Сколько ни вертитесь, вам ничто не поможет, вы должны стать министром», — я чувствовал в этих словах главным образом желание привести Мантейфеля к покорности, к «послушанию». Впрочем, если бы даже его величество говорил это серьезно, я все же не мог бы отделаться от уверенности, что при нем мне не удалось бы сохранить приемлемое для меня положение в качестве министра [2].

В марте 1857 г. в Париже начались переговоры для разрешения спора, возникшего между Пруссией и Швейцарией [3].

Император, располагавший всегда самыми точными сведениями о том, что происходило в придворных и правительственных кругах Берлина, очевидно, знал, что король был со мною в более близких отношениях, нежели с прочими посланниками, и что он неоднократно имел меня в виду как кандидата на министерский пост. Во время переговоров со Швейцарией император занял внешне доброжелательную, особенно по сравнению с австрийской, позицию по отношению к Пруссии и считал себя, видимо, в праве рассчитывать на уступчивость Пруссии в других вопросах; он сказал мне однажды, что его совершенно напрасно обвиняют в том, будто он стремится к установлению границы на Рейне. Левый, немецкий берег Рейна, с его тремя миллионами жителей, был бы для Франции, по его словам, весьма ненадежной границей по отношению к Европе; в таком случае логика вещей толкала бы Францию к завоеванию также Люксембурга, Бельгии и Голландии или по крайней мере к установлению их прочной зависимости от нее. Таким образом, установление границы на Рейне рано или поздно дало бы Франции лишних 10 или 11 миллионов трудоспособного зажиточного населения. Подобное усиление французского могущества было бы признано Европой нетерпимым — «devrait engendrer la coalition» [«породило бы коалицию»], поддержать его было бы труднее, чем достигнуть, — «un depot que l'Europe coalisee un jour viendrait reprendre», [«приобретение, которое европейская коалиция в один прекрасный день постаралась бы отнять»]; притязания, напоминающие времена Наполеона I, являются по нынешним обстоятельствам чрезмерными; всякий сказал бы, что рука Франции действует против других [держав], и поэтому все прочие начали бы действовать против Франции. Быть может, сказал Наполеон, он еще и потребует при некоторых обстоятельствах «une petite rectification des frontieres» [«небольшого исправления границ»] для удовлетворения национального самолюбия, но может прожить и без этого. Если бы ему снова нужна была война, он искал бы ее скорей в направлении Италии. Во-первых, эта страна все же весьма сходна с Францией, а во-вторых, могущество Франции как континентальной державы и число ее побед на суше и так велики. Для французов гораздо заманчивее увеличение их морской мощи. Он не думает о том, чтобы превратить Средиземное море просто во французское озеро, «mais a peu pres» [«но вроде того»].Француз по природе своей не моряк, а хороший сухопутный солдат, именно поэтому успехи на море особенно льстят ему. Это был, по его словам, единственный мотив, побудивший его способствовать разгрому русского флота на Черном море[4], ибо, если бы Россия располагала когда-нибудь таким прекрасным боевым материалом, как греческие матросы, она могла

бы стать слишком опасным соперником на Средиземном море. Мне показалось, что, говоря это, император был не вполне искренен, что он скорей сожалел о разгроме русского флота и старался задним числом оправдать результат этой войны, в которую Англию под его влиянием, как выразился английский министр иностранных дел [5], снесло, подобно кораблю без руля — we are drifting into war [мы втянулись в войну].

Результатом будущей войны могло быть, по мнению императора, сближение между Францией и Италией и установление зависимости Италии от Франции, возможно, даже приобретение Францией кое-каких прибрежных пунктов. Для осуществления этой программы необходимо, чтобы Пруссия не противодействовала ей. Франция и Пруссия нуждаются друг в друге. Он считает ошибкой, что в 1805 г. Пруссия не была на стороне Наполеона, как прочие немецкие государства. Весьма желательно, сказал он, чтобы мы [Пруссия] упрочили свои владения приобретением Ганновера и приэльбских герцогств [6] и таким образом заложили основу к усилению Пруссии на море. Необходимо создать морские державы второго ранга, которые, соединив свои боевые силы с французскими, покончили бы с подавляющим превосходством Англии. Тут не было бы никакой опасности ни для этих государств, ни для всей остальной Европы, так как они объединились бы не ради односторонних эгоистических французских интересов, а для борьбы за свободу морей, против засилья Англии. Прежде всего ему желательно заручиться нейтралитетом Пруссии на случай войны с Австрией из-за Италии. Хорошо было бы, чтобы я позондировал короля по всем этим вопросам.

Я отвечал, что вдвойне обрадован тем, что император высказал эти соображения мне, а не кому-либо иному: во-первых, я вижу в этом доказательство его доверия ко мне, а во-вторых, из всех прусских дипломатов, пожалуй, я один решусь умолчать об этом у себя дома и даже перед своим государем. Я убедительно просил его отказаться от этих мыслей; король Фридрих-Вильгельм IV абсолютно не в состоянии согласиться на подобные предложения; если они будут ему переданы, то в отрицательном ответе не приходится сомневаться. В последнем случае возникла бы серьезная опасность нескромности, которая могла бы быть проявлена в личном общении монархов, или намека на то, перед какими соблазнами устоял король. Если бы другое немецкое правительство оказалось в состоянии сообщить в Париж о подобной нескромности, то этим были бы нарушены столь ценные для Пруссии хорошие отношения с Францией. «Mais ce ne sera it plus une indiscretion, ce serait une trahison!» [«но это была бы уж не нескромность, это была бы измена!»], — прервал меня император с некоторой

тревогой. «Vous vous embourbriezl» [«вы увязли бы в трясине!»], — добавил я.

Император нашел это выражение метким и образным и повторил его. Наш разговор кончился тем, что он поблагодарил меня за откровенность, а я обещал ему умолчать обо всем, что слышал от него.

II

В том же году я использовал каникулы в работе сейма, чтобы отправиться на охоту в Данию и Швецию. В Копенгагене я имел 6 августа аудиенцию у короля Фридриха VII. Он принял меня в полной парадной форме, с каской на голове, и занимал меня выспренним описанием разных происшествий, пережитых им в сражениях и штурмах, в которых он вовсе не участвовал. На мой осторожный вопрос, долго ли, по его мнению, просуществует конституция (вторая общая конституция от 2 октября 1855 г.), он отвечал, что поклялся отцу[7], лежавшему на смертном одре, соблюдать ее; он забыл при этом, что в год смерти его отца (1848 г.) этой конституции и в помине не было. Во время нашего разговора я заметил на стене соседней, залитой солнцем галлереи тень женской фигуры; оказалось, что король говорил не для меня, а для графини Даннер, об отношениях которой к его величеству я слышал странные анекдоты. Я имел тогда же случай беседовать со многими видными деятелями Шлезвиг-Гольштейна; никто из них и слышать не хотел о том, чтобы их страна могла стать одним из маленьких немецких государств; «им приятнее чувствовать себя хоть чуточку европейцами, в Копенгагене».

В Швеции во время охоты, 17 августа, я наскочил на выступ скалы и сильно ушиб берцовую кость; к сожалению, я не обратил на этот ушиб должного внимания, так как спешил в Курляндию охотиться на лося. Возвращаясь из Копенгагена, я приехал 26 августа в Берлин и 3 сентября принял участие в большом смотру, надев впервые белый мундир, только что введенный тогда для полка «тяжелой кавалерии». Из Берлина я поехал в Курляндию.

8 июля король из Мариенбада[8] отправился в Шенбрунн[9] на свидание с австрийским императором. На обратном пути он 13 июля прибыл с визитом к саксонскому королю в Пильниц[10], где в тот же день «почувствовал недомогание»; в бюллетенях придворных врачей это объяснялось поездкой, совершенной в сильную жару; отъезд из Пильница был отложен на несколько дней. Когда король 17 июля возвратился в Сан-Суси, окружающие, и главным образом Эдвин Мантейфель, заметили у него симптомы умственного переутомления, причем Мантейфель всячески старался не допускать или прерывать беседы короля с другими лицами. Поли-

тические впечатления, оставшиеся у короля от его пребывания у родных в Шенбрунне и Пильнице, подействовали на него удручающим образом, а споры крайне утомили его. Во время строевого учения, 27 июля, я ехал верхом подле короля; беседуя с ним, я заметил, что мысль ускользает от него, и оказался вынужденным вмешаться в то, как он управлял лошадью.

Состояние его ухудшилось после того, как, провожая 6 октября на вокзал Нижнесилезской железной дороги русского императора [11], отчаянного курильщика, он пробыл довольно долго в закрытом царском салон-вагоне в атмосфере табачного дыма, которого не переносил точно так же, как и запаха сургуча *.

Вскоре, как известно, с ним случился удар [12]. В высших военных кругах было распространено представление, что нечто подобное произошло с ним в ночь с 18 на 19 марта 1848 г.[13] Врачи совещались о том, пустить ли ему кровь или нет, опасаясь, что в первом случае это могло повлиять на мозг, а во втором — создать угрозу для жизни; спустя несколько дней решились, наконец, пустить кровь, и король пришел в сознание.

В эти дни, когда принц Прусский мог считаться с возможностью стать в ближайшем будущем королем, он совершил со мною 19 октября большую прогулку по вновь разбитому парку; он говорил о том, следовало ли ему, придя к власти, принять конституцию без изменений или же потребовать ее предварительного пересмотра [14]. Я сказал, что отклонение конституции могло бы быть оправдано только в том случае, если бы здесь было применимо ленное право [15], в силу которого наследник обязан исполнять распоряжения отца, но не брата. Я советовал, однако, принцу, по соображениям политического характера, не затрагивать вопроса о конституции и не нарушать внутреннего спокойствия государства, хотя бы условным ее отклонением. Не следует возбуждать опасений, что при каждой смене на престоле должна меняться система [правления]. Значение Пруссии в Германии и ее дееспособность на европейском поприще уменьшились бы в результате разлада между правительством и ландтагом; несомненно, вся либеральная Германия будет *против* этого шага. Рисуя возможные последствия, я в данном случае руководствовался теми же соображениями, какие мне пришлось высказать ему в 1866 г. по поводу индемнитета [16], а именно [17], что конституционные вопросы имеют второстепенное значение сравнительно с нуждами страны и с ее политическим положением в Германии

---

* Даже собственноручные письма короля запечатывались не в его присутствии, что имело свою весьма сомнительную сторону.

и что в данный момент нет настоятельной необходимости касаться этого вопроса; теперь важнее всего проблема силы (die Machtfrage) и наша внутренняя сплоченность.

Вернувшись в Сан-Суси, я заметил, что Эдвин Мантейфель был чрезвычайно встревожен и озабочен моей продолжительной беседой с принцем и возможностью моего дальнейшего вмешательства. Он спросил меня, почему я не возвращаюсь на свой пост, где могу быть весьма полезен при теперешних обстоятельствах. «Здесь я гораздо полезнее», — ответил я.

Высочайшим указом от 23 октября принц Прусский был сначала уполномочен королем замещать его в течение трех месяцев. Затем этот срок трижды удлинялся, каждый раз на три месяца, и истек бы без нового продления в октябре 1858 г. Летом 1858 г. была сделана серьезная попытка повлиять на королеву[18], чтобы она добилась от короля подписи на письме к его брату; в этом письме было бы сказано, что его здоровье в достаточной мере восстановлено, что он в состоянии сам управлять государством и благодарит принца, действовавшего в качестве его заместителя. Доводы были таковы: раз королевское письмо дало принцу полномочия заместителя, то же королевское письмо может и лишить его этих полномочий. Предполагалось, что страной будет управлять под контролем королевской подписи ее величество королева при содействии призванных к тому или предложивших свои услуги придворных лиц. Мне также было в словесной форме предложено содействовать осуществлению этого плана, но я отклонил всякое участие в нем, сказав, что такое правление будет носить гаремный характер. Меня вызвали из Франкфурта в Баден-Баден [19], и я сообщил принцу об этом плане, не называя его инициаторов. «В таком случае я подам в отставку!» — воскликнул принц. Я обратил его внимание на то, что уход его с военных постов не поможет делу, а только ухудшит положение. Настоящий план может быть осуществлен только в том случае, если государственное министерство будет втайне сочувствовать ему. Поэтому я посоветовал вызвать телеграммой министра Мантейфеля, который выжидал в своем имении осуществления известного ему плана, и не медля перерезать нить интриги соответствующими распоряжениями. Принц согласился. Вернувшись во Франкфурт, я получил от Мантейфеля следующее письмо:

«Честь имею уведомить ваше высокородие, что я намерен выехать в четверг 22 числа сего месяца в 7 часов утра отсюда во Франкфурт н/М[айне], с тем чтобы на следующее утро отправиться как можно ранее в Баден-Баден. Мне было бы приятно, если бы ваше высокородие соблаговолили сопровождать

меня. По всей вероятности, со мною поедут моя жена и сын, которые находятся еще в имении, но которых я ожидаю сюда завтра.

Я не желаю, чтобы во Франкфурте было известно о моем приезде, но позволяю себе предупредить о том ваше высокородие.

Мантейфель

Берлин, 20 июля 1858 г.»

Дальнейшее развитие вопроса о заместительстве выясняется из следующего письма Мантейфеля:

«Наша важная акция, касающаяся государства и его главы, тем временем наполовину закончена. Она доставила мне множество забот, неприятностей и незаслуженных обид. Не далее как вчера я получил от Герлаха очень раздраженное письмо. Он находит, что это почти равносильно тому, чтобы выкинуть суверенитет [20] в окно. При всем желании я не могу с ним согласиться; лично я представляю себе это дело так:

У нас есть король, хотя и дееспособный, но не способный править государством; ему самому ясно, и не может не быть ясно, что он уже более года не в состоянии править; врачи, точно так же как и он сам, не могут даже приблизительно указать время, когда он будет в состоянии самостоятельно править страною; неестественное продление действовавших до сих пор полномочий неуместно: государству необходимо иметь главу, который был бы ответственен только перед самим собою [21]; руководствуясь всеми этими соображениями, король повелит тому, кто призван наследовать престол после него, поступить так, как предписано в подобном случае конституцией страны. После этого вступят в действие постановления конституции, именно в данном пункте изложенные правильно и в монархическом духе, и последует, хотя после заявления короля и излишнее, однако не без основания предписываемое конституцией голосование ландтага, впрочем, строго ограниченное ответом на вопрос: необходимо ли учреждение регентства [22]? Иными словами: с достаточным ли основанием король отстранен от дел? Не представляю себе, каким образом на этот вопрос можно было бы ответить отрицательно. Тем не менее предстоят еще некоторые затруднения, преимущественно формального свойства. В частности в конституции не указан регламент предусмотренного ею соединенного заседания [23]. Придется его съимпровизировать; тем не менее я надеюсь, что дней в пять удастся довести дело до резолюции; тогда принцу останется принести присягу и закрыть собрание. Само собою разумеется, что другие вопросы, в частности касающиеся утверждения кредитов, на этом заседании не будут

подлежать рассмотрению. Если дела вам позволят, мне было бы очень желательно, чтобы вы были здесь, и по возможности до открытия сессии ландтага. До меня дошли сведения *о странных предложениях крайней правой,* которым следовало бы препятствовать не только в общих интересах, но даже в интересах самих этих господ.

Отставка Вестфалена именно в данный момент[24] была для меня крайне нежелательной. Я уже воспротивился ей однажды, когда он сам ее добивался. Теперь принц намерен был дать ему отставку по [собственному] совершенно свободному решению, без всякой его просьбы и прислал мне соответствующее частное письмо для Вестфалена с приказанием немедленно представить надлежащий документ. Однако я воздержался от этого, а также от отправки собственноручного письма и представил ответные соображения, касающиеся несвоевременности момента, причем возражения мои, не без значительных усилий с моей стороны, достигли цели. Я был уполномочен приостановить по крайней мере выполнение приказа и оставить письмо у себя. Но тут Вестфален обратился 8-го сего месяца к принцу и ко мне с весьма странным посланием, в котором он, беря назад прежние заявления, обусловливает свою контрассигновку[25] уже готовых к обнародованию указов требованием, чтобы и последующие указы принца представлялись особо на одобрение короля; при ухудшившемся за последние дни психическом состоянии короля такое требование граничит фактически с бессмыслицей. Принц потерял терпение и стал укорять меня за то, что я не отослал его письма тотчас же, и настаивать далее было уже безнадежно. Выбор Флотвеля[26] сделан был принцем самостоятельно, без всякого моего участия. Он имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны.

Берлин, 12 октября 1858 г.»

Я приехал к открытию ландтага, выступил на заседании фракции против тех лиц, от которых исходила попытка воспрепятствовать утверждению (Votirung) регентства конституционным порядком, и энергично доказывал необходимость утвердить его, что и последовало.

После того как 26 октября принц Прусский принял на себя регентство, Мантейфель спросил меня, как ему поступить, чтобы избежать отставки помимо собственного желания, и дал мне по моему настоянию прочесть свою переписку последнего времени с регентом. Мой ответ, что принц, очевидно, намерен уволить его в отставку, показался ему неискренним, быть может, даже продиктованным честолюбием. 6 ноября он на самом деле получил отставку. Его место занял князь Гогенцоллерн с министерством «новой эры»[27].

III

В январе 1859 г. на балу у Мустье или у Карольи граф Штильфрид бросил мне шутливый намек, из которого я мог заключить, что мне предстоит уже неоднократно намечавшийся перевод из Франкфурта в Петербург; к этому он присовокупил благожелательное замечание: «Per aspera ad astra» [«Через тернии к звездам»]. Граф, вероятно, получил эти сведения благодаря своим близким отношениям ко всем католикам, составлявшим личный штат принцессы, начиная от обер-камергера [28] и кончая камердинером. Мои отношения с иезуитами в то время ничем еще не были омрачены[29], и Штильфрид еще относился ко мне благожелательно. Я понял его прозрачный намек, отправился на следующий день (26 января) к регенту, сказал ему откровенно, что слышал, будто меня переводят в Петербург, и позволил себе выразить по этому поводу сожаление, а также надежду, что назначение может быть еще отменено. «Кто сказал вам это?» — спросил в свою очередь принц в ответ на мой вопрос. Я заметил, что с моей стороны было бы нескромностью назвать то лицо, от которого я это слышал; могу только сказать, что это известие получено мною из лагеря иезуитов, с которым я издавна поддерживал отношения. Я сожалею о предполагаемом моем перемещении, потому что во Франкфурте, этой лисьей норе Союзного сейма, я изучил все ходы и выходы вплоть до малейших лазеек и полагаю, что мог бы быть там полезнее любого из моих преемников, которому придется заново осваиваться с очень сложным положением, обусловленным взаимоотношениями со множеством дворов и министров; передать же ему мой восьмилетний опыт, приобретенный при весьма быстро меняющихся обстоятельствах, я не в силах. Каждый немецкий государь, каждый немецкий министр знаком мне лично точно так же, как придворные круги в княжеских резиденциях союзных государств, и я пользуюсь в сейме и при немецких дворах всем тем влиянием, какое только возможно для представителя Пруссии. В случае отозвания меня из Франкфурта этот капитал, накопленный и завоеванный прусской дипломатией, будет бесцельно утрачен. Назначение на мое место Узедома подорвет доверие [к нам] немецких дворов, так как он отличается смутным либерализмом и скорее — тароватый на анекдоты придворный, нежели государственный деятель. Что же касается госпожи фон-Узедом, то своей эксцентричностью она произведет во Франкфурте нежелательное впечатление и поставит нас в неловкое положение.

Регент в ответ: «Вот потому-то высокая одаренность Узедома и не может быть применена ни в каком ином месте, так как его жена при всяком дворе поставила бы нас в неловкое

положение». Это действительно имело место не только при дворах, но даже и в снисходительном Франкфурте; переоценивая свои дипломатические прерогативы, она причиняла неприятности частным лицам, причем дело доходило до публичного скандала. Но госпожа Узедом была англичанкой по рождению и в силу низкого уровня немецкого самосознания пользовалась при дворе таким снисхождением, на какое не могла рассчитывать ни одна немецкая дама.

Мои возражения регенту гласили примерно так: «Значит — ошибка, что я не женился также на бестактной особе, иначе я имел бы одинаковые с графом Узедомом права на тот пост, с которым освоился».

Регент: «Я не понимаю, почему это вас так огорчает; место посланника в Петербурге всегда считалось высшим постом для прусского дипломата, и вы должны видеть знак высокого доверия в том, что я посылаю вас туда».

В ответ я: «Коль скоро это является выражением доверия вашего королевского высочества, я должен, естественно, молчать, но при той свободе выражать мои взгляды, которую ваше королевское высочество всегда предоставляли мне, я не могу не сказать, как я озабочен нашим внутренним положением и его влиянием на германский вопрос. Узедом — brouillon [путаник], а не человек дела. Инструкции он будет получать из Берлина; если граф Шлиффен останется децернентом[30] по германским делам, инструкции будут хороши, но в их добросовестное выполнение Узедомом я не верю».

Тем не менее Узедом был назначен во Франкфурт. Его последующее поведение в Турине и Флоренции[31] доказало, что мой отзыв о нем был справедлив. Он любил позировать там то как стратег, то как сорви-голова и завзятый заговорщик, имел сношения с Гарибальди и Мадзини и непрочь был при случае пользоваться этим. Из пристрастия к подпольным связям он взял себе в личные секретари человека, выдававшего себя за приверженца Мадзини, но оказавшегося на деле австрийским шпиком. Узедом давал ему читать документы и доверил шифр, сам же отсутствовал по целым неделям и даже месяцам и при этом оставлял бланки, которые секретари миссии заполняли своими донесениями. Таким образом, в министерство иностранных дел поступали за его подписью донесения о переговорах, которые он якобы вел с итальянскими министрами, между тем как в указанное время он этих господ и в глаза не видал. Но он был видным франк-масоном[32]. Вот почему, когда я потребовал в феврале 1869 г. отозвания этого непригодного и сомнительной репутации чиновника, то натолкнулся на решительное сопротивление короля, который с почти религиозной верностью выполнял свои обязанности по отношению к братьям[33]. Этого сопротивления не сло-

мило даже мое на многие дни затянувшееся воздержание от служебной деятельности, что и привело меня к намерению просить об отставке. Перечитывая теперь, по прошествии 20 с лишним лет, документы, относящиеся к этому эпизоду, я охвачен раскаянием, что, будучи вынужден выбирать тогда между моим пониманием государственного интереса и личной привязанностью к королю, я предпочел и должен был предпочесть первое. Мне становится совестно, когда я вспоминаю, как снисходительно король переносил мой служебный педантизм. Я должен был бы пожертвовать ради него и во внимание к его масонским убеждениям нашим представительством во Флоренции. 22 февраля 1869 г. его величество писал мне:

«Податель сего письма (советник кабинета Верман) сделал мне сообщение о поручении, касающемся вас и возложенном вами на него. Как могли вы только подумать, что я мог бы пойти на то, что вы замыслили! Ведь мое величайшее счастье состоит в том*, чтобы жить вместе с вами и быть в крепком согласии. Как можете вы так поддаваться хандре, чтобы единственный случай моего несогласия с вами заставил вас сделать самый крайний шаг! Еще из Варцина вы писали мне в связи с разногласиями по поводу покрытия дефицита, что хотя и не разделяете моего мнения, но, принимая свой пост, поставили себе за правило подчиняться моим решениям, высказав предварительно соображения, какие диктует ваш долг. Что же на этот раз в корне изменило намерения, столь благородно высказанные вами всего три месяца тому назад? Между нами, повторяю, существует только одно разногласие—по вопросу о Франкфурте]-н[а]-М[айне][34]. Узедомиаду[35] я, согласно вашему желанию, еще вчера обстоятельно разобрал в письменной форме; это наше домашнее дело уладится; при замещении должностей мы были с вами одного мнения, но *некоторые индивиды* (Individuen) не соглашаются. Где же основание для extreme [крайностей]?

Ваше имя красуется в истории Пруссии ярче, нежели имя кого бы то ни было из прусских государственных деятелей. И вас я должен лишиться? Никогда! Покой и **молитва*** все сгладят.

Ваш самый верный ***друг**** *В.*»

На следующий день я получил помещенное ниже письмо Роона:

«Берлин, 23 февраля 1869 г.

После того как я вас оставил вчера вечером, мой уважаемый друг, я непрестанно думаю о вас и о вашем решении. Оно не дает мне покоя. Я снова взываю к вам: составьте прошение так, чтобы не исключалась возможность уступок. Пожалуй,

*В оригинале дважды подчеркнуто. — *Ред.*

** В оригинале трижды подчеркнуто. —*Ред.*

вы еще не отослали письма и можете кое-что изменить в нем. Примите во внимание, что полученная вчера почти нежная записка претендует на искренность, пусть даже без достаточного основания. Она написана в таком духе и, очевидно, с намерением, чтобы вы приняли ее не за фальшивую, а за настоящую, полновесную монету; учтите также, что примешанная к ней лигатура — не что иное, как ложный стыд, испытывая который автор записки не *хочет,* а при своем положении, пожалуй, и *не может* сознаться: «Я поступил очень плохо и постараюсь исправиться».

Недопустимо, чтобы вы сожгли свои корабли. Вы *не должны* этого делать. Вы этим погубили бы себя во мнении страны, и Европа стала бы смеяться. Побуждения, руководившие вами, не будут поняты; все сказали бы: он отчаялся в возможности довести дело до конца и поэтому ушел. Я не хочу больше повторяться, разве только в выражении моей неизменной и верной привязанности.

Ваш *фон-Роон».*

После того как я взял назад прошение об отставке, я получил следующее письмо:

«Берлин, 26 февраля 1869 г.

Когда, ошеломленный сообщением Вермана, я писал вам 22-го числа коротенькую, но тем более настойчивую записку, чтобы отклонить вас от намерения, чреватого пагубными последствиями, я надеялся, что, прежде чем притти к окончательному решению, вы примете во внимание мои доводы, — и я не ошибся. Спасибо, сердечное вам спасибо за то, что вы не обманули моих ожиданий!

Что же касается главных причин, заставивших вас подумать один момент об отставке, то я вполне признаю их основательность, но припомните, как настойчиво просил я вас при вашем возвращении к делам в декабре прошлого года облегчить себе, по мере возможности, свой труд, чтобы вам — это можно было предвидеть — не пришлось снова изнемогать под тяжестью множества дел. К сожалению, вы сочли, кажется, такое облегчение недостижимым, не сбросили с себя даже бремя Лауенбурга[36], и мои тогдашние опасения оправдались в такой степени, что в конце концов вы дошли до мрачных мыслей и намерений. Если, судя по вашим словам, возникли новые затруднения при разрешении ряда деловых вопросов, то поверьте, я сожалею об этом более чем кто-либо другой. Одно из таких затруднений связано с назначением Зульцера. Я со своей стороны давно уже выражал готовность содействовать его перемещению куда-нибудь, и не моя вина, если оно не состоялось после того, как и сам Эйленбург убедился ныне в желательности этого, Если дело Узедома также доставило вам лишнюю работу,

то и это не может быть приписано мне, так как представленная им в свое оправдание записка, — которая, конечно, не могла быть продиктована мной, — требовала разъяснений с вашей стороны. Если я не изъявил тотчас своего согласия на то, что вы мне предлагали, то, вероятно, вы были к этому подготовлены, видя, как я был изумлен, когда вы сообщили мне о шагах, *уже предпринятых* вами против Узедома. Вы уведомили меня об этом в половине января, т. е. всего через три месяца после того, как история с Ла Мармора[37] *начала* несколько утихать, так что я не мог еще изменить высказанного летом в письме к вам взгляда на пребывание Узедома в Турине. Сделанные мне 13 * февраля сообщения о ведении дел Узедомом, требовавшие если не предания его дисциплинарному суду, то по крайней мере немедленного увольнения от должности, были оставлены мной несколько дней без движения, потому что до меня дошло сообщение, будто Кейдель, с вашего ведома, предложил Узедому подать прошение об отставке. И все же я спрашивал вас уже 21 февраля, следовательно еще до получения ответа из Турина, как вы мыслите себе замещение этого дипломатического поста, показав тем самым, что согласен считать его вакантным. Несмотря на это, вы сделали 22-го сего месяца решительный шаг против Вермана, поводом к чему должна была послужить узедомиада. Другой повод вы хотите видеть в том, что, заслушав доклад государственного министерства касательно Ф[ранкфурта]-н[а]-М[айне], я не потребовал еще раз вашего доклада, прежде нежели установить свое мнение. Так как ваш взгляд на дело и суждения министров были выражены как нельзя более ясно в представленном законопроекте и пояснительной записке к нему и так как от меня требовали немедленной подписи для внесения законопроекта в палату, то повторный доклад казался мне не необходимым для установления моих взглядов и намерений. Если бы мне доложили об этом *прежде***, нежели в министерстве был выработан способ разрешения вопроса о Ф[ранкфурте]-н[а]-М[айне], совершенно отличный от моих прежних указаний, то путем обмена мыслей удалось бы найти выход при всем различии взглядов и избегнуть, таким образом, разногласий, отсутствия необходимого сотрудничества, переделок, — словом, всего того, на что вы совершенно справедливо сетуете. Я целиком подписываюсь под всем, что вы в связи с этим говорите о трудности сохранить бесперебойный ход конституционной государственной машины и т. д., не могу я только согласиться с высказанным вами мнением, будто вам и другим советникам короля недостает *моего*

---

* Следует читать 14.—*Ред.*

** «Для этого нужно [было бы] свободное *время». (Замечание Бисмарка на полях.)*

столь необходимого доверия*. Вы сами говорите, что это—первое разногласие, возникшее между нами с 1862 г. Неужели оно доказывает, что я перестал доверять моим правительственным органам? Никто более меня не ценит того счастья, что за все шесть лет пережитого нами тревожного времени между нами ни разу не возникало разногласий; но мы этим избалованы, поэтому настоящий moment [момент] вызвал у нас большее, чем следовало, ebranlement [потрясение]. Может ли монарх оказывать своему премьеру более доверия, нежели оказываю я тем, что обращаюсь к вам в столь различных случаях и, наконец, сейчас с частными письмами по самым злободневным вопросам с целью убедить вас, что я ничего не предпринимаю за вашей спиной. Когда я послал вам для прочтения письмо ** генерала Мантейфеля относительно Мемельского дела***, заключавшее в себе, по-моему, кое-что новое (:Тотлебен), о чем я желал знать *ваше* мнение; когда я сообщил вам письмо генерала фон-Бойена, а также газетные вырезки с замечанием, что эти документы *дословно повторяют* то, о чем я *неизменно* говорю *повсюду и официально* уже много лет, — то я имел все основания считать, что большего доверия оказать уже невозможно. Вы и сами, конечно, не потребуете, чтобы я оставался глух к тем, кто доверчиво обращается ко мне в некоторых важных случаях.

Останавливаясь здесь лишь на тех пунктах вашего письма, в которых вы перечисляете причины, вызвавшие ваше теперешнее настроение, и обходя молчанием другие, я хочу вернуться напоследок к вашему собственному признанию, что ваше теперешнее настроение надо считать болезненным; вы чувствуете себя усталым, переутомленным****, вы жаждете покоя. Я понимаю это как нельзя лучше, ибо то же испытываю и я, но могу ли я*****, имею ли я право вследствие этого уйти с моего Поста******? Точно так же как я, и вы не в праве сделать это! Вы не принадлежите самому себе и только себе, ваша жизнь слишком тесно связана с историей Пруссии, Германии, Европы, чтобы вы имели право удалиться с арены, которая созидалась при вашем участии. Но чтобы иметь возможность посвятить себя всецело делу, вами созданному, вы должны******* облег-

* «Узедом». *(Замечание Бисмарка на полях.)*

** «Приказ!» *(Замечание Бисмарка на полях.)*

*** Дело касалось Мемель-Тильзитской железной дороги. Письмо генерала фон-Мантейфеля побудило короля отказаться от решения, принятого по докладу министров соответствующих ведомств.

**** «Чем?» *(Замечание Бисмарка на полях.)*

***** В оригинале дважды подчеркнуто. — *Ред.*

****** «Нет, но [надо] относиться с доверием к тому, чего *самому* нельзя видеть при 30 млн., и *верить* тому, в чем по должности заверяет министр». *(Замечание Бисмарка на полях.)*

******* В оригинале дважды подчеркнуто. — *Ред.*

чить себе труд, и я настоятельно прошу вас представить мне по этому поводу ваши соображения. Вам следовало бы, например, освободиться от заседаний государственного министерства*, когда на них обсуждаются рядовые дела. У вас такой верный помощник в лице Дельбрюка, что он мог бы избавить вас от многого**. Ограничьте ваши доклады у меня самым существенным и т. д.*** Но главное — никогда не сомневайтесь в моем неизменном доверии и моей неисчерпаемой благодарности.

Ваш Вильгельм».

Узедом был отчислен в резерв. Его величество настолько отступил в данном случае от традиций управления личным королевским имуществом, что приказал регулярно выплачивать ему из собственной казны разницу между его окладом по должности и содержанием, полагающимся во время пребывания в резерве.

IV

Возвращаюсь к разговору с регентом. Высказав ему свои соображения относительно должности посланника при Союзном сейме, я перешел к общему положению дел и сказал:

«У вашего королевского высочества во всем министерстве нет ни одного способного государственного деятеля, все только посредственности, ограниченные люди».

Регент: «И Бонина вы тоже считаете ограниченным?»

Я: «Этого я не скажу, но он не в состоянии держать в порядке ящик своего письменного стола, не то что министерство. Шлейниц же придворный, а не государственный муж».

Регент обиженно: «А я, по-вашему, что же — ночной колпак? Своим министром иностранных дел и военным министром буду я сам; я в этом кое-что понимаю».

Я принес извинения и продолжал: «В наше время даже способнейший ландрат не может управлять своим уездом без толкового секретаря и всегда будет стремиться найти такого; прусская монархия в гораздо большей степени нуждается в чем-то подобном. Не имея дельных министров, вы не будете удовлетворены достигнутыми результатами. Внутренние дела затрагивают меня меньше, но когда я подумаю о Шверине, то и тут мной овладевает беспокойство. Он храбр и честен, и будь он солдатом, пал бы на поле брани, как его предок под Прагой[38]; но ему недостает рассудительности; вглядитесь, ваше королевское высочество, в его профиль: выступы надбровных дуг свидетельствуют о быстроте суждений; французы таких людей называют primesautier [непосредственными]; но у него отсутствует

* «Что я и делаю». *(Замечание Бисмарка на полях.)*
** «Что он и делает». *(Замечание Бисмарка на полях.)*
*** «Еще более?». *(Замечание Бисмарка на полях.)*

лоб, где, по словам френологов[39], заключена рассудительность. Шверин — государственный деятель без глазомера, он скорее способен разрушать, чем созидать».

Относительно ограниченности прочих лиц принц со мной согласился. Но главной его целью было представить мое назначение в Петербург в виде своего рода отличия; мне показалось даже, что он как будто почувствовал облегчение, когда неприятный и для него вопрос о моем перемещении был исчерпан в разговоре, начатом по моей инициативе. Регент отпустил меня весьма милостиво, а я оставил его, охваченный чувством неизменной преданности к нему и еще большего презрения к тем карьеристам, которые в ту пору при поддержке принцессы оказывали на него большое влияние.

Ее высочество на первых порах могла считать себя основательницей и покровительницей министерства «новой эры». Впрочем, и во время существования этого кабинета ее влияние не долго оставалось решающим (gouvernemental) и вскоре приобрело характер протежирования тем министрам, которые были неудобны высшему государственному руководству. Пожалуй, больше всего ее покровительством пользовался граф Шверин, находившийся под влиянием Винтера— впоследствии Данцигского обер-бюргермейстера[40] и других чиновников из либерального лагеря. Будучи министром, он довел свою независимость от регента до такой степени, что на письменные приказания его высочества возражал письменно, что они не контрассигнованы. Когда министерство вынудило однажды регента подписать какую-то бумагу против его желания, он сделал совершенно неразборчивую подпись и вдобавок раздавил на ней перо. Граф Шверин приказал вторично переписать документ начисто и настоял на том, чтобы подпись была сделана четко. Тогда регент подписался, как обычно, но смял бумагу в комок и кинул ее в угол; бумагу подняли, разгладили и приобщили к делам. На моем прошении об отставке, поданном в 1877 г., также видны были следы того, что его величество смял его в комок, прежде нежели ответить на него.

V

29 января 1859 г. я был назначен посланником в Петербург, но выехал из Франкфурта только 6 марта и до 23 марта пробыл в Берлине. За это время я имел случай узнать на практике, как расходуется австрийский секретный фонд, о чем ранее я знал только из упоминаний в прессе. Банкир Левинштейн, который, много лет исполняя секретные поручения моих начальников, был в сношениях с руководителями иностранной политики в Париже и в Вене и лично с императором Наполеоном, прислал мне утром в самый день моего отъезда следующее письмо;

«Настоящим позволяю себе почтительнейше пожелать вашему превосходительству счастливого пути и успешного выполнения возложенной на вас миссии, в надежде, что мы будем скоро иметь удовольствие приветствовать вас здесь, так как в своем отечестве вы, несомненно, способны проявить себя более полезным образом, нежели вдали от него.

В наше время нужны люди, нужна энергия; в этом здесь убедятся, быть может, слишком поздно. Но события в наше время идут стремительно, и мир, на мой взгляд, едва ли долго продлится, как бы ни старались что-то склеить на несколько месяцев.

Я совершил сегодня маленькую операцию, которая принесет, надеюсь, хорошие плоды; позднее я буду иметь честь сообщить вам о них.

В Вене очень встревожены вашим назначением в Петербург, так как считают вас своим принципиальным противником.

Было бы очень хорошо наладить там отношения, ибо рано или поздно мы найдем общий язык с этими державами.

Если бы ваше превосходительство, хотя бы в *нескольких* строках, и притом по вашему усмотрению, сообщили мне, что вы *лично* не предубеждены против Австрии, то это принесло бы неизмеримую пользу. Господин фон-Мантейфель всегда говорит, что я отличаюсь упорством при осуществлении той или иной идеи и не успокаиваюсь, пока не достигаю цели,—но при этом добавляет, что я не жаден ни на почести, ни на деньги. Я горжусь тем, что до сих пор, слава богу, никто не понес убытка от сношений со мной.

На время вашего отсутствия я с радостью предлагаю вам свои услуги для устройства ваших дел здесь или в любом другом месте. Вряд ли кто-нибудь стал бы служить вам более честно и бескорыстно.

С совершенным почтением честь имею быть вашего превосходительства покорнейшим слугой

Левинштейн.

Б[ерлин], III-50».

Я оставил письмо без ответа, но сам господин Левинштейн посетил меня в тот же день, перед самым моим отъездом на вокзал, в Hotel Royal, где я остановился. Предъявив мне в качестве рекомендации собственноручное письмо графа Буоля, он предложил мне принять участие в одном денежном предприятии, которое «наверняка даст мне 20 тысяч талеров ежегодно». На мое возражение, что у меня нет свободных капиталов, он ответил, что вместо денежного вклада от меня требуется иное: защищать при русском дворе не только прусские, но и австрийские интересы, ибо дело, о котором идет

речь, может пойти успешно лишь в том случае, если отношения между Россией и Австрией будут благожелательные. Мне очень хотелось иметь в руках документ, удостоверяющий сделанное мне предложение, чтобы наглядно доказать регенту, как основательно было мое недоверие к политике графа Буоля. Поэтому я заявил Левинштейну, что в столь щекотливом деле мне необходимо иметь более верную гарантию, нежели его словесное заявление, подкрепленное несколькими строками, написанными рукой графа Буоля, которые он оставил при себе. Он уклонился от того, чтобы дать мне письменное обязательство, но увеличил предлагаемую сумму до 30 тысяч талеров в год. Убедившись, что мне не удастся получить от него никакого письменного доказательства, я предложил Левинштейну оставить меня и сам направился к выходу. Он последовал за мной на лестницу, развязно продолжая разговор на тему: «Одумайтесь, ведь неприятно иметь врагом «императорское правительство». Лишь после того как я обратил его внимание на крутизну лестницы и на мое физическое превосходство, он поспешно спустился с лестницы и уехал.

Этого посредника я знал лично потому, что он много лет был доверенным лицом в министерстве иностранных дел и во времена Мантейфеля являлся ко мне с поручениями оттуда. Свои связи в низших инстанциях он поддерживал чрезмерно щедрыми чаевыми.

Когда я стал министром и пресек отношения Левинштейна с ведомством иностранных дел, то попытки возобновить эти отношения делались неоднократно, в частности со стороны нашего консула в Париже Бамберга, который много раз заходил ко мне и упрекал меня за то, что я столь дурно поступаю с таким «превосходным человеком», как Левинштейн, занимающим такое положение при европейских дворах.

Вообще я счел нужным отменить немало обычаев, укоренившихся в министерстве иностранных дел. Старик-швейцар, горький пьяница, служивший много лет при здании министерства, не мог быть как должностное лицо попросту уволен. Я заставил его подать прошение об отставке, пригрозив притянуть в суд за то, что он «показывает меня за деньги», пропуская ко мне всякого, кто дает ему на чай. Когда он стал возражать, я заставил его замолчать, сказав: «А когда я был посланником, разве вы не показывали мне господина фон-Мантейфеля во всякое время за один талер, а когда приказ никого не принимать был особенно строг, то за два талера?» О моих собственных слугах мне не раз докладывали, какие несуразно крупные чаевые раздавал им Левинштейн. Активными агентами и взяточниками были некоторые канцелярские служители, оставшиеся от Мантейфеля и Шлейница; среди них был один чиновник, занимавший сравнительно незначительный пост, будучи в то

же время видным масоном. Граф Бернсторф, бывший министром весьма короткое время, не сумел искоренить продажность чиновников в ведомстве иностранных дел; вероятно, к тому же он был слишком переобременен делами и своим графским достоинством, чтобы интересоваться подобными мелочами. О моем свидании с Левинштейном, моем мнении о нем и об его отношениях к министерству иностранных дел я во всех подробностях доложил регенту, как только представилась возможность сделать это устно, что произошло лишь несколько месяцев спустя. От письменного донесения я не ждал успеха, так как покровительство Левинштейну со стороны господина фон-Шлейница восходило не только к регенту, но и до кругов, близких к принцессе*, которая в своем освещении деловых вопросов обнаруживала не столько призвание к проверке объективных доказательств, сколько склонность брать на себя защиту моих противников.

---

* Сравни с тем, что обнаружилось на процессе гофрата Манхе, октябрь 1891 г.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПЕТЕРБУРГ

I

В истории европейских государств едва ли известен другой пример, когда неограниченный монарх великой державы оказал своему соседу такую услугу, как император Николай — Австрийской монархии. При том опасном положении, в каком она находилась в 1849 г., он пришел ей на помощь 150-тысячным войском, усмирил Венгрию, восстановил там королевскую власть и отозвал свои войска, не потребовав за это никаких выгод, никаких возмещений, не упомянув о спорных между обоими государствами восточном и польском вопросах. Не менее бескорыстную, дружескую помощь, чем та, какую император Николай оказал Австро-Венгрии в ее внутренней политике, он в дни Ольмюца[1] продолжал оказывать ей за счет Пруссии и в ее внешней политике. Если даже им руководила не дружба, а соображения, [диктовавшиеся] императорской русской политикой, все же это было более того, что обычно делает один монарх для другого монарха; лишь такой самовластный, преувеличенно рыцарственный самодержец был способен на это. Николай смотрел в то время на императора Франца-Иосифа, как на своего преемника и наследника в руководстве консервативной триадой[2]. Он считал последнюю солидарной перед лицом революции и, озабоченный поддержанием ее гегемонии, уповал больше на Франца-Иосифа, чем на своего собственного наследника[3]. Еще более низкого мнения был он о способности нашего короля Фридриха-Вильгельма взять на себя роль вождя на поприще практической политики и считал, что он, так же как и его собственный сын и наследник, не может руководить монархической триадой. В Венгрии и Ольмюце император Николай действовал в убеждении, что волею божиею он призван возглавить монархическое сопротивление надвигающейся с Запада революции. По природе он был идеалистом, хотя изолированность русского самодержавия и придала ему черствость, и надо лишь удивляться, как при всех испытанных им впечат-

лениях, начиная с декабристов, он сумел пронести через всю жизнь свойственный ему идеалистический порыв.

Как он понимал свои отношения с собственными подданными, явствует из одного факта, о котором рассказал мне сам Фридрих-Вильгельм IV. Император Николай попросил его прислать двух унтер-офицеров прусской гвардии для предписанного врачами массажа спины, во время которого пациенту надлежало лежать на животе. При этом он сказал: «С моими русскими я всегда справлюсь, лишь бы я мог смотреть им в лицо, но со спины, где глаз нет, я предпочел бы все же не подпускать их». Унтер-офицеры были предоставлены без огласки этого факта, использованы по назначению и щедро вознаграждены. Это показывает, что, несмотря на религиозную преданность русского народа своему царю, император Николай не был уверен в своей безопасности с глазу на глаз даже с простолюдином из числа своих подданных; проявлением большой силы характера было то, что он до конца своих дней не дал этим переживаниям сломить себя. Будь у нас в ту пору на престоле лицо, столь же симпатичное ему, как молодой император Франц-Иосиф, он, возможно, поддержал бы Пруссию в тогдашнем споре о гегемонии в Германии, как поддерживал Австрию. Необходимым условием для этого было бы, чтобы Фридрих-Вильгельм IV закрепил и использовал победу своих войск в марте 1848 г.[4]; а ведь это было вполне возможно без дальнейших репрессий, подобных тем, какие пришлось применить Австрии в Праге и Вене руками Виндишгреца, а в Венгрии — с помощью русских.

В мое время в петербургском обществе можно было наблюдать три поколения. Самое знатное из них — европейски и классически образованные grands seigneurs [вельможи] времен Александра I — вымирало. К нему можно было еще отнести Меншикова, Воронцова, Блудова, Нессельроде, а по уму и образованию также и Горчакова, несколько уступавшего названным лицам вследствие своего непомерного тщеславия. Все они получили классическое образование, говорили совершенно свободно не только по-французски, но и по-немецки и принадлежали к creme [сливкам] европейского общества.

Второе поколение было одних лет с императором Николаем или во всяком случае отмечено его печатью и ограничивалось в своих разговорах преимущественно придворными новостями, театром, повышениями, награждениями и чисто военными интересами. В качестве исключения из этой категории, приближавшейся по своему духовному облику к старшему поколению, могут быть названы старик князь Орлов, который выделялся своим характером, изысканной учтивостью и безупречным отношением к нам; граф Адлерберг и его сын, впоследствии министр двора, наряду с Петром Шуваловым, самая светлая

голова из тех, с кем мне приходилось там встречаться, человек, которому недоставало только трудолюбия, чтобы играть руководящую роль; более всех других симпатизировавший нам, немцам, князь Суворов, в котором традиции русского генерала николаевских времен сочетались в резком, но не неприятном контрасте с чертами немецкого бурша, реминисценцией немецких университетов; железнодорожный генерал Чевкин[5], человек в высшей степени тонкого и острого ума, каким нередко отличаются горбатые люди, обладающие своеобразным умным строением черепа; он вечно ссорился и все же был в дружбе с князем Суворовым; и, наконец, барон Петр фон-Мейендорф, самое симпатичное, с моей точки зрения, явление среди дипломатов старшего поколения. Он был в свое время посланником в Берлине и по образованию и утонченным манерам принадлежал скорее александровскому времени. В ту пору он благодаря уму и храбрости выбился из положения молодого офицера армейского полка, с которым проделал французские походы[6], до уровня государственного деятеля, к слову которого внимательно прислушивался император Николай. Гостеприимный дом Мейендорфа как в Берлине, так и в Петербурге был местом, куда приятно было притти, чему немало способствовала его супруга, по-мужски умная женщина, благородная, глубоко порядочная, приветливая., еще более ярко, чем ее сестра, госпожа фон-Фринтс во Франкфурте, подтверждавшая ту истину, что в семье графов Буоль наследственный ум был леном, передававшимся по женской линии (Kunkellehn[7]). Ее брат, австрийский министр граф Буоль, не унаследовал той его доли, без которой нельзя руководить политикой великой монархии. Лично брат и сестра были друг другу нисколько не ближе, чем австрийская и русская политика. Когда я в 1852 г. был послан с чрезвычайной миссией в Вену[8], отношения между ними были еще таковы, что госпожа Мейендорф склонна была облегчить осуществление моей, дружественной Австрии, миссии: несомненно, она руководилась инструкциями супруга. Император Николай желал в то время нашего соглашения с Австрией. Когда же год или два спустя, во время Крымской войны, зашла речь о моем назначении в Вену, отношение госпожи Мейендорф к брату выразилось в следующих словах: она надеется, что я приеду в Вену и «доведу Карла до желчной лихорадки». Как жена своего мужа, госпожа Мейендорф была русской патриоткой, но и без того она и по своему личному побуждению не одобрила бы враждебной и неблагодарной политики, на путь которой граф Буоль толкал Австрию.

Третье, молодое, поколение обнаруживало обычно в обществе меньшую учтивость, подчас дурные манеры и, как правило, большую антипатию к немецким, в особенности же к прусским, элементам, нежели оба старших поколения. Когда

по незнанию русского языка к этим господам обращались по-немецки, они были непрочь скрыть, что понимают язык, отвечали нелюбезно или вовсе отмалчивались и в своем отношении к штатским далеко не соблюдали того уровня учтивости, какой был принят в кругу лиц, носивших мундиры и ордена. По распоряжению полиции слуги представителей иностранных правительств носили галуны и особо присвоенные им ливреи, и это было вполне целесообразно. Иначе члены дипломатического корпуса, не имея обыкновения носить на улице мундир и ордена, рисковали такими же, порой крупными, неприятностями с полицией и лицами из высшего общества, каким зачастую подвергались на улице или на пароходе штатские, если они не имели ордена или не были известны, как знатные лица.

В наполеоновском Париже я наблюдал то же самое[9]. Если бы я прожил там долее, то мне пришлось бы усвоить французский обычай и ходить по улице не иначе, как с тем или другим знаком отличия. На одном из парижских бульваров мне во время какого-то празднества пришлось быть свидетелем такой сцены: толпа в несколько сот человек оказалась не в состоянии двинуться ни взад, ни вперед, попав из-за чьей-то нераспорядительности между двумя отрядами войск, маршировавшими в противоположном один другому направлении; полиция, не понимая причины затора, набросилась на толпу, пуская в ход кулаки и столь излюбленные в Париже coups de pied [пинки ногой], пока не оказалась лицом к лицу с каким-то monsieur decore [господином с орденом]. Красненькая ленточка побудила полицейских по крайней мере выслушать протесты ее обладателя и заставила их, наконец, убедиться, что толпа, которая казалась им строптивой, была зажата между двумя отрядами войск и не могла поэтому никуда податься. Начальник возбужденных полицейских вышел из затруднительного положения с помощью шутки: указывая на отряд chasseurs de Vincennes [венсенских стрелков], которые дефилировали d'un pas gymnastique [беглым шагом] и сперва не были им замечены, он сказал: «Eh bien, il faut enfoncer ca» [«Ну что ж, придется обратить их в бегство»]. Публика, не исключая избитых, расхохоталась; все, кто избежал рукоприкладства, разошлись с признательным чувством к decore, который спас их своим присутствием.

И в Петербурге я рекомендовал бы появляться на улице не иначе, как со знаками одного из высших русских орденов, если бы тамошние расстояния не заставляли обычно пользоваться каретой, а не ходить пешком. Даже при езде верхом, но в штатском платье и без конюха не всегда можно было избежать опасности оказаться жертвой невоздержанного языка или неосторожной езды отличавшихся своей особой

одеждой кучеров видных сановников; кто свободно владел конем и имел при себе хлыст, тот поступал правильно, когда добивался при таких конфликтах признания законности своего равноправия с хозяином кареты. Едва ли не большинство немногочисленных всадников в окрестностях Петербурга составляли немецкие или английские купцы, избегавшие в силу своего положения неприятных столкновений и предпочитавшие снести обиду, но не обращаться с жалобой к властям. Из офицеров лишь весьма немногие пользовались прекрасными дорогами для верховой езды на островах или в ближайших окрестностях столицы, да и те были, как правило, немецкого происхождения. Все старания высших сфер приохотить офицеров к верховой езде не имели прочного успеха и приводили лишь к тому, что в течение нескольких дней после каждого напоминания навстречу императорским каретам попадалось больше всадников, чем обычно. Знаменательно, что лучшими наездниками среди военных слыли два адмирала: великий князь Константин и князь Меншиков.

Помимо искусства верховой езды тогдашнее молодое поколение уступало предшествующему поколению современников императора Николая I также в отношении манер и хорошего тона; в смысле же европейского образования и общего уровня своего воспитания представители обоих этих поколений уступали старым вельможам времен Александра I. Но все же в придворных кругах и в так называемом «обществе», а также в тех аристократических домах, где преобладало влияние дам, поддерживался безукоризненный светский тон. Однако молодые люди проявляли далеко уже не ту учтивость, когда с ними приходилось сталкиваться при таких обстоятельствах, где они были вне влияния и контроля придворной сферы и дам из высшего круга. Не берусь судить, в какой мере то, что мне пришлось наблюдать, объяснялось общественной реакцией со стороны молодого поколения против довольно сильного прежде немецкого влияния и в какой—упадком образования в русском обществе по сравнению с эпохой императора Александра I; возможно, здесь сказывалось и социальное развитие парижского общества, которое оказывает свое воздействие на русский высший свет. Хорошие манеры и безупречная учтивость уже не так распространены в господствующих кругах Франции, за пределами Сен-Жерменского предместья[10], как это было раньше и как я наблюдал это при знакомстве с пожилыми французами и дамами всех возрастов во французском, а в еще более выигрышном свете — в русском обществе. Впрочем, так как мне по моему положению в Петербурге не приходилось особенно близко сталкиваться с младшим поколением, я вынес из моего пребывания в России лишь приятные воспоминания, которыми обязан любезности двора, пожилых мужчин и дам светского круга.

Антинемецкие настроения молодого поколения дали знать о себе вскоре не только мне, но и другим лицам также и в области политических отношений с нами, особенно сильно с тех пор, как мой русский коллега князь Горчаков стал проявлять и по отношению ко мне одолевавшее его высокомерие. Пока, претендуя на участие в моем политическом воспитании, он видел во мне только младшего сотоварища, благоволение его было безгранично, причем формы, в которые выливалось его доверие, выходили за пределы, допустимые для дипломата; возможно, он делал это с предвзятой целью, а возможно — из потребности покичиться перед коллегой, сумевшим убедить его в своем преклонении перед ним. Подобные отношения стали уже немыслимы, едва я в качестве прусского министра принужден был рассеять иллюзии, которые он питал насчет своего личного и политического превосходства. Hinc irae [отсюда гнев] [11]. Едва я как немец или пруссак или как соперник начал выдвигаться на самостоятельное [место] в признании Европы и в исторической публицистике, как его благоволение ко мне превратилось в неприязнь.

Наступила ли эта перемена после 1870 г. или я ее ранее не замечал — не берусь судить. В первом случае это можно объяснить достаточно уважительной причиной и вполне основательным для русского канцлера мотивом, а именно — ошибочным расчетом, что разлад между нами и Австрией и после 1866 г. [12] надолго останется в силе. В 1870 г. мы с готовностью поддерживали русскую политику, помогая ей освободиться от ограничений на Черном море, которые наложил на нее Парижский трактат [13]. Эти ограничения были противоестественны; запрет свободного плавания у своих собственных берегов был на длительный срок нетерпим для такой державы, как Россия, ибо он был унизителен. К тому же — как прежде, так и теперь — не в наших интересах препятствовать России расходовать избыток своих сил на Востоке; мы должны радоваться, когда при нашем положении и историческом развитии мы встречаем в Европе державы, с которыми у нас нет никаких конкурирующих интересов в политической области, и к таким державам по сей день относится Россия. С Францией мы никогда не будем жить в мире, с Россией у нас никогда не будет необходимости воевать, если только либеральные глупости или династические промахи не извратят положения.

II

Всякий раз, как мне случалось бывать в Петербурге в одном из императорских дворцов — Царскосельском или Петергофском, хотя бы для того лишь, чтобы посовещаться с жившим там летом князем Горчаковым, я находил в отведенном мне

дворцовом помещении сервированный для меня и для того, кто сопровождал меня, завтрак из нескольких блюд, с тремя-четырьмя сортами превосходного вина; иных мне на императорском столе вообще никогда не приходилось пить. Несомненно, в дворцовом хозяйстве много крали, но гости императора от этого не страдали; напротив, их порции были рассчитаны на обильные остатки в пользу слуг. Погреба и кухня были совершенно безупречны, даже в тех случаях, когда они были вне контроля. Возможно, что дворцовые служащие, пользовавшиеся невыпитыми винами, успели, в результате долголетнего опыта, приобрести изысканный вкус и не потерпели бы непорядков, от которых пострадало бы качество подававшегося к столу. Цены на поставки, судя по всему, что я узнавал, были, правда, очень высоки. Правильное представление о характере дворцового гостеприимства я получил тогда, когда моя покровительница, вдовствующая императрица Шарлотта[14], сестра нашего короля, пригласила меня к себе. Для приглашенных со мной лиц из состава миссии на императорской кухне заказывалось два обеда, а для меня — три. В отведенной мне квартире продолжали готовить и ставить в счет, а также, должно быть, поедать и выпивать завтраки и обеды для меня и моих спутников, словно ни меня, ни их и не приглашали к императрице. Мой прибор, со всем к нему причитающимся, подавался и убирался, во-первых, в отведенной мне квартире, а во-вторых, к столу императрицы вместе с приборами моих спутников; но и там я не притрагивался к нему, так как мне приходилось кушать без моих спутников у постели больной императрицы в узком кругу. В этих случаях роль хозяйки дома вместо своей бабушки выполняла с присущей ей грацией и оживлением принцесса Лейхтенбергская, впоследствии супруга принца Вильгельма Баденского, переживавшая в ту пору расцвет своей юной красоты. Припоминаю также, как в другом случае четырехлетняя великая княжна, бегая вокруг стола, за которым сидело четыре персоны, ни за что не желала оказать одному высокопоставленному генералу ту же учтивость, что и мне. Я был очень польщен, что на замечание бабушки великокняжеское дитя ответило, указав на меня: «он милый» («on milii»), а, указывая на генерала, имело наивность сказать: «он воняет» («on wonjaet»),—после чего великокняжеский enfant terrible [несносный ребенок] был удален.

Был такой случай, когда прусских офицеров, долго живших в одном из императорских дворцов, откровенно спросили их русские добрые приятели — действительно ли они поглощают столько вина и прочего, сколько на них требуют; если так, то остается позавидовать их способностям и озаботиться их дальнейшим удовлетворением. Оказалось, что люди, к которым был обращен откровенный вопрос, отличались умеренностью; с их

согласия обыскали занимаемые ими апартаменты и обнаружили в стенных шкафах, о которых они не знали, большие запасы ценных вин и разных деликатесов.

Рассказывают, что однажды император обратил внимание на непомерное количество сала, которое ставится в счет всякий раз, как приезжает принц Прусский; в результате выяснилось, что при первом своем посещении принц после прогулки верхом пожелал съесть к ужину ломтик сала. Истребованный лот сала превратился при последующих посещениях в пуды. Недоразумение разъяснилось в личной беседе высочайших особ и вызвало взрыв веселья, послуживший на пользу замешанным в этом деле грешникам.

С другой русской особенностью я столкнулся во время моего первого пребывания в Петербурге в 1859 г. В первые весенние дни принадлежавшее ко двору общество гуляло по Летнему саду, между Павловским дворцом и Невой. Императору бросилось в глаза, что посреди одной из лужаек стоит часовой. На вопрос, почему он тут стоит, солдат мог ответить лишь, что «так приказано»; император поручил своему адъютанту осведомиться на гауптвахте, но и там не могли дать другого ответа, кроме того, что в этот караул зимой и летом отряжают часового, а по чьему первоначальному приказу — установить нельзя. Тема эта стала при дворе злободневной, и разговоры о ней дошли до слуг. Среди них оказался старик-лакей, состоявший уже на пенсии, который сообщил, что его отец, проходя с ним как-то по Летнему саду мимо караульного, сказал: «А часовой все стоит и караулит цветок. Императрица Екатерина увидела как-то на этом месте гораздо раньше, чем обычно, первый подснежник и приказала следить, чтобы его не сорвали». Исполняя приказ, тут поставили часового, и с тех пор он стоит из года в год. Подобные факты вызывают у нас порицание и насмешку, но в них находят свое выражение примитивная мощь, устойчивость и постоянство, на которых зиждется сила того, что составляет сущность России в противовес остальной Европе. Невольно вспоминаешь в этой связи часовых, которые в Петербурге во время наводнения 1825 г.* и на Шипке в 1877 г.[15] не были сняты, и одни утонули, а другие замерзли на своем посту.

III

Во время итальянской войны[16] я еще верил, что, будучи посланником в Петербурге, смогу оказывать влияние на принимаемые в Берлине решения, как пытался с переменным успехом делать это, находясь во Франкфурте; я еще не отдавал себе тогда ясного отчета в том, что огромные усилия, которые

* Следует читать 1824 г. — *Ред.*

затрачивались мной с этой целью при составлении донесений, не могли принести ни малейшей пользы, так как и мои всеподданнейшие донесения и сообщения, которые посылались мной в виде собственноручных писем, либо вовсе не доходили до сведения регента, либо доходили с такими комментариями, которые мешали им оказывать какое бы то ни было влияние. Помимо осложнившейся болезни, которой я был обязан отравившему меня врачу, мои труды имели лишь тот результат, что показалась подозрительной [необычайная] точность моих сообщений о настроениях императора и для контроля за мной был послан граф Мюнстер, прежний военный атташе в Петербурге. Я был в состоянии доказать инспектировавшему меня графу, с которым был в дружеских отношениях, что мои донесения основаны на собственноручных пометах императора на полях донесений русских дипломатов, которые показывал мне князь Горчаков, а кроме того, — на словесных сообщениях личных друзей, которые оказались у меня в кабинете и при дворе. Собственноручные пометы императора предъявлялись мне, возможно, с рассчитанной нескромностью, т. е. с тем, чтобы их содержание дошло до Берлина таким, менее обидным путем.

Эти и другие формы, в которых мне становились известными особо важные сообщения, являются характерными шахматными ходами тогдашней политической [практики]. Один господин, доверивший мне подобное сообщение, уходя, обернулся в дверях и сказал: «Моя первая нескромность вынуждает меня ко второй. Вы, наверно, передадите это в Берлин, не пользуйтесь только для этого вашим шифром номер такой-то, мы уже много лет имеем к нему ключ, а по совокупности обстоятельств у нас заключили бы, что источником являюсь я. Кроме того, сделайте мне одолжение, не отказывайтесь сразу от скомпрометированного шифра, пользуйтесь им еще в течение нескольких месяцев для самых безобидных телеграмм». Из этого эпизода я, к своему успокоению, позволил себе тогда сделать заключение, что русским известен, вероятно, лишь один из наших шифров. Сохранить тайну шифра было в Петербурге особенно трудно, так как ни одна миссия не могла обойтись там без того, чтобы не допускать в свое помещение русский низший персонал и прислугу, и из этой среды тайной полиции не трудно было вербовать своих агентов.

Во время австро-французской войны[17] император Александр жаловался мне однажды в откровенной беседе на резкий и оскорбительный тон, в каком немецкие государи критиковали русскую политику в письмах к членам императорской фамилии. «Во всем этом обижает меня более всего то, что мои немецкие кузены посылают свои дерзости по почте, чтобы они вернее дошли до моего сведения»[18],—с возмущением заключил он свою жалобу на родственников. Он не видел ничего предосу-

дательного в этом признании, будучи искренно убежден, что его право монарха — знакомиться даже и таким путем с содержанием корреспонденции, посылаемой по русской почте.

В Вене были прежде подобные же порядки. Еще до постройки железных дорог было время, когда тотчас по переезде прусским курьером австрийской границы к нему в экипаж садился австрийский чиновник и при его содействии, с ловкостью привычного человека вскрывал депеши, снова заклеивал их и делал из них выписки, прежде нежели они достигали венской миссии. Даже после того, как такая практика вывелась, одной из осторожных форм официального сообщения [берлинского] кабинета кабинетам Вены или Петербурга все еще считалось письмо на имя тамошних прусских посланников, отправленное простой почтой. Обе стороны заранее рассматривали содержание этих писем как инсинуированное и пользовались такой формой инсинуации в тех случаях, когда надлежало ослабить действие неприятного сообщения, дабы не испортить тона формальных отношений. Как понимала почта Турн-и-Таксиса[19] неприкосновенность частной переписки, явствует из моего письма к министру фон-Мантейфелю от 11 января 1858 г.:

«Я уже высказал телеграммой настоятельную просьбу не посылать по почте графу Флемингу в Карлсруэ мое секретное донесение о жалобе лорда Блумфилда по делу Бентинка и не доводить его таким образом до сведения Австрии. Если бы моя просьба пришла слишком поздно, то я попал бы по отношению ко многим лицам в неловкое положение, которое вряд ли может разрешиться иначе, как путем личного столкновения между мной и графом Рехбергом. Насколько я его знаю и как это вообще вытекает из австрийской точки зрения на тайну переписки, то обстоятельство, что доказательства почерпнуты из вскрытого письма, не помешает ему использовать их. Я скорее ожидаю от него недвусмысленной ссылки на то, что депеша могла быть сдана на почту лишь с целью довести ее до сведения императорского правительства».

Когда мне в 1852 г. пришлось руководить венской миссией, я столкнулся там с обычаем, согласно которому посланник, делая то или иное сообщение, должен был предъявлять австрийскому министру иностранных дел оригинал инструкции, которая поручала ему это из Берлина. Такое безусловно вредное для дела правило, при котором официальная посредническая деятельность посланника оказывалась в сущности излишней, укоренилась столь глубоко, что правитель канцелярии миссии, уже десятки лет живший в Вене, узнав о том, что я запретил это, явился ко мне с представлением относительно того, какое недоверие вызовет в императорской государственной канцелярии внезапное нарушение нами долголетней практики;

прежде всего будет поставлено под сомнение, действительно ли то, чего я добиваюсь у графа Буоля, соответствует смыслу присланных мне инструкций и, следовательно, намерениям берлинской политики.

Чтобы оградить себя от измены со стороны чиновников иностранного ведомства, в Вене прибегали иногда к очень энергичным средствам. Мне попал однажды в руки секретный австрийский документ, из которого мне запомнилась следующая фраза:

«Kaunitz, ne sachant pas demeler, lequel de ses quatre commis l'avait trahi, les fit noyer tous les quatre dans le Danube moyennant un bateau a soupape» [«Будучи не в силах разобраться, который из четырех чиновников предал его, Кауниц велел утопить всех четверых в Дунае при помощи лодки с люком»].

О потоплении же шла речь и в шутливой беседе, которую я вел однажды в 1853 или 1854 г. с русским посланником в Берлине бароном Будбергом. Я упомянул об одном чиновнике, который, по моим подозрениям, исполняя возложенные на него поручения, действовал в интересах одного иностранного государства. Будберг сказал мне на это: «Если этот человек вам мешает, пошлите его к Эгейскому морю, у нас там имеются средства заставить его исчезнуть». А когда я спросил его несколько испуганно: «Но вы, надеюсь, не утопите его?» — он продолжал, смеясь: «Нет, он исчезнет в недрах России, а так как человек это, повидимому, ловкий, то со временем он вынырнет в образе благоденствующего русского чиновника».

IV

В первой половине июня 1859 г. я на короткое время съездил в Москву. При этом посещении древней столицы, совпавшем с итальянской войной, я получил возможность убедиться. как велика была ненависть русских к Австрии. В то время как московский губернатор князь Долгорукий водил меня по одной библиотеке, я увидел на груди служителя в числе многих военных орденов также и Железный крест. На мой вопрос, по какому случаю он получил его, служитель отвечал: «За битву при Кульме»[20]. После этой битвы Фридрих-Вильгельм III приказал раздать русским солдатам довольно большое число железных крестов несколько измененного образца, который был назван Кульмским крестом. Я поздравил старого солдата с тем, что у него и через 46 лет такой бодрый вид, и услыхал в ответ, что он и сейчас пошел бы на войну, лишь бы позволил государь. Я спросил его, с кем бы он пошел — с Италией или с Австрией, на что он, вытянувшись в струнку, с энтузиазмом заявил: «Всегда против Австрии». Я заметил, что ведь при Кульме Австрия была другом Пруссии и России, а Италия — нашим врагом, на что он, стоя все так же на вытяжку, сказал громко и отчет-

ливо, как русские солдаты говорят с офицерами: «Честный враг лучше неверного друга». Этот невозмутимый ответ привел князя Долгорукого в такой восторг, что не успел я оглянуться, как генерал и унтер-офицер заключили друг друга в объятия и горячо облобызались. Таково было в ту пору противоавстрийское настроение среди русских — от генерала до унтер-офицера.

Воспоминанием о моей поездке в Москву служат следующие письма, которыми я обменялся с князем Оболенским.

«Москва, 2 июня 1859 г.

Осматривая недавно московские древности, ваше превосходительство проявили особый интерес к памятникам нашей древней политической и духовной жизни. Старинные здания Кремля, домашняя утварь русских царей, драгоценные греческие рукописи патриаршей библиотеки[21] — все это привлекло ваше просвещенное внимание. Компетентные замечания, сделанные вашим превосходительством по поводу этих исторических памятников, свидетельствуют о том, что помимо больших познаний дипломата вы обладаете столь же глубокими сведениями и в области археологии. Подобное внимание к нашим древним памятникам со стороны иностранца вдвойне отрадно мне, как русскому и как человеку, посвящающему свои досуги археологии. Позвольте поднести вашему превосходительству в память вашего кратковременного пребывания в Москве и моего приятного знакомства с вами, удостоиться которого я имел честь, экземпляр «Книги, содержащей описание избрания на царство и вступления на престол царя Михаила Федоровича». На рисунках, хотя и мало искусных, но интересных своей древностью, вы увидите изображение тех же зданий и предметов, которые так заинтересовали вас в Кремле.

Примите и пр. *Кн. М. Оболенский*»[22].

«Петербург (июль 1859 г.)

Я проявил бы крайнюю неблагодарность, если бы после любезного приема, оказанного мне вами в Москве, я без особо уважительных причин целый месяц не отвечал вашему превосходительству на письмо, которым вы меня удостоили. Вернувшись из Москвы, я серьезно заболел чем-то вроде подагры; сильные ревматические боли пригвоздили меня на целый месяц к постели; редкие просветы, которые оставляла мне болезнь, были поглощены текущими делами, запущенными во время моей болезни. Еще и сейчас я не в состоянии ходить, хотя в общем чувствую себя лучше, так что постараюсь исполнить предписание моего правительства, которое вызывает меня в Берлин. Простите меня за эти подробности, князь, но они были необходимы, чтобы объяснить мое молчание.

Я надеялся, что это промедление даст мне возможность присоединить к моему письму также и ответ из Берлина по поводу посылки, которую вам угодно было вручить мне для передачи его королевскому величеству. Я еще не получил его, но не могу уехать отсюда, не высказав вам, князь, как я тронут любезностью и редким достоинством приема, какой вы оказываете во вверенном вам учреждении и в столице, где вы проживаете, являя иностранцу пример истинно русского гостеприимства. Роскошная книга, присланная вами, навсегда останется драгоценным украшением моей библиотеки; с нею неизменно будет связано воспоминание о русском дворянине, который так умело сочетает репутацию ученого с достоинствами истинного вельможи.

Примите и пр. *Фон-Бисмарк»*[23].

V

В июне 1859 г., не успев еще свыкнуться с петербургским климатом, я после продолжительной езды в сильно натопленном манеже отправился однажды домой без шубы и еще задержался по дороге, чтобы посмотреть на учение рекрутов. На следующий день у меня обнаружился суставный ревматизм, с которым мне пришлось долго бороться. Однако я успел оправиться к тому времени, когда мне надо было съездить в Германию, чтобы привезти в Петербург жену; я ощущал только незначительную боль в левой ноге, которую повредил, сорвавшись со скалы на охоте в Швеции в 1857 г., и которая из-за недостаточного ухода осталась locus minoris resistentiae [местом наименьшего сопротивления]. Доктор Вальц, рекомендованный мне перед отъездом бывшей великой герцогиней Баденской, предложил мне прописать против этой боли какое-то средство, а когда я возразил ему, что не чувствую в этом надобности, так как боль в ноге незначительная, он стал убеждать меня, что она может усилиться в дороге и лучше принять предупредительные меры, средство же — самое невинное: приложить на подколенную ямку пластырь, который не будет причинять никакого беспокойства, полежит несколько дней и сам отвалится, оставив только незначительную красноту. Ничего не зная о прежней деятельности этого врача, происходившего из Гейдельберга, я имел неосторожность поддаться его уговору. Через четыре часа после того, как я приложил этот пластырь и крепко уснул, меня разбудила сильная боль, я поспешно сорвал пластырь, но не мог удалить его остатки с уже растравленной подколенной ямки. Несколько часов спустя приехал Вальц и каким-то металлическим инструментом попытался выскрести черную липкую массу из раны величиной с ладонь. Боль была нестерпимая, а результат—далеко не вполне удовлетворительный, ибо разъедающее действие яда не прекратилось. Несмотря на высокую рекомендацию, которой я доверился, мне приш-

лось убедиться в крайней невежественности и недобросовестности доктора Вальца. Сам он уверял меня с виноватой улыбкой, что мазь была переперчена и что это недосмотр аптекаря. Тогда я велел попросить из аптеки рецепт, но получил ответ, что Вальц взял его обратно, а он сам сказал мне, что рецепта у него уже нет. Таким образом, я не мог установить, кто был отравителем, и лишь узнал у аптекаря, что главной составной частью мази было то вещество, из которого изготовляются так называемые вечные шпанские мушки, и что вещество это, насколько он помнит, было во всяком случае прописано в необычайно большой дозе. Впоследствии мне задавали вопрос, не было ли это умышленное отравление, но я приписываю его просто невежеству и наглости врача-шарлатана.

По рекомендации вдовствующей великой герцогини Софии Б аденской он стал директором всех детских больниц в Петербурге. По наведенным мною впоследствии справкам оказалось, что это был сын университетского кондитера в Гейдельберге; будучи студентом, он ничего не делал и не сдал ни одного экзамена. Его мазь повредила мне вену, от чего я страдал много лет.

Желая посоветоваться с германскими врачами, я отправился в июле в Берлин морским путем через Штеттин; жестокие боли вынудили меня обратиться за советом к знаменитому хирургу Пирогову, который был вместе со мной на борту; он хотел ампутировать мне ногу и на мой вопрос, ниже или выше колена, указал место гораздо выше колена. Я отклонил это и, безуспешно испробовав в Берлине разные процедуры, проделал затем в Наугейме курс лечения ваннами под наблюдением марбургского профессора Бенеке и поправился настолько, что мог ходить и ездить верхом, а в октябре —даже и сопровождать принца-регента в Варшаву на свидание с царем. Когда на обратном пути в Петербург я заехал в ноябре к господину фон-Белову в Гогендорф, то образовавшийся у меня в поврежденной вене и закупоривший ее тромб оторвался, попал, по мнению врачей, в кровеносную систему и вызвал воспаление легких; врачи считали мою болезнь смертельной, но я выздоровел, прохворав несколько месяцев. Мне странно теперь вспомнить, каковы были связанные с опекой впечатления умиравшего пруссака. После того как врачи приговорили меня к смерти, первым моим желанием было изложить на бумаге мою последнюю волю, исключавшую всякое судебное вмешательство в учрежденную опеку. Успокоившись на этот счет, я стал ждать конца с той покорностью, какую вызывают невыносимые страдания. В начале марта 1860 г. я уже настолько поправился, что мог уехать в Берлин, где в ожидании окончательного выздоровления принимал участие в заседаниях палаты господ и провел весь май[24].

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

I

В течение этих недель князь фон-Гогенцоллерн и Рудольф фон-Ауэрсвальд возбудили перед регентом вопрос о моем назначении министром иностранных дел. По этому поводу во дворце состоялось своего рода совещание, в котором участвовали князь Гогенцоллерн, Ауэрсвальд, Шлейниц и я. Открывая заседание, регент обратился ко мне с просьбой изложить рекомендуемую мною программу. Я развил ее в том направлении, какого придерживался впоследствии, став министром, и сделал это настолько открыто, что в качестве самого слабого места нашей политики указал на слабость по отношению к Австрии, в подчинении у которой наша политика находилась со времени Ольмюца[1] и особенно в последние годы, в период итальянского кризиса[2]. Если бы мы могли разрешить нашу германскую задачу в согласии с Австрией, тем лучше. Но это было бы возможно только в том случае, если бы в Вене были убеждены, что в противном случае мы не побоимся ни разрыва, ни войны. Сохранить желательную для проведения нашей политики связь с Россией легче, действуя п р о т и в Австрии, нежели з а о д н о с Австрией. Впрочем, насколько я успел узнать петербургский двор и господствующие там влияния, я и во втором случае не считал это совершенно невозможным. Благодаря Крымской войне[3] и польским осложнениям[4] мы приобрели там такие преимущества, которые при умении ими воспользоваться дадут нам возможность столковаться с Австрией, не порывая с Россией; я высказал лишь опасение, что в Вене слишком переоценивают собственную и недооценивают прусскую мощь, а потому соглашение с Австрией будет обречено на неудачу по крайней мере до тех пор, пока в Австрии не убедятся в полной серьезности того, что мы, если понадобится, готовы на разрыв и войну. Видя, какой политики мы держались за последние десять лет, в Вене перестали верить в возможность подобного исхода; там свыклись с положением, достигнутым в Ольмюце, считают его длительным и не замечают или забыли, что Ольмюцская кон-

венция имела свое оправдание главным образом во временно неблагоприятной для нас ситуации, вызванной распылением наших кадров и тем фактом, что весь груз русского могущества пал в ту пору на австрийскую чашу весов, чего уже не повторялось более после Крымской войны. Между тем австрийская политика в отношении нас осталась все такой же требовательной после 1856 г., как и в то время, когда император Николай поддерживал ее против нас. Наше подчинение австрийским иллюзиям напоминает известный опыт с курицей, которую приковывают к месту, обведя его сделанной мелом чертой. Австрийская самонадеянность, ловкое использование прессы и крупные секретные фонды дают графу Буолю возможность поддерживать австрийскую фантасмагорию и закрывать глаза на то, насколько прочной будет позиция Пруссии, как только она решится сломить чары мелового круга. Куда клонило упоминание об австрийских секретных фондах, регенту было уже известно[5].

После того как я развил свою точку зрения, Шлейницу было предложено противопоставить ей свою. Он сослался в своей речи на завещание Фридриха-Вильгельма III[6], ловко затронув струну, которая всегда находила отголосок в душе регента, и остановился на неожиданностях и опасностях, которые грозили бы с Запада (из Парижа) и с которыми пришлось бы столкнуться во внутренней политике, если бы нам не удалось сохранить соответствующие отношения с Австрией, несмотря на все имеющиеся у нас основания для обиды. Далее он изобразил опасности русско-французского сближения, которое уже тогда занимало общество, и представил возможность прусско-русского сближения так, как будто общественное мнение осудило его. Весьма характерно, что едва Шлейниц договорил последние слова своей речи, которая была произнесена им без запинки и, очевидно, подготовлена заранее, регент вновь взял слово и совершенно ясно заявил, что, почитая традиции предков, он становится на сторону соображений министра Шлейница; на этом обсуждение и закончилось.

Быстрота, с какой регент принял решение, едва только министр произнес последнее слово, заставила меня предположить, что вся эта mise en scene была подготовлена заранее и разыграна по желанию принцессы, чтобы выслушать для приличия мнение князя Гогенцоллерна и Ауэрсвальда, хотя уже в то время она была не согласна с ними и с их намерением усилить кабинет, введя меня в его состав.

Основную роль в политике принцессы, оказывавшей сильное воздействие на своего супруга и на министра, играли, по-моему, не столько положительные цели, сколько антипатии. Антипатии были направлены против России, против Луи-Наполеона, в сношениях с которым меня подозревали, и, наконец,

против меня за мою склонность к независимости суждений и за неоднократный отказ защищать перед регентом взгляды его высокой супруги, как свои собственные. В том же направлении влияли и ее симпатии. Господин фон-Шлейниц в политическом отношении был ее креатурой, подчиненным ей царедворцем, не имевшим своих собственных убеждений.

II

Князь Гогенцоллерн, убедившись, что принцесса, а благодаря ей и Шлейниц, были сильнее его, фактически отстранился вскоре от дел, хотя номинально оставался министром-президентом до сентября 1862 г. Вместе с тем руководство, даже внешне, перешло к Ауэрсвальду, с которым я поддерживал дружеские отношения все время, пока оставался в Берлине. Он был человеком исключительно приятного обхождения и выдающихся политических способностей; когда два года спустя я был назначен министром-президентом, он оказал мне благожелательную поддержку, оспаривая сомнения и опасения кронпринца относительно будущего нашей страны, которые внушались ему Англией и были направлены против меня, как руссофила, и привели позднее к Данцигскому пронунсиаменто[7]. На смертном одре Ауэрсвальд просил кронпринца посетить его, настойчива предостерегал от опасностей, которые могла создать монархии его оппозиция, и убеждал принца держаться за меня.

Летом 1861 г. дело дошло до ожесточенной борьбы внутри министерства[8], которая описана в нижеследующем письме военного министра фон-Роона от 27 июня.

«Берлин, 27 июня 1861 г.

В общих чертах вы, вероятно, знакомы с принявшим теперь критический оборот вопросом о присяге. Положение обострилось до разрыва. Король не может уступить, не погубив навсегда себя и корону. Так же немыслимы уступки и для большинства министров; они тем самым вспороли бы себе свои безнравственные животы и политически уничтожили бы себя. Они не *могут* поступить иначе, как быть и оставаться непокорными. До сих пор мне, занявшему в этом жгучем вопросе совершенно противоположную позицию, и (Эдвину) Мантейфелю с трудом удавалось убедить короля не сдаваться. Он пошел бы на это, если бы я ему посоветовал, но я молю бога, пусть лучше он вырвет у меня язык, но не даст изречь согласия. Однако я одинок, совершенно одинок. Эдвин Мантейфель отправляется сегодня в крепость[9]. Вчера король разрешил мне, наконец, наметить для него других министров. Он держится неутешительной точки зрения, что, кроме Шталя и К°, не найдет-

ся людей, которые считали бы допустимой присягу с принесением клятвы. Меня интересует: считаете ли вы исконный обычай принесения присяги монарху посягательством против конституции? Если вы ответите утвердительно, значит, я ошибся, полагая, что вы одного со мной мнения. Если же вы разделяете последнее и полагаете, что [ссылка моих] любезных партнеров на то, будто они считают себя не в состоянии [поступить так же][10], является доктринерским шарлатанством, вытекает из политических обязательств и [диктуется] партийной позицией в политике, — тогда и вы не задумаетесь вступить в совет короля и разрешить подобающим образом вопрос о присяге. Тогда вы найдете также и способ незамедлительно подготовиться к намеченному отъезду в отпуск и, не мешкая, известите меня по телеграфу. Достаточно будет слов: «Да, приеду», еще лучше, если вы сможете указать и дату прибытия. Шлейниц уйдет при всех обстоятельствах, независимо от вопроса о присяге. *Это решено/* Но еще не ясно, какой вам придется взять портфель: его или Шверина. Его величество склоняется, повидимому, скорее в пользу второй возможности. Но это уже cura posterior [дальнейшая забота]. Прежде всего надо убедить короля, что такое министерство, какое ему нужно, он может составить, не меняя явным образом системы. Кроме того, я обратился с подобными же вопросами к президенту фон-Мёллеру и фон-Зельхену, но еще не получил ответа. Положение безотрадное! Король жестоко страдает. Самые близкие члены его семьи — против него и советуют ему пойти на худой мир. Боже его упаси поддаться! Стоит ему согласиться — и мы на всех парусах въедем в болото парламентарного правления.

Я горю в деловой лихорадке, ибо возросшее бремя вкупе со всем этим политическим misere [бедствием] того и гляди раздавит меня, однако добрый конь падает мертвым, но не отказывается служить. Деловые заботы должны поэтому оправдать и лаконичность этих строк. Добавлю только одно: я сжег за собой мосты и потому уйду, если король уступит; впрочем, это ясно и само собой.

Это письмо будет доставлено вам английским курьером, обещает Шлиффен. Отвечайте мне немедленно по телеграфу».

Я ответил 2 июля:

«Ваше послание через англичанина прибыло сюда вчера в бурю и ливень и нарушило мой уют, прервав мечты о спокойном времени, которое я намеревался провести в Рейнфельде[11], попивая киссинген, а затем — в Штольпмюнде. В безмятежный спор между влечением к молодым глухарям и желанием повидать жену и детей резким диссонансом ворвалась ваша команда:

«На коня!» Я стал ленивым, вялым и малодушным с тех пор, как болезнь подорвала мой организм. Но к делу. Я не совсем понимаю, каким образом спор о присяге мог приобрести такое значение для обеих сторон. В правовом отношении у меня нет сомнений, что король отнюдь не вступит в противоречие с конституцией, если примет присягу по установленной традицией форме. Он имеет право потребовать от каждого из своих подданных в отдельности и от каждой корпорации своей страны принесения присяги, когда и где ему заблагорассудится, и если у моего короля оспаривают право, которое он хочет и может осуществлять, то я чувствую себя обязанным бороться за это право, хотя бы я сам и не был проникнут сознанием практической важности его осуществления. В этом смысле я и телеграфировал Шлиффену, что считаю правильным то «юридическое основание», на которое должно опираться новое министерство, и объясняю доктринерским упрямством отрицательную позицию противной партии и то значение, какое она придает недопущению акта присяги. Когда я добавил, что прочие возможности мне не ясны, то подразумевал не личности и дарования, с помощью которых мы могли бы взяться за дело, а программу, на основе которой нам пришлось бы действовать. Здесь, помоему, кроется вся трудность. По сложившемуся у меня впечатлению, главный недостаток нашей политики заключался до сих пор в том, что мы выступали либералами в Пруссии и консерваторами за границей, ценили права нашего короля низко, а права иностранных государей слишком высоко: таково естественное следствие дуализма между *конституционным* направлением министров и *легитимистским* направлением, сообщавшимся нашей внешней политике личной волей его величества. Мне было бы не легко решиться принять наследство Шверина[12], тем более что я считаю недостаточным капиталом для этого мое здоровье в его теперешнем состоянии. Но если бы даже это и произошло, то я бы и во *внутренних* делах ощутил необходимость другой окраски нашей внешней политики. Я думаю, что только ценой поворота нашей «внешней» политики можно [укрепить] позицию короны внутри страны, избавив ее от напора, которому в противном случае она *фактически* не в состоянии будет долго противостоять, хотя я и не сомневаюсь в достаточности имеющихся для этого *средств*. Давление паров изнутри, повидимому, достаточно сильно, иначе непонятно, каким образом нашу общественную жизнь могут до такой степени будоражить ничтожества вроде Штибера, Шварка, Макдональда, Пацке, Твестена и т. п.; за границей будут недоумевать, как и почему вопрос о присяге мог взорвать кабинет. Можно было бы подумать, будто тягостное, дурное управление в течение длительного времени так восстановило народ против власти, что в результате при малейшем дуновении ветерка вспыхивает

пламя. В том, что мы спотыкаемся на каждом шагу, повинна в немалой степени наша политическая незрелость; но за последние четырнадцать лет мы привили нации вкус к политике, не сумев удовлетворить ее аппетит, и она ищет себе поэтому пищу в помойных ямах. Мы почти так же тщеславны, как французы; когда нам удается уговорить себя, что во-вне мы пользуемся уважением, тогда и дома нам многое нравится; но когда нам кажется, будто любой мелкий вюрцбуржец[13] издевается над нами и презирает нас и будто мы сносим все это потому, что трусим и надеемся, что императорская армия защитит нас от Франции,— тогда мы видим внутренние недостатки в каждом закоулке, и любой газетный писака, горланящий против правительства, оказывается тогда прав. Ни один из владетельных домов от Неаполя до Ганновера не поблагодарит нас за нашу любовь, а ведь по отношению к ним мы проявляем подлинно евангельскую любовь к врагу в ущерб безопасности собственного престола. *Моему* государю я верен вплоть до Вандеи[14], но ради всех прочих я не чувствую себя ни в малейшей степени обязанным хотя бы пальцем двинуть. Я опасаюсь, что слишком расхожусь во взглядах с нашим всемилостивейшим государем и что он едва ли сочтет меня подходящим человеком для вхождения в его коронный совет. Поэтому, если он вообще пожелает воспользоваться моими услугами, то скорее всего по внутренним делам. Впрочем, это, на мой взгляд, совершенно безразлично, так как я не жду успешных действий от правительства в целом, если наша внешняя политика не станет более твердой и менее зависимой от династических симпатий, на которые мы, по недостатку доверия к самим себе, пытаемся опереться, хотя они не могут служить опорой, да мы в ней и не нуждаемся. Принимая во внимание выборы, жаль, что разрыв происходит именно в такой форме; верноподданная масса избирателей не разберется в споре о присяге, а демократия извратит его смысл. Лучше было бы ни в чем не уступать Кюне в военном вопросе[15], порвать с палатой, распустить ее и показать тем самым нации, как король относится к этой братии. Захочет ли король, если это понадобится, прибегнуть к такой мере зимой? Я не думаю, чтобы выборы на сей раз были удачными, хотя именно присяга даст королю кое-какие средства воздействовать на них. Но все же своевременный роспуск после явных эксцессов большинства — средство весьма целительное, пожалуй, самое верное, при помощи которого можно восстановить здоровое кровообращение.

Я не могу в письме исчерпывающе изложить свою точку зрения на положение, с которым я недостаточно знаком, и не решаюсь доверить бумаге многое из того, что мне хотелось бы сказать. Получив сегодня разрешение на отпуск, я в субботу отправлюсь отсюда морским путем, во вторник утром надеюсь

быть в Любеке, а вечером в Берлине. Выехать раньше не могу, потому что император хочет еще повидаться со мной. Это письмо тоже пойдет с английским курьером. Подробности, стало быть, устно. Прошу передать сердечный привет вашей супруге.

Преданный вам друг

ф. Бисмарк».

9 июля в 5 часов утра я прибыл в Любек, после того как целых пять дней не видал газет, и узнал из единственной оказавшейся на вокзале шведской газеты, что король и министры покинули Берлин и что кризис, таким образом, повидимому, улажен. 3 июля король обнародовал манифест, гласивший, что он сохраняет в силе традиционный обычай наследственной присяги, но, принимая во внимание изменения, внесенные в конституцию монархии во время правления его брата, решает восстановить вместо наследственной присяги церемонию коронации, в которой находит свое обоснование наследственное королевское достоинство. О том, как протекал кризис, Роон писал мне 24 июля из Бруннена (кантон Швиц):

«Я дал себе слово ответить вам в первый же дождливый день и, к сожалению, принужден писать вам уже сегодня, пользуясь при этом чернильницей, которую мне придется ввиду того, что ее содержимое иссякло, выставить на несколько минут за окно, если помощь не придет иным путем. Я считаю скорее злым роком, нежели волей провидения, что мы все время разминаемся. Депеша из Франкфурта попала ко мне в руки по глупости служебного персонала лишь 17-го после 8 часов утра, а посланный мною немедленно ответ возвратился через несколько часов за ненахождением адресата. Тем более смущал меня предстоящий отъезд. Но отсрочить его я не мог. Шлейниц, служа королеве Августе, успел нам сильно напакостить. Нарыв тем временем созрел. Сам Шл[ейниц] убедился в несостоятельности нынешней системы и подал в отставку, главным образом по той же причине, по какой крысы бегут с ветхого корабля. Но он и ф[он]-д[ер]-Хейдт были согласны в том, что гальваническим током мнимого мученичества нельзя воскресить мертвых, отслуживших людей, а потому ополчились на меня. Шл[ейниц] совместно с к[оролевой] А[вгустой] и великой княгиней Еленой[16] взяли верх с помощью вновь всплывшей идеи коронации, мантии для которой были заказаны еще в феврале. Началось плохо замаскированное отступление, а почти готовый список министров был приобщен ad acta [к делам]. Впрочем, я склонен думать, что Шл[ейниц], как и к[оролева] А[вгуста] и даже князь Гогенцоллерн предвидят близкое крушение нынешней системы лжи и готовы способствовать ему. Отставка Шл[ейница] — шаг вперед во всех смыслах, хотя он и не стоит на доктри-

нерской позиции Патова, Ауэрсвальда и Шверина. Несмотря на его бессилие [в тех случаях, когда надо] действовать, присутствие Шл[ейница] давало министерству поддержку сверху. Любимчику *нельзя* было пасть: что ж, теперь он в гавани[17]! Если граф Бернсторф хоть наполовину таков, каким его изображают многие, то этот второй клин окажется действенней первого или же он не продержится, в должности и четырех месяцев. О том, что по вопросу о присяге я разошелся навсегда, даже внешне, со своими партнерами, вы, должно быть, знаете от Мантейфеля или Альвенслебена. Остаюсь же я в «таком обществе» лишь потому, что на этом настаивает к[ороль], а при сложившихся обстоятельствах у меня развязаны руки, и я могу отныне продолжать борьбу с открытым забралом. Мне больше по душе, когда эти господа *знают,* что я противник их рецептов, а не только *предполагают,* как это было до сих пор. Да поможет нам бог! Больше я почти ничего не могу сделать, как оставаться честным человеком и работать, осуществляя разумное, в моем ведомстве. Величайшее все же несчастье во всем этом misere [бедствии] — инертность и вялость нашего короля. Он более чем когда-либо в подчинении у к[оролевы] и ее сподвижников. Если он не приободрится физически, тогда все пропало: мы будем продолжать скатываться по наклонной плоскости под ярмо парламентаризма, республики и президентства Патова. Я не вижу *ниоткуда, ниоткуда* спасения, если только господь-бог не поможет нам. В процессе всеобщего разложения я могу назвать только *один* способный к сопротивлению организм — армию. Предохранить ее от гниения — вот задача, которую я считаю разрешимой, впрочем лишь на некоторое время. И армия окажется зачумленной, если только не будет брошена в дело, если сверху в нее не вдохнут струю живительного воздуха, но и это, даже это, с каждым днем становится все труднее. Если я не заблуждаюсь, а мне кажется, что — нет, то нельзя порицать меня за то, что я продолжаю служить в *подобном* обществе. Я не стану утверждать, что другой не сумел бы управлять моим ведомством с равной или большей предусмотрительностью и энергией, но даже самому одаренному человеку нужно не меньше года, чтобы освоиться, — лишь «мертвецы мчатся быстро»[18]. Мне незачем доказывать тем, кто знает меня несколько ближе, как охотно я ушел бы. У меня в натуре тяготение к покою и уюту гораздо сильнее, чем полагалось бы, а выслуженная мною солидная пенсия обеспечила бы мне все это, ибо я не избалован и не честолюбив. Насколько я склонен к лени, мне стало ясно теперь, когда, подобно загнанной кляче, я выпущен на пастбище без сбруи и узды. Если ничего особенного не случится, то я не вернусь под ярмо до начала сентября. Тогда, надеюсь, мы уже не разминемся. Правда, 9 сентября мне уже надо отправляться на Рейн, на маневры, но всего лишь на десять,

одиннадцать дней. Повидимому, еще не решено, поедет ли король также в начале сентября на несколько дней в Б[ерлин], как он собирается (?). Мне кажется, это необходимо, если вообще можно еще говорить о королевской власти (Regiment) в Пруссии.

Судя по вашему письму, я могу надеяться, что вы не возвратитесь в Петербург до коронации. Я считаю крупной политической ошибкой, что «Kreuzzeitung» *[19] так беспощадно раскритиковала манифест о коронации[20]. Не меньшей ошибкой было бы, если бы сторонники этой газеты отсутствовали при церемонии. Так и скажите Морицу[21]. Из-за этой злополучной статьи упущено многое, что надо наверстывать вновь.

В заключение желаю вам успеха во всех видах лечения. Возвращайтесь после них вполне окрепшим! Недалеко то время, когда вы должны будете напрячь все силы на благо родины. Вашей уважаемой супруге мой и наш почтительнейший и самый дружеский привет!

Это письмо я отправляю заказным через Циммергаузен. *Нельзя,* чтобы оно попало в посторонние руки.

ф. Роон».

По желанию министра фон-Шлейница я отправился 1 июля в Баден-Баден, чтобы представиться королю. Он был, видимо, неприятно поражен моим появлением, полагая, вероятно, что я приехал в связи с министерским кризисом. Я упомянул, что слышал о благополучном разрешении кризиса, и сказал, что приехал испросить его личное согласие на продление моего отпуска свыше положенных трех месяцев до намеченной на осень коронации. Король любезно изъявил свое согласие и лично пригласил меня к обеду.

Пробыв август и сентябрь в Рейнфельде и Штольпмюнде, я приехал 13 октября в Кенигсберг, где 18-го числа состоялась коронация.

Во время коронационных торжеств я заметил в настроении королевы некоторую перемену, быть может, связанную с последовавшим тем временем уходом в отставку Шлейница. Она по собственной инициативе заговорила со мной о национально-немецкой политике. В Кенигсберге я впервые увидел графа Бернсторфа в роли министра; он, повидимому, не принял еще определенного решения о [направлении] своей политики; из бесед с ним я вынес такое впечатление, как будто он борется за то, чтобы составить себе какое-то мнение. Королева уже много лет не была со мной так любезна; она выделяла меня настолько, что это бросалось в глаза, и, повидимому, в большей степени, нежели это соответствовало в тот момент желанию короля. В обстановке, когда церемониал едва ли допускал разговор, она,

* После этой статьи король перестал читать «Kreuzzeitung».

остановившись передо мной, в то время как я стоял с целой группой, завела со мной беседу о германской политике; король, который вел ее под руку, некоторое время безуспешно пытался прервать этот разговор. То, как держали себя в этом и некоторых других случаях обе высочайшие особы, доказывало, что в то время было налицо известное расхождение во взглядах короля и королевы на германский вопрос; я предполагаю, что ее величество не симпатизировала графу Бернсторфу. Король избегал говорить со мной о политике, опасаясь, вероятно, прослыть реакционером, имея дело со мной. Эти опасения владели им еще в мае и даже в сентябре 1862 г. [22] Он считал меня фанатичнее, нежели я был на самом деле. Сказывалось, вероятно, и воспоминание о критике, которой я [в разговоре] с ним подверг новый кабинет перед моим отъездом в Петербург[23].

III

Назначение в марте 1862 г. принца Адольфа Гогенлоэ-Ингельфингена заместителем министра-президента вместо князя Гогенцоллерна было своего рода министерской уловкой, рассчитанной на короткий срок. Принц был умен, обходителен и безусловно предан королю; в делах нашей внутренней политики он участвовал, правда, скорей как дилетант, но во всяком случае интересовался ею живее, чем большинство равных ему по положению представителей нашего владетельного дворянства; однако ни физически, ни, быть может, умственно он уже не соответствовал тому, чтобы в такое тревожное время занимать пост министра-президента; при нашей встрече с ним в мае 1862 г. он нарочито старался усилить это впечатление, заклиная меня стать как можно скорее во главе министерства и избавить его тем самым от мученичества, под бременем которого он изнемогал.

В ту пору я не был еще в состоянии исполнить его просьбу, да и не проявлял в этом отношении особого нетерпения. Но уже тогда, когда я был вызван из Петербурга в Берлин, мне по тем зигзагам, которые проделывала наша парламентская политика, стало ясно, что этот вопрос неминуемо встанет передо мной. Не скажу, чтобы эта перспектива была мне приятна и настраивала меня на деятельный лад, я не был уверен, что у его величества надолго достанет твердости противостоять семейным влияниям; мне помнится, что я переступил границу моего отечества в Эйдкунене далеко не с тем радостным чувством, как обыкновенно[24]. Меня угнетало сознание, что мне предстоит трудное и ответственное дело взамен приятного и не обязательно ответственного поста влиятельного посланника. При этом я не мог составить себе точного представления о степени и характере поддержки, на которую я мог рассчитывать со стороны

короля, его супруги, моих коллег и в стране для борьбы с надвигавшимися волнами парламентского господства. Положение, при котором я был прикован к гостинице, к Берлину, подобно посланникам-интриганам времен Мантейфеля, и должен был выступать в свете некоего претендента, — все это претило моему чувству собственного достоинства. Я просил графа Бернсторфа дать мне какое-нибудь назначение или добиться того, чтобы я мог уйти в отставку. Он не потерял еще тогда надежды удержаться на своем посту и предложил, а через несколько часов и добился моего назначения в Париж.

Назначение состоялось 22 мая, а 1 июня я уже вручил в Тюльерийском дворце[25] свои верительные грамоты. На следующий день я писал Роону:

«Я прибыл сюда благополучно, живу здесь, как крыса в пустом амбаре, и вынужден ввиду холодной и дождливой погоды сидеть дома. Вчера я имел торжественную аудиенцию с прибытием в императорской карете, торжественным церемониалом, дефилирующими сановниками. Впрочем — коротко и ясно, без политики, которая отложена на un de ces jours [один из ближайших дней], впредь до частной аудиенции. Императрица очень хороша собою, как всегда. Вчера вечером прибыл фельдъегерь, но не привез мне из Берлина ничего, кроме нескольких кожаных сумок скучных депеш по поводу Дании. Я ожидал письма от вас. Из послания Бернсторфа к Рейсу я вижу, что отправитель твердо рассчитывает на мое продолжительное пребывание в Париже и на свое в Берлине и что король ошибается, полагая, будто Бернсторф стремится возвратиться в Лондон, чем скорее, тем лучше[26]. Я не понимаю его: почему он не скажет откровенно, хочет ли он остаться или хочет уехать; ведь ни в том, ни в другом нет ничего зазорного. Занимать оба поста одновременно — это уже не столь безупречно. Как только у меня будет что-либо сообщить, т. е. как только я увижу императора с глазу на глаз, я напишу королю собственноручно. Я все еще льщу себя надеждой, что его величество сочтет меня менее незаменимым, если я некоторое время не буду показываться ему на глаза, и что найдется какой-нибудь непризнанный до сих пор государственный деятель, который обгонит меня, а я тем временем еще несколько пополню здесь свой опыт. Я спокойно ожидаю, будет ли решено и как что-нибудь относительно меня. Если в течение ближайших недель ничего не выяснится, то я буду просить об отпуске, чтобы привезти сюда жену; но в таком случае мне необходимо знать определенно, как долго я тут пробуду. В расчете на предупреждение за неделю я здесь прочно устраиваться не могу.

Надеюсь, в высших сферах не возникнет мысли назначить меня министром без портфеля; на последней аудиенции об этом

не было речи. Это невыгодное положение: ничего не скажи и за все отвечай, всюду будь непрошенным гостем, а когда действительно захочешь заявить свое мнение, тебя оборвут. Я предпочитаю портфель посту министра-президента; ведь последнее в сущности означает быть в резерве, к тому же мне не особенно хотелось бы иметь своим коллегой [человека], который живет наполовину в Лондоне. Если он не желает переселиться туда *совсем,* то я охотно предоставляю ему оставаться там, где он находится, и считаю, что не по-дружески было бы понуждать его.

Сердечный поклон вашим. Преданный вам друг и, если на то пошло, бесспорный, хоть и не задорный, соратник, причем зимой охотнее, чем в такую жару!»

4 июня Роон писал мне из Берлина:

«...В воскресенье Шлейниц говорил со мною о преемнике Гогенлоэ и высказал мнение, что ваше время еще не пришло. На мой вопрос, кто же будет стоять во главе министерства, он пожал плечами, а когда я добавил, что ему остается в таком случае только пожалеть себя, он увильнул, не дав ни утвердительного, ни отрицательного ответа. Что это меня беспокоит, не должно вас удивить. Поэтому я воспользовался вчера случаем возбудить в надлежащих сферах вопрос о министре-президенте и встретил прежнюю склонность к вам наряду с прежней нерешительностью. Что прикажете делать? И чем это кончится? У нас нет партии, способной править! О демократах, само собою разумеется, не может быть и речи, но ведь значительное большинство состоит из демократов и тех, кто хочет стать таковыми, хотя их проект адреса[27] насквозь пропитан уверениями в лойяльности. Наряду с ними — конституционалисты; подлинные — кучка в двадцать с лишним человек, с Финке во главе; около пятнадцати консерваторов, тридцать католиков и до двадцати поляков. Где же *возможное* правительство найдет необходимую поддержку? Какая партия, кроме демократов, может править при подобной группировке сил, а они не могут и ни в коем случае не должны править. При подобных обстоятельствах, учит [меня] моя логика, теперешнее правительство должно остаться у власти, как бы это ни было трудно. Именно поэтому оно непременно должно усилиться, и притом чем скорее, тем лучше. Интересы Пруссии едва ли, как мне кажется, требуют, чтобы граф Бернсторф занимал попрежнему два столь крупных поста. Поэтому я буду очень доволен, если вы в ближайшее время получите пост министра-президента, хотя и уверен, что Б[ернсторф] не замедлит выйти тогда из своего двойственного положения и перестанет изображать колосса, стоящего одной ногой в Берлине, а другой — в Лондоне. Я взываю к вашей совести — не делать встречного

хода, так как это в конце концов могло бы толкнуть — да и толкнуло бы — короля в распростертые объятия демократов. 11-го сего месяца истекает отпуск Гогенлоэ. Обратно прибудет не сам он, а его прошение об отставке. И тогда-то, тогда, надеюсь, вас вызовут по телеграфу. Все патриоты жаждут этого. Как же вы можете тут колебаться и маневрировать?»

Я отвечал:

«Париж, Троица, 1862 г.

Любезный Роон,

Штейн (в то время военный атташе) аккуратно доставил мне ваше письмо, которое, видимо, не было распечатано, так как мне самому не удалось вскрыть его, не надорвав. Можете быть уверены, что я отнюдь не делаю никаких встречных ходов и маневров; если бы я не видел по всем признакам, что Бернсторф вовсе и не помышляет об уходе, то я со всей определенностью ожидал бы, что мне придется через несколько дней оставить Париж и отправиться через Лондон в Берлин; я и пальцем не пошевелил бы, чтобы противодействовать этому. Я и так ничего не предпринимаю, но не могу же я на самом деле советовать королю дать мне место Бернсторфа; а если бы я был назначен [министром] без портфеля, то, считая Шлейница, у нас оказалось бы три министра иностранных дел, один из которых перед лицом малейшей ответственности всегда готов ретироваться в министерство двора, а другой — в Лондон[28]. С вами, я знаю, мы единодушны; с Яговым, надеюсь, могли бы притти к тому же; ведомственные министерства не были бы для меня камнем преткновения, а в вопросах внешней политики я имею довольно определенные взгляды; возможно, они имеются и у Бернсторфа, но я с ними не знаком и не могу освоиться с его методом и приемами; не доверяю я также и его глазомеру в делах политики, как он, должно быть, не доверяет моему. Впрочем, слишком долго неизвестность не может продолжаться — подожду до 11-го, тогда будет видно, остается ли король при своем мнении от 26-го прошлого месяца[29] или же предпримет что-либо иное. Если до тех пор ничего не произойдет, то я напишу его величеству, что позволяю себе считать свое теперешнее назначение окончательным и устроить свои домашние дела в расчете на пребывание здесь до зимы и долее. Мои вещи и экипажи находятся еще в Петербурге, мне нужно куда-нибудь девать их; кроме того, мне свойственны привычки заботливого отца семейства и, между прочим, потребность иметь определенное место жительства, а я лишен его в сущности с июля прошлого года, когда Шлейниц впервые сказал мне, что я получу другое назначение. Вы несправедливы ко мне, подозревая, что я упираюсь, напротив, я подвержен настроениям того предприимчивого животного, которое от избытка веселья пускается в пляс по льду.

Я следил в известной мере за прениями в связи с адресом и вынес впечатление, что в комиссии и, пожалуй, даже на пленуме правительство оказалось уступчивее, чем следовало. Какое значение имеет, собственно, плохой адрес? Люди полагают, что, проведя такой адрес, они добились победы. В форме адреса палата инсценирует маневры с условным врагом и холостыми зарядами. Если же люди примут мнимое сражение за действительную победу и вступят на правовую почву короля (auf koniglichen Rechtsboden), рассеявшись по ней, грабя и мародерствуя, то неизбежно настанет момент, когда условный враг демаскирует свои батареи и начнет стрелять по-настоящему. В нашем восприятии чувствуется недостаток благодушия; ваше письмо дышит благородным гневом воина, пылом и жаром сражения. Вы, скажу без лести, отвечали превосходно, но тем досадней в сущности — ведь эти люди не понимают по-немецки. Нашего здешнего любезного соседа[30] я нашел спокойным и довольным, весьма доброжелательным к нам и весьма склонным обсуждать трудности «германского вопроса»; он не может отказать в своих симпатиях ни одной из существующих династий, надеется, однако, что Пруссия успешно разрешит поставленную перед ней великую задачу, а именно — германскую, после чего правительство приобретет доверие и внутри [страны]. Сплошь красивые слова. На вопрос, почему я не устраиваюсь здесь как следует, оседло, я отвечаю, что в скором времени попрошусь на несколько месяцев в отпуск, после чего возвращусь вместе с женой.

10 июня. Ответ его величества на адрес производит достойное впечатление своей сдержанностью и умеренностью — холоден, никакого раздражения. Намеки на то, что Шлейниц сменит Гогенлоэ, встречаются во многих газетах. От души рад за него, а министром двора он при этом все же останется.

Посылаю настоящее письмо завтра с фельдъегерем, который пробудет в Аахене до тех пор, пока не получит что-нибудь из Берлина для доставки сюда. Привет вашим дамам; все мои здоровы. Издавна верный вам

ваш *ф. Б.*»

27 июня император пригласил меня в Фонтенебло и долго гулял со мною. Во время беседы на политические темы дня и последних лет он неожиданно спросил меня, думаю ли я, что король склонен будет заключить с ним союз. Я отвечал, что король питает к нему самые дружеские чувства и что предрассудки против Франции, господствовавшие некогда в нашем общественном мнении, почти исчезли; однако союзы вызываются обстоятельствами, в соответствии с которыми определяется потребность в них и польза от них. Союз предполагает тот или иной мотив, определенную цель. Император оспаривал

необходимость такой предпосылки; одни державы относятся друг к другу дружественно, в отношениях между другими это имеет место в меньшей степени. Перед лицом неопределенного будущего необходимо дать своему доверию то или иное направление. Говоря о союзе, он отнюдь не имеет в виду какого-либо авантюрного проекта; он видит общность интересов Пруссии и Франции и находит в них элементы d'une entente intime et durable [тесного и прочного согласия]. Было бы большой ошибкой пытаться *создавать* события; заранее нельзя рассчитать ни их направления, ни их размаха, но в ожидании их можно подготовиться, se premunir, en avisant aux moyens pour y faire face et en profiter [предусмотрительно принять необходимые меры, чтобы противостоять им и извлечь из них пользу]. Император продолжал развивать идею «дипломатического альянса», при котором входит в обычай взаимное доверие и стороны привыкают рассчитывать друг на друга в затруднительных обстоятельствах, а затем, внезапно остановившись, сказал:

«Вы не можете себе представить, quelles singulieres ouvertures m'a fait faire l'Autriche, il y a peu de jours» [«какие странные предложения были сделаны мне Австрией несколько дней назад»]. Повидимому, совпадение вашего назначения с приездом в Париж господина Будберга вызвало в Вене панический страх. Князь Меттерних сказал мне, что им получены столь далеко идущие инструкции, что он сам испугался; ему даны самые неограниченные полномочия, какие когда-либо давал суверенный государь своему представителю, — во что бы то ни стало притти со мною к соглашению по всем вопросам, какие бы я ни затронул. Это заявление привело меня в некоторое замешательство, ибо, не говоря уже о. несовместимости интересов обоих государств, я испытываю почти суеверное предубеждение против того, чтобы сочетать свою судьбу с судьбой Австрии».

Эти откровения императора, конечно, не могли быть вовсе лишены основания, хотя он и мог рассчитывать, что я не использую мои установившиеся в обществе отношения с Меттернихом во зло оказанному мне доверию. Как бы то ни было, подобная откровенность с прусским посланником была неосторожностью независимо оттого, соответствовала она истине или была преувеличением. Еще во Франкфурте я пришел к убеждению, что венская политика не останавливается при случае ни перед какими комбинациями; она пожертвовала бы Венецией или левым берегом Рейна[31], лишь бы на правом его берегу приобрести такой ценой союзную конституцию, гарантирующую преобладание Австрии над Пруссией[32]; германская фраза котировалась в венском императорском дворце лишь до тех пор, пока ею пользовались как вожжами, предназначенными для нас и вюрцбуржцев. Если против нас еще не была создана франко-австрий-

ская коалиция, то обязаны мы были этим не Австрии, а Франции, и не возможным симпатиям к нам Наполеона, а его неуверенности, в состоянии ли была Австрия плыть по течению столь сильных тогда национальных стремлений. Из всего этого я не сделал в своем донесении королю вывода, что нам следует искать союза в той или иной форме с Францией, зато подчеркнул, что мы не должны и не можем ни полагаться на Австрию, как на верного союзника против Франции, ни надеяться, что она добровольно изъявит свое согласие не препятствовать укреплению нами нашего положения в Германии.

За отсутствием каких-либо политических поручений и дел, я на короткое время уехал в Англию, а 25 июля предпринял более продолжительную поездку по югу Франции. К этому времени относится следующая переписка:

Любезный Роон, «Париж, 15 июля 1862 г.

Я в совершенном недоумении, почему вы осведомляетесь по телеграфу, получил ли я ваше письмо от 26-го (истекшего месяца). Я не ответил на него потому, что по основному вопросу не мог ничего сообщить, а мог только ждать новостей. С тех пор ко мне прибыл курьер, о котором меня предупредили телеграммой за две недели и в ожидании которого я вернулся из Англии на неделю раньше. Он привез письмо Бернсторфа в ответ на мою просьбу об отпуске. В настоящее время я здесь не нужен, так как здесь нет ни императора, ни министров, ни посланников. Я не совсем здоров; эта неопределенная жизнь — постоянно в неизвестности, без настоящего дела — не способствует успокоению нервов. Я думал, что еду сюда дней на 10 — недели на две, но вот уже 7 недель, как я тут, и совершенно не знаю, буду ли я здесь через 24 часа. Я не хочу навязываться королю, обосновавшись в Берлине, и не еду домой потому, что боюсь проездом через Берлин застрять в гостинице на неопределенное время. Из письма Бернсторфа я вижу, что королю до поры до времени нежелательно поручать мне иностранные дела и что его величество еще не решил — следует ли назначить меня на место Гогенлоэ, но не хочет предрешать этот вопрос и в отрицательном смысле, дозволив мне полуторамесячный отпуск. Король сомневается, как пишет мне Бернсторф, могу ли я быть полезен во время текущей сессии и не лучше ли отложить мое назначение, — если оно вообще состоится,— на зиму. Ввиду этого я возобновляю сегодня просьбу о полуторамесячном отпуске, мотивируя ее следующим образом. Во-первых, я действительно нуждаюсь в подкреплении сил горным и морским воздухом; если мне суждена каторжная работа, то необходимо запастись здоровьем, а Париж действует на меня пока что плохо, при той собачьей жизни бездомного холостяка, какую мне приходится вести, Во-вторых, королю нужно дать

срок спокойно принять решение по собственному побуждению, иначе его величество возложит ответственность за последствия на тех, кто будет понуждать его. В-третьих, Бернсторф не хочет теперь уходить; король неоднократно просил его остаться и заявил, что о министерстве иностранных дел он со мною не говорил вовсе, а положение министра без портфеля для меня неприемлемо. В-четвертых, мое вступление в министерство, которое в настоящее время показалось бы бесцельным и случайным, может со временем сыграть роль эффектного маневра.

Я мыслю себе все это так: министерство будет твердо и спокойно возражать против каких-либо ограничений военного бюджета, но не доведет дела до кризиса, а предоставит палате возможность всесторонне обсудить бюджет. Это закончится, я думаю, к сентябрю. Затем бюджет, который, как я предполагаю, окажется неприемлемым для правительства, поступит в палату господ, но лишь при наличии уверенности, что изуродованный проект бюджета будет ею отвергнут. Тогда, а в противном случае — до обсуждения бюджета в палате господ, можно будет возвратить его для вторичного пересмотра в палату депутатов, сопроводив его королевским посланием, в котором будет дана деловая мотивировка отказа короля утвердить подобный закон о бюджете и будет предложено подвергнуть бюджет новому рассмотрению. Тогда или несколько ранее надо будет, пожалуй, отсрочить на месяц сессию ландтага. Чем больше затянется это дело, тем более потеряет палата в общественном мнении, так как, придираясь к сущим мелочам, она уже допустила ошибку и будет допускать ее и далее, и так как у нее нет ни одного оратора, который не нагонял бы тоски на публику. Если бы удалось добиться, чтобы она стала придираться к таким пустякам, как перманентность палаты господ[33], начала бы ради них войну и затянула бы разрешение серьезных вопросов, то это было бы большим счастьем. Палата утомится, будет надеяться на то, что правительство теряет силы, а уездных судей надо будет припугнуть расходами на их заместителей[34]. Когда она совсем размякнет, почувствует, что надоела стране, и будет нетерпеливо ждать уступок со стороны правительства, чтобы выпутаться из двусмысленного положения, тогда, по-моему, наступит момент показать ей моим назначением, что не может быть и речи об отказе от борьбы, а лишь о продолжении ее со свежими силами. Появление нового батальона в боевом строю кабинета произведет тогда, быть может, такое впечатление, какого теперь не достичь; если же предварительно еще и пошумят немного на тему об октроировании и государственном перевороте, тогда моя старая репутация человека безрассудной жестокости пригодится мне как нельзя более, и люди подумают: «вот оно, начинается», — и тогда все центровики и половинчатые охотно пойдут на переговоры.

Все это основывается скорее на инстинктивном ощущении, и доказать, что это так, я не могу и не захожу так далеко, чтобы из-за этого ответить королю на свой страх и риск отказом, если он мне что-либо прикажет. Но если спросят моего мнения, то я скажу, что меня следует подержать еще несколько месяцев за кулисами.

Быть может, я говорю все это впустую, быть может, его величество никогда не решится назначить меня, ибо я не знаю, почему бы это произошло теперь, если не произошло шесть недель тому назад. Но глотать раскаленную парижскую пыль, зевать в кафе и театрах или снова располагаться в берлинском Hotel Royal в качестве политического дилетанта — ко всему этому нет никаких оснований, — лучше провести это время на водах.

Удивляюсь я все же политической бездарности наших палат; ведь мы все же очень просвещенная страна, даже чересчур просвещенная,— это не подлежит сомнению. Другие, наверное, тоже не умнее, чем те, которые составляют цвет наших [трех] классных выборов, но у них нет той ребяческой самоуверенности, с какой наши выставляют напоказ, как нечто образцовое, свои импотентные срамные части во всей их наготе. Откуда у нас, немцев, репутация людей застенчивых и скромных? Среди нас нет таких, кто не считал бы, что он во всем — от ведения войны до ловли блох у собак — разбирается лучше, нежели все обученные своему делу специалисты вместе взятые, тогда как в других странах есть все же не мало людей, допускающих, что они понимают в некоторых вещах менее других, довольствуются этим и помалкивают.

16-го. Мне надо сегодня спешно кончать, так как я потратил время на другие дела.

Сердечный поклон вашим. Издавна верный вам

ваш *ф. Б.*»

Роон ответил мне 31 августа 1862 г.:

«Любезный Бисмарк,

Вы, должно быть, понимаете, почему я до сих пор не отвечал вам; я все ждал и ждал решения или хотя бы такой ситуации, которая привела бы к быстрой развязке. К сожалению, моя, вернее наша, болезнь приняла хронический характер. Теперь присоединился новый момент — оправдательный приговор лицам, оклеветавшим фон-дер-Хейдта, но и это затеряется в песках [бранденбургской] марки. Я отвлекся на несколько дней от misere generate [общего бедствия], воспользовавшись отъездом короля в Д[оберан][35], и уехал сюда (в Циммергаузен) пострелять дичь. Бернсторф, недели 3—4 тому назад твердо, как я мог заключить, решившийся оставить свой пост,

на котором ему теперь приходится слишком тяжко и невесело, сказал мне неделю назад, что он еще не знает, но возможно будет вынужден, по окончании парламентской сессии, уступить желанию короля (если таковое будет выражено) и остаться, хотя он попрежнему жаждет избавления; другими словами — в переводе на язык действительности — сессия затянулась так долго, что окончание ее приблизительно совпадет с разрешением графини от бремени, а тогда переезд зимой к месту нового назначения будет еще менее удобен, нежели теперь. Он говорил мне, собственно, еще ранее, что перемещение в Лондон приемлемо для него только в том случае, если оно состоится в сентябре. Этот эгоизм, который, пожалуй, еще придется проклинать, с одной стороны, и нерешительность короля — с другой, наряду с точкой зрения фон-дер-Хейдта, который хотя и готов" примириться с президентом, но только не из числа своих более молодых коллег, — все это заставляет меня вернуться к прежней мысли, что вам придется стать министром-президентом, хотя бы и без портфеля; со временем вы его получите — это произойдет само собой. Нам, я считаю, невозможно и бессмысленно встретить зимнюю сессию в прежнем неполном и недостаточном составе, и это мое мнение не раз получало высочайшее одобрение. Мы должны и мы будем драться. Об уступках и компромиссах нечего и думать, менее всего склонен к ним король. Поэтому можно с уверенностью предвидеть опасные катастрофы, даже совершенно независимо от осложнений в области нашей *внешней* политики, где уже теперь обнаруживаются весьма примечательные хитросплетения. Могу себе представить, мой старый друг, что все это вам до крайности опротивело; по собственному отвращению я могу судить о вашем. Но я все еще надеюсь, что вы из-за этого не фрондируете, но, наоборот, вспомните древний рыцарский долг — с мечом в руках выручать короля, даже если он, как в данном случае, добровольно подверг себя опасности. Но вы человек и, — что еще более того, — вы муж и отец семейства. Вы хотите наряду со всей вашей работой домашнего уюта, семейной жизни. Вы имеете на это право, c'est convenu! [это неоспоримо!]. Поэтому вам необходимо знать, и знать как можно *скорее,* где будет поставлена ваша кроватъ и ваш письменный стол: в Париже или Берлине. А слово короля, что вам не следует обосновываться в Париже, пока, насколько мне известно, еще не взято назад. Вам необходима определенность. Я постараюсь, со своей стороны, сделать все возможное и оказать вам содействие — не только из эгоистических побуждений, но и из патриотической заинтересованности, чтобы создать вам эту определенность. Я буду поэтому действовать так, как будто вы мне privatim [частным образом] поручили добиться для вас этой уверенности, и так будет продолжаться до тех пор, пока вы мне этого не запретите. Вслед за по-

следними разговорами с serenissimo [величеством, точнее, светлейшим] о вас я и без того уже вынужден был пустить в ход мой особый личный интерес к вам. Я могу поэтому говорить и о вашем невыносимом положении, которое вызвано главным образом тем, что вам достаточно недвусмысленно не дают обосноваться в Париже. Подобные мотивы вызывают сочувствие и влияют, пожалуй, сильнее, чем политические рассуждения. Я буду поэтому действовать как будто с вашего согласия и посоветую *временно* назначить вас министром-президентом без портфеля, чего я до сих пор избегал касаться; иначе нельзя! Если вы этого категорически не желаете, то вы дезавуируете меня или прикажете мне молчать. Я буду беседовать с государем 7-го в совершенно конфиденциальной аудиенции, которую он назначил мне на этот день проездом в Карлсруэ на крестины (9/IX). У вас, таким образом, есть еще время для протеста.

Об общем положении я не хочу сегодня распространяться. Внутренняя катастрофа произойдет, как мне кажется, не теперь, а лишь весной, и к тому времени вы непременно должны быть на месте. Она окончательно решит наше будущее...

Ваш *фон-Роон*.»

Я ответил:

«Тулуза, 12 сентября 1862 г.

Мои странствования вдоль и поперек Пиренеев были причиною того, что я только сегодня застал здесь ваше письмо от 31-го [августа]. Я ожидал также письма от Бернсторфа, который месяц назад писал мне, что в сентябре вопрос о персональных переменах будет решен во всяком случае. Ваше письмо заставляет меня, к сожалению, предположить, что неизвестность останется столь же полной и к рождеству. Мои вещи все еще в Петербурге и там замерзнут, мои экипажи — в Штеттине, лошади — в имении близ Берлина, моя семья — в Померании, я сам — на большой дороге. Сейчас я возвращаюсь в Париж, хотя работы у меня там теперь еще меньше чем когда-либо, но срок моего отпуска истекает. Мой план таков — предложить Бернсторфу съездить в Берлин, обсудить дальнейшее устно. У меня потребность провести несколько дней в Рейнфельде, так как я не видал своих с 8 мая[36]. Я должен воспользоваться случаем добиться ясности. Я ничего так не желаю, как остаться в Париже, но я должен знать, что переезжаю и устраиваюсь не на несколько недель или месяцев, — ведь мой дом поставлен на широкую ногу. Я никогда не отказывался от поста министра-президента без портфеля, если так прикажет король; я говорил только, что считаю это мероприятие нецелесообразным. Я и теперь готов вступить в министерство без портфеля, но не вижу никаких серьезных намерений в этом смысле. Если бы

его величество сказал мне, что я буду назначен 1 ноября, или 1 января, или 1 апреля, — я знал бы, что делать; ведь, право же, я не любитель создавать затруднения; я требую только сотой доли того внимания, которое так щедро оказывают Бернсторфу.

При такой неопределенности я теряю всякий вкус к делам и буду вам от души благодарен за всякую оказанную вами дружескую услугу, которая покончит с этой неопределенностью. Если это не удастся в ближайшее же время, то придется примириться с существующими фактами, сказать себе, что я — посланник короля в Париже, поселиться там с 1 октября с чадами и домочадцами и устроиться окончательно. Коль скоро это *совершится,* его величество сможет уволить меня в отставку, но уже не принудить сразу же *вновь* переезжать куда-то; я предпочту уехать к себе в имение и буду тогда знать, где живу. В уединении я, с божьей помощью, восстановил свое здоровье и чувствую себя лучше, нежели когда-нибудь за последние 10 лет; но о том, что делается в нашем политическом мире, я не слыхал ни слова; из полученного мною сегодня письма жены я узнал, что король был в Доберане, иначе я не мог бы понять, что означает буква Д. в вашем письме. Я не слыхал также, что он едет к 13-му в Карлсруэ. Мне во всяком случае не удалось бы застать там его величество, даже если бы я туда и поехал; к тому же я знаю по опыту, что там недолюбливают неожиданных появлений; государь решит, что я настойчиво преследую честолюбивые цели, от коих я, видит бог, весьма далек. Я так доволен положением посланника его величества в Париже, что не просил бы ничего другого и желал бы только знать наверно, сохраню ли я этот пост по меньшей мере до 1875 г. Дайте мне эту или какую угодно другую уверенность, и я подрисую ангельские крылья к вашей фотографии.

Что вы подразумеваете под «окончанием этой сессии»? Можно ли это так точно предвидеть, не перейдет ли она без перерыва в зимнюю сессию? И можно ли распустить палаты, не добившись результата по вопросу о бюджете? Я не отрицаю этой возможности, все зависит от того, какой будет выработан план кампании.

Я сейчас уезжаю в Монпелье, оттуда в Лион и Париж. Пожалуйста, пишите мне туда, передайте мой сердечный привет вашим. Ваш верный друг *ф.Б.»*

В Париже я получил следующую телеграмму с условной подписью:

«Berlin le 18 Septembre.
Periculum in mora. Depechez-vous.
L'oncle de Maurice Henning»
[«Промедление опасно. Спешите. Дядя Морица Геннинга»],

Геннинг было второе имя Морица Бланкенбурга, племянника Роона. Хотя текст телеграммы оставлял под сомнением, принадлежит ли инициатива вызова Роону или королю, однако я выехал не колеблясь.

Прибыв в Берлин 20 сентября утром, я был приглашен к кронпринцу. На его вопрос, как я оцениваю положение, я мог ответить лишь весьма сдержанно, так как последние недели не читал немецких газет и из своего рода depit [досады] не осведомлялся об отечественных делах. Мое недовольство объяснялось тем, что король обещал не далее как через 6 недель поставить меня в известность относительно моего будущего, т. е. относительно того, где мне обосноваться: в Берлине, Париже или Лондоне; между тем прошло уже четверть года, наступила осень, а я все еще не знал, где буду жить зимой. Я был не настолько хорошо знаком с положением в его деталях, чтобы изложить кронпринцу свою точку зрения в виде программы; кроме того, я не считал себя в праве высказаться перед ним раньше, чем перед королем. О впечатлении, какое произвела моя аудиенция, я узнал прежде всего из сообщения Роона, которому король, имея в виду меня, сказал: «От него тоже не будет толку, он уже побывал у моего сына». Я не сразу понял тогда все значение этих слов, так как мне не было известно, что король носился с мыслью об отречении от престола; он же предположил, что я, зная или догадываясь об этом, старался заручиться расположением наследника.

На самом же деле я и не думал об отречении короля, когда был принят 22 сентября в Бабельсберге; ситуация стала мне ясна лишь тогда, когда его величество определил ее примерно так: «Я не хочу править, если не могу действовать так, чтобы быть в состоянии отвечать за это перед богом, моей совестью и моими подданными. Но этой возможности я не имею, раз я должен править по воле нынешнего большинства ландтага; я не нахожу более министров, которые были бы согласны возглавлять мое правительство, не заставляя меня и самих себя подчиняться парламентскому большинству. Поэтому я решил отречься и набросал уже проект акта об отречении, обосновав его вышеизложенными причинами». Король показал мне лежащий на столе документ, написанный им собственноручно; был ли он уже подписан или нет, не знаю. Его величество закончил разговор, повторив еще раз, что без подходящих министров он не может править.

Я ответил, что его величеству уже с мая известно о моей готовности вступить в министерство; я уверен, что вместе со мною останется при нем и Роон, и не сомневаюсь, что нам удастся пополнить состав кабинета, если мой приход побудит других членов кабинета уйти в отставку. После некоторого размышления и разговоров король поставил передо мною вопрос,

согласен ли я выступить в случае назначения меня министром в защиту реорганизации армии, и, когда я ответил утвердительно, задал второй вопрос — готов ли я пойти на это даже против большинства ландтага и его решений? Когда я снова ответил согласием, он, наконец, заявил: «В таком случае мой долг попытаться вместе с вами продолжать борьбу, не отрекаясь от престола». Уничтожил ли он лежавший на столе документ или сохранил его in rei memoriam [на память], я не знаю.

Король предложил мне пройтись с ним по парку. Во время этой прогулки он дал мне прочесть программу на восьми больших страницах, исписанных убористым почерком. Она затрагивала все возможности тогдашней правительственной политики и останавливалась на деталях вроде реформы крейстагов[37]. Оставляю открытым вопрос, служило ли уже это произведение основой для объяснений с моими предшественниками или оно должно было явиться мерой предосторожности против приписывавшейся мне консервативной прямолинейности. Нет сомнения, что, в то время как король собирался призвать меня в министерство, такого рода опасения возбуждались в нем его супругой, о политических дарованиях которой он первоначально был высокого мнения; оно создалось еще в ту пору, когда его величество на правах кронпринца мог позволить себе критиковать правительство брата, не будучи обязан показывать сам пример лучшего правления. В *критике* принцесса была сильнее своего супруга. Впервые он усомнился в умственном превосходстве супруги тогда, когда ему пришлось уже не только критиковать, а самому действовать и нести официальную ответственность за попытки сделать так, чтобы было лучше. Когда задачи обоих высочайших особ приобрели *практический* характер, здравый смысл короля начал *постепенно* освобождаться из-под влияния бойкого женского красноречия.

Мне удалось убедить его величество, что для него дело идет не о консерватизме или либерализме того или другого оттенка, а о том, быть ли королевской власти или парламентскому господству, и что последнее во что бы то ни стало следует предотвратить, хотя бы даже установив на некоторый период диктатуру. Я сказал: «Если при таком положении ваше величество повелите мне сделать что-либо с моей точки зрения неправильное, то я, правда, откровенно выскажу вам свое мнение, но если вы все же будете стоять на своем, я предпочту погибнуть вместе с королем, нежели покинуть ваше величество в борьбе с парламентским господством». Это умонастроение было во мне в ту пору сильно и имело для меня решающее значение, так как я считал, что перед лицом национальных задач Пруссии голое отрицание (Negation) и фраза тогдашней оппозиции пагубны в политическом отношении, и так как я питал к лич-

ности Вильгельма I столь глубокое чувство любви и преданности, что мысль погибнуть вместе с ним казалась мне, по тем обстоятельствам, вполне естественным и привлекательным завершением жизни.

Король разорвал программу и хотел бросить клочки с моста в сухой овраг парка, но я напомнил ему, что эти бумажки, исписанные всем известным почерком, могут попасть в весьма неподходящие руки. Он с этим согласился, сунул клочки в карман, чтобы потом предать их огню, и в тот же день назначил меня государственным министром и временно исполняющим обязанности председателя государственного министерства, о чем было объявлено 23-го числа. Назначение меня министром-президентом было отложено до завершения соответствующей переписки с князем Гогенцоллерном, который официально продолжал еще занимать этот пост[38].

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ВЗГЛЯД НАЗАД НА ПРУССКУЮ ПОЛИТИКУ

На авторитете королевской [власти] неблагоприятно отражалось у нас то, что нашей внешней и особенно нашей германской политике недоставало самостоятельности и энергии; на этой почве укоренилось и несправедливое отношение бюргерства к армии и ее офицерам, и предубеждение против военных мероприятий и расходов на армию. В парламентских фракциях честолюбие главарей, ораторов и кандидатов в министры питалось и прикрывалось национальной неудовлетворенностью. После смерти Фридриха Великого ясно осознанные цели в нашей политике либо вовсе отсутствовали, либо неуклюже выбирались или осуществлялись; это имело место с 1786 по 1806 г., когда наша политика, лишенная с самого начала определенного плана, привела к печальному концу [1]. Ни малейшего намека на национально-немецкое направление не удается обнаружить в ней вплоть до того момента, когда французская революция разразилась полностью[2]. Первые проблески такого направления — Союз князей, идея прусской империи, демаркационная линия[3], присоединение *немецких* земель [4] — были плодом не национальных, а прусско-партикуляристских стремлений. В 1786 г. основной интерес был все еще сосредоточен не на немецко-национальной почве, а на мысли о приобретениях польских земель, и недоверие между Пруссией и Австрией поддерживалось вплоть до самой войны 1792 г. [5] соперничеством обеих держав не столько в Германии, сколько в Польше. В конфликтах Тугут-Лербахского периода [6] спор из-за обладания польскими территориями, в частности Краковом[7], играл гораздо более видную роль, нежели спор из-за гегемонии в Германии, стоявший на переднем плане во второй половине нынешнего столетия.

Национальный вопрос был в то время в большей мере на заднем плане; прусское государство приобретало новых польских подданных с той же — если даже не с большей — готовностью, как и немецких, лишь бы это были подданные. Австрия в свою

очередь не задумывалась ставить под вопрос результаты совместных военных действий против Франции, как только у нее зарождалось опасение, что она не будет располагать для отстаивания своих польских интересов против Пруссии необходимыми военными силами, если захочет употребить их в дело на французской границе. Принимая во внимание взгляды и способности лиц, стоявших в то время во главе австрийской и русской политики, трудно сказать, была ли у Пруссии возможность избрать при тогдашней ситуации более рациональное направление вместо того пути, на который она вступила, наложив veto [запрещение] на ориентальную политику обоих своих восточных соседей, что нашло свое отражение в Рейхенбахской конвенции 27 июля 1790 г. [8] Я не могу преодолеть впечатления, что это veto было всего лишь актом бесплодного самомнения вроде французского prestige [престижа], — актом, в котором бесцельно разбазаривался авторитет, унаследованный от Фридриха Великого; эта затрата сил не принесла Пруссии никакой иной пользы, кроме чувства удовлетворенного тщеславия проявлением своего великодержавного положения, по отношению к обеим империям, — show of power [демонстрацией силы].

Если Австрия и Россия были заняты на востоке, то в интересах их менее могущественного в то время соседа было, думается мне, не мешать им, а скорее поощрять и укреплять обе державы в направлении их восточных домогательств, ослабляя тем самым их нажим на наши границы. По своей военной организации Пруссия в то время была в состоянии привести себя в боевую готовность быстрее, чем ее соседи, и могла бы использовать это свое преимущество, как она делала это не раз впоследствии, если бы она воздерживалась от преждевременных выступлений на чьей-либо стороне и, в соответствии со своей относительной слабостью, предпочитала оставаться en vedette [на страже], вместо того чтобы присваивать себе prestige арбитра между Австрией, Россией и Портой[9].

Порочность подобного рода отношений заключалась обычно в отсутствии [ясно поставленной] цели и в нерешительности, с которыми приступали к их использованию и эксплоатации. Великий курфюрст[10] и Фридрих Великий отчетливо понимали, насколько пагубны полумеры в тех случаях, когда надо выступить на чьей-либо стороне или пригрозить таким выступлением. Пока Пруссия не превратилась еще в государственное образование, приблизительно соответствующее немецкой национальности, пока она не принадлежала к числу государств «насыщенных» (zu den «saturirten» Staaten), по выражению, которое я услышал от князя Меттерниха, — до тех пор она должна была строить свою политику в согласии с приведенным выше выражением Фридриха Великого «en vedette». Но ведь «vedette»

[здесь: дозор] имеет право на существование лишь при том условии, если за ним стоит готовый к бою отряд; без такого отряда и без решимости употребить его в дело — будь то за, будь то против одной из враждующих сторон — прусская политика, бросая на чашу весов свой европейский авторитет в случаях, подобных Рейхенбаху, не могла извлечь отсюда никакой материальной выгоды ни в Польше, ни в Германии, а могла лишь возбудить недовольство и недоверие к себе обоих своих соседей. В исторических суждениях наших шовинистически настроенных соотечественников еще и теперь обнаруживаешь отголоски того глубокого удовлетворения, какое испытало прусское самолюбие в связи с тем, что Берлин оказался в состоянии сыграть роль арбитра в восточном споре; Рейхенбахская конвенция слывет у них апогеем того же уровня, как политика Фридриха—апогеем, начиная с которого идет спуск и понижение через Пильницские переговоры [11] и Базельский мир[12] — вплоть до Тильзита [13].

Будь я министром Фридриха-Вильгельма II, я скорее дал бы совет поддержать честолюбие Австрии и России, направленное на Восток, но в уплату за это потребовал бы материальных уступок, хотя бы только на почве польского вопроса, который был во вкусе того времени,—и не без основания, пока мы еще не владели Данцигом и Торном[14] и не задумывались еще над германским вопросом. Опираясь не менее чем на 100 тысяч солдат, готовых итти в бой, и угрожая в случае надобности привести их в движение и предоставить Австрию в войне с Францией ее собственным силам, — прусская политика могла бы достичь при тогдашних обстоятельствах во всяком случае больших результатов, нежели чисто дипломатический триумф Рейхенбаха.

Принято считать, что история австрийского дома с Карла V[15] раскрывает ряд упущенных возможностей, причем ответственность за это возлагается в большинстве случаев на очередного духовника государей; но история Пруссии всего лишь за последние сто лет не менее богата подобными же упущениями. Если правильно использованный случай времен Рейхенбахской конвенции мог повлечь за собой пусть недостаточный, но все же шаг вперед на пути возвышения Пруссии, то уже в 1805 г. возможно было развитие более широкого масштаба, развитие, при котором прусская политика могла бы начать действовать против Франции, в пользу Австрии и России, предпочтительно военными, а не дипломатическими средствами и, разумеется, не безвозмездно. Добиться соответствующих условий, на которых Пруссия должна была или оказала бы им поддержку, мог, разумеется, не министр вроде Гаугвица[16], а лишь полководец во главе 150-тысячного войска в Богемии или Баварии. То, что в 1806 г. случилось post festum [после пира], могло оказать в

1805 г. решающее влияние. В том, что возможности были упущены, в Австрии были повинны духовники, а в Пруссии — советники кабинета и честные, но ограниченные генерал-адъютанты.

Оказывать gratis [даром] услуги, подобные тем, какие прусская политика оказала России при заключении Адрианопольского мира в 1829 г.[17] и при подавлении польского восстания в 1831 г.[18], совсем уже не было никаких оснований, так как берлинский кабинет отнюдь не пребывал в неизвестности относительно далеко не дружественных Пруссии махинаций, которые незадолго до этого имели место между императором Николаем и королем Карлом X[19]. Идиллией родственных уз между государями[20] дорожили у нас обычно достаточно сильно; чтобы смотреть сквозь пальцы на грехи России, недоставало лишь взаимности. В 1813 г. Россия бесспорно приобрела право на прусскую признательность; с февраля 1813 г. и вплоть до Венского конгресса Александр I оставался в общем и целом верен своему обещанию восстановить Пруссию в ее status quo ante [состоянии, в каком она была до войны, т. е. в ее довоенных границах][21]. Он не забывал, разумеется, и русских интересов, но все же исполненные благодарности воспоминания Фридриха-Вильгельма продолжали быть по отношению к нему естественными. Подобные воспоминания были еще очень распространены в нашем обществе в годы моего детства, вплоть до кончины Александра I в 1825 г.; русские великие князья, генералы и русские воинские части, появлявшиеся по разным поводам в Берлине, унаследовали еще остатки той популярности, с какой у нас встречали в 1813 г. первых казаков.

Нарочитая неблагодарность, как ее афишировал князь Шварценберг[22], и в политике, как и в частной жизни, не только некрасива, но и неумна. Но ведь мы выплачивали наш долг России не только в то время, когда русские оказались в затруднительном положении под Адрианополем, не только нашим поведением в Польше в 1831 г., но и на протяжении всего царствования Николая I, который был более чужд немецкой романтике и благодушию, чем Александр I, хотя и поддерживал дружеские отношения со своими родственниками в Пруссии и с прусскими офицерами. В его правление мы жили на положении русских вассалов; [так это было] в 1831 г., когда Россия без нас едва ли справилась бы с поляками, особенно же при всех переменах европейской конъюнктуры с 1831 по 1850 г., когда мы неизменно акцептировали и оплачивали русские векселя; [так продолжалось до тех пор], пока русский император не отдал после 1848 г. своего предпочтения молодому австрийскому императору[23] перед королем Пруссии; русский арбитр холодно и черство вынес тогда свое решение против Пруссии и ее германских стремлений и заставил заплатить себе

полностью за дружеские услуги 1813 г., навязав нам Ольмюцское унижение[24]. Позднее, во время Крымской войны[25] и польского восстания 1863 г., мы авансом оказали России значительные [услуги], и если мы в том же году не последовали личному призыву Александра II к войне[26] и, наряду с датским вопросом, вызвали тем самым его раздражение, то это показывает лишь, как далеко вышли уже русские притязания за пределы равноправия и какого они требовали подчинения.

Дефицит нашего счета был обусловлен, во-первых, родственными чувствами и привычной зависимостью более слабого от более сильного, а затем — также и ошибочным мнением, будто император Николай питает к нам те же чувства, что и Александр I,и имеет право на признательность за услуги времен освободительных войн. На самом деле, однако, в царствование императора Николая не было никаких более глубоко коренившихся в немецкой душе побуждений поддерживать нашу дружбу с Россией на основе равенства, [не] извлекая из нее по меньшей мере той же пользы, какую извлекала Россия из оказанных нами услуг. При несколько более развитом чувстве собственного достоинства и несколько большей уверенности в своих силах мы могли бы добиться признания нашего права на взаимность, тем более что в 1830 г., после июльской революции[27], Пруссия, перед лицом этой неожиданности, была целый год, несмотря на тяжеловесность своей системы ландвера, несомненно, самой сильной и, пожалуй, единственной в Европе военной державой, остававшейся в боеспособном состоянии. Слабость и медлительность, с какими вооружалась могущественная Российская империя для борьбы с восстанием маленького Варшавского королевства[28], доказывают, насколько запущено было за 15 лет мира военное дело не только в Австрии, но и в России, за исключением, быть может, одной лишь императорской гвардии и польской армии великого князя Константина[29].

В подобном же положении находилась в то время и французская, а тем более — австрийская армия. После июльской революции Австрия потратила более года на приведение своей развалившейся военной организации в такое состояние, чтобы защищать хотя бы только свои итальянские интересы[30]. Австрийская политика отличалась при Меттернихе достаточной ловкостью, чтобы оттянуть какие-либо решения трех великих восточных держав до тех пор, пока Австрия не почувствовала себя достаточно вооруженной, чтобы иметь возможность сказать и свое слово. Вполне правильно военная машина функционировала только в Пруссии, как бы тяжеловесна она ни была, и если бы прусская политика способна была принимать самостоятельные решения, то у нее достало бы сил по собственному усмотрению предопределить в 1830 г. положение в Германии

и Нидерландах[31]. Но самостоятельной прусской политики с 1806 г. и вплоть до 40-х годов вообще не существовало: наша политика делалась тогда попеременно то в Петербурге, то в Вене. Что же касается предпринимавшихся в Берлине с 1786 по 1806 г. и с 1842 по 1862 г. попыток найти пути самостоятельной политики, то они едва ли встретят признание при их критической оценке с точки зрения ревностного пруссака.

До 1866 г. мы могли приписывать себе ранг великой державы только cum grano salis [весьма условно] и после Крымской войны сочли нужным добиваться внешнего признания за нами этого ранга, пресмыкаясь на Парижском конгрессе[32]. Мы признавали [тем самым], что нуждаемся в аттестате от прочих держав, чтобы чувствовать себя великой державой. Мы чувствовали себя не достигшими мерила, выраженного в горчаковском изречении по поводу Италии, согласно которому «une grande puissance ne se reconnait pas, elle se revele» [«великая держава не признается, она проявляет себя»]. Revelation [откровение], что Пруссия великая держава, было в свое время признано Европой (ср. главу V), но долгие годы малодушной политики привели к ее ослаблению, нашедшему в конце концов свое выражение в той жалкой роли, какую взял на себя Мантейфель в Париже. Его запоздалое допущение [к участию в конгрессе] не могло поколебать той истины, что держава, желающая, чтобы ее признали великой, должна прежде всего сама считать себя такой и иметь мужество быть ею. После всех унижений, которые нам пришлось перенести со стороны Австрии и вообще западных держав, я считал прискорбным доказательством отсутствия чувства собственного достоинства наше желание быть допущенными на конгресс и скрепить его решения своею подписью. Наше положение в 1870 г. при лондонских переговорах по вопросу о Черном море[33] могло бы доказать справедливость этого мнения, если бы Пруссия не проникла недостойным образом на Парижский конгресс. Когда Мантейфель, возвращаясь из Парижа, гостил у меня 20 и 21 апреля во Франкфурте, я позволил себе выразить ему свое сожаление по поводу того, что он не взял себе за руководство в своих действиях victa Gatoni [34] и не положил начала подобающему нам независимому положению на случай взаимного русско-французского сближения, которое можно было предвидеть по ходу событий [35]. В министерстве иностранных дел в Берлине не могло быть сомнений, что император Наполеон уже тогда имел в виду сближение с Россией и что руководящим кругам Англии заключение мира казалось преждевременным. Как достойно и независимо было бы наше положение, если бы мы не проникали унизительным образом на Парижский конгресс, а отказались участвовать в нем, не получив своевременного приглашения. Если бы мы вели себя более сдержанно, то в условиях новой группировки [держав] у нас стали

бы заискивать; даже с внешней стороны наше положение было бы достойнее, если бы признание нас великой европейской державой не ставилось нами в зависимость от наших дипломатических противников, а основывалось исключительно на собственном самосознании и сопровождалось воздержанием от претензии на участие в европейских сделках, не представлявших для Пруссии никакого иного интереса, кроме интереса голого престижа и участия в обсуждении безразличных для нас предметов, — по аналогии с Рейхенбахской конвенцией.

Упущенные возможности, приходящиеся на периоды с 1786 по 1806 г. и с 1842 по 1862 г., редко бывали поняты современниками; еще реже ответственность за них распределялась сразу же правильно. Только изучение архивных материалов и воспоминания соучастников и посвященных дали общественному мнению возможность 50—100 лет спустя установить для отдельных случаев πρῶτον ψεῦδος [первоначальное заблуждение] и момент отклонения с правильного пути. Фридрих Великий оставил богатое наследие авторитета и веры в политику и могущество Пруссии. Его преемники могли целых два десятилетия глодать его наследие — подобно тому, как нынешний новый курс[36] гложет наследие старого,— не отдавая себе отчета в слабости и ошибочности своего эпигонского хозяйничанья; вплоть до самой битвы под Иеной[37] они тешили себя преувеличенной оценкой своих военных и политических дарований. Лишь катастрофа, последовавшая в ближайшие за Иеной недели, заставила двор и народ осознать, что управление государством было преисполнено промахов и ошибок. Но чьи это были промахи и ошибки, кто лично нес ответственность за эту грандиозную и неожиданную катастрофу, — остается спорным и до сих пор.

В абсолютной монархии,— а Пруссия была в то время абсолютной монархией,— никто, кроме суверена, не несет такой доли ответственности за политику, которую можно было бы установить точно; коль скоро он принимает или одобряет те или иные мероприятия, чреватые роковыми последствиями, никому уже не дано судить, являются ли они следствием его собственной нравственной воли или результатом влияния, оказанного на монарха самыми разнообразными особами мужского и женского пола, адъютантами, царедворцами, политическими интриганами, льстецами, болтунами и наушниками. Высочайшая подпись покрывает в конечном счете все; *как* она получена — не узнает ни один человек. С точки зрения монархических взглядов наиболее простой выход заключается [в возможности] возложить ответственность за случившееся на очередного министра. Но даже в том случае, когда абсолютизм сменяется конституционной формой правления, так называемая ответственность министров вовсе не независима от воли безот-

ветственного монарха. Министр может, конечно, уйти, если он не в состоянии добиться королевской подписи под тем, что считает нужным; но, уходя, он принимает на себя ответственность за последствия своей отставки, которые могут оказаться гораздо более глубокими в других отношениях, чем в непосредственно спорной области.

Установленная в Пруссии система государственного министерства с его коллегиальной формой и соответствующим ей мажоритарным голосованием, кроме того, повседневно вынуждает министра к компромиссам и уступчивости по отношению к своим коллегам. Действительную ответственность в делах большой политики может, однако, нести только один единственный руководящий министр, а отнюдь не анонимная коллегия с мажоритарным голосованием. Выбор правильного или ложного направления сводится нередко к минимальным, но решительным поворотам, зачастую к тону или подбору слов того или иного международного документа. Даже при незначительном отклонении от правильного пути расстояние, отделяющее от него, нарастает нередко с такой быстротой, что прежняя стезя становится уже недостижимой, а возвращение к перепутью, откуда начались блуждания, — невозможным. Традиционная служебная тайна на протяжении жизни целых поколений скрывает от нас обстоятельства, при которых был сделан первый ложный шаг; вытекающая отсюда неясность прагматической связи вещей создает у руководящих министров, как это наблюдалось у ряда моих предшественников, равнодушие к существу дела, раз формальная сторона кажется обеспеченной королевской подписью или парламентским голосованием. У других конфликт между собственным честолюбием и путаницей междуведомственных отношений приводит к нервной горячке со смертельным исходом, как это было с графом Бранденбургом[38], или вызывает симптомы умственного расстройства, как в нескольких более ранних случаях.

Трудно сказать, кто по справедливости должен разделить ответственность за нашу политику в правление Фридриха-Вильгельма IV. С чисто человеческой точки зрения основная ответственность падает все же на самого короля, так как у него никогда не было выдающихся советников, способных руководить им и делами. Он оставлял за собой выбор не только в пределах советов каждого министра в отдельности, но также и в гораздо более широких пределах тех советов, которые поступали от более или менее умных адъютантов, советников кабинета, ученых, бесчестных карьеристов, честных фантазеров и царедворцев. И этот выбор он часто оставлял за собой *надолго*. А иногда менее вредно сделать что-либо плохо, нежели вообще ничего не делать. В период с 1852 до 1856 г. этот, лично столь обаятельный, государь неоднократно, и иногда в настойчивой и почти

категорической форме, выдвигал передо мной возможность стать его министром; у меня никогда не было мужества воспользоваться этой возможностью или способствовать ее осуществлению[39]. При его отношении ко мне я не пользовался бы в его глазах авторитетом; что же касается его богатой фантазии, то она оказывалась бессильной, едва ей приходилось перейти в область практических решений. Мне же недоставало гибкости и уступчивости, чтобы я мог усвоить и в качестве министра отстаивать такие направления в политике, в которые я не верил, или такие, осуществление которых я не доверил бы решимости и настойчивости короля. Он поддерживал и даже поощрял элементы разлада между своими министрами; трения между Мантейфелем, Бодельшвингом и Хейдтом, составлявшими своеобразный треугольник борющихся между собой сил, были приятны королю и служили ему вспомогательным политическим орудием в мелких столкновениях между влиянием короля и министров. Мантейфель терпел совершенно сознательно влияние и деятельность камарильи в лице Герлаха, Рауха, Нибура, Бунзена, Эдвина Мантейфеля; политику он вел скорее оборонительную, чем направленную на достижение определенных целей, «тянул все ту же канитель» («fortwurstelnd»), по выражению графа Тааффе, и был спокоен, когда мог укрыться за высочайшей подписью; и все же чистый абсолютизм без парламента сохраняет как-никак ту свою хорошую сторону, что у него остается сознание ответственности за свои собственные поступки. Гораздо опаснее абсолютизм, опирающийся на услужливый парламент и не нуждающийся ни в каком ином оправдании, кроме ссылки на согласие большинства.

Ближайшая после Крымской войны[40] благоприятная для нашей политики ситуация сложилась вследствие итальянской войны[41]. Я, разумеется, не считаю, что король Вильгельм склонен был, уже будучи регентом, перешагнуть в 1859 г. во внезапном порыве решимости пропасть, отделявшую его тогдашнюю политику от той, которая привела впоследствии к восстановлению Германской империи. Если подходить к оценке тогдашнего положения с тем масштабом, какой вытекает из поведения министра иностранных дел фон-Шлейница при последовавшем вскоре заключении Теплицского гарантийного договора[42] с Австрией, а также из отказа признать Италию, то в таком случае правомерно усомниться, можно ли было побудить тогда регента к такой политике, которая ставила бы использование прусской военной силы в зависимость от уступок на политическом поприще Германского союза. Положение рассматривалось не с точки зрения прусской политики, стремящейся вперед, а в свете традиционных забот о том, как бы снискать одобрение немецких государей, австрийского императора, а заодно и немецкой прессы, и, наконец, в свете неясных попыток заслужить некую идеаль-

ную награду за добродетельную преданность Германии, при полном отсутствии сколько-нибудь ясного представления о характере самой цели и о том, в каком направлении и какими средствами она может быть достигнута.

Под влиянием своей супруги и партии «Еженедельника»[43] регент в 1859 г. был близок к тому, чтобы принять участие в итальянской войне. Случись это, и война превратилась бы из австро-французской главным образом в прусско-французскую войну на Рейне. Россия, горевшая еще в то время ненавистью к Австрии, предприняла бы по меньшей мере демонстрацию против нас; как только мы оказались бы втянутыми в войну с Францией, Австрия, оказавшись у длинного конца политического рычага, стала бы взвешивать, где и когда положить предел нашим победам. То, чем во времена Тугута[44] была Польша на шахматной доске Европы, стала тогда Германия. Я думал, что нам следовало, продолжая вооружаться, предъявить одновременно ультиматум Австрии — либо принять наши условия в германском вопросе, либо ждать нападения. Однако фикция постоянной самоотверженной преданности «Германии», [всегда] лишь на словах, никогда на деле, влияние принцессы и ее преданного австрийским интересам министра фон-Шлейнйца и обычное фразерство парламентов, ферейнов и прессы мешали регенту оценить положение своим собственным ясным и трезвым умом, в то время как в окружавшей его политической и личной среде не нашлось человека, который показал бы ему никчемность всей этой болтовни и отстоял бы перед ним дело здравых немецких интересов. Регент и его тогдашний министр верили в справедливость изречения: «Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit que Monsieur de Talleyrand, c'est tout le monde» [«Есть кое-кто поумнее господина Талейрана — это весь свет»]. В действительности, однако, tout le monde'y [всему свету] нужно слишком много времени, чтобы осознать истину, и обычно момент, когда это сознание могло бы принести пользу, оказывается упущенным, когда tout le monde, наконец, смекает, что собственно следовало сделать.

Лишь внутренняя борьба, которую предстояло пережить регенту, а впоследствии — королю; лишь убеждение, что его министры «новой эры» неспособны сделать его подданных счастливыми и довольными, держать их в повиновении и добиться внешнего выражения—на выборах и в парламентах—их удовлетворенного настроения, на что он надеялся и к чему стремился; лишь затруднения, которые привели короля в 1862 г. к решению об отречении[45],— лишь все это вместе взятое оказало на душу и на здравый смысл короля то влияние, которое помогло ему перейти от его монархических взглядов 1859 г. по мосту датского вопроса[46] к точке зрения 1866 г., от слов к действиям, от фразы — к делу.

При тогдашних, и без того трудных, европейских ситуациях руководство внешней политикой со стороны министра, который намерен был вести трезвую и практичную политику, без династической сентиментальности и свойственного двору византинизма, чрезвычайно осложнялось мощными перекрестными воздействиями; сильнее и эффективнее всего проявлялись влияние королевы Августы и ее министра Шлейница, а также другие влияния, исходившие от государей и родственной корреспонденции; кроме того, свою роль играли инсинуации враждебных элементов при дворе, а равно — иезуитских агентов (Нессельроде, Штильфрид и т. д.), разных интриганов и опасных соперников вроде Гольца и Гарри Арнима, а также соперников неопасных, как, например, бывшие министры и жаждавшие стать министрами парламентарии. Нужна была вся искренняя и благородная преданность короля своему первому слуге, чтобы его доверие ко мне не поколебалось.

Король отправился ко дню рождения своей супруги (30 сентября) в Баден-Баден, а я поехал в первых числах октября навстречу ему до Ютербока, где, сидя в темноте на опрокинутой тачке, ожидал его на недостроенном вокзале, переполненном ремесленниками и пассажирами третьего класса. Я искал случая увидеть его величество с намерением как можно скорее успокоить его насчет одного заявления, сделанного мною 30 сентября в бюджетной комиссии, хотя и не застенографированного, но воспроизведенного газетами довольно верно и наделавшего много шума.

Людям, не ослепленным честолюбием и злобой, сказанное достаточно ясно показывало, куда я стремлюсь. Пруссия — таков был смысл моих слов — не может, как показывает даже беглый взгляд на карту, нести впредь одна, при своем узком, растянутом в длину теле, все бремя вооружений, необходимых для спокойствия Германии; это бремя должно быть равномерно распределено между всеми немцами. Мы не приблизимся к этой цели путем речей, ферейнов, решений большинства, нам не избежать серьезной борьбы, такой борьбы, которая может быть решена только железом и кровью. Для того чтобы обеспечить нам победу в этой борьбе, депутаты должны вручить королю Пруссии как можно больший груз железа и крови, дабы он мог, по своему усмотрению, бросить его на ту или другую чашу весов. Ту же мысль я высказал уже в 1849 г. с трибуны палаты депутатов в своем выступлении против Шрамма во время дебатов об амнистии.

Роон, слышавший мою речь, выразил мне на обратном пути неодобрение по поводу сказанного мною, заметив, между прочим, что считает такого рода «остроумные экскурсы» не слишком полезными для нашего дела. Сам я колебался между желанием завербовать депутатов в пользу энергичной национальной политики и опасением возбудить недоверие к себе и к своим на-

мерениям со, стороны короля, по натуре осторожного и не расположенного к насильственным мерам. Навстречу ему в Ютербок я отправился с тем, чтобы своевременно помешать возможному влиянию на него прессы.

Мне не сразу удалось узнать у неразговорчивых кондукторов следовавшего по обычному расписанию поезда, в каком вагоне едет король; он сидел совершенно один в простом куме первого класса. Под влиянием свидания с супругой он был явно в подавленном настроении, и когда я попросил у него позволения изложить события, происшедшие в его отсутствие, он прервал меня словами:

«Я предвижу совершенно ясно, чем все это кончится. На Оперной площади, под моими окнами, отрубят голову сперва вам, а несколько позже и мне».

Я догадался (и впоследствии мне это подтвердили свидетели), что в течение восьмидневного пребывания в Бадене его обрабатывали вариациями на тему: Полиньяк, Страффорд, Людовик XVI[47]. Когда он умолк, я отвечал коротко: «Et apres, Sire?» [«А затем, государь?»] «Что ж, apres нас не будет в живых», — возразил король. «Да,— продолжал я, — нас не будет в живых, но ведь мы все равно умрем рано или поздно; а разве может быть более достойная смерть? Сам я умру за дело моего короля, а ваше величество запечатлеете своею кровью ваши божией милостью королевские права; на эшафоте ли или на поле брани, не все ли равно, где доблестно отдать жизнь за права божией милостью? Ваше величество не должны думать о Людовике XVI; он был слаб духом при жизни и перед лицом смерти и как историческая фигура — не на высоте. Но возьмите Карла I[48], — разве не останется навеки одним из благороднейших явлений в истории тот факт, что, обнажив меч в защиту своих прав и проиграв сражение, он гордо скрепил собственной кровью свои королевские убеждения? Ваше величество стоите перед необходимостью бороться, вы не можете капитулировать, вы должны воспротивиться насилию, хотя бы это и было сопряжено с опасностью для жизни».

Чем долее я говорил в этом духе, тем более оживлялся король, тем более входил он в роль офицера, борющегося с оружием в руках за королевскую власть и отечество. Перед лицом внешней личной опасности он проявлял редкое и вполне естественное у него бесстрашие как на поле битвы, так и при покушениях на его жизнь[49]; в минуты внешней опасности он держал себя так, что воодушевлял своим примером других. В нем нашел свое высшее воплощение идеальный тип прусского офицера, который при исполнении служебного долга безбоязненно и самоотверженно идет на верную смерть с одним словом «приказано»; когда же ему приходится действовать на свой страх, то он пуще смерти боится осуждения со стороны начальства

и окружающих, так что боязнь получить выговор или выслушать порицание мешает ему принимать правильные решения и энергично осуществлять их. До встречи со мною король всю дорогу задавал себе вопрос, в состоянии ли он будет устоять перед критикой супруги и перед общественным мнением и удержаться на том пути, на который вступил со мною. В противовес этому, под влиянием нашего разговора в темном купе, он понял роль, которую ему при существующих обстоятельствах предстояло играть, главным образом с точки зрения офицера. Он почувствовал себя офицером, которого схватили за портупею и которому дан приказ удержать ценой жизни определенную позицию. Это ввело его в привычный ему круг мыслей, и он в несколько минут обрел ту уверенность, которой его лишили в Бадене, и даже свойственную ему веселость. Жертвовать жизнью за короля и отечество — обязанность каждого прусского офицера, тем более короля, первого офицера страны. Как только он взглянул на свое положение с точки зрения офицерской чести, оно представилось ему столь же ясным, как ясна для всякого нормального прусского офицера необходимость защищать, согласно приказу, быть может, даже безнадежную позицию. Его уже не беспокоила перспектива «разбора маневров», которому мог подвергнуться его политический маневр со стороны общественного мнения, истории и его супруги. Он проникся задачей первого офицера прусской монархии, который считает смерть при исполнении служебного долга доблестным завершением того, что ему поручено. Справедливость моего наблюдения доказывается тем, что король, которого я застал в Ютербоке утомленным, угнетенным и обескураженным, подъезжая к Берлину, пришел в бодрое, можно сказать, приподнятое боевое настроение, которое проявилось самым недвусмысленным образом перед встречавшими его министрами и должностными лицами.

Если грозные исторические реминисценции, которые вызывали у короля в Бадене, могли быть применены к нашим условиям лишь недобросовестным или нелепым образом, все же наше положение было достаточно серьезным. Некоторые прогрессивные газеты выражали надежду, что мне придется прясть шерсть на благо государства[50], а 17 февраля 1863 г. палата депутатов большинством 274 голосов против 45 возложила на министров личную и имущественную ответственность за противоконституционные траты. Мне подали мысль передать брату мою земельную собственность ради ее спасения. Однако такая ее передача с целью сберечь имение при конфискации моего имущества, которая не исключалась в случае перемены на троне, произвела бы впечатление трусости и алчности, что мне претило. Кроме того, мое место в палате господ было связано с обладанием Книпгофом[51].

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ДИНАСТИИ И ПЛЕМЕНА

Никогда, и в частности во время моего пребывания во Франкфурте, я не сомневался в том, что ключ к германской политике находится в руках государей и династий, а не у публицистики — в парламенте и прессе — и не у баррикады. Общественное мнение образованных людей в парламенте и в прессе могло оказывать на династии влияние, сдерживающее или поощряющее их решимость; но вместе с тем эти выступления, пожалуй, чаще усиливали сопротивление династий, нежели оказывали на них давление в национальном направлении. Более слабые династии искали опоры, примыкая к национальному делу; те же государи и владетельные дома, которые в большей мере чувствовали себя способными к сопротивлению, относились к этому движению с недоверием, ибо укрепление немецкого единства было связано с ограничением их независимости в пользу центральной власти или народного представительства. Прусская династия могла предвидеть, что с усилением ее мощи и влияния гегемония в будущей германской империи будет в конце концов принадлежать ей. Можно было также предугадать, что capitis deminutio [умаление прав], которого так опасались прочие династии, послужит ей на пользу, если только оно не будет поглощено национальным парламентом. С тех пор как во Франкфуртском союзном сейме идея австро-прусского дуализма [в Германии], под впечатлением которой я туда явился, уступила место сознанию необходимости оградить наше положение от нападок и хитроумных интриг председательствовавшей в сейме державы[1]; после того как я уверился, что взаимное сближение Австрии и Пруссии представляет собой юношескую мечту, возникшую под влиянием освободительных войн[2] и школы; после того как я убедился, наконец, что той Австрии, на которую я до тех пор рассчитывал, для Пруссии не существует, — после всего этого во мне созрело убеждение, что, опираясь на авторитет Союзного сейма, Пруссия не сможет вернуть себе даже

то положение, какое она занимала в Союзе до марта [1848 г.]. Я уже не говорю о том, что невозможна была такая реформа союзной конституции, которая открывала бы перед немецким народом перспективу осуществления его притязаний на существование, в международно-правовом смысле, в качестве одной из великих европейских наций.

Помню, какой поворот совершился в моих взглядах, когда во Франкфурте мне пришлось прочесть до того мне не известную депешу князя Шварценберга от 7 декабря 1850 г., в которой он излагал итоги Ольмюца[3] так, будто от него зависело «унизить» Пруссию или же великодушно простить ее. Мекленбургский посланник господин фон-Эрцен, человек честных, консервативных убеждений, и одних со мной взглядов на дуалистическую политику, с которым я беседовал по этому поводу, старался успокоить меня, видя, до какой степени шварценберговская депеша задела мои прусские чувства. Несмотря на оскорбительную для чувств пруссака унизительность наших выступлений в Ольмюце и Дрездене[4], я приехал во Франкфурт еще благожелательно настроенным к Австрии; но, ознакомившись там по официальным документам с шварценберговской политикой «avilir, puis demolir» [«унизить, затем уничтожить»], я утратил мои юношеские иллюзии. Гордиевузел[5] наших германских взаимоотношений не допускал полюбовного, дуалистического развязывания, его можно было разрубить только силой оружия; дело заключалось в том, чтобы склонить прусского короля, сознательно или бессознательно, а тем самым и прусское войско, к служению национальному делу, независимо от того, что рассматривалось при этом в качестве основной задачи: руководящая ли роль Пруссии, с борусской точки зрения, или же вопрос об объединении Германии с точки зрения национальной. Обе цели покрывали друг друга. Это было мне ясно, и на это я указывал, употребив на заседании бюджетной комиссии (30 сентября 1862 г.) выражение о железе и крови[6], вызвавшее так много превратных толкований.

Номинально Пруссия была великой державой, по крайней мере пятой из них; это положение было достигнуто ею благодаря духовному превосходству Фридриха Великого и восстановлено мощным проявлением народной силы в 1813 г.[7] Если бы не император Александр I с его рыцарским поведением, которого он держался с 1812 г. вплоть до Венского конгресса под влиянием Штейна (во всяком случае под немецким влиянием),— сомнительно, достаточно ли было бы национального воодушевления 4 миллионов пруссаков (по Тильзитскому миру)[8] и еще некоторого, быть может, такого же числа sympathizers [сочувствующих] в старопрусских или иных немецких землях, чтобы при тогдашней дипломатии Гумбольдта и Гарденберга и при робости Фридриха-Вильгельма III национальный

подъем мог привести хотя бы к тому искусственному воссозданию Пруссии, как это произошло в 1815 г. Материальный вес Пруссии не соответствовал в то время ее духовному значению[9] и ее фактической роли в освободительных войнах.

Немецкий патриотизм для своего деятельного и энергичного проявления нуждается, как правило, в посредствующем звене в виде чувства приверженности к династии; вне этого он проявляется на практике лишь в редких случаях, хотя теоретически это происходит ежедневно в парламентах, в газетах и на собраниях; in praxi [на деле] немцу нужна династия, которой он был бы предан, или же какой-нибудь повод к раздражению, который возбудил бы его гнев, побуждающий к действию. Но последнее по природе своей не может быть продолжительно. У нас всякий скорее готов засвидетельствовать свой патриотизм в качестве пруссака, ганноверца, вюртембержца, баварца, гессенца, нежели в качестве немца; пройдет еще много времени, пока это изменится в низших классах и в парламентских фракциях. Нельзя сказать, чтобы ганноверская, гессенская или какая-либо иная династия особенно старалась завоевать расположение своих подданных, и все же немецкий патриотизм последних существенным образом обусловлен привязанностью к той династии, именем которой они себя называют. Не в племенных различиях, а в династических взаимоотношениях коренится первооснова центробежных сил. Усиливается не тяга к племенной самобытности — швабской, нижнесаксонской, тюрингенской[10], а обособление областей господства отдельных владетельных домов, выделившихся в качестве династий Брауншвейгской, Брабантской, Виттельсбахской, для династического участия в организме нации. Единство Баварского королевства зиждется не только на баюварском племени, обитающем на юге Баварии и в Австрии,— аугсбургский шваб, и пфальцский алеман, и майнский франк[11] — люди очень различного происхождения — с тем же удовлетворением называют себя баварцами, как и старобаварец в Мюнхене и Ландсгуте, исключительно потому, что на цротяжении трех поколений они связаны с последними общностью династии. Наиболее резко выраженные племенные типы — верхненемецкий, нижненемецкий, саксонский — выделяются, в силу династических влияний резче и сильнее остальных племен. Немецкая любовь к родине нуждается в государе, на котором сосредоточиваются чувства приверженности. Если вообразить себе такое положение, что все немецкие династии внезапно оказались бы устраненными, то представляется маловероятным, чтобы среди трений европейской политики немецкое национальное чувство способно было обеспечить единство всех немцев в международно-правовом смысле, хотя бы только в форме федерации ганзейских

городов[12] и имперских деревень[13]. Лишившись связующего начала, которое заложено в сознании сословной общности владетельных князей, немцы стали бы добычей более крепко спаянных наций.

Исторически наиболее резко выраженной племенной самобытностью безусловно отличаются в Германии пруссаки, и все же никто не сумеет с уверенностью ответить на вопрос, сохранится ли государственное единство Пруссии, если представить себе, что династия Гогенцоллернов или какая-либо иная, законно ей наследовавшая, исчезнет. Можно ли считать несомненным, что восточная и западная часть [Пруссии], померанцы, ганноверцы, гольштейнцы и силезцы, что Аахен и Кенигсберг[14], объединенные в неделимом прусском национальном государстве, продолжали бы и без династии жить попрежнему? Сохранила ли бы Бавария, если представить ее себе изолированно, свою крепкую сплоченность, если бы династия Виттельсбахов[15] бесследно исчезла? Некоторые династии имеют кое-какие воспоминания, которые как раз не особенно способны пробудить преданность в разнородных частях, из коих исторически сложились эти государства. У Шлезвиг-Гольштейна совершенно нет династических воспоминаний, особенно в антиготторпском духе[16], и все же одна лишь перспектива создать вновь самостоятельный маленький двор с министрами, гофмаршалами, орденами и вести жизнь самостоятельного малого государства за счет выполнения Пруссией и Австрией своих союзных обязательств вызвала в приэльбских герцогствах[17] довольно сильное партикуляристское движение. Великое герцогство Баден не имеет со времен маркграфа Людвига—героя Белграда[18] почти никаких династических преданий. Быстрый рост этого маленького княжества в Рейнском союзе под французским покровительством[19], придворная жизнь последних герцогов старой линии, брачная связь с домом Богарне, история с Каспаром Гаузером[20], революционные события 1832 г.[21], изгнание дружественно настроенного к бюргерству великого герцога Леопольда, изгнание правящего дома в 1849 г.[22] — все это не могло сломить силу повиновения страны своей династии, и в 1866 г. Баден воевал против Пруссии[23] и немецкой национальной идеи, потому что этого неотвратимо требовали династические интересы царствующего дома.

Прочие европейские народы не нуждаются в подобном посредствующем звене для проявления своего патриотизма и своих национальных чувств. Поляки, венгерцы, итальянцы, испанцы, французы сохранили бы единство и сплоченность как нация при любой династии и даже при отсутствии таковой. Германские племена на севере, шведы и датчане, показали себя достаточно свободными от династической сентиментальности. В Англии внешняя почтительность перед короной составляет признак хорошего тона, и все партии, принимавшие доселе

участие в управлении страной, признают нужным формальное сохранение королевской власти. Но я не думаю, чтобы народ распался или чтобы могли на деле проявиться такие чувства, как во времена якобитов[24], если бы историческое развитие показало, что смена династии или переход к республике нужны или полезны британскому народу.

Преобладание чувства приверженности к династии и необходимость иметь династию как связующее звено для сплочения определенной части нации именем династии составляют специфическую особенность имперских немцев. Отдельные народности, сложившиеся у нас на почве родовых владений династий, состоят по большей части из разнородных элементов; их общая принадлежность основана не на общности по племени и не на общности исторического развития, но исключительно на факте далеко не всегда безупречного приобретения династией, по праву сильного или по наследству, в силу родственных отношений, наследственного побратимства (Erbverbruderung), или привилегий, полученных от императорского двора при выборах императора. Каково бы ни было происхождение этой партикуляристской сопринадлежности в Германии, ее результатом остается тот факт, что немец всегда готов бороться со своим немецким соседом и соплеменником огнем и мечом и самолично убить его, если в силу каких-либо споров, ему самому непонятных, последует соответственный приказ правящей династии. Исследовать вопрос о том, насколько оправдана и разумна эта особенность, не входит в задачу немецкого государственного деятеля до тех пор, пока эта черта проявляет себя настолько сильно, что с нею приходится считаться. Трудность искоренить эту особенность и игнорировать ее или теоретически поддерживать единство, не обращая внимания на эту практическую помеху, — все это нередко оказывалось роковым для передовых борцов за единство, особенно при попытках использовать благоприятную обстановку национального движения с 1848 до 1850 г. Я вполне понимаю приверженность нынешней партии вельфов[25] к старой династии и не знаю, не принадлежал ли бы и я к этой партии, если бы родился староганноверцем. Но и в этом случае я не мог бы избежать влияния национального немецкого чувства и не был бы удивлен, если бы vis major [непреодолимая сила] общенационального [сознания] беспощадно уничтожила мою верность и преданность династии и личные симпатии. В политике, и не только в немецкой, задача погибнуть с честью выпадает также на долю и других душевных побуждений, имеющих еще большее оправдание; неспособность выполнить эту задачу ослабляет до известной степени симпатию, которую мне внушает вассальная верность брауншвейгским курфюрстам[26].

Всюду, где немецкое национальное чувство вступает в борьбу с партикуляризмом, я вижу все же большую силу в первом: ведь сам партикуляризм, и прусский также, возник из возмущения против всенемецкой общности (das gesammtdeutsche Gemeinwesen), против императора и империи, путем отпадения от обоих, при поддержке папы, а впоследствии французов — в общем при чуждом романском содействии, неизменно и одинаково вредном и опасном для всенемецкой общности. Для устремлений вельфов на все времена остается определяющей первая веха на их историческом пути — отпадение Генриха Льва перед битвой при Леньяно[27], дезертирство по отношению к императору и империи в личных и династических интересах в момент самой тяжелой и самой опасной борьбы.

Династические интересы оправданы в Германии лишь настолько, насколько они приспособляются к общим национальным интересам империи, с коими они прекрасно могут итти рука об руку; владетельный герцог, по-старинному верный империи, при определенных обстоятельствах полезнее для общего дела (dem Ganzen), нежели непосредственные отношения императора к герцогским вассалам. Но если бы династические интересы стали угрожать нам новым раздроблением и бесбилием нации, то их следовало бы свести к надлежащим размерам. Немецкий народ и его национальная жизнь не могут быть поделены, как частная собственность, между отдельными князьями. Я всегда был того мнения, что это соображение применимо в такой же мере к Бранденбургской династии, как к Баварской, Вельфской и прочим династиям. Если бы осуществление моих немецких национальных чувств требовало разрыва с бранденбургским владетельным домом и выступления против него, я оказался бы в отношении к нему безоружным; но историческое предопределение было таково, что моих талантов придворного оказалось достаточно, чтобы привлечь короля, а тем самым и его армию на сторону германского дела. Против прусского партикуляризма мне пришлось выдержать, пожалуй, даже более трудную борьбу, нежели против партикуляризма остальных немецких государств и династий, и эта борьба осложнялась для меня еще моей врожденной преданностью императору Вильгельму I. И все же, несмотря на сильные династические устремления императора, но, с другой стороны, благодаря его династически обоснованным национальным устремлениям, которые в решающие моменты всегда усиливались, мне в конце концов всегда удавалось привлечь императора на сторону германского направления нашего развития, даже тогда, когда со всех сторон настаивали на более династическом и партикуляристском направлении. В ситуации, создавшейся в Никольсбурге[28], мне удалось достигнуть этого лишь при содействии

тогдашнего кронпринца[29]. Территориальный суверенитет[30] отдельных владетельных князей в ходе немецкой истории приобрел неестественно большое значение; отдельные династии, не исключая Пруссии, сами по себе никогда не обладали по отношению к немецкому народу большим историческим правом на его раздробление в своих частновладельческих интересах, на суверенное обладание отдельными частями национального организма, нежели при Гогенштауфенах[31] и при Карле V. Неограниченный государственный суверенитет династий, имперского рыцарства[32], имперских городов[33] и имперских деревень[34] представлял собой революционный захват за счет нации и ее единства. На меня всегда производил впечатление чего-то неестественного тот факт, что затерявшаяся в лесах и болотах граница отделяет нижнесаксонского жителя Альтмарка, у Зальцведеля, от нижнесаксонца в курфюршестве Брауншвейгском, у Люхова,— относит живущих по обе стороны нижнесаксонцев, говорящих на одном и том же нижненемецком наречии (plattdeutsch), к двум различным и подчас враждебным государственно-правовым образованиям, из коих одно управлялось из Берлина, а другое — раньше из Лондона, а затем из Ганновера[35]; одно стояло наготове, обратив глаза на Восток, другое — на Запад; что одни и те же мирные крестьяне этой местности, связанные между собою семейными узами, должны были при случае стрелять друг в друга: одни — во имя вельфско-габсбургских, другие — во имя гогенцоллерновских интересов[36]. Уже одно то, что это было вообще возможно, доказывает, с какой силой и глубиной влияет династическая приверженность на немца. Династии всегда оказывались сильнее прессы и парламентов; это подтверждено тем фактом, что в 1866 г. государства Германского союза, династии которых находились в сфере австрийского влияния, действовали, невзирая на национальные устремления, заодно с Австрией, и только те из них шли за Пруссией, которые находились «под дулом прусских пушек». Из числа последних, правда, исключение составили Ганновер, Гессен и Нассау[37], ибо они считали Австрию достаточно сильной, чтобы победоносно отразить все притязания Пруссии. Им пришлось за это поплатиться, ибо не удалось убедить короля Вильгельма в том, что Пруссия, стоящая во главе Северогерманского союза[38], едва ли нуждается в расширении своей территории. Не подлежит, однако, сомнению, что и в 1866 г. материальная сила государств Германского союза была в распоряжении династий, а не парламентов, и что саксонцы, ганноверцы и гессенцы проливали кровь не за немецкое единство, а в борьбе против него.

Династии повсюду являлись тем центром, вокруг которого кристаллизовалось влечение немцев к обособлению в узкие союзы.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

МИНИСТЕРСТВО КОНФЛИКТА[1]

I

При распределении министерств кандидатов оказалось немного и назначение министра финансов отняло меньше всего времени: оно было предоставлено уже занимавшему этот пост при Мантейфеле с 1851 по 1858 г. господину *Карлу фон-Бодельшвингу* — брату вышедшего в марте 1848 г. в отставку министра внутренних дел Эрнста фон-Бодельшвинга. Правда, вскоре обнаружилось, что ни он, ни граф Иценплиц, которому досталось министерство торговли, не были в состоянии руководить своими министерствами. Оба они ограничивались тем, что скрепляли своей подписью заключения сведущих советников и старались по возможности сгладить расхождения между политикой короля и государственного министерства и мнениями этих советников, часть которых была либералами, часть же оставалась во власти узко ведомственных точек зрения. Весьма сведущие в делах чины финансового ведомства в своем большинстве находились в скрытой оппозиции министерству конфликта и считали его лишь кратковременным эпизодом в дальнейшем либеральном развитии бюрократической правительственной машины; хотя наиболее деловитые из них были слишком добросовестными людьми, чтобы тормозить деятельность правительства, все же они оказывали ему, насколько это допускало чувство их служебного долга, пассивное, но довольно упорное сопротивление. Подобное положение приводило к той несообразности, что господин фон-Бодельшвинг, стоявший по своим личным убеждениям правее всех нас, остальных министров, занимал обычно при голосовании одно из самых левых мест.

Министр торговли граф *Иценплиц* также не в силах был самостоятельно управлять своим перегруженным ведомственным кораблем и плыл туда, куда его вели подчиненные. Для тогдашнего министерства торговли с его столь различными отраслями, пожалуй, и не найти было начальника, который во всех подведомственных ему областях был бы способен руко-

водить своими подчиненными, но даже и при этих условиях граф Иценплиц был гораздо менее знаком с подлежавшими его разрешению задачами, чем, например, фон-дер-Хейдт, и довольно беспомощно подчинялся в технических вопросах компетентному руководству своих децернентов, особенно Дельбрюка. К тому же человек он был по природе мягкий, лишенный энергии, необходимой для руководства столь обширным ведомством; этому, лично щепетильному в вопросах чести, начальнику стоило больших усилий принять меры даже против тех очень беспокоивших его злоупотреблений, в которых обвиняли тогда отдельных видных сотрудников министерства торговли, так как он считал, что технически не обойтись без подозрительных ему самому чиновников. Мне лично не приходилось рассчитывать на поддержку моей политики обоими коллегами, о коих идет речь, и потому, что они ее не понимали, и по той доле доброжелательства, которую они уделяли мне, как более молодому, не причастному ранее к делам, президенту.

На посту министра внутренних дел я застал господина *фон-Ягова,* но он вскоре так восстановил против себя своих коллег резкостью тона, многословием и самоуверенностью в спорах, что его пришлось заменить графом *Фридрихом Эйленбургом.* Его характеризует один эпизод, относящийся уже к тому времени, когда он ушел из министерства и занял место обер-президента[2] в Потсдаме. По весьма важным для города Берлина делам шли переговоры, в которых Ягов являлся по должности посредствующим звеном между правительством и городскими властями. Дело было настолько срочным, что государственное министерство предложило обер-бюргермейстеру отправиться в Потсдам, получить по одному решающему пункту устное мнение обер-президента и доложить об этом на специально назначенном вечернем заседании министерства. Обер-бюргермейстер получил двухчасовую аудиенцию; но, явившись для доклада на заседание, он заявил, что ничего не может доложить, так как господин обер-президент не дал ему слова вымолвить за те два часа, которые были в его распоряжении между приходом и отходом поезда. Он неоднократно пытался поставить свой вопрос, рискуя даже оказаться невежливым, но его начальник каждый раз и со все возраставшей энергией останавливал его словами: «Позвольте, я еще не кончил, дайте мне досказать». Это сообщение обер-бюргермейстера вызвало по деловым соображениям досаду, но одновременно и известное оживление, напомнив, что и с нами бывали случаи в этом роде.

Способности моего коллеги по министерству земледелия *фон-Зелъхова* не соответствовали славе, какой он пользовался в органах провинциального управления. Король предназначал ему важнейшее тогда министерство внутренних дел. После

довольно продолжительной беседы с господином фон-Зельховым я, познакомившись с ним, просил его величество изменить свое намерение, так как, по моему мнению, Зельхову непосильна такая задача, и предложил назначить не его, а графа Фридриха Эйленбурга. Оба они были связаны с королем как масоны[3] и при тех затруднениях, с которыми сопряжено было пополнение министерства, решились вступить в него лишь в декабре. Король сомневался, достаточно ли подготовлен граф Эйленбург к управлению внутренними делами, и хотел предоставить ему министерство торговли, графу Иценплицу — министерство земледелия, а Зельхову — министерство внутренних дел, Я развил в ответ те соображения, что ведомственная компетентность Эйленбурга и Зельхова, как министров торговли, стоит примерно на одинаковом уровне; в обоих случаях этой компетентности пришлось бы искать не столько у них самих, сколько у их советников; я в этом отношении придаю гораздо большее значение личным способностям, ловкости и знанию людей, чем технической подготовке. Я согласен с тем, что Эйленбург не особенно трудолюбив и очень склонен к удовольствиям, но он человек умный и решительный, и если бы он, как министр внутренних дел, оказался в ближайшее время на линии огня, то необходимость защищаться и отвечать ударами на удары вывела бы его из состояния бездеятельности. Король, наконец, уступил, и я по сию пору уверен, что при тогдашних обстоятельствах мой выбор был правилен; правда, мне приходилось подчас тяжело из-за недостатка работоспособности и слабо развитого чувства долга у моего друга Эйленбурга, но зато, когда у него бывали приливы энергии, он был отличным помощником и всегда обнаруживал тонкий ум, впрочем, не без некоторого избытка честолюбия и обидчивости даже по отношению ко мне. Когда периоды отречения и напряженного труда затягивались, он подвергался нервному недомоганию. Как бы то ни было, он и Роон были наиболее выдающимися деятелями министерства конфликта.

Роон был единственным из всех моих будущих коллег, кто понимал при моем вступлении в министерство его истинное значение и смысл, а также предстоявший нам план действий, который он обсуждал вместе со мной. Никто не мог сравниться с ним в верности, смелости и работоспособности, никто ни до, ни после моего назначения не оказал такой помощи в борьбе за преодоление кризиса, в который вверг государство эксперимент «новой эры»[4]. Роон знал свое ведомство и владел им, был лучшим оратором среди нас, человеком большого ума и непоколебимых убеждений прусского офицера, ставящего свою честь выше всего* В политических вопросах он разбирался так же хорошо, как Эйленбург, но был последовательнее его, увереннее и осторожнее. В частной жизни он был без-

упречен. Я был с ним в личной дружбе еще с детства, когда он шил в доме моих родителей (1833 г.), занимаясь топографической съемкой, и лишь изредка терпел от его вспыльчивости, которая легко достигала угрожавшей его здоровью степени. В то время когда, в 1873 г., я передал ему председательствование, те же самые карьеристы, вроде Гарри Арнима и более молодых военных, которые вместе со своими союзниками действовали против меня в «Kreuzzeitung»[5] и через «Reichsglocke»[6], обхаживали Роона, с тем чтобы вызвать отчуждение между ним и мною. Его председательствованию был положен конец без моего содействия, по инициативе моих остальных коллег; [чем] сильнее возрастала с годами вспыльчивость Роона и [чем меньше] импонировали ему наши сотоварищи в штатском, [тем острее] чувствовали они несоблюдение им тех форм, на которых они настаивали в коллегиальных взаимоотношениях; это привело к тому, что они поставили передо мной, а через Эйленбурга и перед королем, вопрос о том, чтобы я снова взял на себя председательствование. К моему сожалению, и помимо моего умысла, главным образом в результате сплетен, это вызвало у Роона в последние годы его жизни не прямое охлаждение, но все же известную сдержанность по отношению ко мне, а у меня — такое ощущение, что мой лучший друг и товарищ не выступил против систематически распространявшейся обо мне лжи и клеветы с той решительностью, какую, думаю, проявил бы я в подобном случае.

У министра культов *фон-Мюлера* было в деловом отношении много общего с его позднейшим преемником фон-Госслером, с той лишь разницей, что на него оказывали влияние любительский интерес к делам и энергия его бойкой и — когда она хотела того — приятной жены, более сильной воле которой он, невидимому, подчинялся; правда, вначале я знал об этом не по непосредственным наблюдениям, но мог заключить, что это так лишь по впечатлению, которое оба они произвели на меня при личных встречах. Припоминаю, что уже в Гаштейне[7] в августе 1865 г. мне пришлось однажды настаивать, отбросив учтивость, на том, чтобы переговорить с господином фон-Мюлером с глазу на глаз по поводу одного королевского повеления, прежде чем удалось убедить супругу министра оставить нас вдвоем. Факт подобного давления привел его в дурное расположение духа, что, ввиду его служебной опытности, не повлияло первоначально на мое отношение [к нему] на деловой почве, но неблагоприятно отразилось на нашем личном общении. Заимствуя свое политическое направление не у супруга, а у королевы, госпожа фон-Мюлер заботилась больше всего о поддержании связей с ее величеством. Придворная атмосфера, вопросы ранга, внешнее проявление высочайшего благоволения нередко оказывают на жен наших министров

влияние, которое дает себя чувствовать в политике; противоречившая, как правило, государственным интересам личная политика императрицы Августы находила в лице госпожи фон-Мюлер усердного слугу, а господин фон-Мюлер, хотя он и был благоразумным и честным чиновником, не обладал достаточно твердыми убеждениями, чтобы не делать для поддержания домашнего мира некоторых уступок в ущерб государственной политике, когда это не слишком бросалось в глаза.

Министр юстиции граф *цур-Липпе,* вероятно, еще со времен своей деятельности в качестве государственного прокурора сохранил привычку говорить самые резкие вещи с улыбкой и язвительным выражением превосходства, раздражая этим парламент и коллег. Наряду с Бодельшвингом он занимал среди нас крайнюю правую позицию и резче его отстаивал свое направление, так как был в своем ведомстве достаточно сведущим человеком, чтобы руководствоваться собственным убеждением, тогда как Бодельшвинг не в состоянии был овладеть делами министерства финансов без ревностной помощи своих компетентных советников; советники же эти стояли по своим политическим взглядам левее своего шефа и всего министерства.

II

Публично-правовой вопрос, к которому сводился конфликт, и взгляд, усвоенный на него кабинетом и заслуживший одобрение короля, изложен в письме его величества к подполковнику барону фон-Финке из Ольбендорфа, близ Гротткау; о письме этом упоминалось в свое время в прессе, но, сколько мне помнится, оно не было опубликовано полностью, хотя вполне заслуживает этого, тем более что оно объясняет позицию короля в вопросе об индемнитете[8].

Господин *фон-Финке* в заключение своего поздравительного письма королю к новому, 1863 году писал: «Народ остается верным вашему величеству, но в то же время он твердо стоит за право, которое недвусмысленно предоставлено ему 99-й статьей конституции[9]. Да отвратит господь в своем милосердии злополучные последствия крупного недоразумения».

Король ответил 2 января 1863 г.:

«Я искренне вам благодарен за ваши любезные пожелания к Новому году. Наступающий Новый год не сулит ничего отрадного, — доказывать это нет нужды. Но мне непонятно, почему и вы бьете тревогу, будто я не знаю настроения значительного большинства народа; по всей вероятности, вы не читали моих ответов многочисленным депутациям, являвшимся ко мне с выражением своих верноподданнических чувств. Я снова и снова повторял, что мое доверие к народу *непо-*

колебимо, ибо я знаю, что народ *мне* доверяет; но *тех,* кто хотел *отнять* у меня его доверие и любовь, *тех* я проклинаю, так как *их* планы осуществимы лишь в том случае, если это доверие *будет* поколеблено. А что *они* считают пригодными для этой цели *любые* пути, известно всему свету, ибо их планы созревают *лишь* на почве лжи, обмана и надувательства.

Вы говорите далее: *народ* требует соблюдения § 99 конституции. Хотел бы я знать, много ли найдется людей в *народе,* которые знают § 99 или когда-либо слышали о нем!!! Впрочем, это безразлично и не меняет сущности дела, ибо для *правительства* этот параграф существует и подлежит соблюдению.Но кто сделал невозможным выполнение этого параграфа? Не я ли согласился между зимней и летней сессиями уступить 4 миллиона и сообразно с этим изменил — к сожалению! — военный бюджет? Не я ли пошел—к сожалению!—и на многие другие уступки, чтобы доказать новой палате готовность правительства итти ей навстречу? А к чему это повело? К тому, что палата депутатов делала вид, будто я ровно *ничего* не сделал, чтобы пойти ей навстречу, и требовала все новых и новых уступок, что привело бы, наконец, к тому, что управлять страной стало бы невозможно. Кто таким образом пользуется своим правом, т. е. урезывает бюджет так, что все в государстве прекращается, тому место в сумасшедшем доме!. Где сказано в конституции, что *только* правительство должно итти на уступки, а депутаты никогда??? После того как я пошел на уступки в неслыханных размерах, палате депутатов следовало бы уступить со своей стороны. Но она ни за что не соглашалась на это, и так называемый «эпизод»[10] доказывает ясно, как день, что нам ставили одну ловушку за другой, в которую из-за низости Бокум-Дольфса попали *даже* ваш двоюродный брат Патов и Шверин. 234 тысячи рейхсталеров намечалось сократить еще на 1862 г., чтобы сделать бюджет приемлемым, хотя самая сущность вопроса подлежала обсуждению лишь в 1863 г.; это было предъявлено уже в *печатном* виде; я соглашаюсь и на это; и лишь тогда Бокум-Дольфс заявляет, что с их стороны, т. е. со стороны его политических друзей, эта *уступка* может быть принята лишь в том случае, если в комиссии *немедленно* будет изъявлено *согласие* на двухгодичный срок службы, а законопроект об этом будет на другой же день внесен на пленарное заседание. На это я не иду, и тогда Б[окум]-Д[ольфс] осмеивает нас в своей прессе: «Подумать только, до чего бесстыдно правительство, если оно воображает, что палата пойдет на мировую за 234 тысячи рейхсталеров!» Но ведь только это предложение *со стороны палаты* и было налицо! Была ли совершена когда-либо большая гнусность с целью осрамить правительство и сбить с толку народ?

Палата депутатов воспользовалась своим правом и урезала бюджет.

Палата господ воспользовалась своим правом и отклонила урезанный бюджет en bloc [в целом).

Что предписывает в подобном случае конституция?

Ничего!

Так как палата депутатов воспользовалась, как показано выше, своим правом для уничтожения Armee [армии] и страны, то мне пришлось возместить это «ничего» и как заботливому хозяину дома вести дом дальше, чтобы *впоследствии дать во всем отчет.* Кто же сделал, следовательно, невозможным соблюдение § 99??? Поистине не я!

Вильгельм».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

КОНВЕНЦИЯ АЛЬВЕНСЛЕБЕНА

Движение в Польше, которое началось одновременно с переворотом в Италии[1], и не без связи с ним, и выразилось вначале в национальном трауре, церковном праздновании памятных для отечества дней и агитации земледельческих обществ[2], вызвало в Петербурге довольно длительные колебания между полонизмом и абсолютизмом. Дружественное полякам течение связано было с требованием конституции, явственно раздававшимся теперь в высших кругах русского общества. То обстоятельство, что русские, которые были ведь тоже образованными людьми, вынуждены были обходиться без учреждений, существовавших у всех европейских народов, и что они не могли принимать участия в обсуждении своих собственных дел, воспринималось как унижение. Разлад на почве отношений к польскому вопросу распространился вплоть до высших военных кругов и привел к бурному объяснению между варшавским наместником генералом графом Ламбертом и генерал-губернатором генералом Герстенцвейгом, закончившемуся насильственной смертью последнего (январь 1862 г.) при невыясненных обстоятельствах[3]. Я присутствовал в одной из лютеранских церквей в Петербурге на его похоронах. Те русские, которые требовали для себя конституции, говорили иногда как бы в свое оправдание, что поляки не могут находиться под управлением русских и, в качестве более цивилизованных, могут предъявить повышенные требования на участие в управлении.

Это мнение разделял и князь Горчаков, которому парламентские учреждения обеспечили бы европейское поприще для проявления его красноречия и потребность которого в популярности делала его неспособным противостоять либеральным течениям в русском «обществе». При оправдании Веры Засулич (11 апреля 1878 г.)[4] он был первым, кто подал сигнал к рукоплесканиям присутствовавших.

Происходившая в Петербурге борьба мнений была при моем отъезде оттуда в апреле 1862 г. весьма оживленной, и это продолжалось в течение первого года моей министерской деятельности. Я взял на себя руководство министерством иностранных дел под тем впечатлением, что вспыхнувшее 1 января 1863 г.[5] восстание затрагивало не только интересы наших восточных провинций, но и другой вопрос, более важный по своим последствиям, вопрос о том, какое направление преобладало в русском кабинете — дружественное Польше или антипольское, стремление к панславистскому, антигерманскому братанию (Verbruderung) между русскими и поляками или [идея] взаимной поддержки русской и прусской политики. Среди тех, кто стремился к братанию, русские были честнее; польское дворянство и духовенство едва ли верили в успех этих стремлений или принимали его во внимание как определенную цель. Вряд ли хоть один поляк видел в политике братания нечто большее, нежели тактический ход, имеющий целью обманывать легковерных русских до тех пор, пока это могло бы представиться нужным или полезным. Это братание польское дворянство и его духовенство отвергают если и не совсем с той же, то все же почти с такой же неизменностью, как братание с немцами; последнее для них во всяком случае еще неприемлемей не только из-за расовой антипатии, но и в силу того соображения, что при совместном государственном существовании русские оказались бы под руководством поляков, а немцы — нет.

Для германского будущего Пруссии позиция России была вопросом первостепенного значения. Дружественное полякам направление русской политики благоприятствовало бы оживлению русско-французских связей, к развитию которых стремились при случае со времени Парижского мира и даже раньше; тот дружественный полякам русско-французский союз, идея которого носилась в воздухе до июльской революции[6], поставил бы тогдашнюю Пруссию в затруднительное положение. В наших интересах было бороться против партии польских симпатий в русском кабинете, даже в том случае, когда симпатии эти понимались в духе Александра I. Из доверительных бесед, которые я вел частью с князем Горчаковым, частью с самим императором, я мог заключить, что Россия сама не давала никаких гарантий относительно того, что не будет брататься с Польшей. Император Александр непрочь был тогда отдать часть Польши; он сказал мне это без обиняков, по крайней мере — по поводу левого берега Вислы, причем, не делая на этом особого ударения, он исключил Варшаву, которая, как место расквартирования войск, имела все же для армии свою привлекательность и стратегически входила в укрепленный треугольник на Висле[7]. Польша представляла, по его словам, источник беспокойства и европейских опасностей для России,

а руссификация ее неосуществима из-за различия вероисповеданий и из-за недостаточных административных способностей русских властей. Нам, немцам, удалось бы, по его мнению, германизировать (?) польские области, у нас есть средства к тому, ибо немецкий народ культурнее польского. Русский же человек не чувствует того превосходства, какое нужно, чтобы господствовать над поляками; следует ограничиться тем минимумом польского населения, какой допускает географическое положение, т. е. — границей по Висле и Варшавой, как предмостным укреплением.

Не могу судить, насколько зрелы и обдуманны были эти высказывания императора. С государственными людьми они были, повидимому, обсуждены, ибо самостоятельной, личной политической инициативы по отношению ко мне я никогда не наблюдал у императора. Этот разговор состоялся тогда, когда уже было вероятно, что я буду отозван; мои слова, что я сожалею о моем отозвании и охотно остался бы в Петербурге, сказанные не только учтивости ради, но и в соответствии с истиной, побудили императора, не так меня понявшего, задать мне вопрос — не склонен ли я вступить на русскую службу. Я учтиво отклонил это, подчеркнув свое желание остаться вблизи его величества в качестве прусского посланника. Не сказал бы, чтобы мне было неприятно в то время, если бы император сделал с этой целью какие-либо шаги; мысль о том, чтобы служить политике «новой эры» в качестве ли министра, в качестве ли посланника, в Париже или Лондоне, без перспектив на участие в нашей политике, не заключала в себе ничего привлекательного. Как и чем я мог бы быть полезен стране и своим убеждениям, если бы находился в Лондоне или Париже, я не знал, между тем как влияние, коим я пользовался у императора Александра и у его наиболее выдающихся государственных деятелей, не лишено было значения с точки зрения наших интересов. При мысли о том, чтобы сделаться министром иностранных дел, мне становилось не по себе, как бывает не по себе человеку, которому предстоит выкупаться в море в холодную погоду; но все эти ощущения были недостаточно сильны, чтобы побудить меня самого вмешаться в собственное будущее или просить о том императора Александра.

После того как я все-таки сделался министром, на переднем плане первоначально стояла в большей мере внутренняя, а не внешняя политика; в области последней мне под влиянием моего недавнего прошлого особенно близки были отношения с Россией, и я стремился сохранить по возможности за нашей политикой капитал того влияния, каким мы располагали в Петербурге. Было совершенно очевидно, что прусской политике, поскольку она развивалась в германском направлении, нечего

было ожидать тогда поддержки со стороны Австрии. Представлялось маловероятным, чтобы благожелательное отношение Франции к нашему усилению и к объединению Германии надолго осталось искренним, [но] это убеждение не должно было служить препятствием к тому, чтобы временно принимать utiliter [из соображений выгоды] поддержку и поощрение от Наполеона, основанные на ошибочных расчетах. По отношению к России мы были в таком же положении, как и по отношению к Англии, поскольку с обеими этими странами у нас не было принципиального расхождения интересов и поскольку с обеими нас связывала долголетняя дружба. От Англии мы едва ли могли ожидать чего-либо, кроме платонического доброжелательства да поучительных писем и газетных статей. Царская помощь, как показала венгерская экспедиция императора Николая[8], простиралась при [известных] условиях за пределы благожелательного нейтралитета. Что это будет сделано ради нас — не приходилось рассчитывать, но ничто не мешало учесть и такую возможность, что при французских попытках вмешаться в германский вопрос император Александр оказал бы нам при отражении этих попыток по крайней мере дипломатическую поддержку. Настроение этого монарха, обосновывавшее такое мое допущение, обнаружилось еще в 1870 г.[9], в то время как нейтральная и дружественная Англия со всеми своими симпатиями оказалась тогда на стороне Франции. Мы, таким образом, имели, по моему мнению, все основания поддерживать всякое проявление симпатии, которую в противоположность многим своим подданным и высшим чиновникам питал к нам Александр И, по крайней мере в той мере, в какой это было нужно, чтобы по возможности предотвратить присоединение России к враждебному нам лагерю. В то время нельзя было с уверенностью предвидеть, можно ли будет практически использовать этот политический капитал царской дружбы и если да, то как долго. Простой здравый смысл повелевал нам во всяком случае не допускать, чтобы он попал в обладание наших противников, которых нам следовало видеть в поляках, полонизирующих русских, и в конечном счете, вероятно, также и во французах. Австрия в первую очередь имела в то время в виду соперничество с Пруссией на германском поприще, и справиться с польским движением ей было легче, нежели нам или России, так как, несмотря на воспоминания о 1846 г.[10] и денежные награды, установленные за головы польских дворян, католическая империя[11] пользовалась все же у этих дворян и среди католического духовенства гораздо большими симпатиями, чем Пруссия и Россия.

Согласовать австро-польские и русско-польские планы братания будет всегда трудно, но образ действий австрийской по-

литики в 1863 г. в союзе с западными державами в пользу поляков доказал, что Австрия не боялась русского соперничества во вновь воскресшей Польше. Предпринимала же она троекратно — в апреле, июне и 12 августа — совместно с Францией и Англией шаги в пользу поляков в Петербурге. «Мы рассмотрели, — говорится в австрийской ноте от 18 июня, — условия, при которых Царству Польскому могли бы быть возвращены спокойствие и мир, и пришли к тому, чтобы сформулировать эти условия в нижеследующих шести пунктах, которые и представляем на рассмотрение санкт-петербургского кабинета: 1) полная и общая амнистия; 2) национальное представительство, участвующее в законодательстве страны и располагающее средствами действительного контроля; 3) назначение поляков на государственные должности, с тем чтобы была создана особая национальная администрация, пользующаяся доверием страны; 4) полная и неограниченная свобода совести и отмена всех стеснений в отправлении католического культа; 5) исключительное употребление польского языка, как официального, в управлении, в органах юстиции и при преподавании; 6) введение упорядоченной и узаконенной системы рекрутского набора». Предложение Горчакова, чтобы Россия, Австрия и Пруссия договорились об определении судьбы своих польских подданных, австрийское правительство отклонило, заявив, «что согласие, установленное между тремя кабинетами — венским, лондонским и парижским, создает между ними такую связь, от которой Австрия не может сейчас освободиться, чтобы вести отдельные переговоры с Россией». Таково было положение, когда император Александр собственноручным письмом в Гаштейн уведомил его величество о своем решении обнажить меч и потребовал от Пруссии союза[12].

Не подлежит сомнению, что близкие отношения с обеими западными державами содействовали решению императора Франца-Иосифа предпринять 2 августа выпад против Пруссии при помощи *съезда князей*[13]. Он, несомненно, впал при этом в заблуждение, не зная, что императору Наполеону уже надоели польские дела и что он подумывал о том, как бы приличным образом совершить отступление. Граф Гольц писал мне 31 августа:

«Из отправленной мною сегодня почты вы увидите, что я здесь с Цезарем[14] единодушен (действительно, он никогда еще, даже в самом начале моей миссии, не был со мной так любезен и откровенен, как в этот раз), что Австрия своим съездом князей оказала нам, — поскольку дело касается наших отношений с Францией, — большую услугу; нужно лишь мирно уладить польские разногласия, чтобы благодаря одновременному отсутствию Меттерниха и последовавшему сегодня

отъезду его высочайшей приятельницы[15] вновь вернуться к такому политическому положению, при котором мы могли бы спокойно смотреть навстречу грядущим событиям.

Я не мог пойти навстречу намекам императора относительно польских дел в той степени, как желал бы того. Мне казалось, он ожидал предложения о посредничестве; однако заявления короля удержали меня. Во всяком случае, мне кажется, надо ковать железо, пока оно горячо; притязания императора в настоящее время скромнее чем когда-либо, и надо опасаться, что он вернется снова к более серьезным требованиям,если, скажем, Австрия постарается загладить повышенной уступчивостью в польском вопросе неуклюжесть, допущенную во Франкфурте[16]. Сейчас он хочет лишь с честью выйти из положения, сам признает шесть пунктов негодными и будет поэтому охотно смотреть сквозь пальцы на то, как они будут осуществляться на практике; поэтому его, пожалуй, даже устраивало бы, если он не будет вынужден в слишком обязывающей форме следить за их строгим выполнением. Я боюсь только, что если мы будем подходить к делу так же, как до сих пор, то русские отнимут у нас заслугу улажения [конфликта], сделав без нас то, в чем мы (?) собирались их уговорить (?)*. Поездка великого князя[17], который, очевидно, не отозван, внушает мне в этом отношении большие подозрения. А что если император Александр объявит сейчас конституцию и сообщит о том императору Наполеону собственноручным обязывающим письмом? И все же это было бы лучше, нежели продолжение разногласий, но более неблагоприятно для нас, чем если бы мы сказали предварительно императору Наполеону: «Мы готовы это посоветовать; будешь ли ты доволен этим?»

Мы не последовали тому внушению, которое еще двумя неделями ранее было сделано непосредственно генералом Флери одному из членов прусской миссии и сводилось к тому, чтобы посоветовать императору Александру сделать указанный шаг. Так дипломатический поход трех держав затерялся в песках. Весь план графа Гольца казался мне и политически неправильным и недостойным, задуманным скорее в парижском, нежели в нашем духе.

Польский вопрос не представляет для Австрии тех трудностей, которые неразрывно связаны для нас с вопросом о восстановлении независимости Польши ввиду взаимно перекрещивающихся польских и немецких притязаний в Познани и Западной Пруссии и положения Восточной Пруссии. Наше географическое положение и смешение обеих национальностей

---

* Вопросительные знаки добавлены в оригинале рукой Бисмарка.— *Ред.*

в восточных провинциях Пруссии, включая Силезию, вынуждает нас оттягивать по возможности постановку польского вопроса; вот почему и в 1863 г. признано было целесообразным не поощрять, а, напротив, предотвращать по мере сил постановку этого вопроса Россией. До 1863 г. было время, когда в Петербурге на основе теорий Велепольского[18] намечали великого князя Константина с его красивой супругой — великая княгиня носила тогда польский костюм — на пост вице-короля Польши, с восстановлением, быть может, польской конституции, предоставленной Александром I и оставшейся формально в силе при старом великом князе Константине[19].

Военная конвенция, заключенная в Петербурге в феврале 1863 г. генералом Густавом фон-Альвенслебеном[20], имела для прусской политики скорее дипломатическое, нежели военное значение[21]. Она олицетворяла собой победу, одержанную в кабинете русского царя прусской политикой над польской, которая была представлена Горчаковым, великим князем Константином, Велепольским и другими влиятельными лицами. Достигнутый таким образом результат опирался на непосредственное решение императора вопреки стремлениям министров. Соглашение военно-политического характера, которое заключила Россия с германским противником панславизма против польского «братского племени», нанесло решительный удар намерениям полонизирующей партии при русском дворе; в этом смысле довольно незначительное, с военной точки зрения, соглашение выполнило свою задачу с лихвой. Военной надобности в нем в тот момент не было, русские войска были достаточно сильны, и успехи инсургентов[22] существовали в значительной своей части лишь в весьма иной раз фантастических донесениях, которые заказывались из Парижа, фабриковались в Мысловицах[23], помечались то границей, то театром военных действий, то Варшавой и появлялись сперва в одном берлинском листке, а затем уже обходили европейскую прессу. Конвенция была удачным шахматным ходом, решившим исход партии, которую разыгрывали друг против друга в недрах русского кабинета антипольское монархическое и полонизирующее панславистское влияния.

У князя Горчакова в его отношении к польскому вопросу чередовались то абсолютистские, то нельзя сказать чтобы либеральные, но парламентские приступы. Он считал себя крупным оратором, да и был таковым, и ему нравилось представлять себе, как Европа будет восхищаться его красноречием, расточаемым с варшавской или русской трибуны. Предполагалось, что либеральные уступки, которые были бы предоставлены полякам, не могут не распространиться и на русских; конституционно настроенные русские уже по одному этому были друзьями поляков.

В то время как польский вопрос занимал у нас общественное мнение, а конвенция Альвенслебена возбудила непонятное возмущение либералов в ландтаге, мне как-то представили на вечере у кронпринца господина Гинцпетера. Так как он находился в повседневном общении с высочайшими особами и отрекомендовался мне человеком консервативных убеждений, то я вступил с ним в беседу, в которой изложил ему свой взгляд на польский вопрос, ожидая, что он будет иметь время от времени возможность говорить с ними в этом духе. Через несколько дней он написал мне, что госпожа кронпринцесса спрашивала его, о чем я так долго разговаривал с ним. Он все ей рассказал и потом сделал запись своего рассказа, которую переслал мне с просьбой проверить или исправить ее. Я ответил ему, что должен отклонить эту просьбу; если я ее исполню, то после того, что он сам сообщил, получится, как будто я высказался по этому вопросу в *письменной* форме не ему, а госпоже кронпринцессе, а это я готов делать только устно.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ДАНЦИГСКИЙ ЭПИЗОД

I

Император Фридрих, сын монарха, которого я считаю моим государем in specie [по преимуществу], своей обходительностью и своим доверием облегчил мне возможность перенести на него те чувства, которые я питал к его державному отцу. Как правило, он более, чем его отец, придерживался конституционного взгляда и понимал, что в качестве министра я несу ответственность за его решения. Семейные традиции в меньшей степени затрудняли ему поступать так, как это соответствовало политическим требованиям внутри страны и за границей. Все утверждения, будто между императором Фридрихом и мной существовали длительное время разногласия, лишены основания. Временные разногласия имели место в связи с инцидентом в Данциге. Касаясь этого инцидента, я могу теперь, когда опубликованы документы, оставшиеся после смерти Макса Дункера *, проявить менее сдержанности, нежели я проявил бы в противном случае. 31 мая 1863 г. кронпринц отбыл в военную инспекционную поездку в провинцию Пруссию[1], обратившись предварительно к королю с письменной просьбой избегать всякого октроирования (Octroyirung). В том поезде, в котором он ехал, находился обер-бюргермейстер города Данцига господин фон-Винтер, которого принц в пути пригласил в свое купе. Несколько дней спустя он посетил господина фон-Винтера в его имении близ Кульма. 2 июня кронпринцесса последовала за ним в Грауденц, а днем раньше был обнародован королевский указ о прессе[2], основанный на одновременно опубликованном докладе государственного министерства. 4 июня его королевское высочество[3] обратился к королю с письмом, в котором выразил свое неодобрение по поводу этого октроирования, жаловался на то, что его не пригласили к обсуждению этого вопроса в государственном министерстве, и высказал свою точку зрения на обязанности, которые лежат,

* *R. Haym,* Das Leben Max Duncker's (Berlin 1891), S. 292 ff.

по его мнению, на нем, как на наследнике престола. 5 июня в Данцигской ратуше состоялся прием городских властей, во время которого господин фон-Винтер высказал сожаление, что обстоятельства не позволяют городу полно и громко выразить испытываемую им радость. Кронпринц в ответной речи сказал между прочим следующее:

«Я также сожалею, что прибыл сюда в такое время, когда между правительством и народом наступил разлад, весть о чем меня в высокой степени поразила. Я ничего не знал о распоряжениях, которые к этому привели. Я был в отсутствии. Я не давал советов, которые к этому привели. Но все мы, и больше всего я сам, так как мне лучше чем кому-либо известны благородные намерения, отеческие заботы и великодушный образ мыслей его величества короля, — все мы питаем уверенность, что Пруссия под скипетром его величества короля уверенно идет к тому величию, которое предназначено ей провидением».

Экземпляры «Danziger Zeitung» с отчетом о происшедшем были разосланы в редакции берлинских и других газет, не получавших означенный листок из-за его узко местного характера. Поэтому слова кронпринца тотчас же получили широкую огласку, и внутри страны и за границей, естественно, поднялся шум. Из Грауденца он прислал мне формальный протест против указа о печати и потребовал передачи протеста государственному министерству[4], что, однако, по повелению короля, не было исполнено. 7 июня ему был послан строгий ответ его величества[5] на письменную жалобу от 4-го числа. После этого кронпринц просил отца простить ему шаг, который он не мог, по его мнению, не сделать ввиду своего собственного будущего и будущего своих детей, и просил освободить его от всех занимаемых им должностей[6]. 11-го он получил ответ, в котором ему даровали просимое прощение; о его жалобе на министра и о просьбе об отставке в ответе не было упомянуто, но ему самому впредь вменялось в обязанность молчание.

Будучи вынужден признать гнев короля оправданным, я старался, не допустить, чтобы он выразил его каким-нибудь государственным или хотя бы только могущим получить огласку актом. Моя задача заключалась в том, чтобы в интересах династии успокоить короля и удержать его от шагов, которые напоминали бы о Фридрихе-Вильгельме I и Кюстрине[7]. В основном эта задача была осуществлена 10 июня, во время поездки из Бабельсберга в Новый дворец, где его величество производил смотр учебному батальону; беседа происходила на французском языке, так как на козлах сидели слуги. Мне действительно удалось смягчить отцовский гнев, исходя из соображений государственного порядка о том, что при существующей сейчас борьбе между

королевской властью и парламентом раздоры внутри королевской семьи нужно смягчать, игнорировать и строжайше замалчивать; как король и отец, он должен в первую очередь заботиться о том, чтобы интересы обоих не пострадали. «Будьте милостивы, ваше величество, к мальчику Авессалому, — сказал я, намекая на то, что священники уже произносят в стране проповеди на тему из II книги Самуила, глава 15, стих 3 и 4[8]. — Избегайте, ваше величество, принимать решение ab irato [продиктованное гневом]; только соображения государственного порядка могут иметь решающее значение». Особенно сильное впечатление произвели, повидимому, мои слова, когда я напомнил, что в конфликте между Фридрихом-Вильгельмом I и его сыном симпатии современников и потомства находятся на стороне последнего и что было бы неблагоразумно делать из кронпринца мученика.

После того как дело, по крайней мере с внешней стороны, было улажено путем вышеупомянутого обмена письмами между отцом и сыном, я получил из Штеттина от кронпринца письмо, датированное 30 июня, в котором он в сильных выражениях осуждал всю мою политику. Она-де лишена доброжелательства и внимания к народу, опирается на весьма сомнительное толкование конституции, обесценивает конституцию в глазах народа и толкает его на внеконституционный путь. С другой стороны, писал кронпринц, министерство, переходя от одного произвольного толкования к другому, еще более произвольному, в конце концов посоветует королю совсем порвать с конституцией. Кронпринц собирается просить короля позволить ему воздержаться от участия в заседаниях министерства до тех пор, пока это министерство находится у власти.

Тот факт, что я, получив это заявление наследника престола, продолжал итти по избранному мною пути, является красноречивым доказательством, что я отнюдь не заботился сохранить свой министерский пост после смены на престоле, которая, в сущности, могла наступить очень скоро. Тем не менее кронпринц вынудил меня подтвердить это ему лично в одном разговоре, о котором я скажу ниже[9].

Король был поражен тем, что в «Times»[10] от 16 и 17 июня было напечатано: «Принц позволил себе во время служебной поездки по военным делам высказать мнения, противоречащие политике государя, и взять под сомнение его мероприятия. Самое меньшее, что он мог сделать, чтобы снять это тяжелое оскорбление, — это взять свои слова обратно. Король этого потребовал от него в письме, где добавил, что, если кронпринц откажется, он будет лишен своих званий и постов. Принц, как говорят, с согласия ее королевского высочества принцессы, написал весьма решительный ответ на это требование. Он отказался взять обратно что-либо из сказанного, предлагал

сложить с себя командование и звания и испрашивал разрешение удалиться со своей супругой и семьей в такое место, где на него не могло бы пасть подозрение, что он каким бы то ни было образом вмешивается в государственные дела. Письмо это, как говорят, превосходно, и принц имеет счастье гордиться тем, что его супруга не только разделяет его либеральные взгляды, но также в состоянии оказать ему подобную поддержку в столь важный и критический момент его жизни. Нелегко представить себе более затруднительное положение, нежели положение кронпринца и его супруги, лишенных советника и имеющих дело со своевластным монархом и губящим [страну] кабинетом, с одной стороны, и возбужденным народом — с другой».

Расследование о том, кто передал эту статью в газету, не привело к каким-либо определенным результатам. Ряд обстоятельств давал основание заподозрить советника миссии Мейера. Более подробные сообщения депутата Братера в «Grenzboten» и в «Suddeutsehe Post» исходили, видимо, от одного второстепенного немецкого дипломата [11], который пользовался доверием кронпринца и его супруги, сохранил порученные ему рукописи принца и четверть века спустя злоупотребил доверием, нескромно опубликовав эти рукописи.

Я никогда не брал под сомнение уверения принца, что он ничего не знал об этой статье, даже и после того как прочел одно его письмо к Максу Дункеру от 14 июля*, в котором он писал, что не был бы особенно удивлен, если бы со стороны Бисмарка сумели завладеть копией его переписки с королем.

Я полагал, что инициаторов этой статьи следует искать там же, откуда, по моему мнению, исходило влияние, определившее поведение кронпринца. Наблюдения во время войны с французами [12] и опубликованные недавно извлечения из документов Дункера подтверждают мое тогдашнее мнение. Если в течение четверти века целая школа политических писателей могла преподносить и рекомендовать континентальным народам в качестве образца для подражания то, что они называли английской конституцией и о чем имели весьма отдаленное представление, то вполне понятно, что кронпринцесса и ее мать не признавали своеобразия прусского государства и невозможности управлять им при помощи сменяющихся парламентских групп; вполне понятно, что из этой ошибки проистекала и другая, а именно: опасение, что в Пруссии XIX столетия повторится та внутренняя борьба и те катастрофы, которые испытала. Англия в XVII столетии [13], если у нас не будет введена та система, которая положила конец этой борьбе [14]. Я не мог установить, достоверно ли было полученное мной тогда известие,

* Л. *Haym,* Das Leben Max Duncker's (Berlin 1891), S. 308 ff.

будто в апреле 1863 г. королева Августа приказала президенту Лудольфу Кампгаузену, а кронпринцесса — барону фон-Штокмару разработать меморандумы с критикой внутреннего состояния Пруссии и довести их до сведения короля; но что королева, к числу приближенных которой принадлежал советник миссии Мейер, чрезвычайно боялась возможности стюартовских катастроф[15], — это было мне известно; еще в 1862 г. это ясно выразилось в том подавленном настроении, в котором король возвратился из Бадена, где праздновался день рождения его супруги[16]. Партия прогрессистов[17], которая вела борьбу с королевской властью и со дня на день рассчитывала на победу, не упустила случая изобразить в прессе и через отдельных лидеров положение в таком свете, который должен был особенно сильно подействовать на женские души.

II

В августе кронпринц посетил меня в Гаштейне; чувствуя себя там более свободным от английских влияний, он в духе своей первоначальной несамостоятельности и уважения к отцу скромно и любезно объяснил свое поведение недостаточной политической подготовленностью и тем, что стоит в стороне от дел; он говорил без стеснения, тоном человека, который видит, что был неправ, и объяснил свой поступок посторонними влияниями.

В сентябре, после того как король вернулся вместе со мной в Берлин через Баден, а кронпринц проехал туда прямо из Гаштейна, снова взяли верх влияния и опасения, побудившие его выступить в июне. На другой день после того, как было решено распустить палату депутатов, он писал мне:

«Берлин, 3 сентября 1863 г.

Я сообщил сегодня его величеству те взгляды, которые я изложил вам в письме из Путбуса (точнее — Штеттина) и которые я просил вас не сообщать королю, пока не сделаю это сам. Вчера в совете принято решение, чреватое последствиями; в присутствии министров я не хотел возражать его величеству; сегодня я это сделал; я высказал ему свои сомнения, изложил ему мои серьезные опасения относительно будущего. Отныне королю известно*, что я решительный противник министерства.

Фридрих-Вильгельм»,

Теперь пришлось обсудить также и просьбу, высказанную уже ранее кронпринцем в письме от 30 июня об освобождении его от участия в заседаниях государственного министерства.

* «Нам также». *(Карандашная пометка Бисмарка.)*

Следующее письмо министра фон-Бодельшвинга, от 11 сентября 1863 г., показывает, каковы были в то время отношения между обоими высочайшими особами:

«Не зная наверное, когда именно вы вернетесь из предпринятой вами поездки, вызванной столь печальным обстоятельством *, и буду ли я иметь возможность тотчас по вашем приезде говорить с вами, сообщаю вам письменно, что, согласно приказанию его величества, переданному мне флигель-адъютантом, я сообщил адъютанту его королевского высочества кронпринца по *вашему поручению* о вашем поспешном отъезде и о причине вашего отъезда. Я просил его далее поставить о том в известность его королевское высочество на тот случай, если ваша просьба о назначении вам аудиенции уже была ему передана или если эта аудиенция уже была назначена. Его величество, как передал мне принц Гогенлоэ, со своей стороны не счел уместным говорить с кронпринцем о вашем отъезде и об испрошенной аудиенции».

Король принял решение, что кронпринц должен попрежнему присутствовать на заседаниях государственного министерства, как это было заведено с 1861 г., и поручил мне убедить его в этом. Испрошенная с этой целью аудиенция, кажется, не состоялась, так как, мне помнится, я воспользовался тем, что кронпринц по недоразумению приехал на заседание министерства, которое в тот день не состоялось, чтобы заговорить с ним об этом деле. Я спросил его, почему он держится так далеко от правительства, — ведь через несколько лет это будет его правительство; если он имеет несколько иные принципы, то ему следовало бы не быть в оппозиции, а подумать о том, как бы содействовать [будущему] переходу. Он резко отклонил это, предполагая, повидимому, что я хотел подготовить себе почву для перехода на службу к нему. На протяжении многих лет я не мог забыть того враждебного выражения и олимпийского величия, с каким это было сказано; я до сих пор вижу откинутую назад голову, вспыхнувшее лицо и взгляд, который он бросил на меня через левое плечо. Я подавил свое собственное волнение, подумал о Карлосе и Альбе (акт II, сцена 5) [18] и ответил, что говорил в приливе династических чувств, желая снова наладить более близкие отношения между ним и отцом в интересах страны и династии, коим вредит происшедшее между ними отчуждение; я сделал в июне все от меня зависящее, чтобы удержать его высочайшего отца от решений ab irato, так как в интересах страны и в борьбе против парламентского господства я хочу сохранить согласие в королевской семье. Я преданный и верный слуга его державного отца и желаю, когда он вступит на престол, найти

* Кончина моей тещи. Я отсутствовал из Берлина с 6-го по 11-е число.

вместо меня такого же преданного слугу, каким я был для его отца. Я выразил надежду, что он отбросит мысль, будто я стремлюсь со временем сделаться его министром; этого никогда не будет. Он так же быстро успокоился, как и пришел в раздражение, и закончил разговор дружескими словами.

Он настаивал на своем желании — не принимать более участия в заседаниях государственного министерства; еще в течение сентября он направил королю записку, составленную, возможно, не без постороннего влияния, в которой, объясняя свои мотивы, одновременно как бы оправдывал свое поведение в июне. В связи с этим между мной и его величеством возникла частная корреспонденция, которая закончилась следующей запиской:

«Бабельсберг, 7 ноября 1863 г.

В приложении к сему посылаю вам ответ моему сыну кронпринцу на его сентябрьский memoire [памятную записку]. Для того чтобы вы могли лучше ориентироваться, я вновь посылаю вам memoire с вашими замечаниями, которые я использовал в своем ответе».

Я не снял копии с записки, о содержании ее можно, однако, судить по моим замечаниям на полях, которые я здесь привожу:

Стр. 1. Претензия на то, чтобы *предостережение* его королевского высочества уравновешивало решения короля, принятые после серьезного и тщательного обсуждения, придает его положению и опытности не соответствующее им значение по сравнению с положением и опытностью монарха и отца.

Никто не может подумать, что его королевское высочество «принимал участие в октроировании», ибо всем известно, что кронпринц не голосует в министерстве и что официальное положение, какое занимал обычно в прежние времена наследник престола, стало после принятия конституции невозможным. Поэтому dementi [опровержение], сделанное в Данциге, было излишним.

Стр. 2. Свобода решений его королевского высочества не потерпит ущерба от того, что его королевское высочество *присутствует* на заседаниях и, выслушивая мнение других и высказывая свое собственное, находится au courant [в курсе] государственных дел, что составляет обязанность каждого наследника престола. Исполнение этой обязанности, если о том станет известно в печати, может создать повсюду только хорошее мнение о добросовестности, с какой кронпринц готовится к своей высокой и серьезной миссии.

Слова «со связанными руками» и т. п. не имеют никакого смысла.

Стр. 2. «*Страна*» никоим образом не может притти к мысли отождествить его королевское высочество с министерством, ибо страна знает, что кронпринц не призван принимать *официальное* участие в решениях. К сожалению, позиция, которую занял его королевское высочество *против* короны, достаточно известна в стране. Каждый отец семейства, к какой бы партии он ни принадлежал, открыто осуждает эту позицию, как пренебрежение отцовским авторитетом, неуважение к которому оскорбляет чувства и обычаи. Ничто не могло бы сильнее повредить в общественном мнении его королевскому высочеству, как обнародование *этого* memoire. Священники произносят уже в стране проповеди на тему из II книги Самуила, глава 15, стихи 3 и 4.

Стр. 2. Положение его королевского высочества во всяком случае «весьма ложное», ибо наследник престола не призван к тому, чтобы водружать знамя оппозиции против короля и отца. Его «долг» — выйти из этого положения — может быть выполнен лишь путем возвращения к нормальному положению.

Стр. 3. Конфликта между одним долгом и другим нет, так как *первый* долг создан им самим; забота о будущем Пруссии лежит на *короле,* а не на кронпринце; а сделана ли «ошибка» и с чьей стороны — это покажет будущее. В тех случаях, когда «взгляд» его величества находится в противоречии со «взглядами» кронпринца, мнение первого всегда решает; следовательно, никакого конфликта нет. Его королевское высочество сам признает, что в нашей конституции «нет места для оппозиции [со стороны] наследника престола».

Стр. 4. Оппозиция внутри совета не исключает повиновения его величеству, коль скоро решение уже принято. Министры тоже возражают, если они придерживаются иного мнения, тем не менее они повинуются * решению короля, хотя им приходился самим выполнять то, против чего они боролись.

Стр. 4. Если его королевскому высочеству известно, что министры действуют согласно с желанием короля, то его королевское высочество не может заблуждаться также и насчет того, что оппозиция наследника престола направлена против *самого* царствующего *короля.*

Стр. 5. К тому, чтобы предпринимать «борьбу» против воли короля, кронпринц совершенно не призван и не правомочен именно потоку, что его королевское высочество не занимает никакого официального «status» [«положения»]. Каждый принц королевского дома мог бы с таким же правом, как и кронпринц, заявить притязание на то, что в случае расхождения с королем во мнениях его долг становиться в открытую оппози-

* Здесь на полях рукой короля приписано :«если это не противоречит их совести». *(Прим. нем. изд.)*

цию к нему, дабы оградить этим возможные наследственные права «свои и своих детей» от последствий предполагаемых ошибок королевского правительства, т. е. обеспечить себе престолонаследие в духе Луи-Филиппа[19] на случай если бы король был свергнут революцией.

Стр. 5. Относительно своих высказываний в Гаштейне министру-президенту надлежит дать более обстоятельные разъяснения.

Стр. 7. Кронпринц присутствует на заседаниях не в качестве «советника» короля, а по предложению его королевского величества для своей собственной информации и с целью подготовки к своей будущей миссии.

Стр. 7. Попытка «нейтрализовать» мероприятия правительства означала бы борьбу и сопротивление королю.

Стр. 7. Ослабление уз, связывающих еще народ с династией, ослабление путем примера открыто провозглашенной оппозиции со стороны наследника престола и преднамеренной демонстрации разлада внутри царствующего дома опаснее всех нападок демократии и всякого «подрыва» основ монархии. Если сын и наследник престола восстает против авторитета отца и короля, то для кого же этот авторитет будет священным? Если у честолюбца будут виды на то, что в *будущем* его ожидает награда за то, что в *настоящее время* он отступается от короля, то тем самым эти узы ослабляются в ущерб *будущему* королю и подрыв авторитета нынешнего правительства посеет дурное семя для будущего. Любое правительство лучше того, в котором существует раскол и которое подорвано изнутри, а потрясения, которые *может* вызвать нынешний кронпринц, затрагивают самый фундамент здания, в котором ему самому предстоит жить в будущем в качестве короля.

Стр. 7. В силу действующих до сих пор *конституционных* прав Пруссией *правит* король, а не министры. Только законодательство, но не управление страной разделяется с палатами, в коих министры представляют короля. Поэтому вполне законно, что министры, как и *до* конституции, являются *слугами* короля, и при этом — призванными *советниками* его величества, но не *правителями* Прусского государства. Королевство Прусское и *после* утверждения конституции стоит не на одном уровне с Бельгийским и Английским, ибо у нас страной все еще правит лично король; он *отдает приказания* по своему усмотрению, поскольку конституция не предусматривает иного положения, что имеет место *только* по отношению к законодательству.

Стр. 8. Оглашение государственных тайн есть уголовно наказуемое деяние. Что именно следует понимать под государственной тайной, зависит от повеления короля о соблюдении служебных тайн.

Стр. 8. Почему придается такое большое значение тому, чтобы все стало известно «стране»? Если его королевское высочество соответственно своему долгу и убеждению высказывает свое мнение в conseil [совете], то этого достаточно для успокоения *совести.* Кронпринц не имеет официально отношения к государственным делам, и в его обязанности не входит высказывать публично свое мнение; лишь на том основании, что его королевское высочество присутствует на заседаниях conseil *без права голоса,* а следовательно, не имея возможности действенно возражать против его постановлений, ни один человек, хотя бы поверхностно знакомый с нашими государственными учреждениями, не сделает заключения, что его королевское высочество одобряет действия правительства.

Стр. 8. «Не казаться лучше»; ложность положения в том именно и заключается, что придают слишком много значения тому, чтобы «казаться». Важно, что ты *есть* и на что *способен,* а это лишь плод серьезного и вдумчивого труда.

Стр. 9. Участие его королевского высочества в conseils [советах] не есть «активное участие», и «голосования» кронпринца не имеют места.

Стр. 9. Сообщения «призванным» («berufne») (?) * лицам без соизволения его величества было бы уголовно наказуемым деянием. Право его высочества свободно высказывать свое мнение не ограничено; напротив, оно желательно, но только в conseil, где такие его высказывания только и могут иметь влияние на принимаемые решения. Желание *«поставить страну в известность»* о разногласии может иметь единственной целью удовлетворение собственного самолюбия и легко может привести к недовольству и неповиновению, а тем самым — подготовить путь революции.

Стр. 10. Его королевское высочество, без сомнения, затрудняет работу министров; их задачи были бы облегчены, если бы его королевское высочество не принимал участия в заседаниях. Но может ли его величество отказаться от своего долга и не делать все, что в силах человеческих, дабы кронпринц изучал дела и законы страны? Разве не было бы опаснейшим экспериментом держать будущего короля в стороне от государственных дел, в то время как благо миллионов заложено в том, чтобы он был с ними знаком? Его королевское высочество обнаруживает в настоящем memoire [записке] незнание того факта, что участие кронпринца в conseil никогда не было *ответственным,* но носило только информационный характер, и что от его королевского высочества никогда нельзя требовать votum [голосование]. Все его raisonnement [рассуждение] основано на незнании этого обстоятельства.

* Вопросительный знак поставлен Бисмарком. — *Ред.*

Если бы кронпринц был ближе знаком с государственными делами, то не могло бы случиться так, чтобы его королевское высочество угрожал королю в случае, если король не исполнит желания его высочества опубликованием прений в conseil, т. е. нарушением закона и прежде всего уголовного законодательства. И это через несколько недель после того, как его королевское высочество очень строго осудил опубликование его переписки с его величеством.

Стр. 11. Указанный упрек будет во всяком случае весьма понятен всему народу; никто не обвиняет его королевское высочество в подобных намерениях, но все же говорят, что *другие,* питающие такого рода намерения, надеются осуществить их при бессознательном содействии кронпринца и что инициаторы возмутительных покушений имеют сейчас, в большей степени, чем раньше, виды на перемену режима (Systemwechsel).

Стр. 12. Требование получать своевременно сведения о вопросах, которые будут обсуждаться на заседаниях, всегда признавалось обоснованным и исполнялось; часто высказывалось даже пожелание, чтобы его королевское высочество сам старался быть более, чем это было до сих пор возможно, au courant [в курсе дел]. Для этого необходимо, чтобы местопребывание его королевского высочества всегда было известно и доступно, чтобы кронпринц, лично был доступен министрам и чтобы было обеспечено соблюдение тайны. Но особенно необходимо, чтобы советники-докладчики (die vortragenden Rathe), с которыми его королевское высочество только и должен был бы иметь право обсуждать подлежащие рассмотрению государственные дела, были бы не противниками, а друзьями правительства или хотя бы беспристрастно судили о положении и не состояли бы в *близких* отношениях с оппозицией в ландтаге и в прессе. Самый серьезный пункт — это *соблюдение тайны,* в особенности по отношению к иностранным державам, до тех пор, пока его королевское высочество и ее королевское высочество кронпринцесса не прониклись убеждением, что в царствующих домах ближайшие родственники не всегда являются соотечественниками, но в силу необходимости и по долгу своему представляют *иные,* а не прусские интересы. Тяжело, когда между матерью и дочерью, между братом и сестрой лежит *государственная* граница как линия разграничения интересов; но забвение этого обстоятельства всегда опасно для государства.

Стр. 12. «Последнее заседание совета» (3-го) не было заседанием conseil, министры были просто приглашены к его величеству, о чем сами предварительно ничего не знали.

Стр. 13. Сообщение memoire [записки] министрам придало бы ему официальный характер, между тем как высказывания наследников престола сами по себе лишены такого характера.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

СЪЕЗД ГЕРМАНСКИХ КНЯЗЕЙ ВО ФРАНКФУРТЕ[1]

I

Первые шаги по тому пути, который привел к заключению в 1879 г. союза с Австрией[2], были сделаны в то время, когда министром-президентом и министром иностранных дел был граф Рехберг (с 17 мая 1859 г. по 27 октября 1864 г.). Так как личные отношения, установившиеся между нами в то время, когда мы состояли при Союзном сейме, могли содействовать и временами содействовали этим шагам, то я приведу два эпизода, которые произошли у меня с ним во Франкфурте.

По окончании одного заседания, на котором я вызвал недовольство Рехберга, последний, оставшись со мною в зале наедине, горячо упрекал меня в несговорчивости: я, мол, mauvais coucheur [беспокойный человек] и забияка; при этом он сослался на случаи, когда я выступал против неправильных действий председательствовавшего. Я возразил ему, что не знаю, серьезно ли он сердится или это только дипломатический шахматный ход, но что во всяком случае выражение его гнева носит в высшей степени личный характер. «Не можем же мы, — сказал я, — разрешать дипломатические споры наших государств в Бокенгеймской роще на пистолетах». Он ответил с большой запальчивостью: «Поедемте туда немедленно, я готов хоть сейчас». Считая, что разговор сошел с дипломатической почвы, я спокойно заметил: «Зачем же ездить; места хватит и здесь, в саду союзного дворца; напротив живут прусские офицеры, есть поблизости и австрийские. Можно покончить это дело в ближайшие четверть часа. Я попрошу у вас только позволения набросать вкратце на бумаге происхождение нашего спора и надеюсь, что вы подпишете эту записку вместе со мною, так как я не хотел бы оказаться в глазах моего короля бреттером[3], который вершит дипломатию своего государя на поединке». Я начал писать, а мой коллега, пока я писал, быстро шагал взад и вперед у меня за спиной. Гнев его мало-помалу улегся, и он спокойнее взглянул на созданное им самим положение. Я ушел, сказав, что пришлю

к нему господина фон-Эрцена, мекленбургского посланника, в качестве моего секунданта, чтобы условиться о дальнейшем. Эрцен уладил дело миром.

Не лишено также интереса, каким образом я впоследствии приобрел доверие, а когда мы оба были уже министрами, — пожалуй, и дружбу, этого вспыльчивого, но щепетильного в вопросах чести человека. Однажды, когда я был у него по делу, он вышел из комнаты, чтобы переодеться, и, уходя, передал мне депешу, только что полученную им от своего правительства, с просьбой прочитать ее. Из содержания бумаги я понял, что Рехберг по ошибке дал мне документ, хотя и касавшийся того дела, о котором шла речь, но предназначавшийся только ему лично и, очевидно, сопровождавшийся другим — неконфиденциальным. Когда он вернулся, я возвратил ему депешу, сказав, что он ошибся и что я забуду то, что прочел; я действительно хранил полное молчание по поводу его промаха и ни в своих донесениях, ни в беседах, ни прямо, ни даже косвенно не использовал ни содержания секретного документа, ни того факта, что Рехберг ошибся. С тех пор он питал ко мне доверие.

Если бы соответствующие попытки, относящиеся ко времени министерства Рехберга, оказались успешными, они могли бы привести к созданию общегерманского союза на основе дуализма[4], к образованию в Центральной Европе 70-миллионной империи с двуглавым увенчанием; Шварценберг в своей политике стремился примерно к тому же, но с единым австрийским увенчанием и с низведением Пруссии на уровень среднего государства. Последним опытом в этом направлении был съезд князей 1863 г. Если бы политика Шварценберга в ее посмертной форме съезда князей увенчалась в конце концов успехом, то на первый план, повидимому, выдвинулось бы прежде всего использование Союзного сейма для репрессий в области внутренней политики Германии по образцу того пересмотра конституций, к которому Союз уже приступил в Ганновере, Гессене, Люксембурге, Липпе, Гамбурге и пр. Подобная же участь могла постигнуть и прусскую конституцию, если бы король не считая это ниже своего достоинства.

В результате моего сближения с Рехбергом можно было бы достичь дуалистического увенчания и равноправия Австрии и Пруссии; и при этом нашему внутреннему конституционному развитию не обязательно угрожало бы болото реакции Союзного сейма или одностороннее поощрение абсолютистских стремлений в отдельных государствах; соперничество двух великих держав служило бы защитой конституции. При дуалистическом увенчании — Австрия, Пруссия и средние государства должны были бы соревноваться между собой, чтобы заслужить одобрение общественного мнения в пределах всей нации

и отдельных государств; трения, которые возникали бы при этом, предохранили бы нашу общественную жизнь от застоя, подобного тому, какой начался со времени Майнцской следственной комиссии[5]; период либеральной деятельности австрийской печати, соревновавшейся с Пруссией, хотя бы только в области фразы, показал уже к началу 50-х годов, что незавершенная борьба за гегемонию была полезна для оживления наших национальных чувств и для конституционного развития.

Но та реформа Союза, которой добивалась Австрия при помощи съезда князей в 1863 г., поставила бы узкие рамки соперничеству между Пруссией, Австрией и парламентаризмом. Династический страх перед Пруссией и парламентской борьбой обеспечил бы при намечавшейся тогда реформе преобладание и господство за Австрией, у которой было бы прочное и систематически обоснованное большинство в Союзе.

Внешнеполитический вес Германии при обеих системах — дуалистической и австрийской — зависел бы от той степени единства и сплоченности, которая была бы достижима для всей нации при каждой из этих систем. Как показал весь ход датских осложнений[6], Австрия и Пруссия, действуя заодно, представляли собой такую силу в Европе, что ни одна из прочих держав не была расположена легкомысленно напасть на нее. До тех пор пока Пруссия занята была этим вопросом одна, хотя бы и при полной поддержке общественного мнения немецкого народа, включая средние государства, дело не двигалось вперед и приводило к таким итогам, как перемирие в Мальме[7] и Ольмюцская конвенция[8]. Как только при Рехберге удалось привлечь Австрию к единодушному выступлению вместе с Пруссией, удельный вес обеих немецких держав оказался достаточно внушительным, чтобы удержать прочие державы от возможных поползновений к вмешательству. На протяжении новой истории Англия постоянно ощущала потребность в союзе с одной из континентальных военных держав, добивалась этого, в зависимости от английских интересов, то в Вене, то в Берлине и, переходя внезапно от одной опоры к другой, как это было в Семилетнюю войну[9], не придавала особого значения упрекам в том, что она покидает старых друзей. Но когда оба двора стали действовать совместно и заключили союз, английская политика не сочла уместным (ihres Dienstes выступить против них в союзе с одной из опасных для нее держав — с Францией или Россией. Если бы, однако, прусско-австрийская дружба была подорвана, то и на тот раз последовало бы вмешательство в датский вопрос европейского сеньорен-конвента[10] *под руководством Англии.* Вот почему поддержание доброго согласия с Веной было для нас чрезвычайно важно во избежание того, чтобы наша политика не сошла снова

с правильного пути; это служило нам защитой против англо-европейского вмешательства.

4 декабря 1862 г. я раскрыл мои карты графу Карольи, с которым был в дружеских отношениях. Я сказал ему:

«Наши отношения должны стать либо лучше, либо хуже, чем сейчас. Я готов вместе с вами сделать попытку улучшить их. Если это не удастся из-за вашего отказа, то не рассчитывайте, что нас можно будет связать фразами о дружбе и союзе. Вам придется иметь дело с нами, как с великой европейской державой; параграфы Венского заключительного акта не в состоянии задержать историческое развитие Германии».

Граф Карольи, человек честного и независимого характера, несомненно, в точности доложил все то, о чем мы говорили с ним доверительно с глазу на глаз. В Вене, однако, со времени Ольмюца, Дрездена [11] и всемогущества Шварценберга установился ошибочный взгляд; нас привыкли считать более слабыми и особенно более робкими, чем нам следует быть, и стали придавать в вопросах международной политики слишком большое значение родственным узам и любви, соединявшим царствующие дома. Военные выкладки прежнего времени приводили, правда, к тому выводу, что, если бы война 1866 г. была объявлена уже в 1850 г.[12], наши шансы были бы сомнительными. Но рассчитывать на нашу робость еще в 60-х годах было ошибкой, при которой не учитывалась перемена царствования [13].

Фридрих-Вильгельм IV также легко решился бы, вероятно, в 1850 г. на мобилизацию, как его преемник в 1859 г., но он едва ли решился бы вести войну. При нем была опасность, что уловки, подобные тем, к которым прибег в 1805 г. Гаугвиц[14], поставят нас в ложное положение; в Австрии и после действительного разрыва решительно перешли бы к порядку дня независимо от наших колебаний и наших попыток найти компромисс. Король Вильгельм был столь же не расположен рвать с отцовскими традициями и установившимися семейными отношениями, как и его брат; но если он все же считал себя обязанным принять скрепя сердце какое-нибудь решение, повинуясь чувству чести как в смысле прусского porte-epee [честь мундира], так и в смысле монархического самосознания, то уж тот, кто следовал за ним, мог быть уверен, что он не будет оставлен на произвол судьбы. С этой переменой в характере высшего руководства в Вене считались недостаточно и слишком полагались на то влияние, которое можно было оказывать ранее на берлинские решения через так называемое общественное мнение, создаваемое с помощью своих агентов в прессе и субсидий газетам, а равно и на то воздействие, которое хотели и могли оказывать и впредь через державных родственников и путем переписки членов королевского дома.

К тому же в Вене переоценивали расслабляющее действие, какое мог оказать наш внутренний конфликт[15] на нашу внешнюю политику и нашу боеспособность. В широких кругах было очень сильно отрицательное отношение к тому, чтобы разрубить мечом гордиев узел[16] германской политики. Об этом свидетельствовали в 1866 г. разнообразные симптомы, начиная с покушения Блинда[17] и оценки его прогрессистскими листками* и кончая открытыми демонстрациями крупных городских корпораций и результатами выборов. Но наших полков и полей брани эти течения не достигали, а ведь именно там в конечном счете решалось дело. На ход военных действий не оказал никакого влияния также и тот знаменательный факт, что, еще во время первых сражений в Богемии, при посредничестве бывшего министра иностранных дел и тогдашнего министра двора фон-Шлейница, в Берлине продолжали плести дипломатические интриги, связанные с двором.

Если бы австрийский кабинет не истолковывал факты превратно, а оценил по достоинству то доверительное сообщение, которое я сделал в 1862 г. графу Карольи, и если бы, изменив соответственно свою политику, он стал искать сближения с Пруссией, вместо того чтобы пытаться подавлять ее с помощью большинства[18] и других влияний, то нам пришлось бы, по всей вероятности, пережить или хотя бы испробовать в Германии период дуалистической политики. Сомнительно, правда, могла ли эта дуалистическая политика развиваться мирным путем, в духе, приемлемом для немецкого национального чувства, с предотвращением надолго внутреннего раскола, если бы не действие просветившего [нас] опыта 1866 и 1870 гг.[19] В Вене и при дворах средних государств вера в военное превосходство Австрии была слишком сильна, чтобы можно было достичь1 того или иного modus'a vivendi с Пруссией на основе равноправия. Это доказали в отношении Вены прокламации, которые были обнаружены в ранцах австрийских солдат наряду с предназначенными для вступления в Берлин новыми мундирами; содержание этих прокламаций выдает, как велика была уверенность в победоносном захвате прусских областей. Отклонение последних прусских мирных предложений, сделанных через брата генерала фон-Габленца, обоснование этого отказа соображениями министра финансов о необходимости получить с Пруссии[20] контрибуцию и сделанное в то время заявление о готовности начать переговоры после первого сражения[21] — все это равным образом указывает, с какой уверенностью рассчитывали на победу в этом первом сражении.

* В берлинских лавках гравюр была выставлена литография, на которой покушение было изображено таким образом: чорт перехватывает предназначавшиеся мне пули со словами: «Он принадлежит мне!» (Ср. Politische Reden, Bd. X, S. 123, речь от 9 мая 1884 г.)

II

Общим результатом подобных представлений, влиявших в одном и том же направлении, было нечто обратное готовности венского кабинета пойти навстречу дуалистическим тенденциям; не отозвавшись на прусский почин (Anregung) 1862 г., Австрия, перейдя к очередным делам, выступила с диаметрально противоположной инициативой созыва Франкфуртского съезда князей, о чем в начале августа неожиданно узнали в Гаштейне король Вильгельм и его кабинет.

Согласно сообщениям Фребеля*, считающего себя инициатором съезда князей и, без сомнения, посвященного в его подготовку, австрийский план не был известен прочим германским князьям до получения ими приглашения, датированного 31 июля. Возможно, однако, что в известной мере тайна была открыта фон-Варнбюлеру, который был впоследствии вюртембергским министром. Этот умный и деятельный политик выразил летом 1863 г. пожелание возобновить со мной знакомство, завязавшееся несколько ранее благодаря нашему общему другу фон-Белову-Гогендорф. Он побудил меня к встрече с ним, которая состоялась по его желанию 12 июля в таинственной обстановке, в маленьком богемском местечке, к западу от Карлсбада. Я вынес из этого свидания лишь то впечатление, что он скорее хотел позондировать меня, нежели сделать мне какие-либо предложения по германскому вопросу. Экономические и финансовые проблемы, в разрешении которых он оказал мне в 1875 г. большую помощь своими знаниями и работоспособностью, занимали уже тогда выдающееся место в его взглядах, во всяком случае в применении к великогерманской политике с соответствующим ей таможенным объединением.

2 августа 1863 г. я сидел в Гаштейне под елями в парке Шварценберга, на краю глубокого ущелья реки Аах. Надо мной было гнездо синиц, и я наблюдал с часами в руках, сколько раз в минуту птичка приносила своим птенцам гусеницу или какое-нибудь иное насекомое. Наблюдая за полезной деятельностью этого существа, я заметил на другой стороне ущелья короля Вильгельма, который сидел один на скамье на Шиллерплатц**. Когда настало время одеваться к обеду у короля, я зашел к себе и нашел там записочку от его величества, в которой он писал, что будет ожидать меня на Шиллерплатц**, чтобы переговорить о свидании с императором. Я поспешил, насколько это было возможно; но еще до того, как я успел добраться до помещения, которое занимал король, беседа между обоими государями состоялась. Если бы я не так долго

---

* *J. Frobel,* Ein Lebenslauf. Stuttgart, 1891, Theil II, S. 252—255.

** Читай на Schillerhohe (на вершине Шиллера). *(Прим. нем. изд.)*

задержался, наблюдая природу, и увидел короля раньше, то первое впечатление, которое произвели на него предложения императора, оказалось бы, может быть, иным.

Он не почувствовал сначала того унижения, которое заключалось для Пруссии во внезапности этого приглашения, этого вызова a courte echeance [с кратким сроком явки]. Австрийское предложение понравилось ему, возможно, из-за содержавшегося в нем элемента солидарности государей в борьбе против парламентского либерализма, который беспокоил тогда его самого в Берлине. Королева Елизавета, которую мы встретили в Вильдбаде, на пути из Гаштейна в Баден, также настаивала предо мной, что надо ехать во Франкфурт. Я возразил: «Если король не примет другого решения, то я поеду и буду устраивать там его дела, но я уже не вернусь в Берлин министром». Королеву эта перспектива, повидимому, встревожила, и она перестала оспаривать перед королем мое мнение.

Если бы я перестал оказывать сопротивление стремлению короля ехать во Франкфурт и, согласно его желанию, сопровождал его туда ради того, чтобы превратить на съезде князей прусско-австрийское соперничество в совместную борьбу против революции и конституционализма, то Пруссия с внешней стороны осталась бы тем же, чем она была ранее; она имела бы, разумеется, возможность воспользоваться принятыми под председательством Австрии решениями Союзного сейма, с тем чтобы добиться пересмотра своей конституции, подобно тому как были пересмотрены конституции Ганновера, Гессена, Мекленбурга, Липпе, Гамбурга и Люксембурга; но тем самым она закрыла бы перед собой национально-немецкий путь.

Мне было нелегко убедить короля оставаться вдали от Франкфурта. Я занялся этим на пути из Вильдбада в Баден, когда мы ехали в небольшом открытом экипаже и обсуждали немецкий вопрос на французском языке, так как на козлах сидели люди. Я считал по приезде в Баден, что мне удалось убедить государя. Но там мы застали короля саксонского, который возобновил от имени всех государей приглашение прибыть во Франкфурт (19 августа). Моему государю было нелегко противостоять этому шахматному ходу. Он многократно повторял соображение: «30 правящих государей и король в роли курьера!» К тому же он любил и уважал короля саксонского, который и лично подходил более всех остальных государей для выполнения этой миссии. Лишь около полуночи мне удалось добиться подписи короля под отказом королю саксонскому. Когда я покинул государя, мы оба были совершенно измучены нервной напряженностью обстановки, и мое устное сообщение, которое я немедленно сделал саксонскому министру фон-Бейсту, носило еще отпечаток этого возбуждения. Тем не менее кризис миновал, и король саксон-

ский уехал, не повидав еще раз моего государя, чего я опасался.

На обратном пути из Баден-Бадена (31 августа) в Берлин король, находясь в непосредственной близости от Франкфурта, не заехал туда. Его твердая решимость не участвовать [в съезде] проявилась, таким образом, явно, и большинству государей или по крайней мере наиболее могущественным из них стало не по себе при мысли о том, что при воздержании Пруссии задуманная реформа оставит их в союзе с одной лишь Австрией и соперничество великих держав не будет уже более служить прикрытием остальным государствам. Венский кабинет считал, повидимому, возможным, что остальные союзные князья пойдут на предложение, сделанное съезду 17 августа, даже и в том случае, если при преобразовании союза они останутся в конечном счете с одной Австрией. Иначе оставшимся во Франкфурте государям не было бы сделано предложение принять и осуществить на практике австрийский проект и без согласия Пруссии. Но средние государства не хотели во Франкфурте ни односторонне прусского, ни односторонне австрийского руководства; они стремились [создать] себе возможно более влиятельное положение арбитров в системе такой триады[22], при которой обеим великим державам приходилось бы домогаться голосов средних государств. На австрийское предложение заключить союз хотя бы и без Пруссии они ответили указанием на необходимость новых переговоров с Пруссией и заявили, что они сами готовы начать такого рода переговоры. Формулировка ответа была недостаточно гладкой, чтобы не задеть Вены. Граф Рехберг, будучи подготовлен к тому хорошими отношениями, которыми завершилось наше совместное пребывание на дипломатических постах во Франкфурте, заявил, в результате этого, что для Австрии путь в Берлин не длиннее и не затруднительнее, нежели для средних государств.

Раздражение, вызванное отклонением австрийского предложения, главным образом и побудило, по моему мнению, венский кабинет к тому, чтобы договориться с Пруссией вопреки точке зрения Союзного сейма. Это новое направление соответствовало бы австрийским интересам, даже если бы оно было сохранено и на более долгий период. Для этого было необходимо прежде всего, чтобы *Рехберг оставался у кормила.*

Если бы установлено было дуалистическое руководство Германским союзом, то остальные германские государства не возражали бы против него, поскольку они убедились бы, что между обеими великими державами установилось честное и прочное соглашение; перед лицом австро-прусского соглашения заглохли бы поползновения отдельных южногерманских министров образовать Рейнский союз[23] (наиболее резко, что бы ни говорил в своих воспоминаниях граф Бейст, это проявлялось в Дармштадте).

III

Через несколько месяцев после Франкфуртского съезда скончался датский король Фридрих VII (15 ноября 1863 г.)[24]. Неудача австрийского выпада, нежелание остальных союзных государств вступить после отказа Пруссии в более тесные отношения с одной Австрией побудили Вену, в результате постановки вопроса о Шлезвиг-Гольштейне и престолонаследии, призадуматься над идеей дуалистической политики обеих германских великих держав, причем на этот раз виды на осуществление этой идеи были значительно реальней, чем в декабре 1862 г. Граф Рехберг, раздраженный отказом союзных государств взять на себя какие-либо обязательства без участия Пруссии, повернулся *попросту «кругом»,* заявив, что Австрии еще легче договориться с Пруссией, чем со средними государствами. В данный момент он был прав, но на длительное время это могло бы быть справедливо только в том случае, если бы Австрия действительно готова была обращаться с Пруссией, как с равноправной ей в Германии державой, и если бы она предоставила Пруссии беспрепятственно осуществлять свое влияние по крайней мере в Северной Германии в возмещение за поддержку европейских интересов Австрии в Италии и на Востоке. Дуалистическая политика с самого начала получила блестящее осуществление в совместных боях на берегах Шлея, в совместном вступлении в Ютландию и в совместном заключении мира с Данией[25]. Даже при условии, что прусско-австрийский союз ослаблял вызванное им раздражение в среде остальных союзных государств, он все же оправдал себя, как противовес, достаточный для того, чтобы обуздывать противодействие и недовольство других великих держав, под давлением которых Дания могла позволить себе бросить перчатку всему немецкому миру (Deutschthum).

Наше дальнейшее сотрудничество с Австрией было поставлено под угрозу сначала сильным натиском на короля со стороны военных кругов, которые хотели побудить его перейти границу Ютландии хотя бы и без Австрии. Мой старый друг фельдмаршал Врангель послал королю незашифрованную телеграмму, полную самых грубых оскорблений по моему адресу; имея в виду меня, он говорил там о дипломатах, заслуживающих виселицы*.

* Из-за этого эпизода у нас с ним в течение многих лет отношения оставались натянутыми, и, встречаясь при дворе, мы молча проходили мимо, пока однажды, когда мы оказались, как это часто бывало, соседями за столом, фельдмаршал не заговорил со мной со сконфуженной улыбкой: «Сын мой, ты не можешь забыть?» Я отвечал: «Как мог бы я забыть пережитое?» Помолчав довольно долго, он сказал: «А разве ты не можешь и простить?» — «От всей души», — отвечал я. Мы пожали друг другу руки и снова стали друзьями, как в прежние времена.

Мне удалось все же убедить тогда короля, что нам не следовало ни на волос отходить от Австрии и не следовало в частности создавать в Вене впечатления, будто Австрия втянута нами против своей воли. Добрые отношения, в которых я находился с Рехбергом и Карольи, дали мне возможность добиться согласия на вступление в Ютландию.

Несмотря на этот успех, дуалистическая попытка достигла своего кульминационного и переломного пункта в совещании обоих монархов 22 августа 1864 г. в Шенбрунне с участием их министров, Рехберга и меня. В ходе этого совещания я сказал австрийскому императору:

«Будучи призваны историей действовать на политическом поприще сообща, мы устраиваем наши обоюдные династические и политические дела лучше, если держимся вместе и становимся во главе Германии, что нам будет всегда удаваться, пока мы едины. Если Пруссия и Австрия поставят себе задачей защищать не только свои общие интересы, но и взаимно поощрять интересы друг друга, в таком случае союз обеих великих немецких держав может достигнуть большого влияния и значения не только в Германии, но и в Европе. Австрия, как государство, не заинтересована в том или ином устройстве датских герцогств и, наоборот, весьма заинтересована в своих отношениях с Пруссией. Разве из этого несомненного факта не следует сделать вывода о целесообразности ведения доброжелательной Пруссии политики, которая упрочила бы существующий ныне союз обеих великих немецких держав и пробудила бы в Пруссии признательность к Австрии? Если бы совместные приобретения были расположены не в Гольштейне, а в Италии, и если бы война, которую мы вели, предоставила в распоряжение обеих держав не Шлезвиг-Гольштейн, а Ломбардию, то мне не пришло бы в голову настаивать перед моим королем на том, чтобы противиться желанию нашего союзника или требовать от него за это эквивалента, при отсутствии в данный момент такового. Однако отдать ему за Шлезвиг-Гольштейн старопрусскую область вряд ли было бы возможно даже в том случае, если бы этого хотело население; ведь в Глаце[26] протестовали против этого даже осевшие там австрийцы. Мне представляется, что выгодные результаты дружбы немецких великих держав не исчерпываются гольштейнским вопросом; если сейчас эти выгоды находятся далеко за пределами сферы австрийских интересов, то в другой раз они могут оказаться значительно ближе, и Австрии было бы полезно проявить на этот раз щедрость и предупредительность по отношению к Пруссии».

Мне казалось, что нарисованная мною перспектива произвела некоторое впечатление на императора Франца-Иосифа. Он говорил, правда, что, учитывая общественное мнение в

Австрии, трудно выйти из создавшегося положения без всякого возмещения, в то время как Пруссия делает такое крупное приобретение, как Шлезвиг-Гольштейн; закончил он, однако, вопросом, действительно ли мы твердо решили требовать эти владения и присоединить их. У меня создалось впечатление, что он все же не считал невозможным отказаться, в нашу пользу от притязаний на земли, уступленные Данией, если бы в дальнейшем ему были обеспечены виды на прочную солидарность с Пруссией и на поддержку с ее стороны подобных же стремлений Австрии. Он поставил на дальнейшее обсуждение прежде всего вопрос о том, действительно ли Пруссия твердо решилась превратить герцогства в прусские области или же мы удовлетворимся там известными правами, которые были сформулированы впоследствии в так называемых февральских условиях[27]. Король молчал, и я, прервав молчание, ответил императору: «Мне весьма приятно, что ваше величество задаете мне этот вопрос в присутствии моего всемилостивейшего государя: я надеюсь узнать при этом его мнение». Нужно сказать, что до тех пор я не получил от короля ни устно, ни письменно его окончательного волеизъявления по поводу герцогств.

Mise en demeure [настоятельное требование] императора привело к тому результату, что король нерешительно, с некоторым смущением сказал, что он не имеет никаких прав на герцогства и поэтому не может предъявлять никаких претензий на них. Этим заявлением, в котором я почувствовал влияние родственников короля и либеральных придворных кругов, я был, разумеется, обезоружен перед лицом императора. Вслед за тем я выступил еще раз за поддержание единения обеих немецких великих держав и набросал вместе с Рехбергом соответствующую этому направлению краткую протокольную запись (Redaction), в которой вопрос о будущем Шлезвиг-Гольштейна оставался нерешенным и которая была одобрена обоими высочайшими особами.

IV

Дуализм, как я его себе представлял, походил бы на существующее сейчас положение, но с той разницей, что Австрия как член союза сохранила бы влияние на государства, образовавшие ныне вместе с Пруссией Германскую империю. Рехберга удалось привлечь на сторону идеи усиления [политического] веса Центральной Европы с помощью подобного соглашения обеих держав. Такое устройство представляло бы по сравнению с прошлым и с тем, что было тогда, во всяком случае шаг вперед — к лучшему, но оно обещало быть прочным лишь до тех пор, пока оставалось непоколебимым доверие к

руководящим деятелям той и другой стороны. Граф Рехберг сказал мне, когда я уезжал из Вены (26 августа 1864 г.), что его положение пошатнулось; объяснения министерства и отношение к последнему императора поставили его в такое положение, что он вынужден опасаться, как бы его коллеги, а именно Шмерлинг, не выбросили его за борт, если ему не удастся добиться по крайней мере обещания, что через определенный срок мы пойдем на переговоры о заключении таможенного союза, к которому стремилась Австрия и который особенно интересовал императора[28]. Я не возражал против такого рода pactum de contrahendo [договор о ведении переговоров в будущем], так как был убежден, что ни к каким уступкам, выходящим за пределы того, что кажется мне возможным, это меня не обяжет, а также потому, что политическая сторона вопроса стояла на первом плане. Я считал таможенный союз с Австрией несбыточной утопией из-за различия хозяйственных и административных условий обеих сторон[29]. Предметы, составляющие в северной части Таможенного союза его финансовую основу, на большей части австро-венгерских территорий совсем не потребляются. Трудности, возникающие уже в пределах [нынешнего] Таможенного союза из-за различия в образе жизни и характере потребления между Северной и Южной Германией, были бы непреодолимы, если бы обе эти области были включены в одну общую таможенную границу с восточными областями Австро-Венгрии. Невозможно было бы договориться о справедливом масштабе распределения [таможенных доходов], соответствующем действительному потреблению подлежащих таможенному обложению товаров; всякий масштаб оказался бы либо несправедливым для Таможенного союза, либо же неприемлемым для общественного мнения Австро-Венгрии. Непритязательный словак и галичанин, с одной стороны, и житель Рейнской или Нижнесаксонской областей— с другой[30], представляют собой с точки зрения налогового обложения величины несоизмеримые. Кроме того, мне недоставало веры в надежность таможенных чиновников на значительной части австрийской границы.

Убежденный в невозможности Таможенного союза с Австрией, я, не колеблясь, готов был оказать графу Рехбергу просимую им услугу ради того, чтобы сохранить его на посту. Уезжая в Биарриц (5 октября), я был уверен, что король будет придерживаться высказанного мной мнения; мне до сих пор не ясно, какими мотивами руководились мои коллеги, министр финансов Карл фон-Бодельшвинг и министр торговли граф Иценплиц, а также их spiritus rector [вдохновитель] фритредер[31] Дельбрюк, когда они во время моего отсутствия так энергично обрабатывали короля в этой довольно чуждой для него области; из-за нашего отказа положение Рехберга, как он

и предсказывал, оказалось поколебленным, и министром иностранных дел был на его место назначен Менсдорф[32], который был сначала кандидатом Шмерлинга[33], пока последнего не оттеснили реакционеры и католики. Несмотря на всю стойкость, приобретенную королем в вопросах внутренней политики, он поддавался еще тогда влиянию той доктрины, которую проповедывала его супруга, а именно, будто средством для разрешения германского вопроса является приобретение популярности.

Вот что писал мне в Биарриц господин фон-Тиле по поводу совещания чинов министерств иностранных дел и торговли, происходившего 10 октября 1864 г.:

«Сегодняшнее совещание вновь подтвердило тот, впрочем, давно уже известный факт, что господа специалисты, при всей их охотно признаваемой мною виртуозности в том, что касается их частной сферы, относятся крайне невнимательно к политической стороне дела и смотрят, например, как на пустяк, на возможность смены министерства в Вене. Иценплиц очень неустойчив в своих взглядах. Мне удавалось неоднократно доводить его до признания, что 25-я статья[34] finaliter и realiter [в конечном итоге и фактически] ни к чему нас не обязывает. Но затем укоризненный взгляд Дельбрюка неизменно возвращал его на позиции специалиста».

Через два дня, 12 октября, Абекен, находившийся в Баден-Бадене при короле, сообщил мне, что он не мог добиться его согласия на 25-ю статью; его величество боится «криков», которые поднялись бы по поводу такого рода уступки Австрии, и между прочим сказал: «Министерского кризиса в Вене мы, пожалуй, избегли бы, но зато вызвали бы его в Берлине; если бы мы допустили 25-ю статью, Бодельшвинг и Дельбрюк просили бы, вероятно, об отставке».

Еще через два дня граф Гольц писал мне из Парижа:

«Если положение Рехберга окончательно пошатнулось (в том, что оно поколеблено в глазах императора, я сомневаюсь решительно), то для нас могла бы явиться необходимость предупредить *здесь* предложения чисто шмерлинговского министерства».

V

Для оценки дуалистической политики не лишен был значения вопрос, могли ли мы и в какой степени рассчитывать на то, что Австрия будет придерживаться этой линии. Если представить себе ту внезапность, с какой Рехберг порвал со средними государствами, не поладив с ними из-за обнаруженной ими недостаточной податливости, и заключил союз с нами, не только без них, но даже против них, то нельзя было не считаться с возможностью, что разногласие с Пруссией в отдельных вопросах также внезапно приведет к новому повороту. Я никогда

не мог пожаловаться на отсутствие искренности у графа Рехберга, но он был, как говорит Гамлет, в необычайной степени splenetic and rash [раздражителен и опрометчив][35]. Личное недовольство графа Буоля, вызывавшееся не столько политическими разногласиями, сколько нелюбезным обращением с ним императора Николая, оказалось достаточным, чтобы долгое время вести австрийскую политику в духе шварценберговской неблагодарности: (Nous etonnerons l'Europe par notre ingratitude [Мы удивим Европу своей неблагодарностью])[36]; тем более не исключена была возможность, что гораздо менее прочные узы, существовавшие между мною и графом Рехбергом, могли быть смыты какой-нибудь бурной волной. Император Николай имел гораздо более серьезные основания верить в устойчивость своих отношений с Австрией, чем мы—в эпоху датской войны[37]. Он оказал императору Францу-Иосифу такую услугу, какую едва ли какой-нибудь монарх оказал когда-либо соседнему государству[38], а выгоды взаимной поддержки в монархических интересах против революции, как итальянской и венгерской, так и польской в 1846 г.[39], делали союз с Россией гораздо важнее для Австрии, чем союз, который она могла заключить с Пруссией в 1864 г. Император Франц-Иосиф—честная натура, но австро-венгерский государственный корабль построен так своеобразно, что покачивания, приспособляясь к которым монарх должен держаться на борту, едва ли могут быть учтены заранее. Центробежные силы отдельных национальностей, переплетение жизненных интересов, которые Австрии приходится защищать одновременно в германском, итальянском, восточном и польском направлении, неукротимость национального духа венгерцев и, главное, та не поддающаяся учету обстановка, в которой влияние духовников скрещивается с политическими решениями,—все это обязывает каждого союзника Австрии быть осторожным и не ставить интересов своих собственных подданных в исключительную зависимость от австрийской политики. Репутация устойчивости, приобретенная австрийской политикой под долголетним руководством Меттерниха[40], не может долго сохраниться при наличном составе Габсбургской монархии и ее внутренних движущих силах. Политике венского кабинета до меттерниховского периода эта репутация не соответствует вовсе, а политике после меттерниховского периода соответствует далеко не вполне. Хотя на длительный срок нельзя учесть действия сменяющихся событий и положений на решения венского кабинета, тем не менее каждому союзнику Австрии рекомендуется не отказываться от поддержки отношений, из которых в случае надобности могут получиться новые комбинации.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ЛЮДВИГ II, КОРОЛЬ БАВАРСКИЙ

По пути из Гаштейна в Баден-Баден мы заехали в Мюнхен[1]; король Макс уже уехал оттуда; он отправился во Франкфурт, предоставив своей супруге принимать гостей. Не думаю, чтобы королева Мария, при ее замкнутости и нерасположении к политике, могла энергично воздействовать на короля Вильгельма и на решение, задуманное им тогда. Во время нашего пребывания в Нимфенбурге[2] 16 и 17 августа 1863 г. моим постоянным соседом за столом был кронпринц[3], впоследствии король Людвиг II, сидевший обычно напротив своей матери. У меня создалось впечатление, что мыслями он уносился куда-то вдаль и лишь по временам, очнувшись, вспоминал о своем намерении вести со мной беседу, не выходившую за рамки обычных придворных разговоров. Тем не менее из всего, что он говорил, я мог заключить, что это натура живая и даровитая, исполненная мыслями о своем будущем. Когда беседа прерывалась, он смотрел мимо своей матери, в потолок и поспешно снова и снова опорожнял бокал с шампанским, который наполнялся с промедлением, вероятно, по приказанию его матери, так что принц неоднократно протягивал пустой бокал назад через плечо, и лишь тогда слуга нерешительно наполнял его. И в то время и впоследствии принц соблюдал в питье меру, но мне казалось, что окружающие наводили на него тоску и с помощью шампанского он хотел придать иное направление своим мыслям. Принц произвел на меня приятное впечатление, хотя я с некоторой досадой должен был сознаться, что мое старание быть приятным для него собеседником за столом оказалось бесплодным. Это — единственный раз в жизни, когда я имел случай лично встретиться с королем Людвигом, но с тех пор, как вскоре после этого (10 марта 1864 г.) он вступил на престол, и до его кончины я поддерживал хорошие отношения с ним и находился в довольно оживленной переписке; у меня всегда было впечатление, что, как правитель, он хорошо разбирался в делах и разделял национальные немецкие убеждения, хотя и озабочен был преи-

мущественно сохранением федеративного принципа имперской конституции и конституционных привилегий его страны. Мне запомнилась одна его идея, совершенно неосуществимая с политической точки зрения (она у него возникла во время переговоров в Версале), чтобы императорская власть — и соответственно председательствование в Союзе — наследственно чередовалась между Прусским и Баварским домами. Сомнения, каким образом практически осуществить подобную непрактичную мысль, сами собой отпали при переговорах с баварскими уполномоченными в Версале, и в результате председательствующему в Германском союзе монарху, т. е. королю прусскому, еще до того как речь зашла об императорском титуле, были в основном предоставлены те права, коими он пользуется в настоящее время по отношению к своему баварскому собрату по Союзу.

* * *

Привожу здесь некоторые письма из моей переписки с королем Людвигом, которые способствуют правильной характеристике этого несчастного монарха[4]; сами по себе они также могут сызнова приобрести актуальный интерес. Официальные обращения приведены лишь в первых письмах.

«Версаль, 27 ноября 1870 г.

Всепресветлейший державный король!

Прошу ваше королевское величество принять изъявление моей благоговейной признательности за милостивые сообщения, переданные мне по повелению вашего величества графом Гольнштейном. Чувство признательности, которое я питаю к вашему величеству, имеет более глубокое основание, нежели одни только личные чувства, ибо мое служебное положение дает мне возможность оценить великодушные решения вашего величества, коими вы содействовали с самого начала и вплоть до предстоящего окончания этой великой национальной войны[5] объединению и могуществу Германии. Но не мне благодарить Баварский правящий дом за истинно немецкую политику вашего величества и за героизм вашего войска: это долг немецкого народа, это дело истории. Я могу только засвидетельствовать, что до конца жизни буду благоговейно предан и искренно признателен вашему величеству и всегда почту за счастье, если мне удастся оказать вашему величеству какую-либо услугу.

Почтительнейше сообщаю, что в вопросе о титуле германского императора, по моим соображениям, самое главное, чтобы почин исходил только от вашего величества и ни от кого более, в особенности не от народного представительства. Положение сложилось бы ложное, если бы вопрос не был поставлен благодаря свободной, хорошо продуманной инициативе могуще-

ственнейшего из всех примыкающих к Союзу государей. Я позволил себе передать графу Гольнштейну проект, который будет направлен моему всемилостивейшему королю и по его желанию, с соответствующими редакционными изменениями, — другим членам Союза. В основу этой декларации положена идея, которой действительно проникнуты немецкие племена: *германский император* — их соотечественник, король прусский — их сосед, титул же *германского* императора означает лишь, что связанные с этим права основаны на добровольном вручении ему полномочий германскими князьями и племенами. История учит нас, что высокому европейскому престижу великих княжеских династий Германии, включая Прусскую, наличие избранного ими германского императора никогда не было помехой.

Почтительнейше пребываю
вашего величества
нижайшим и глубоко преданным слугой
ф.-Бисмарк».

«Любезный граф! [6]

С особенным удовольствием я отметил, что, несмотря на ваши многочисленные и не терпящие отлагательства занятия, вы нашли время выразить мне воодушевляющие вас чувства.

Приношу вам за это горячую благодарность, ибо я высока ценю дружеское расположение человека, к которому вся Германия с гордостью и радостью обращает свои взоры.

Вашему королю, моему любезному и высокоуважаемому дяде, мое письмо будет вручено завтра. От всего сердца желаю, чтобы мое предложение нашло полное сочувствие у короля и у прочих членов Союза, которым я также писал, и у всей нации; меня радует сознание, что благодаря положению, занимаемому мною в Германии, я мог в начале и при окончании этой достославной войны сделать решительный шаг на пользу национального дела. Но в то же время питаю твердую надежду, что Бавария сохранит и впредь свое положение, так как оно вполне согласуется с честной и прямодушной союзной политикой и вернее всего может помешать пагубной централизации.

То, что вы сделали для немецкой нации, велико, бессмертно, и я могу сказать без лести, что вам принадлежит самое почетное место в ряду великих людей нашего века. Да продлит господь вашу жизнь на много, много лет, дабы вы могли продолжать свою деятельность на благо и процветание нашего общего отечества. Примите, любезный граф, искренний привет, с коим я пребываю неизменно

вашим искренним другом
Людвиг

Гогеншвангау, 2 декабря 1870 г.»

«Версаль, 24 декабря 1870 г.

Всепресветлейший король, всемилостивейший государь!

Благосклонное письмо вашего величества, переданное мне графом Гольнштейном, дает мне смелость вместе с благодарностью за милостивое содержание этого письма принести вашему величеству мои почтительнейшие поздравления с наступающим новым годом. Едва ли Германия питала когда-либо такую уверенность в том, что новый год принесет ей осуществление ее национальных желаний. Когда сокровенные мечты осуществятся, когда объединенная Германия достигнет того, что она будет в состоянии своими собственными силами обеспечить себе мир в надежных границах, не стесняя вместе с тем свободного развития отдельных членов Союза, то решающий голос, который ваше величество имели в преобразовании нашего общего отечества, навеки стяжает благодарность немецкого народа и никогда не будет забыт историей.

Ваше величество совершенно справедливо предполагаете, что я также не ожидаю ничего доброго от централизации, но считаю, что наиболее соответствующей немецкому духу формой государственного развития является поддержание прав, которые союзная конституция обеспечивает отдельным членам Союза, и нахожу вместе с тем, что это самая верная порука против тех опасностей, кои могут угрожать праву и порядку при свободном развитии современной политической жизни. Враждебность, с какой вся республиканская партия в Германии отнеслась к инициативе вашего величества и союзных князей относительно восстановления императорского титула, доказывает, что последнее вполне согласуется с монархическо-консервативными интересами.

Прошу ваше величество милостиво верить тому, что я почту себя счастливым, если мне удастся сохранить всемилостивейшее расположение вашего величества

ф.-Б[исмарк]».

«Любезный граф!

В знак признательности за ваши выдающиеся заслуги в деле заключения германских союзных договоров я жалую вас прилагаемой при сем звездой с бриллиантами к имеющемуся у вас нашего дома ордену св. Губерта.

Благодаря главным образом вашему содействию справедливые интересы Баварии были приняты в этих переговорах во внимание, и поэтому вы, любезный граф, можете видеть в этом пожаловании не только акт простой вежливости, но и выражение моего дружеского к вам расположения, на которое вы имеете несомненное право. Орденский девиз — «верность без колебаний» — является также и моим девизом. Бавария, руководясь им, будет искренним союзником Пруссии и гармоническим

звеном империи. Выражая еще раз свое постоянно и особливо благожелательное к вам отношение, я шлю вам, любезный граф, мой искренний привет,

неизменно пребывая вашим искренним другом

Людвиг.

Мюнхен, 22 марта 1871 г.»

«Любезный князь!

Мне было бы не только в высшей степени интересно, но и доставило бы живейшую радость побеседовать с вами и лично выразить вам, любезный князь, чувства глубокого уважения, которые я к вам питаю. Гнусное покушение[7], за неудачу которого я всегда буду благодарить бога, очень плохо повлияло, как я узнал с истинным сожалением, на ваше здоровье, столь драгоценное и для меня, и на ход вашего лечения, так что я не решаюсь просить вас приехать ко мне в горы, где я живу в настоящее время. От всего сердца благодарю вас за ваше последнее письмо, которое меня искренне обрадовало. Я твердо уповаю на вас и вполне уверен, что вы употребите, как вы сказали моему министру ф.-Пфрецшнеру, все свое политическое влияние, чтобы в основу нового порядка вещей в Германии был положен *федеративный принцип.* Да сохранит господь вашу столь драгоценную для всех нас жизнь на много лет! Ваша смерть, точно также как и кончина столь глубоко уважаемого мною императора Вильгельма, была бы большим несчастьем для Германии и для Баварии. Шлю от всего сердца мои наилучшие пожелания, любезный князь, и остаюсь с особым почтением и глубоким доверием

вашим
искренним другом

Гогеншвангау, 31 июля 1874 г.» *Людвиг.*

«Киссинген, 10 августа 1874 г.

Всепресветлейший король,
всемилостивейший государь,

намереваясь закончить лечение и покинуть Киссинген[8], я не могу не принести еще раз вашему величеству мою глубочайшую благодарность за все милости, оказанные мне здесь вашим величеством, в особенности за ваше милостивое письмо от 31-го прошлого месяца.

Я глубоко осчастливлен доверием, которое ваше величество высказали мне в этом письме, и всегда буду стараться заслужить его. Порукой этому служат не только мои личные чувства; ваше величество можете вполне рассчитывать и на те гарантии, которые вытекают из самой сущности имперской конституции. Последняя зиждется на федеративной основе, утвержденной союзными договорами, и всякое нарушение конституции

означает нарушение договоров. Этим и отличается наша общеимперская конституция от конституции всякой иной страны. Права вашего величества составляют неотделимую часть имперской конституции и основываются поэтому на тех же прочных правовых основах, как все учреждения империи. Германия имеет ныне в лице своего Союзного совета[9], а Бавария в лице своего достойного и разумного представительства в Союзном совете твердую гарантию против всяких попыток извращения и преувеличения стремлений к единству. Ваше величество можете быть вполне уверены в том, что конституционные права, утвержденные договорами, будут строго соблюдаться и тогда, когда я не буду более иметь честь служить империи в звании канцлера[10].

С чувством глубокого преклонения пребываю
вашего величества
всеподданнейшим слугой
ф.-Бисмарк».

«Фридрихсруэ, 2 июня 1876 г.

Ваше величество, как пишет мне барон Вертерн, и в настоящем году милостиво предоставили в мое распоряжение экипаж из королевских конюшен для поездки в Киссинген. Надеюсь, я буду иметь возможность последовать совету врачей и поехать и этим летом для исцеления туда, где я обрел его два года тому назад, как ваше величество изволили милостиво напомнить в высочайшем повелении от 29 апреля.

В Турции дела принимают угрожающий оборот[11] и могут потребовать усиленной дипломатической деятельности, но из всех европейских держав Германия всегда будет в наиболее благоприятном положении и долго или во всяком случае дольше других останется в стороне от тех осложнений, которые угрожают европейскому миру на почве *восточного* вопроса. Поэтому я не теряю надежды побывать в Киссингене через несколько недель и почтительно прошу ваше величество благосклонно принять мою нижайшую благодарность за милостивое попечение обо мне.

ф.-Бисмарк».

«Я искренно рад, что надежда посетить Киссинген, выраженная в драгоценном вашем письме от 2-го числа сего месяца,, оправдалась.

От души приветствую вас в моей стране и льщу себя приятной надеждой, что ваше столь драгоценное для империи здоровье будет снова восстановлено целебным источником Баварии.

Дай бог, чтобы исполнилось общее желание всех немецких государей о сохранении мира и чтобы вы, любезный князь,

могли, таким образом, воспользоваться необходимым для вас отдыхом от напряженной работы и волнующих вас забот.

Целуя руку княгине и посылая вам, любезный князь, самый сердечный привет, остаюсь

всегда вам доброжелательным
и искренне преданным другом

Берг, 18 июня 1876 г.» *Людвиг.*

«Киссинген, 5 июля 1876 г.

...К сожалению, политика не дает мне полного покоя, столь необходимого при пользовании водами; бесплодные труды дипломатов вызваны не действительной опасностью, угрожающей миру, по крайней мере в отношении Германии, а общим тревожным состоянием и беспокойством. Труды эти и не могут быть плодотворны до тех пор, пока борьба в пределах Турции не приведет к какому-нибудь решению. Чем бы она ни кончилась, соглашение между Россией и Англией всегда будет возможно при наличии искренности с той и другой стороны, постольку и до тех пор, поскольку и пока Россия не стремится овладеть Константинополем. Гораздо труднее будет примирить на долгое время интересы Австро-Венгрии и России; впрочем, до сих пор между обоими императорскими дворами еще не нарушено согласие, и я твердо надеюсь заслужить высочайшее одобрение вашего величества, почитая поддержание этого согласия главной задачей германской дипломатии. Германия была бы поставлена в весьма затруднительное положение, если бы ей пришлось выбирать между этими двумя столь дружественными [ей] соседними державами; я уверен, что поступаю в духе вашего величества и всех немецких государей, отстаивая в нашей политике тот основной принцип, что Германия может добровольно принять участие в какой-либо войне не иначе, как для защиты бесспорных немецких интересов. Смею думать, что пока турецкий вопрос не выходит за пределы Турции, он не затрагивает таких интересов Германии, из-за которых ей стоило бы воевать; точно так же борьба между Россией и одной из западных держав или обеими может разгореться без того, чтобы Германия была вовлечена в нее. Положение было бы гораздо затруднительнее в случае разногласий между Австрией и Россией, но я надеюсь, что свидание обоих монархов в Рейхштадте[12] будет плодотворным и послужит к упрочению их дружбы. К счастью, император Александр желает мира и признает положение Австрии в отношении южнославянского движения более затруднительным и обязывающим, нежели положение России. У России тут затронуты лишь интересы внешней политики, у Австрии же — жизненные интересы внутренней политики.

ф.-Бисмарк».

«С большой радостью я узнал о, повидимому, благоприятном ходе вашего лечения. Многократно благодарю вас за эту радостную весть и от души желаю, чтобы неприятные последствия утомительного лечения киссингенскими водами также вскоре исчезли.

Вы меня чрезвычайно обязали, любезный князь, изложив мне так ясно нынешнюю политическую ситуацию. Я восхищаюсь дальновидностью и государственной мудростью высказанных вами политических взглядов на позицию Германии в отношении нынешних и еще угрожающих в будущем осложнений за границей; нет надобности говорить, что ваши напряженные усилия, направленные на поддержание мира, вызывают во мне самое горячее сочувствие и безграничное доверие. От души желаю, любезный князь, чтобы успех германской политики и признательность немецких государей и племен застали вас в добром здоровье и бодрости.

К этому искреннему пожеланию присовокупляю самый сердечный привет и уверение в совершенном почтении и глубочайшем доверии, с коими, любезный князь, неизменно пребываю

вашим искренним другом

Гогеншвангау, 16 июля 1876 г.» *Людвиг.*

«Киссинген, 29 июня 1877 г.

Я не мог избежать множества дел во время моего лечения, так как рейхстаг чинил по вопросу о моем заместителе всяческие затруднения, бороться с которыми мне не позволяло в то время здоровье, и таким образом я был вынужден контрассигнировать[13] бумаги, даже находясь в отпуску. Это одно из средств, коими большинство рейхстага старается добиться учреждения того, что понимает под названием «ответственного имперского министра», чему я постоянно сопротивляюсь не ради того, чтобы оставаться единственным министром, но ради ограждения конституционных прав Союзного совета и его высоких доверителей[14]. Только в ущерб этим последним могли бы быть наделены полномочиями имперские министерства, учреждения коих у нас добиваются, и мы вступили бы тогда на путь централизации, который, полагаю, едва ли послужил бы в будущем ко благу Германии. По моему мнению, конституция не только дает моим непрусским коллегам по Союзному совету право и обязывает их открыто поддерживать меня в борьбе против введения подобных имперских министерств, разъясняя тем самым, что я защищаю не только министериальное единовластие канцлера, но и права союзников и министерские полномочия Союзного совета, — это является также их политической задачей. Я полагаю, что, высказав это Пфрецшнеру, я поступил согласно со взглядами вашего величества, и уверен, что представитель

вашего величества в Союзном совете вместе со своими другими коллегами облегчит мне борьбу с рейхстагом, который настаивает на учреждении ответственных имперских министерств.

Если выбор вашего величества пал, как я слышал, на господина ф.-Рудгарта, то, судя по всему, что говорил мне о нем Гогенлоэ, я должен почтительнейше благодарить вас за это назначение и полагаю, что я буду в состоянии обсуждать с ним вполне откровенно не только внутренние, но и внешние дела империи; это весьма важно по отношению к представителю вашего величества и в служебном отношении и лично для меня. В данный момент наше положение по отношению к прочим державам таково же, каким оно было и в течение всей зимы; все еще не ослабла надежда, что война нас не коснется. Доверие России к тому, что она может положиться на надежность нашей добрососедской политики, возросло. Вместе с тем укрепилась также и надежда, что нам удастся избежать таких событий, против коих Австрия была бы вынуждена принять меры ввиду своих собственных интересов. Мы стараемся попрежнему поддерживать дружеские отношения между двумя империями, и наши старания довольно успешны. Наша дружба с Англией до сих пор от этого не пострадала; слухам, пущенным при тамошнем дворе политическими интриганами, будто Германия подумывает о приобретении Голландии, поверили — и то временно — лишь в высший дамских кругах; клеветники действуют без устали, но те, кто им верит, кажется, уже устали. При таком положении дел внешняя политика империи может сосредоточить неослабное внимание на вулкане, находящемся на Западе[15], который за последние 300 лет так часто угрожал Германии своими извержениями. Я не придаю значения уверениям, которые доходят до нас оттуда, но не могу посоветовать империи ничего иного, как только ожидать возможного нового нападения во всеоружии, в полной боевой готовности...

ф.-Бисмарк»

«...Пользуюсь случаем, любезный князь, сказать вам, что я был чрезвычайно взволнован последнее время известием о предполагаемом выходе вашем в отставку. При все возрастающем уважении, которое я питаю лично к вам, и при моем доверии к федеративной основе вашей государственной деятельности подобное событие было бы крайне прискорбно и для меня лично и для моей страны.

К великой моей радости этого не случилось, и я от души желаю, чтобы империя и преданная ей Бавария долго еще могли пользоваться вашей мудростью и энергией! Примите также, любезный князь, мою искреннюю благодарность за сообщаемое вами радостное известие о надеждах на поддержание мира и за уверение, что фон-Рудгарт, посланник, назначенный мною в

Берлин, будет принят вами благосклонно и с полным доверием. Ваше отношение ко все чаще всплывающему вопросу об учреждении ответственных имперских министерств доказывает, что мы имеем в вас могучий оплот и защиту прав союзных князей; мне доставили большое успокоение ваши слова, любезный князь, что вы видите благо Германии в будущем не в централизации, которая была бы достигнута учреждением подобных министерств. Будьте уверены, что я употреблю все силы к тому, чтобы непременно обеспечить вам и на будущее время в борьбе за сохранение основ имперской конституции самую чистосердечную и полную поддержку со стороны моих представителей в Союзном совете, к коим, без сомнения, присоединятся и уполномоченные прочих государей*.

Людвиг.

Берг, 7 июля 1877 г.»

«Киссинген, 12 августа 1878 г.

Позволяю себе повергнуть к стопам вашего величества мою почтительнейшую благодарность за милостивое приказание, данное и в нынешнем году королевской придворной конюшне на время моего пребывания здесь, и за милостивые слова, переданные мне министром фон-Пфрецшнером по высочайшему повелению вашего величества. Политика, которую ваше величество во всемилостивейшем письме вашем признали вполне целесообразной для Германии, нашла на [Берлинском] конгрессе [16] свое завершение. Мир нам обеспечен, опасность разрыва между Австрией и Россией устранена, и наши отношения с обеими дружественными соседними империями сохранены и упрочены. Я радуюсь в особенности тому, что нам удалось внушить венскому кабинету и населению Австрийской империи доверие к нашей политике, а также упрочить это доверие, возникшее столь недавно. Руководя и впредь внешней политикой империи: в указанном смысле, я надеюсь заслужить высочайшее одобрение вашего величества и, согласно с этим, постараюсь повлиять на Порту и на прочие державы, чтобы облегчить, по мере возможности, дипломатическим вмешательством трудную задачу, которую Австрия взяла на себя, к сожалению, несколько поздно-

Гораздо сложнее в настоящую минуту задачи внутренней политики. Со смертью кардинала Франчи мои переговоры с нунцием[17] в ожидании инструкций из Рима нисколько не подвигаются. А в инструкциях, которые привез архиепископ Новокесарийский, требовалось, чтобы status quo ante [положение до] 1870 г. было восстановлено в Пруссии если и не в форме договора, то хотя бы фактически. Подобные принципиальные уступки немыслимы ни с той, ни с другой стороны. Папа фактически не имеет возможности чем-либо компенсировать нас; партия

* Рудгарт этого не оправдал.

центра[18], враждебная государству пресса, польская агитация не послушают папы, хотя бы его святейшество[19] и вздумал приказать этим элементам поддержать правительство. Хотя силы, объединенные в партии центра, борются в настоящее время под знаменем папы, но они *сами по себе* враждебны государству и будут таковыми, хотя бы они не могли долее прикрываться знаменем католицизма; их связь с партией прогрессистов[20] и с социалистами, основой которой является вражда к государству, независима от спора о церковных делах. По крайней мере в Пруссии избирательные округа, из которых пополняется центр, — включая сюда дворян Вестфалии и Верхней Силезии, коими руководят иезуиты и коих они с умыслом направляют на ложный путь,— были, под влиянием демократических принципов, в оппозиции правительству и *до* возникновения спора о церковных делах[21]. При таких обстоятельствах папский престол не может предложить нам никакого эквивалента за те уступки, каких он от нас требует, тем более что он не может в настоящее время оказывать влияние на иезуитов, занимающихся германскими делами. Бессилие папы без их поддержки обнаружилось особенно ясно при дополнительных выборах, когда католики *вопреки* желанию папы подавали голоса за социалистических кандидатов и доктор Моуфанг в Майнце публично принял на себя известные обязательства в этом отношении. Переговоры, ведущиеся здесь с нунцием, не могут выйти из стадии предварительной рекогносцировки. Я вынес из них такое впечатление, что пока нет возможности закончить их, но, по моему мнению, все-таки надобно стараться, чтобы они не были окончательно прерваны; этого желает, кажется, и нунций. В Риме, очевидно, полагают, что мы нуждаемся в поддержке сильней, чем это на самом деле имеет место, и преувеличивают помощь, которую они, при самом добром желании, могут оказать нам в парламенте. Новые выборы в рейхстаг[22] переместили центр тяжести последнего гораздо более вправо, чем ожидали. Перевес либералов уменьшился, и притом сильнее, чем показывают цифры. Предлагая распустить парламент, я не сомневался, что избиратели больше расположены к правительству, нежели депутаты; и в результате многие депутаты, избранные вновь, несмотря на их оппозицию правительству, могли добиться переизбрания, только дав обещание поддерживать правительство. Если они не сдержат своего обещания и придется снова распустить парламент, то они потеряют доверие избирателей и не будут более избраны. Последствием ослабления связей с депутатами либеральной партии и центра будет, смею думать, большая сплоченность союзных правительств. Возрастающая угроза со стороны социал-демократии, увеличение с каждым годом опасной разбойничьей шайки, -обитающей вместе с нами в наиболее крупных

городах, отказ со стороны большинства рейхстага помочь правительству в борьбе с этой опасностью — все это вынуждает в конце концов немецких государей, их правительства и всех приверженцев государственного порядка к солидарности в самозащите, которую демагогическим нападкам ораторов и прессы не одолеть до тех пор, пока правительства будут действовать единодушно и решительно, как в настоящее время. Цель Германской империи — правовая защита; парламентская же деятельность при образовании существующего ныне союза государей и городов рассматривалась лишь как средство для достижения целей союза, но отнюдь не как самоцель. Я надеюсь, что поведение рейхстага избавит союзные правительства от необходимости когда-либо сделать практические выводы из этого правового положения. Но я не уверен, что большинство избранного ныне рейхстага будет подлинным выразителем несомненно лойяльно и монархически настроенного большинства немецких избирателей. Если этого не будет, в порядок дня снова встанет вопрос о роспуске рейхстага. Не думаю, однако, чтобы подходящий момент для этого наступил уже нынешней осенью. Если правительству придется обратиться снова к избирателям, то вопрос о хозяйственной и финансовой реформе, если только он будет правильно понят народом, явится прекрасным орудием в руках союзных правительств; но для этого нужно, чтобы этот вопрос был обсужден в рейхстаге, а это не может состояться ранее зимней сессии. Необходимость увеличить доходы, повысив косвенные налоги, чувствуется во всех союзных государствах и была единогласно признана их министрами в Гейдельберге[23]. Несогласие с этим парламентских теоретиков не встретит в конце концов сочувствия производительной массы населения.

Нижайше прошу ваше величество отнестись с благосклонным вниманием к этому краткому очерку современного положения дел и не лишать меня впредь высочайшей милости вашего величества...

ф.-Бисмарк».

«От всей души благодарю вас за крайне интересное изображение нынешнего политического положения, которое вы были так любезны прислать мне из Киссингена, наметив в вашем письме и те цели, которые ставит перед собой ваша большая политика на ближайшее будущее. Искренне желаю, чтобы Киссинген и дополнительный курс лечения поддержали ваши исполинские силы, необходимые для осуществления этих планов; эти силы понадобятся вам уже ко времени ближайшей сессии рейхстага. Да послужит ваша энергичная деятельность попрежнему на благо германской отчизны и да продлится она многие годы. Этого хотят все, кому дорого благоденствие Германии. Я также твердо надеюсь, что союзные правительства всегда

будут действовать единодушно и сплоченно, когда придется обуздывать социал-демократическую опасность.

Прошу вас засвидетельствовать княгине чувства моего особого уважения и передать мой горячий привет вашему сыну, графу Герберту.

Еще раз от души благодарю вас, любезный князь, за ваше в высшей степени интересное письмо, доставившее мне огромное удовольствие, и прошу вас верить в совершенное уважение и доверие, с коим остаюсь неизменно

вашим искренним другом

Берг, 31 августа 1878 г.» *Людвиг.*

«Партенкирхен, 30 сентября 1878 г.

(Телеграмма)

Примите, любезный князь, мои горячие и искренние поздравления и пожелания в связи с радостным семейным событием, в коем я, как и во всем, что касается вас и вашей семьи, принимаю живейшее участие.

Людвиг»,

«Любезный князь фон-Бисмарк!

С удовольствием пользуюсь случаем от души поздравить вас с успехом, коим увенчались происходившие в рейхстаге прения относительно представленного вами обширного финансового проекта[24]. Надобно было обладать вашей необыкновенной энергией и силой, чтобы выйти победителем из борьбы с противодействующими взглядами и многочисленными эгоистическими интересами, которые препятствовали осуществлению вашего проекта. Немецкие земли вновь обязаны вам признательностью и будут с вновь ожившей надеждой стремиться к достижению материального благосостояния, составляющего необходимую основу государственной жизни.

Искренно желаю, чтобы пребывание в Киссингене дало вам возможность вполне отдохнуть от напряжения и забот последнего времени. К этому искреннему пожеланию присоединяю уверение в особливом моем уважении, с коим пребываю

вашим искренним другом

Гогеншвангау, 29 июля 1879 г.» *Людвиг.*

«Киссинген, 4 августа 1879 г.

Ваше величество весьма осчастливили меня милостивыми словами, коими вы меня удостоили в высочайшем письме вашем от 29-го числа истекшего месяца. Особенно признателен за то, что ваше величество соизволили обратить внимание, какие трудно-

сти создаются партийными страстями вкупе с частными интересами на пути реформ, проектируемых союзными правительствами.

В ближайшем будущем вряд ли удастся, по моему мнению, достигнуть большего в хозяйственных вопросах, касающихся покровительства немецкому труду и промышленности; придется выждать практического результата того, что уже достигнуто; а результат этот не может быть ясно ощутим еще и в следующем году, ибо принятое рейхстагом решение повременить с введением ввозных пошлин снова дало загранице возможность наводнить немецкий рынок беспошлинными товарами. Ожидаемое нами благотворное влияние на поднятие нашего материального благосостояния может сказаться лишь по истечении будущего года.

Но в области финансов, полагаю, придется уже в одно из ближайших заседаний рейхстага возобновить попытку изыскать для союзных правительств новые источники дохода; хотя нынешние поступления и покрывают дефицит нашего бюджета, но их нехватит на то, чтобы осуществить реформы *прямых* налогов и оказать помощь нуждающимся общинным управлениям.

В политическом отношении результат деятельности союзных правительств отвечает моим ожиданиям, поскольку, благодаря соответствующим переговорам, нанесен, видимо, решительный удар неправильной группировке и составу наших политических партий и фракций. Центр впервые принял положительное участие в законодательстве империи. Долго ли это будет продолжаться, покажет будущее. Не исключена возможность, что, если соглашение с папским престолом не состоится, эта партия вернется к своей прежней, чисто отрицательной и оппозиционной точке зрения. Шансы на соглашение с Римом, судя по внешним признакам, не особенно возросли с прошлого года. Некоторую надежду мне подает, пожалуй, тот факт, что папский нунций Якобини официально заявил послу принцу Рейсу о желании приступить к переговорам, на что он уполномочен Римом. Как велики эти полномочия, мне покуда неизвестно, но, согласно желанию нунция, я изъявил готовность встретиться с ним в Гаштейне и обсудить [дело].

В результате последней сессии рейхстага национал-либеральная партия[25] пойдет, я надеюсь, навстречу своему расколу — на монархическую и прогрессистскую, т. е. республиканскую, части. Попытка бывшего президента фон-Форкенбека подчинить законодательную власть империи непосредственному контролю немецкого союза городов[26] и зажигательные речи Ласкера и Рихтера по адресу неимущих классов столь ясно обнажили революционные тенденции этих депутатов, что приверженцы монархического строя политически не могут более иметь с ними ничего общего. План союза городов с его

постоянным комитетом при рейхстаге выработан по образцу созыва в 1792 г. «федератов»[27] из французских провинциальных городов. Эта попытка не встретила никакого отклика в немецком народе, но она показывает, что и в наших прогрессистских депутатах есть нечто от депутатов Конвента[28]. Застрельщики революции вербуются у нас почти исключительно из *ученого* пролетариата, коим северная Германия богаче южной. Это — ученые, высокообразованные господа, у которых нет недвижимого имущества, нет профессии или определенных доходов и которые живут либо на жалованье, получаемое на государственной или муниципальной службе, либо же на заработки в прессе, зачастую занимаясь тем и другим одновременно; в рейхстаге они составляют более половины депутатов, тогда как среди избирателей число их не превышает ничтожного процента. Эти-то господа и образуют фермент революционного брожения и руководят прогрессистской и национал-либеральной фракциями и прессой. Взорвать их партию составляет, по моему мнению, существенную задачу консервативной политики, а реформа хозяйственных интересов создает ту почву, на которой правительства постепенно могут приблизиться к достижению этой цели.

Почтительнейше благодарю ваше величество за выраженные вами всемилостивейшие пожелания относительно благополучного исхода моего лечения, которое, судя по всем признакам, так же как и в прошлые годы, принесет пользу моему здоровью, сильно пошатнувшемуся этой зимой. Успеху лечения много способствуют удобства, коими я пользуюсь благодаря милостивому вниманию вашего величества и которые дают мне возможность дышать целебным воздухом окрестных лесов. Превосходные лошади придворной конюшни вашего величества дают мне возможность посещать прелестные окрестности Киссингена, а это особенно приятно в связи с тем, что с годами ходить становится труднее. Прошу ваше величество милостиво принять мою нижайшую благодарность за то удовольствие и отличие, коих я тем самым удостоен.

ф.-Бисмарк».

«Киссинген, 7 августа 1879 г.

Зная, что ваше величество живо интересуетесь ходом наших переговоров с Римом, я осмеливаюсь представить прилагаемые при сем копии нижеследующих документов:

1) письма папы к его императорскому величеству от 30 мая,

2) ответа на это письмо от 21 июня,

3) письма папы к его императорскому величеству от 9 июля, на которое еще не последовало ответа.

ф.-Бисмарк».

«Любезный князь!

Шлю вам горячую благодарность за ваши, доставившие мне большое удовольствие, письма от 4 и 7-го числа сего месяца, в которых вы сообщаете мне так много интересного о позиции [отдельных] партий и о положении римских дел. Переговоры, которые вы ведете с Римом, уже увенчались успехом, так как заметное улучшение наших отношений с римской курией оказало решающее влияние на партию центра и способствовало удачному завершению вашей финансовой реформы. Да увенчаются и в других отношениях успехом ваши энергичные попытки создать большую консервативную партию. Я искренно желаю, любезный князь, чтобы здоровье и силы позволили вам осуществить ваши великие и столь важные задачи; поэтому мне было весьма приятно узнать из вашего письма, что ваше пребывание в Киссингене обещает отличные результаты.

Будьте уверены, любезный князь, в совершенном уважении и доверии, с коими я остаюсь попрежнему

вашим искренним другом

Берг, 18 августа 1879 г.» *Людвиг.*

«Любезный князь фон-Бисмарк!

Вы были столь внимательны, сообщив мне в письме от 28 апреля ваше предписание на имя принца Рейса от 22-го сего месяца относительно церковного вопроса. Я с большим интересом ознакомился с его содержанием и выражаю вам за его присылку мою горячую благодарность, пребывая в прочем

вашим искренним другом

Мюнхен, 2 мая 1880 г.» *Людвиг.*

«Любезный князь ф.-Бисмарк!

Я с большим интересом ознакомился с проектом церковного закона, который должен быть внесен в прусский ландтаг, и горячо благодарю вас за его присылку, с приложением вашего столь ясного изложения обстановки. К моему искреннейшему огорчению, вы присовокупили к нему, любезный князь, сообщение о вашем намерении устраниться от дел. Вы знаете, каково мое искреннее уважение и безусловное доверие к вам, и поэтому поймете, как мне было бы тяжело, если бы вы осуществили ваше намерение. Если условия в рейхстаге и не всегда складываются так, как хотелось бы, то все же, любезный князь, Союзный совет всегда с неизменной готовностью поддержит вас на основе федеративного принципа имперской конституции. Мое правительство, никогда не отклоняющееся от этого принципа, было всегда проникнуто поддерживавшим его сознанием, что оно оказывается, таким образом, заодно

с человеком, высокой политической прозорливости и деятельности которого Германия обязана своим вновь возникшим величием на пути не только сохранения, но даже укрепления в едином союзе необходимой самостоятельности и силы отдельных государств. Верность подобным принципам обеспечивает нашему общему отечеству мир и могущество. Чем более страстно я к этому стремлюсь и чем крепче моя неуклонная решимость бороться за это, тем труднее мне расстаться с надеждой, что я и со мной вся Германия еще долгие годы будем чувствовать ваше всегда одинаково незаменимое руководство делами.

Примите вновь, любезный князь, уверения в особом уважении, с коим пребываю

вашим искренним другом

Замок Берг, 17 мая 1880 г.» *Людвиг.*

«Любезный князь фон-Бисмарк!

С глубокой благодарностью я отвечаю на ваше письмо от 9-го сего месяца, приложение к которому было для меня очень интересно. Я высоко ценю ваши сообщения и с точки зрения их важного содержания и как знак вашего любезного внимания и с удовольствием ожидаю их продолжения. Как мне передавали, вы вскоре прибудете в Киссинген. Вы знаете, любезный князь, насколько искренни теплые пожелания вашего благополучия, которые я храню в своем сердце; исполнение их будет для меня всегда величайшей радостью, ибо с подлинным уважением и величайшей благосклонностью пребываю всегда

вашим искренним другом

Замок Берг, 15 июня 1880 г.» *Людвиг.*

«Любезный князь!

Пожелания, которые вы были так любезны высказать мне по случаю моего двойного праздника и 700-летнего юбилея моего дома, доставили мне истинную радость. От всей души благодарю вас за вашу испытанную преданность, которая так драгоценна для меня и для моей страны и на которую я полагаюсь и впредь. При сердечных отношениях, существующих между вами, славным и великим канцлером, и мною, мне было особенно приятно узнать, что и предки мои имели причины глубоко почитать и отличать ваше семейство. Благоприятные вести, которые вы сообщаете мне, любезный князь, о вашем здоровье, весьма радуют меня, и я повторяю еще раз, что мне приятно слышать, что баварский целебный источник поддерживает изумительную энергию, которую вы употребляете на благо немецких государств. С особенным удовольствием я узнал из вашего пись-

ма о вашей уверенности в том, что мир не будет нарушен, и благодарен вам за обещание прислать мне записку о политическом положении дел.

Примите, любезный князь, вместе с вашими близкими уверение в искренней моей симпатии и глубоком уважении, с коим остаюсь всегда

вашим искренним другом

Берг, 1 сентября 1880 г.» *Людвиг.*

«Любезный князь!

Благополучный исход вашего лечения в Киссингене осуществил самые искренние мои желания, и я надеюсь, что необходимый отдых успокоит также невралгические боли, которые все еще вас не оставляют, как я узнал с большим сожалением из вашего письма. Я прочел с живейшим интересом описание внутреннего и внешнего положения, которое вы изложили в вашем столь драгоценном для меня письме. Я восхищен величием вашей деятельности в той и другой сфере. Меня радуют и ваши виды на поддержание мира и твердость, с какой вы отражаете поползновения ввести господство парламентского большинства, поползновения, которые обнаруживаются в настоящее время и в Баварии, хотя и с другой стороны. Я постараюсь, чтобы цель, которой они добиваются и которая несовместима с монархическим принципом и может вызвать лишь бесконечные волнения и неудовольствия, осталась недостигнутой. С величайшим интересом ожидаю предстоящих выборов. Если даже исход выборов приведет к нежелательным результатам, я все-таки уверен, что вы со свойственной вам настойчивостью сумеете выработать такие финансовые и хозяйственные основы, кои необходимы для того, чтобы обеспечить благосостояние немецких государств, и в особенности для того, чтобы сделать положение рабочих более приемлемым; в искреннем содействии моего правительства вы можете быть вполне уверены. С другой стороны, любезный князь, я твердо убежден, что, проводя свои обширные планы, вы будете исходить из федеративного принципа, на котором зиждется империя и самостоятельность отдельных государств.

Меня весьма порадовало известие, что вы находитесь в пределах Баварии. Надеюсь, что вы еще много-много лет будете посещать мою страну, и шлю вам, любезный князь, вместе с самыми искренними моими пожеланиями на будущее уверение во всегдашнем особом моем доверии и совершенном уважении, с коим я остаюсь навсегда

вашим искренним другом

Людвиг.

Гогеншвангау, 10 августа 1881 г.»

«Любезный князь!

От всего сердца благодарю вас за удовольствие, доставленное мне вашим поздравлением ко дню моего рождения. Это поздравление, точно так же как и все содержание драгоценного вашего письма, служит новым доказательством вашего дружеского ко мне расположения, которое глубоко радует меня и на которое я всегда вполне полагаюсь. Искренно желаю вам во время пребывания в Варцине хорошо отдохнуть и насладиться хорошей погодой, дабы вы, пользуясь добрым здоровьем, могли приступить, согласно вашему желанию, к выполнению ваших великих задач.

Посылая вам и вашей семье привет, остаюсь, любезный князь, с особым уважением

вашим искренним другом

Берг, 27 августа 1881 г.» *Людвиг.*

«Любезный князь!

Драгоценное письмо, которое вы были так любезны прислать мне из Киссингена, доставило мне большое удовольствие. Принося вам, любезный князь, глубокую благодарность за высказанные в нем пожелания к вдвойне для меня торжественному дню, я не хочу упустить случая сказать вам, что я прочел с величайшим интересом приложенную к вашему письму записку о нынешнем политическом положении. К величайшему моему удовлетворению, я вывел из нее. заключение, что в настоящее время нет серьезных признаков, которые дали бы основания опасаться в ближайшем будущем за европейский мир. Хотя положение дел в России и концентрация войск на ее западной границе могут возбудить некоторое опасение, но я все же питаю надежду, что благодаря отрадному согласию, существующему между Германией и Австрией[29], служащему мощным залогом мира на европейском континенте, и благодаря вашей мудрой и дальновидной политике удастся избежать военных осложнений и мирные намерения русского императора, провозглашенные им во всеуслышание совсем недавно по случаю торжественной коронации в Москве, одержат в конце концов верх. Примите, любезный князь, вместе с искренней моей благодарностью за ваши всегда приятные для меня письма и изъявление моей сердечной радости по поводу того, что ваше, к сожалению, давно уже расстроенное здоровье начало поправляться под влиянием целебных вод Киссингена и лечения опытного врача. Искренно желаю вам скорейшего восстановления сил и здоровья, дабы Германия долго еще пользовалась сознанием безопасности, какое внушает ей доверие к энергии и проницательности ее великого государственного че-

ловека. Вместе с тем возобновляю уверение в подлинном восхищении и неизменном расположении, которые я всегда питаю к вам, любезный князь! Посылаю вам искренний привет и остаюсь навсегда

вашим искренним другом

Замок Берг, 2 сентября 1883 г.» *Людвиг.*

«Любезный князь фон-Бисмарк!

Я имел удовольствие получить ваше письмо от 19-го числа сего месяца; горячо благодарю вас, любезный князь, за ваши сообщения и за приложенный к ним документ из Санкт-Петербурга. С тем и другим я ознакомился с живейшим интересом, с каким я отношусь ко всему, что вы мне сообщаете. Отраднее всего было для меня, конечно, известие, что вы понемногу поправляетесь; от души желаю, чтобы здоровье ваше вполне восстановилось. Это даст мне надежду, что, освежившись и восстановив здоровье, вы с новыми силами сможете и в дальнейшем всецело посвятить себя вашему высокому призванию государственного деятеля, и я спокойно ожидаю дальнейшего развития политических событий. Что касается в частности отношений Германии к России, то я с удовольствием заключаю из донесения генерала фон-Швейница, что нет по крайней мере причины сомневаться в искреннем миролюбии русского императора и его руководящего министра. Этот успокоительный факт в связи с согласием, упрочившимся, к счастью, между Германией и Австрией и ныне, судя по вашим словам, вполне обеспеченным, что меня искренно радует, еще более укрепляет во мне надежду на дальнейшее упрочение мира.

Примите, любезный князь, вместе с моими искренними пожеланиями полнейшего выздоровления уверение в особом почтении, с каким я остаюсь

вашим искренним другом

Людвиг.

Эльмау, 27 сентября 1883 г.»

ПРИМЕЧАНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1 *Соединенный ландтаг* — феодально-сословное собрание, созванное в Пруссии 11 апреля 1847 г. Образован путем слияния восьми провинциальных ландтагов. Делился на две курии: в одну курию входили представители высшей знати, а в другую — сословные представители дворянства, городов и крестьян. Созывом Соединенного ландтага Фридрих-Вильгельм IV пытался накануне революции 1848 г. подменить народное представительство, с тем чтобы получить необходимые правительству денежные средства. После того как Соединенный ландтаг отказался утвердить заем, он был распущен 26 июня 1847 г. Второй Соединенный ландтаг был созван 2 апреля 1848 г. Он принял избирательный закон для выборов в Учредительное собрание.

2 *Пантеист* — сторонник философского учения пантеизма (от греческого *пан* — все и *теос* — бог). Пантеисты отожествляют бога с природой и тем самым отрицают существование бога вне природы. С точки зрения Бисмарка, пантеизм есть разрыв с религиозностью, шаг к атеизму.

3 *Школа Пламана* — частное учебное заведение в Берлине, существовавшее с 1805 по 1827 г. Школа готовила к поступлению в 3-й класс гимназии. *Ян* — участник немецкого национального движения, педагог, в период войны 1813—1815 гг. против Наполеона разработал систему, которая претендовала на спартанское воспитание детей в патриотическом духе. Основным средством для достижения своей цели Ян считал гимнастику.—В двенадцатилетнем возрасте Бисмарк был переведен в обычную гимназию, которую и окончил в 1832 г.

4 *Тридцатилетняя война* (1618—1648 гг.)—война между католическими и протестантскими немецкими государствами, в которой принял участие и ряд не-немецких государств (Швеция, Франция, Дания и др.). Германия была в то время раздроблена на несколько сот самостоятельных государств — княжеств и городов, объединенных в *Священную Римскую империю германской нации.* На императорский престол с XV века обычно избирались представители австрийского владетельного дома Габсбургов. Действия протестантских государств в Тридцатилетней войне были направлены в первую очередь против императорской власти, поддерживавшей католическую реакцию. Война закончилась Вестфальским миром 1648 г. Главным последствием войны было сильнейшее разорение Германии, надолго задержавшее ее экономическое развитие. Война привела к ослаблению власти римско-германского императора, к усилению политической раздробленности Германии и к возвышению Пруссии среди других немецких государств.

[6] *Курфюрстом* в средневековой Римско-Германской империи назывался князь, пользовавшийся правом участия в выборе императора. *Великим курфюрстом* был прозван курфюрст бранденбургский Фридрих-Вильгельм (1640—1688), фактический основатель бранденбургско-прусского государства. В годы его правления началось возвышение Пруссии.

[6] *Семилетняя война* (1756—1763 гг.)—война между Пруссией и Англией, с одной стороны, и Австрией, Саксонией, Россией, Францией и Швецией (а позже и Испанией) — с другой. В этой войне Пруссия боролась с Австрией за влияние среди германских государств. Одним из результатов войны было закрепление за Пруссией Силезии; поэтому Семилетнюю войну .называют иногда *третьей Силезской войной* (см. прим; 30 к гл. VIII).

[7] Burschenschaft *(буршеншафт)* — название студенческих корпораций; о принадлежности к одной из них и говорит здесь Бисмарк.

[8] В период, о котором пишет здесь Бисмарк, т. е. в первой половине XIX века, Германия продолжала находиться в состоянии феодальной раздробленности. До уничтожения средневековой Германской империи (1806 г.) на территории Германии существовало несколько сот самостоятельных государств. В результате ряда преобразований в начале XIX века их число значительно уменьшилось. По постановлению Венского конгресса (см. прим. 34 к гл. VIII) 38 самостоятельных государств были в 1815 г. формально объединены в *Германский союз,* не имевший по существу никакой реальной власти. Единственным центральным органом Союза был *Союзный сейм,* заседавший в городе Франкфурте-на-Майне; председательствовала в нем Австрия. Союзный сейм не был обычным представительным учреждением, это была лишь конференция представителей государств —членов Германского союза. Голоса в нем были разделены таким образом, что при обычном голосовании (в узком совете) только наиболее крупные государства, имели по голосу (Австрия, Пруссия, Бавария, Саксония, Ганновер, Вюртемберг, Баден, Кургессен, великое герцогство Гессен, Гольштейн, Люксембург); остальные государства были соединены в 6 групп, каждая из которых в целом имела по 1 голосу: всего, таким образом, получалось 17 голосов. Создание Германского союза отнюдь не означало воссоединения страны в самостоятельное государство,—Союз был скорее помехой на пути к этому. Он прекратил свою деятельность во время революции 1848 г., был восстановлен в 1850 г. (см. об этом ниже, гл. III) и окончательно уничтожен в 1866 г.

[9] *Гамбахский праздник*—политическая демонстрация 27 мая 1832 г. в Гамбахском замке (Баварский Пфальц), собравшая около 30 тысяч участников. Гамбахский праздник был одним из проявлений подъема национально-либерального движения в Германии в начале 30-х годов XIX века.

[0] *Франкфуртский путч* — так Бисмарк называет вооруженное выступление республиканцев во Франкфурте-на-Майне 3 апреля 1833 г. Оно было подготовлено тайной организацией, состоявшей из ремесленников, студентов и др. Выступление в самом зародыше было подавлено войсками.

[1] *Освободительная война,* война за освобождение — так в немецкой литературе обычно называется война 1813—1815 гг. против Наполеона, установившего свое владычество в Германии.

[2] Бисмарк говорит об областях Западной Германии, во времена Наполеона частично присоединенных к Франции, а частично испытавших сильное влияние французских преобразований.

13 *Аускультатор* — сдавший государственный экзамен начинающий чиновник, который должен был проходить стаж, в данном случае — в *каммергерихте,* т. е. в апелляционном суде. Аускультатор, начав проходить стаж как в суде, так и в административном учреждении, назывался *правительственным референдарием.*

14 *Таможенный союз* в Германии был создан в 1833 г. В него вошли Пруссия, Гессен, Бавария, Вюртемберг и др., образовавшие единую таможенную территорию; впоследствии в него вошло большинство германских государств, исключая Австрию, против которой он был в значительной степени направлен. Лишь в 1853—1854 гг. Австрия добилась заключения с Пруссией таможенного договора. Пруссия играла ведущую роль в Таможенном союзе.

16 *Князь Феликс Лихновский* (1814—1848)—прусский дворянин польского происхождения, состоял на прусской службе, затем перешел на службу к претенденту на испанский престол Дон-Карлосу, где быстро сделал карьеру. Яркий оратор, он пользовался большой известностью во время первого Соединенного ландтага. Убит повстанцами во время франкфуртского восстания 1848 г. Здесь Бисмарк намекает, очевидно, на нашумевшую дуэль князя в Берлине в начале 1841 г.

17 *Аспирант* — в данном случае кандидат на должность по ведомству иностранных дел.

17 В 1859—1862 гг. Бисмарк был прусским посланником в Петербурге. См. гл. X.

18 В 1851 г. Бисмарк был назначен прусским посланником при Союзном сейме (см. выше, прим. 8), имевшем своим местопребыванием Франкфурт-на-Майне. На этом посту Бисмарк пробыл до назначения в Петербург, т. е. до 1859 г.

19 В 1806 г. прусская армия была разгромлена французами (при Иене и Ауэрштедте). В 1807 г. генерал Шарнгорст провел коренную реформу прусской армии. Бисмарк указывает здесь на характерную особенность прусской армии до 1806 г., ведущую начало еще от Фридриха II; этот полководец последовательно проводил принцип, состоявший в том, что генералы и иные начальники, сверху донизу, должны «не рассуждать, а только исполнять» приказания короля. Отсюда — боязнь инициативы и ответственности, которую отмечает Бисмарк,

20 Бисмарк имеет в виду период царствования прусского короля Фридриха II (1740—1786).

21 *Правительственный асессор* — мелкий чиновник административного ведомства.

22 Процесс супругов Гейнце — скандальный судебный процесс в Берлине в октябре 1891 г. по обвинению супругов Гейнце в сводничестве и тому подобных преступлениях.

21 По закону 1817 г. государственный совет в Пруссии являлся высшим совещательным учреждением при короле. Все законопроекты должны были рассматриваться государственным советом. В него входили принцы крови, высшие сановники королевства и лица, особо назначенные королем. Впоследствии положение государственного совета было изменено; см. об этом т. II, гл. XXXI и прим. к ней.

54 *Земским правом* называлось в Германии право отдельных исторических областей (земель) страны. *Общее земское право,* установленное в 1794 г., — общепрусское, в отличие от существовавших со средних веков особых систем местного права по отдельным прусским землям.

К числу провинций, где было введено общее земское право, относились Восточная Пруссия, Вестфалия и Рейнская провинция.

[25] Для уяснения воспоминаний Бисмарка о его административной деятельности необходимо иметь в виду следующее. После 1815 г. Пруссия делилась на 9 *провинций* (Восточная Пруссия, Западная Пруссия, Бранденбург, Померания, Силезия, Познань, Саксония, Вестфалия и Рейнская провинция); провинции делились на *округа* (Bezirke), округа — на *уезды* (Kreise). Во главе местных управлений (административных коллегий) стояли: в провинции — *обер-президент,* а в округе—*регирунгс-президент* или в просторечье — *президент.* Уездом управлял *ландрат.* Он назначался королем; кандидатура ландрата выдвигалась местным дворянством; таким образом ландрат был одновременно и королевским чиновником и лицом, представлявшим дворянское сословие.

[26] Рейнская провинция Пруссии была образована из отошедших в 1835 г. к Пруссии земель по реке Рейну, ранее в большинстве принадлежавших многочисленным мелким княжествам, а в 1801 г. присоединенных частично к Франции. Создание административной системы и комплектование административных учреждений проходило здесь в несколько особых условиях. Коренные реформы, проведенные Наполеоном во время его господства в рейнских землях — наиболее развитой в экономическом отношении области тогдашней Германии, — носили буржуазный характер и находились в резком противоречии с системой, существовавшей в старопрусских областях. После изгнания французов некоторые наполеоновские преобразования, вызывавшиеся социально-экономическими особенностями этих областей Германии, не могли быть отменены. Это ставило Рейнскую провинцию в особое положение по сравнению с другими прусскими провинциями.

[27] Эльзас и Лотарингия были присоединены к Германии в результате франко-прусской войны, по Франкфуртскому миру 10 мая 1871 г.

[28] *Префектура* — местный орган центральной администрации, управлявший делами департамента — основной административно-территориальной единицы Франции со времени Французской буржуазной революции конца XVIII века; система префектур была введена Наполеоном в 1800 г. В рейнских землях, отошедших впоследствии к Пруссии, во времена французского владычества было проведено аналогичное деление.

[29] *Синекура* — латинское выражение (sine сига—без заботы), обозначает должность хорошо оплачиваемую, но не требующую работы.

[30] *Президент,* точнее *регирунгс-президент,* см. выше, прим. 25.

[31] Косичка и парик символизируют здесь старую бюрократию.

[32] Бисмарк покинул службу 22 октября 1839 г. *(Прим. нем. изд.)*

[33] См. выше, прим. 25.

[34] Ср. G. v. *Wilmowski,* Meine Erinnerungen an Bismarck (Breslau, 1900), S. 181; автор приводит заявление Бисмарка в ноябре 1868 г.: «Если что-нибудь неправильно сделано, то не найдешь никого, кто был бы или признал бы себя ответственным за это. Никого не поймаешь и получаешь пощечину от невидимой руки». *(Прим. нем. изд.)*

[35] Ср. письмо Бисмарка к Шарлаху от 9 января 1845 г. (Vom jungen Bismarck, Weimar, 1912, S. 87): «После этого я поступил на государственную службу в Потсдаме, пил и играл, чтобы рассеяться, делал долги не по средствам, стал военным, чтобы выполнить свой долг, оказался в ссоре со своим начальником и в такой обстановке с жадностью и радостной надеждой, какая появляется, когда представляется выход

из пошатнувшегося положения в иные условия, я ухватился за предложение моего отца принять его здешние имения — большие, отягощенные сильной задолженностью и с таким запутанным управлением, что они, вместо того чтобы давать доход, требовали затрат». *(Прим. нем. изд.)*

36 Бисмарк принял отцовские имения Книпгоф, Кюльц и Ярхелин на пасхе 1839 г., во время своего отпуска; однако он оставался на службе до октября. После смерти отца (2 ноября 1845 г.) он переехал в Шенгаузен. *(Прим. нем. изд.)*

37 *Ландвер* — в Пруссии после военных реформ 1807—1813 гг. ополчение, выставлявшееся уездами.

38 Частичка «фон» перед фамилией означает принадлежность к дворянству.

39 Имеются в виду антидворянские настроения передовой части немецкой буржуазии и мелкой буржуазии в период от начала Французской революции XVIII века до 1806 г. Разгром Пруссии под Иеной и Ауэрштедтом в 1806 г. выдвинул на первый план задачи борьбы против наполеоновского владычества.

40 Барон Отто-Теодор *Мантейфель* — министр внутренних дел в кабинете генерала Бранденбурга с ноября 1848 г. После смерти Бранденбурга (1850 г.) Мантейфель стал министром-президентом (до 1858 г.).

41 Княжество *Нейенбург,* или *Невшатель* (князем которого был с 1815 г. прусский король), входило вместе с тем в Швейцарскую конфедерацию в качестве одного из кантонов. В 1848 г. здесь была установлена республика. 3 сентября 1856 г. роялисты подняли восстание с целью вернуть Нейенбург прусскому королю. Оно было подавлено на следующий день.

42 *Окружной фельдфебель* — чин командного состава ландвера (см. выше, прим. 37).

43 *Кюльц* — одно из имений Бисмарка.

44 *Талер* — серебряная монета в Германии до XX века.

45 Правительством *«новой эры»* принято называть министерство во главе с князем Гогенцоллерн-Зигмарингеном, призванное к власти в 1858 г., при установлении регентства принца Вильгельма (см. прим. 22 к гл. IX). Это правительство пробыло у власти до 1862 г., т. е. до так называемого «конституционного конфликта» (см. гл. XIV).

46 Во время войны против владычества Наполеона прусский король Фридрих-Вильгельм III в своих обращениях к населению обещал ввести в Пруссии конституцию после победы над врагом. Это обещание не было сдержано. В 1840-е годы либералы требовали от Фридриха-Вильгельма IV выполнения обещаний его отца, в частности созыва представительного народного собрания. Против подобных требований и протестует Бисмарк.

47 *Принцесса Прусская* — титул супруги принца Прусского. В данном случае речь идет о супруге будущего короля Вильгельма I, Августе.

48 Свадьба Бисмарка с Иоганной фон-Путткамер состоялась 28 июля 1847 г.; с 6 по 9 сентября 1847 г. Бисмарк с женою жили в Венеции.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1 18—19 марта 1848 г. в Берлине произошло восстание, которое явилось началом мартовской революции 1848 г. в Пруссии.

2 *Черно-красно-золотое знамя* — принятая в начале XIX века эмблема объединенной Германии. В 1848 г. служило знаменем буржуазной революции.

3 *Карабинерами* в прусской армии в XVIII и начале XIX века назывались отборные солдаты в кавалерийской части. *Вахмистр* — унтер-офицерский чин в кавалерии.

4 *«Немецкий дом»* — гостиница в Берлине.

5 *Принц Прусский* — титул ближайших наследников прусского королевского престола. В годы революции 1848—1849 этот титул носили братья короля: будущий король и император Вильгельм I и принц Карл-Фридрих. Говоря о принце Прусском, 'Бисмарк обычно подразумевает Вильгельма.

6 *Павлиний остров* — на реке Гафель (приток Эльбы).

7 Речь идет о *Соединенном ландтаге* (см. прим. 1 к гл. I).

8 См. т. I, гл. II, стр. 27—28.

9 *Гражданская гвардия* — добровольная военная организация, созданная берлинской буржуазией 19 марта 1848 г. В ее состав входили буржуа, студенты и ремесленники. Формально задачей гражданской гвардии была защита завоеванных свобод; на деле, в процессе дальнейшего развития революции, гражданская гвардия неоднократно выступала против революционного пролетариата.

10 *«Коровья нога»* (Kuhfuss) — шуточное название ружья.

11 *Полицей-президент* — начальник полиции.

12 Обращение «К *моим дорогим берлинцам»* — манифест прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, подписанный в ночь с 18 на 19 марта 1848 г., во время революционного восстания в Берлине. В этом обращении король пытался возложить ответственность за предпринятые им репрессии против восставших на «группу бунтовщиков», «шайку злодеев, по большей части иностранцев», возмущающих население. Он призывал «ради всего святого» разобрать баррикады и разойтись по домам, обещая, что «все улицы и площади тотчас же будут очищены от войск и военная охрана останется только у некоторых зданий дворца, у цейхгауза и еще у некоторых помещений, да и то лишь на короткое время».

13 Приводимая Бисмарком пословица соответствует русской — «задним умом крепок».

14 См. трагедию Гете «Гец фон-Берлихинген», акт III, сцену 17. Гец — рыцарь, возглавлявший один из крестьянских отрядов во время Великой крестьянской войны в Германии XVI века, впоследствии ставший предателем. На предложение императорского посланца о сдаче Гец отвечает: «Мне сдаться? На гнев и милость? Ты с кем говоришь? Что я — разбойник? Скажи твоему начальнику, что к его императорскому величеству я, как всегда, чувствую должное уважение. А он, скажи ему, он может меня...» (захлопывает окно). '

15 *Адрес* — обращение второго прусского Соединенного ландтага, созванного 2 апреля 1848 г., к королю Фридриху-Вильгельму IV. В адресе выдвигались весьма умеренные требования некоторых буржуазных свобод.

16 Намек на предписание преемника Бисмарка на посту имперского канцлера Каприви от 23 мая 1890 г. Об этом см. т. III, гл. VIII, и примечания к ней.

17 Утверждение Бисмарка, что он «подписывал свою фамилию без v. (фон)», не совсем соответствует фактам: в молодости Бисмарк почти во всех письмах проставлял «фон». *(Прим. нем. изд.)*

18 *Налог на помол* (Mahlsteuer) взимался либо непосредственно с помола, либо в виде пошлины за ввоз муки в город. В 1820 г. налог на ввоз

муки был объявлен обязательным для всех крупных городов Пруссии. Он был окончательно отменен только в 1873 г.; в годы дороговизны взимание его приостанавливалось. *Поразрядным налогом* (Klassensteuer) назывался в Пруссии прямой налог, ставки которого устанавливались вне зависимости от размеров дохода, соответственно тому, к какой категории населения принадлежит налогоплательщик. По закону, изданному в 1820 г., налогоплательщики подразделялись на 4 категории, а каждая из этих категорий — в свою очередь на разряды (Klassen), для которых и устанавливались ставки налога.—Под войной на побережье подразумевается война Пруссии с Данией из-за Шлезвиг-Гольштейна, продолжавшаяся с перерывами с апреля 1848 г. по июль 1849 г.

19 Здесь в немецком издании «Мыслей и воспоминаний» 1924 г. напечатано в квадратных скобках несколько фраз, отсутствовавших в первом издании 1898 г. После слов «повернуть вспять» добавлено: «Даже ультраконсерватор, господин фон-Тадден, сравнивает человека, который сражается за прошлое, со странствующим рыцарем, выходящим на бой с ветряными мельницами и падающим с переломанными костями».

Далее, несколькими строками ниже, после слов «без полного возмещения» добавлено: «не задумываются над тем, что в эти ренты и ипотечные ссуды нередко вложен сбереженный вдовий пфенниг, не задумываются, наконец, над тем, что с таким же правом, с каким могли бы отменить эти ренты, должны были бы потребовать также и возвращения всего того, что в порядке выкупа с начала регулирования собственники-крестьяне выплатили деньгами или отдали землей; так, идя от одного акта грабежа к другому, превратили бы в нечто непрочное всякое владение, основанное на писанном документе. Однако, как уже было указано, это средство применяется с целью лишить сельское население крепкого представительства его интересов в лице способных и опытных членов прежнего дворянства (Ritterschaft)».

20 Речь идет о платежах зависимых крестьян помещикам за освобождение от феодальных повинностей и за полученные при этом крестьянами земельные участки — впрочем, чрезвычайно немногочисленные. Эти платежи были установлены законом о регулировании 1811 г., Декларацией 1816 г. и Положением о выкупе 1821 г. Они превращали процесс освобождения прусских крестьян от феодальной зависимости в чрезвычайно мучительную операцию.

21 Следует отметить, что термины *«партия», «фракция»* Бисмарк употребляет не только в общепринятом значении, но и в смысле придворной и иной группировки. В данном случае *партия фон-Финке* означает группу, близкую к принцессе.

22 Прозвищем *«картечный принц»* Вильгельм обязан своей позиции в мартовские дни 1848 г., когда он требовал решительного подавления восстания войсками.

23 *Четырехлетний конфликт* (1862—1866 гг.), обычно называемый *«конституционным конфликтом»,* происходил между прусским правительством и Прусским ландтагом. См. гл. XIV и примечания к ней.

24 *Война с Австрией* — австро-прусская война 1866 г. См. т. II, гл. XX.

25 *«Культуркампф»* (т. е. «борьба за культуру»)—название, укрепившееся за начатой Бисмарком в середине 70-х годов борьбой государства с католической церковью в Германии. В «культуркампфе» дело шло об устранении влияния церкви на политику империи, о борьбе с партикуляризмом католических областей Германии, об устранении опас-

ности сближения на почве католицизма Австрии и Франции. О событиях «культуркампфа» см. т. II, гл. XXIV и примечания к ней.

26 *Бабельсберг* — замок прусских королей в окрестностях Потсдама.

27 Передаем эти стихи в прозаическом переводе:

То были пруссаки, цвета — черный и белый. Вновь взвилось знамя, когда за короля, за своего короля, умирали один за другим его верные подданные. Мы бестрепетно глядели, как уносили прочь павших. Тогда в преданное сердце проник призыв: «Вы не должны быть отныне пруссаками, вы должны быть немцами».

Но с любовью приблизились мы к трону, не поколебленные еще в своей вере и полные доверия; тут показал нам король, как награждается верность: нас — его пруссаков — не слушал наш король. Тогда разорвались узы, о, горе моей родине! С тех пор, как оттолкнул король преданных ему, разбилось наше сердце и исчезла его опора.

Когда буря бушевала вокруг главы короля, тогда его, проклинаемого, поносимого яростью черни, ликующей ныне на полях наших побед,— тогда его охраняло мужество войск. Без страха они поднялись и отдали кровь и жизнь за их государя, за их короля; их смерть была сладка и честь — не запятнана.

А там, где пали они, твои мужественные, верные,—узнай о кощунстве, о, святая родина! — там стоят шеренги грязной черни, рука об руку, вокруг короля. Вновь клянутся они в любви — ха! — и преданности. Их клятва — ложь, и призрак — их свобода; благо нам, они не хотят быть больше пруссаками.

Черно-красно-золотое знамя сверкает ныне в солнечных лучах; развенчанный, никнет черный орел. Здесь кончается, Цоллерн, история твоей славы, здесь пал король — но не в битве. Без радости взираем мы на закатившуюся звезду; в том, что ты делаешь сейчас, ты раскаешься: никого нет верней пруссаков!

28 См. т. II, гл. XX.

29 Король употребляет здесь устарелую форму «teutsches», происходящую от названия одного из древнегерманских племен тевтонов (teutones).

30 Революция 1848 г. началась в Германии в южногерманских мелких и средних государствах в конце февраля—начале марта 1848г. 13 марта произошло революционное восстание в столице Австрии — Вене.

31 В ночь на 4 августа 1789 г. дворяне, члены Учредительного собрания Франции, в напряженной обстановке, созданной массовыми крестьянскими восстаниями, «добровольно» отказались от следуемых им феодальных крестьянских повинностей. Этот отказ касался лишь части повинностей, притом наименее существенной. Готовность к «жертвам на алтарь отечества», на которую ссылается Бисмарк, была вынужденной.

32 Намек на ольмюцские события. См. следующую главу.

33 Через 3 дня после начала мартовского восстания 1848 г. в Берлине король предпринял театрализованный выезд, чтобы продемонстрировать «единение с народом». Король провозгласил перед ратушей и университетом, что он желает спасти немецкое единство и свободу, что он хочет стать во главе конституционной Германии и т. п.

34 В упоминаемых Бисмарком речах 10 сентября 1840 г. и 4 сентября 1842 г. прусский король Фридрих-Вильгельм IV изложил свою политическую программу. В речи, произнесенной в 1840 г., он сказал: «Я помню, что получил свою корону от всевышнего господа, и перед

ним я ответственен за каждый день и каждый час своего правления. Кто требует от меня гарантий на будущее время, тому я адресую эти слова. Лучшей гарантии ни я, ни какой-либо другой человек дать не может. Эта гарантия прочнее, чем все присяги, чем все обещания, закрепленные на пергаменте, ибо она вытекает из самой жизни и коренится в ней... Кто хочет довольствоваться простым, отеческим древнегерманским и христианским правлением, тот пусть с доверием взирает на меня».

35 *С 1848 по 1866* г., т. е. от «уличных боев», как называет революционные бои 1848 г. Бисмарк, до «полей сражений» в австро-прусской войне 1866 г.

36 Австро-прусская война 1866 г. и франко-прусская война 1870—1871 гг.

37 *Сан-Суси* — дворец близ города Потсдама, резиденция прусского короля.

38 *Фронда* — движение французской знати против королевского абсолютизма в 1648 — 1653 гг. В переносном смысле фрондой называют показную, неглубокую оппозицию.

39 *Берлинское собрание* — Прусское национальное собрание, открывшееся в Берлине 22 мая 1848 г. и распущенное 5 декабря того же года.

40 См. выше, прим. 2.

41 *Штурм цейхгауза* в Берлине рабочими и ремесленниками 14—15 июня 1848 г. явился одним из наиболее значительных массовых выступлений в германской революции 1848 г.

42 *Франкфуртский парламент* — немецкое Национальное собрание (18 мая 1848 г. — 18 июня 1849 г.). Это собрание, созванное после мартовской революции 1848 г., имело своей целью воссоединение Германии в самостоятельное государство. Франкфуртский парламент, состоявший в большинстве из либеральных буржуа, страшился всякого народного движения. Он не решился взять власть в свои руки и ограничился бесплодными прениями по поводу проекта конституции будущей объединенной Германии. Подготовленная парламентом к марту 1849 г., имперская конституция не была признана правительствами германских государств; императорская корона, предложенная собранием прусскому королю, была пренебрежительно отвергнута им (3 апреля 1849 г.), как корона «незаконного происхождения». Восстание, поднятое в защиту конституции, выработанной парламентом, не было им возглавлено. 18 июня 1849 г. Франкфуртский парламент был разогнан, не оказав никакого сопротивления.

43 *Камарилья* (от испанского camarilla — комнатка) — безответственная группка близких монарху придворных, пользующихся большим влиянием.

44 *«Человек красной земли»* — вестфалец; вестфальцы слывут упрямыми и своевольными.

45 *Корнак* — проводник слона в Индии.

46 В театре заседало Прусское национальное собрание (Берлинский парламент). После того как оно выразило недоверие новому, реакционному министерству Бранденбурга, пришедшему к власти 1 ноября, в Берлин были введены войска генерала Врангеля; 9 ноября собранию было предписано покинуть Берлин и перенести свои заседания в Бранденбург. Собрание не осмелилось апеллировать к народным массам и, ограничившись протестами, фактически прекратило свое существование. Формально оно было распущено 5 декабря 1848 г.

47 См. т. I, гл. III, стр. 48—49.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1 Принцип *легитимизма* был выдвинут французским уполномоченным на Венском конгрессе 1814—1815 гг. (см. прим. 34 к гл. VIII) князем Талейраном. Он должен был послужить руководящим принципом при решении судьбы Европы после победы над Наполеоном. Выдвинув этот принцип, Талейран на деле стремился лишь облегчить положение побежденной Франции на конгрессе и добиться ее участия в решении основных вопросов. Его попытки увенчались блестящим успехом. — В дальнейшем своем развитии термин «легитимизм» получил значение политической и правовой доктрины, согласно которой право на престол имеют лишь «законные» (legitime — законный) наследники династии; никакой иной акт возведения на престол (например, избрание, как это было в данном случае, когда корону объединенной Германии предложил прусскому королю парламент), с точки зрения легитимизма, не может быть предпочтен «легитимным» правам. В более широком смысле легитимизм явился теорией абсолютизма, выражением политических взглядов феодальной реакции, родившейся в условиях борьбы против Французской буржуазной революции конца XVIII века. — Во Франции после июльской революции 1830 г. легитимистами назывались сторонники династии Бурбонов, свергнутой в 1830 г.

2 См. прим. 34 к гл. II.

3 Весной 1849 г. по южной и западной Германии прокатилась волна восстаний мелкобуржуазной демократии под лозунгом борьбы за имперскую конституцию, выработанную Франкфуртским национальным собранием (см. прим. 42 к гл. II). Первое из этих восстаний произошло в Дрездене (Саксония) в мае; наиболее значительным было происшедшее в том же месяце восстание в Бадене. Восстания были подавлены к середине июля 1849 г.

4 *Ландвер* — см. прим. 37 к гл. I.

5 *Октроирование* — пожалование; *октроированная конституция* (от французского octroyer — даровать) — конституция, дарованная монархом. В данном случае конституции, принятой Национальным собранием в 1848 г., противопоставляется конституция, которую король пожаловал бы подданным.

6 Под *«бельгийским образцом»* здесь подразумевается бельгийская либерально-буржуазная конституция 1831 г., послужившая образцом при выработке либеральных конституций в ряде стран в XIX веке.

7 *«Новая эра»* — см. прим. 45 к гл. I.

8 В церкви св. Павла во Франкфурте заседало Германское национальное собрание (см. прим. 42 к гл. II). *Сан-Суси* — см. прим. 37 к гл. II.

9 *Феакийские правительства* — нереальные; феаки — мифический народ в древнегреческих сказаниях Гомера. В данном случае Бисмарк, иронизируя, имеет в виду правительства ряда мелких и средних германских государств; под влиянием февральской революции 1848 г. во Франции и подъема революционной волны в самой Германии эти правительства пошли на уступки еще раньше, чем начались серьезные революционные бои.

10 Речь идет о прусской конституции 1850 г., которая хотя и в незначительной степени, но все же ограничивала королевскую власть.

11 Речь идет о назначении министерства генерала Бранденбурга (см. выше, гл. II).

12 См. прим. 42 к гл. II.

13 Бисмарк подразумевает владетельных князей мелких и средних германских государств.

14 Войны Пруссии с Данией в 1864 г., с Австрией — в 1866 г., с Францией — в 1870—1871 гг.

15 Имеется в виду будущий прусский король и первый император воссоединенной Германии — Вильгельм I.

16 См. выше, прим. 3.

17 Революция 1848 г. в Австрии началась с восстания в Вене 13 марта. Одним из требований восставших было немедленное удаление австрийского канцлера Меттерниха — вдохновителя не только австрийской, но и всеевропейской реакции. В тот же день князь Меттерних был вынужден подать в отставку и бежать из Вены. Промежуток от этого поражения до вывода войск из Берлина, о котором говорит Бисмарк,, продолжался с 13 по 19 марта.

18 См. выше, прим. 3.

19 *Союз трех королей* — союз королей Пруссии, Саксонии и Ганновера— государств, которые по прусским планам должны были составить ядро будущей Германской империи под главенством Пруссии; заключен 26 мая 1849 г. сроком на один год; он был открыт для присоединения других германских государств. В городе Эрфурте 20 марта — 29 апреля 1850 г. происходила конференция представителей правительств Пруссии, Саксонии и Ганновера с целью выработки общей конституции. Но благодаря решительной позиции, занятой Австрией, Саксония и Ганновер вышли из союза, и конференция, получившая название *Эрфуртского парламента,* была распущена.

20 Восстания в защиту имперской конституции в Саксонии и юго-западной Германии (см. выше, прим. 3) подавлялись прусскими, гессенскими, мекленбургскими и другими войсками. Формально эти войска выступали как «имперская армия», от имени общегерманского (созданного Франкфуртским парламентом) правительства; главнокомандующим «имперской армией» был принц Прусский.

21 См. трагедию Шиллера «Смерть Валленштейна» (действие 2-е, сцена 3-я), где герой ее говорит:

...Тесна вселенная, а ум обширен,
Легко сосуществуют мысли в нем;
В пространстве ж вещь всегда помеха вещи,
Тут завладеть чужим лишь можно местом:
Иль вытесняй, иль вытеснят тебя.
Тут вечный спор, и верх берет в нем сила...

22 *Кориолан* — по преданию, знатный римлянин, герой одноименной трагедии Шекспира. Он обращается к восставшему народу с презрительными и оскорбительными словами, обвиняя его в быстрой смене настроений и симпатий (действие первое, сцена первая).

23 Бисмарк иронизирует по поводу существования в средневековой Германско-Римской империи многочисленных категорий знати, обладавших различными правами, со сложной юридической природой. Различие между этими категориями давало себя чувствовать еще и в XIX веке. *Медиатизированные князья* — переведенные из непосредственного подчинения императору в подчинение другим князьям и, следовательно, переставшие быть самостоятельными *правящими* государями. *Персоналисты* — носители личного почетного титула, пожа-

лованного императором; в отличие от *реалистов* их права ограничивались титулом. *Реципированные* (т. е. «принятые») графы — входившие в сословие имперских князей и утвержденные в своем звании императором (в отличие от нереципированных, т. е. неутвержденных).

24 В г. *Ольмюце* (Моравия) 29 ноября 1850 г. было заключено соглашение между Пруссией, Россией и Австрией. По этому соглашению Пруссия под давлением России отказалась от попыток объединить Германию под своим главенством и соглашалась на восстановление Германского союза (см. прим. 8 к гл. I) в старом виде, т. е. при фактическом преобладании Австрии. Этот договор был серьезным поражением Пруссии. Бисмарк в дальнейшем неоднократно напоминает о «позоре», об «унижении» Пруссии в Ольмюце. — Заключению соглашения в Ольмюце предшествовало свидание в Варшаве прусского министра-президента Бранденбурга и австрийского министра-президента Шварценберга с русским царем Николаем I. Николай потребовал от Пруссии, чтобы она отступила перед Австрией в вопросе о воссоединении Германии.

26 *Кунктаторски* — с крайней медлительностью. «Кунктатором» («Медлителем») был прозван римский полководец Фабий Максим (III век. до н. э.) за примененную им тактику медленного изнурения противника.

26 *Боруссия* — латинское название Пруссии. Бисмарк употребляет термин «борусский» вместо «прусский» в таком же смысле, в каком в России говорилось «россы» вместо «русские».

27 Барон *Гагерн* — немецкий политический деятель. Был представителем Гессена во Франкфуртском парламенте и возглавлял имперское правительство. В этот период его программа сводилась к воссоединению Германии на началах имперской конституции в союзное государство с исключением из Германского союза Австрии, с которой Германский союз должен был состоять в договорных отношениях. Позже он переменил прусскую ориентацию на австрийскую.

28 Приведенное латинское выражение заимствовано из сочинений христианского писателя Августина (Проповеди 131; 10), жившего в IV—V веках. Его смысл в следующем: после авторитетного решения римского папы должны умолкнуть всякие споры.

29 В соответствии с конституцией 1850 г. в Пруссии существовал ландтаг, состоявший из двух палат: верхней палаты и палаты депутатов. В первую входили: 1) принцы крови; 2) лица, пожизненно назначаемые королем; 3) 120 выборных членов из числа наиболее крупных налогоплательщиков. В 1854—1855 гг. этот порядок был изменен, и *вся* верхняя палата, ставшая именоваться палатой господ, состояла из пожизненно назначаемых королем членов. Палата депутатов избиралась по знаменитой трехклассной цензовой системе (существовавшей до 1918 г.), которая обеспечивала большинство мест наиболее крупным налогоплательщикам (см. прим. 8 к гл. IV).

30 Немецкий издатель проф. Коль дает в этом, месте следующее примечание: «Судя по пометке на полях, Бисмарк намеревался здесь рассказать следующий случай (передаю по памяти). Когда Бисмарк направлялся в Берлин с приказом о мобилизации в кармане, к нему в почтовую карету сел померанский староста по фамилии Штрантцке. Беседа, разумеется, скоро перешла на политические события. Когда Штрантцке услышал про приказ о мобилизации, он очень наивно спросил [на местном диалекте]: «Где стоит француз?» — и был явно разочарован, когда господин фон-Бисмарк сказал ему, что на этот раз дело будет не с французами, а с австрийцами.

«Ну, мне будет очень жалко, если мы должны будем стрелять в белые колеты [мундиры из белого сукна, которые носили австрийские солдаты], а не в собачьих французов». Так живо было в нем воспоминание о тяжелых для Пруссии временах после поражения при Иене и о прусско-австрийском братстве по оружию в 1813—1814 гг.»

31 *Медиатизация* — ликвидация самостоятельного существования мелких германских государств, непосредственно подчинявшихся императору средневековой Германско-Римской империи, и присоединение их к крупным государствам. Такую меру провел в широком масштабе Наполеон I в Германии в 1803 г.

32 Берлинское *«Казино»* — офицерский аристократический клуб в Берлине. Вокруг него группировались консервативные элементы Прусского национального собрания 1848—1849 гг.

33 Конференция немецких государей в Дрездене заседала с 23 декабря 1850 г. до 15 мая 1851 г. Была задумана австрийским правительством для закрепления того, что им было достигнуто в Ольмюце (см. выше, прим. 24), и для упрочения за Австрией полной гегемонии в Германии. Конференция не принесла предполагавшихся результатов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1 *Союзный сейм* — орган Германского союза (см. прим. 8 к гл. I). В мае 1848 г. прекратил существование. Был восстановлен 1 сентября 1850 г. Пруссия, не желавшая возобновления сейма под главенством Австрии, приняла в нем участие лишь с марта 1851 г.

2 *Дармштадт* и *Нассау* — герцогства в Германии; *Франкфурт-на-Майне* — «вольный город», самостоятельная городская республика, входившая в Германский союз. Пруссия, как и другие государства, в целях экономии поручала представительство своих интересов в нескольких малых государствах одному посланнику.

3 *Интеримом* (временным установлением) назывался договор, заключенный 30 сентября 1849 г. между Пруссией и Австрией с целью создания единой полномочной союзной комиссии, которая ведала бы делами Германского союза впредь до окончательного урегулирования вопросов германской конституции. Упоминаемые здесь Беттихер и Пейкер входили в комиссию от Пруссии.

4 Корпус прусского генерала *Иорка фон-Вартенбурга* — вспомогательный прусский корпус наполеоновской армии в 1812 г. По Парижскому договору от 24 февраля 1812 г. Пруссия обязывалась предоставлять в распоряжение Наполеона вооруженные силы.

6 Бисмарк 24 июня 1842 г. спас, с опасностью для жизни, своего конюха Гильдебранда, тонувшего в Липпенском озере. *(Прим. нем. изд.)*

6 Ср. т. I, гл. X, стр. 161.

7 *Тайный советник* — один из высших чинов.

8 5 декабря 1848 г., т. е. в тот же день, когда было официально распущено Прусское национальное собрание, Фридрих-Вильгельм IV октроировал конституцию Пруссии, еще более умеренного характера, чем проектировавшаяся Прусским национальным собранием. Для того чтобы придать конституции необходимую силу, 26 февраля 1849 г. были созваны две палаты, которые, однако, вскоре были распущены, а затем, на основе введенной 30 мая 1849 г. трехклассной избирательной системы, были избраны новые палаты (о них и говорит Бисмарк), подготовившие

прусскую конституцию 1850 г. Трехклассная избирательная система в Пруссии сводилась к следующему. Все избиратели делились на 3 группы. В первую входило сравнительно небольшое число крупных налогоплательщиков, уплачивавших в общей сложности $^1/_3$ от всей суммы налога. Во вторую группу входили следующие по величине уплачиваемого налога налогоплательщики, опять-таки уплачивавшие все вместе $^1/_3$ общей суммы налога. Наконец, в третью, наиболее многочисленную группу избирателей входили все остальные налогоплательщики и лица, не платившие налогов по несостоятельности. Каждая группа избирала одинаковое с другими число выборщиков. Следовательно, трехклассная система обеспечивала преобладание за первыми группами наиболее крупных налогоплательщиков.

9 Наполеон III был провозглашен императором Франции 2 декабря 1852 г.

10 *Маркой* в средние века называлась в Германии пограничная область. В данном случае имеется в виду Бранденбургская марка — историческое ядро Прусского государства.

11 *Рейнский союз* был учрежден Наполеоном в 1806 г.; в него вошли Баден, Вюртемберг, Бавария и ряд других южных и западных немецких государств. В 1807 г. в Рейнский союз вошли Саксония, Вестфалия и еще шесть государств. Протектором Рейнского союза был Наполеон. Ряд мелких немецких государств был поделен между членами Союза. Находившийся полностью под французским влиянием Рейнский союз был по существу вассалом Франции в Германии. Распался после разгрома Наполеона.

12 Фридрих-Вильгельм IV приходился австрийскому императору Францу-Иосифу дядей. Братом же он его называет по обычаю, принятому в обращении монарха к монарху.

13 *«Односложное» министерство* — шуточное выражение, связанное с тем, что фамилии трех руководящих министров состояли из одного лишь слога.

14 Ср. т. I, гл. XVII, стр. 253.

15 *Таможенный союз* — см. прим. 14 к гл. I. Венгрия и Галиция, являясь частями Австрийской империи, вместе с ней оставались вне Таможенного союза.

16 *Цислейтания* — австрийские земли к северу от реки Дейты; в широком смысле — собственно Австрия; *Транслейтания* — австрийские земли к югу от реки Лейты, в широком смысле — Венгрия, подвластная тогда Австрии.

17 Цитата из *Горация,* Сатиры, I, 2, строки 1—2.

18 *Нордерней* — курорт на острове Нордерней в Немецком море; входил в состав Ганноверского королевства.

19 В Ганноверском королевстве в течение ряда лет до революции 1848 г. либерально-буржуазная оппозиция боролась с королевским правительством по вопросу о конституции. Правительство вынуждено было пойти на ряд уступок. Однако после подавления революции 1848—1849 гг. король начал искать пути к отмене провозглашенных ранее буржуазных свобод. Союзный сейм неоднократно вмешивался во внутренние дела средних и мелких государств, обычно препятствуя проведению там либеральных реформ. Поэтому ганноверский король и обращается в данном случае к помощи сейма. Спор о конституции закончился в Ганновере октроированием в 1855 г. королем реакционной конституции, отменявшей большинство сделанных ранее уступок.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1 Герцог Эрнст Саксен-Кобург-Готский был известен в 50-х годах XIX века своей склонностью к сделке с умеренными либералами. В пределах его герцогства укрывались и находили поддержку многие либеральные деятели революции 1848—1849 гг. в Германии. Был сторонником идеи национального воссоединения Германии в духе франкфуртской конституции 1849 г.

2 По имени города Гота — главного города герцогства Саксен-Кобург-Гота; здесь в июне 1849 г. собрались сторонники принца Прусского.

3 См. прим. 24 к гл. III.

4 О *регентстве* см. прим. 22 к гл. IX.

5 «Preussisches Wochenblatt zur Besprechung politischer Tagesfragen» («Прусский еженедельник для обсуждения политически злободневных вопросов») — орган весьма умеренного либерализма; выходил в Берлине в 1851—1861 гг.

6 Речь идет о стихотворении *А. Шамиссо* «Кузен Ансельмо». Ансельмо отплачивает Иглано черной неблагодарностью за услугу — Бисмарк имеет в виду отход от него в дальнейшем упоминаемых в тексте сотрудников.

7 См. прим. 22 к гл. IX.

8 Острота, связанная с тем, что Мантейфель в ноябре 1848 г. был назначен министром внутренних дел, а в ноябре 1850 г. — министром иностранных дел.

9 *Крымская война,* или Восточная война (1853—1856 гг.), между Россией с одной стороны и Англией, Францией, Сардинией и Турцией — с другой. Закончилась поражением России и Парижским миром 1856 г. (см. ниже, прим. 20).

10 Речь идет об австро-прусской войне 1866 г. Сражения, имевшие в этой войне решающее значение, развернулись в Богемии. Здесь 3 июля 1866 г. произошел знаменитый разгром австрийцев при Кениггреце (Садова).

11 Во время *Крымской войны* 1853—1856 гг. Пруссия, несмотря на дружеские отношения между Пруссией и Россией, не оказала России активной поддержки. Австрия принудила Пруссию к заключению договора, направленного против России; хотя Пруссии и удалось в значительной степени направить этот договор против Австрии (см. ниже, прим. 13), он все же облегчил выступление Австрии по вопросу о дунайских княжествах (см. ниже, прим. 17). В результате Россия была вынуждена вывести войска из этих княжеств (Молдавии и Валахии).

12 *Лепорелло* — слуга Дон-Жуана, героя популярной легенды о преуспевавшем красавце-соблазнителе; помогал своему господину в устройстве его дел.

18 20 апреля 1854 г.в Берлине был заключен союзный договор между Пруссией и Австрией для оказания взаимной помощи при нападении России. Выступая с предложением о заключении этого договора, Австрия предполагала превратить его в оружие против России, по отношению к которой она заняла резко враждебную позицию. Однако Пруссия, не желая поддерживать Австрию против России, сначала затягивала подписание договора, а затем превратила его по существу в чисто оборонительный, сделав оговорку, что помощь будет ею оказана только в том случае, если будут затронуты «общегерманские» ин-

тересы; таким образом, повод не мог быть найден в восточных делах. Она настаивала также на приглашении мелких немецких государств присоединиться к договору. Эти государства были настроены в пользу России, и Бисмарк имел в виду противопоставить их Австрии, усиления которой он не желал. Немецкие мелкие государства присоединились к договору только 27 июля, после длительных совещаний в Бамберге (см. ниже, прим. 16). В конечном итоге договор, вместо того чтобы быть направленным против России и облегчить выступление Австрии против нее, оказался направленным против воевавших с Россией государств; это помешало, между прочим, французским военным планам переброски армии на Дунай через немецкие земли.

14 Об этом заявлении короля Вильгельма Вюртембергского см. также письмо Бисмарка от 9 февраля 1860 г. Bismarck's Briefwechsel mit dem Minister von Schleinitz (1905), S. 60: «Даже если бы мы оказались уступчивее по отношению к их большинству, мы все-таки не завоевали бы их беззаветной любви в случае войны: «своя рубашка ближе к телу», — «Вюртемберг ближе, чем Союз», так мне 5 лет тому назад сказал в Штутгарте умный старый государь». *(Прим. нем. изд.)*

15 См. выше, прим. 13.

16 Конференция в Бамберге собралась 25 мая 1854 г. Были представлены Саксония, Бавария, Вюртемберг, Ганновер, Гессен и Нассау. В одинаковых обращениях к дворам Берлина и Вены от 26 мая эти государства требовали: 1) предъявления Союзу договора от 20 апреля и присоединения к нему немецких государств; 2) дополнения обращенного к России требования об эвакуации княжеств (Валахии и Молдавии) требованием приостановки враждебных действий с обеих сторон и отхода военных сил западных держав (их сосредоточение вызывало опасения германских государств); 3) самостоятельного представительства Германского союза при дальнейших переговорах.

17 Русские войска были введены в расположенные на Дунае княжества Молдавию и Валахию летом 1853 г. Эвакуация их последовала в августе — сентябре 1854 г. в результате прямой угрозы войной со стороны Австрии, сосредоточившей большие силы на границе с княжествами.

18 2 декабря 1854 г. Австрией был подписан договор с Францией и Англией. Три державы брали обязательство не заключать с Россией никаких отдельных соглашений без предварительного обсуждения между собой. Австрия обязалась защищать Молдавию и Валахию в случае нового наступления России, а Англия и Франция должны были всемерно поддерживать Австрию.

19 Венская конференция держав, созванная австрийским министром иностранных дел графом Буолем в августе 1854 г. (Пруссия не присутствовала на ней), выработала четыре предварительных условия мира с Россией. На этой основе и был впоследствии заключен Парижский мир 1856 г. Эти четыре условия таковы: 1) отказ России от протектората над Молдавией и Валахией; 2) свобода плавания в устьях Дуная; 3) нейтрализация Черного моря, сопровождаемая выводом оттуда русского военного флота; 4) отказ России от покровительства христианам в Турции, которое влекло за собой вмешательство русского царя во внутренние дела Турции.

20 *Парижский мир,* подписанный на конгрессе держав, происходившем в Париже в феврале — марте 1856 г., завершил Восточную войну 1853—1856 гг. (см. выше, прим. 9). В конгрессе приняли участие Россия, Англия, Франция, Сардиния, Турция, Австрия и Пруссия.

В основу мирного договора были положены «четыре гарантии Венской конференции» (см. предыдущее примечание).

21 *Фельдцехмейстер,* точнее *генерал-фельдцехмейстер,* — начальник артиллерии, один из высших генеральских чинов в Австрии.

22 От вступления в Восточную войну, см. выше, прим. 9.

23 Под *триадой* здесь разумеется Германия в составе: 1) Пруссии, 2) Австрии и 3) прочих немецких государств. Политика триады, проводившаяся в J850 г. Австрией, состояла в том, чтобы противопоставить Пруссии, претендовавшей на гегемонию в Германии, блок двух других составных частей триады.

24 См. выше, прим. 16.

25 См. прим. 1 к гл. XII.

26 Соединенный англо-французский флот вошел в проливы 30 октября 1853 г.

27 Под *европейским концертом* принято понимать совокупность великих европейских держав.

28 Имеются в виду предложения Англии и Франции, старавшихся вовлечь Австрию и Пруссию в войну против России.

29 В Германском союзном сейме для вынесения решения требовалось большинство не менее двух третей голосов. В данном случае Герлах допускает возможность проведения по инициативе Австрии через сейм решения о поддержке Германским союзом антирусской коалиции в Восточной войне.

30 Венгрия и Северная Италия находились в то время под властью Австрии; в этих областях было сильно национально-освободительное движение.

31 *Ультрамонтанство* — течение в католицизме, отстаивающее неограниченную власть папы римского не только в церковных, но и в светских делах. Ультрамонтаны считают, что власть папы должна стоять выше власти государей и правительств. Следует отметить, что Бисмарк обычно употребляет этот термин в значительно более широком смысле, называя ультрамонтанами католиков вообще.

32 *Эрцгерцог* — титул австрийских принцев императорского дома.

33 Речь идет о позиции Австрии по отношению к России в Восточной войне 1853—1856 гг.

34 Герлах хочет сказать «ни на короля». *(Прим. нем. изд.)*

35 Успешные действия прусской армии в составе коалиции европейских держав против Наполеона.

36 См. прим. 52 к гл. VIII.

37 Послание к римлянам, III, 8. *(Прим. нем. изд.)*

38 *Бонапартист,* здесь — сторонник Наполеона III, являвшегося президентом Французской республики и совершившего 2 декабря 1851 г. государственный переворот. В результате переворота Наполеон III стал императором Франции.

39 См. выше, прим. 18.

40 Ср. 1-я Книга царей, XVIII, 21. *(Прим. нем. изд.)*

41 Наполеон III.

42 Наполеона I.

43 Имение графа Альвенслебена.

44 См. т. I, гл. VIII, стр. 100.

45 См. т. I, гл. VIII, стр. 99.

46 См. выше, прим. 5.

47 Остзейские — прибалтийские губернии, т. е. примыкающие к Восточному морю (Остзее), как иногда называют в Германии Балтийское море.

48 Барон Август *Гакстгаузен-Аббенбург* — немецкий ученый, изучал аграрные отношения в Пруссии и России. Бисмарк упоминает здесь его трехтомную работу «Исследования внутренних отношений народной жизни и, в особенности, сельских учреждений в России». В ней Гакстгаузен защищал крепостное право, нуждавшееся, по его мнению, лишь в некоторых реформах; он идеализировал русскую общину и заодно «отца»-помещика.

49 См. выше, прим. 2.

50 18 ноября 1851 г. депутация промышленных районов Финсбери и Айлингтон, расположенных в окрестностях Лондона, обратилась к бывшему в то время министром иностранных дел Англии лорду Пальмерстону с выражением благодарности за помощь, оказанную им Кошуту, вождю венгерского национально-освободительного движения, подвергавшемуся преследованиям и нашедшему убежище в Англии.

51 Термин старинной химии для обозначения нелетучих, стойких остатков при перегонке («Мертвая голова»). *(Прим. нем. изд.)*

52 Никакого завещания Петр I не оставил. *«Завещанием Петра Великого»* называют документ, составленный, повидимому, во времена Наполеона I и содержащий программу завоевания Европы Россией. Вопрос о происхождении и авторе «Завещания» до сих пор служит предметом изысканий историков.

53 *Эрнестинская линия* — старшая герцогская линия Саксонской династии, ведущая начало от Эрнста, курфюрста Саксонии в XV веке. Принадлежавший к этой линии Эрнст II, герцог Саксен-Кобург-Готский, вступив на престол в 1844 г. проводил сдержанно либеральную политику. В 1859 г. старался вовлечь Пруссию в войну с Францией.

54 Герцогства Шлезвиг и Гольштейн.

55 Здесь, повидимому, объединены две беседы, отделенные одна от другой изрядным промежутком времени. Кавычки, закрывающиеся после слова «побеждена» и открывающиеся перед словами «все эти», равно как и тире между ними поясняют это. Французы и англичане появились под Севастополем 28 сентября 1854 г., а 9 октября началась осада. Однако город был взят лишь через 11 месяцев.

56 См. прим. 4 к гл. IV.

57 См. прим. 11 к гл. II.

58 Ср. книгу Иова, XXXIX, 33; Евангелие от Матфея, XXIV, 28. *(Прим. нем. изд.)*

59 *Германский союз* — см. прим. 8 к гл. I.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1 См. прим. 21 к гл. П. Гольц, как и упоминаемый ниже Бетман-Гольвег, принадлежал к политическим деятелям, группировавшимся вокруг «Еженедельника».

2 См. т. I, гл. V, стр. 79.

3 *Веймар* — главный город герцогства Саксен-Веймар-Эйзенах, один из культурно-исторических центров Германии. Гете, Шиллер и ряд других великих представителей немецкой литературы, науки, искусства жили и работали в Веймаре. *Елисейские поля* — в греческой мифологии «страна блаженных».

4 Император Павел I был убит в результате придворного заговора 23 марта 1801 г. Его дочь, великая княгиня Мария Павловна, мать королевы Августы, была замужем за великим герцогом Карлом-Фридрихом Саксен-Веймарским.

5 См. выше, прим. 1.

6 *Шлейниц* был министром с 6 ноября 1858 г. по октябрь 1861 г. О *«новой эре»* см. прим. 45 к гл. I.

7 *Кобленц* — старинный город на Рейне, главный город Рейнской провинции Пруссии. О *Сан-Суси* см. прим. 37 к гл. II.

8 Королева Елизавета была связана родством с правящими домами Австрии, Баварии и Саксонии.

9 *Генерал-суперинтендент* — высшее должностное лицо в лютеранской церкви.

10 В областях Западной Германии и в частности в Рейнской провинции, о которых здесь идет речь, большинство населения принадлежало к католической церкви. До присоединения к Пруссии в начале XIX века эти области принадлежали в большей части духовным князьям — епископам.

11 Бюлов в этот период занимал должность имперского статс-секретаря ведомства иностранных дел.

12 Незадолго до того, в июле 1876 г. в Марпингене (Трирский округ) крестьянские дети будто бы наблюдали «чудесные явления» в Гертельском лесу.

13 Имеется в виду римский папа Пий IX.

14 Король Италии Умберто (с 1878 по 1900 г.), вступая на престол, находился во враждебных отношениях с римской курией. Причина этой вражды коренится в событиях 1870 г., когда итальянский король лишил римского папу светской власти. Лишь постепенно, при римском папе Льве XIII (1878—1903), непримиримая позиция римского престола по отношению к светской власти в Италии несколько изменилась. «Престарелый папа»—Пий IX (1846—1878), предшественник Льва XIII.

15 Термин «генеральный штаб» не следует в данном случае понимать буквально.

16 *Камарилья* — см. прим. 43 к гл. II.

17 Во время франко-прусской войны, в конце августа 1870 г. французская армия под командованием Мак-Магона после безуспешных попыток выручить армию Базена, запертую в крепости Мец, и после неудачного для французов сражения при Бомоне (30 августа) отступила к Седану. Здесь она капитулировала (2 сентября) во главе с им-

ператором Наполеоном III. У Вионвиля и Мар-ла-Тура произошли (16 августа) сражения, в значительной степени обеспечившие пруссакам успех осады Меца.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1 См. т. I, гл. IV, стр. 62.

2 *Иена* — см. прим. 39 к гл. I.

3 Под *Лейпцигом* 16—19 октября 1813 г. войска коалиции европейских держав разбили наполеоновскую армию.

4 У селения *Росбах* в Пруссии 5 ноября 1757 г., во время *Семилетней войны* (см. прим. 6 к гл. I), войска прусского короля Фридриха II разгромили соединенную армию Франции и римско-германского императора.

5 См. прим. 1 к гл. IV.

6 *«Kreuzzeitung»* («Крестовая газета») — орган крайних консерваторов в Пруссии. Была основана в 1848 г. под названием «Neue Preussische Zeitung» («Новая прусская газета»).

7 Восстановление Соединенного ландтага означало бы возврат к системе сословного представительства. Не только прусская конституция 1848 г., но и конституция 1850 г., изданная в разгар реакции, были в этом смысле шагом вперед, поскольку они устанавливали — при всех ограничениях — систему в несословного, выборного народного представительства. Восстановление Соединенного ландтага было бы глубоко реакционной мерой.

8 См. прим. 26 к гл. I.

9 Конституция Пруссии от 5 декабря 1848 г.

10 Подразумевается политика, направленная на создание «унии» Пруссии и Австрии в немецком вопросе, т. е. на раздел между ними гегемонии в воссоединенной Германии.

11 Принятое 11 марта 1850 г., в развитие конституции 1850 г., Положение об общинном устройстве имело конечной целью введение местного самоуправления. Вскоре после написания письма Герлахом (17 мая 1852 г.), в июне 1852 г., реакционное правительство провело закон, приостанавливавший действие закона от 11 марта, а в следующем, 1853 году полностью отменило его.

12 Закон о выкупе крестьянами феодальных повинностей был проведен Мантейфелем, в тот период прусским министром внутренних дел, 2 марта 1850 г.

13 В 1832 г. в Англии была проведена парламентская реформа в либерально-буржуазном духе. Она сравнительно незначительно увеличила число избирателей в парламент и носила очень ограниченно-демократический характер. Реформа была политическим компромиссом между крупной буржуазией и землевладельческой аристократией.

14 Речь идет о созыве в Пруссии провинциальных ландтагов в 1823 г. и Соединенного ландтага в 1847 г. Это были весьма жалкие попытки заменить обещанное, народное представительство куцым сословным собранием; однако даже они представляются автору письма «революционными» актами.

15 Николай I.

16 «Zeit» («Время») — газета, орган умеренного либерализма.

17 *Вагенер* был основателем и руководителем *«Крестовой газеты»* (см. выше, прим, 6).

18 См. прим. 5 к гл. V.

19 *Ирод* — царь Иудеи; *Пилат* — римский наместник в Иудее. Согласно христианской легенде, Ирод, узнав о рождении Иисуса, велел истребить всех младенцев мужского пола; Пилат же предал Иисуса казни.

20 Евангелие от Иоанна, XVIII, 38.

21 См. т. I, гл. V, стр. 78.

22 См. т. I, гл. V, стр. 78.

23 *Рейхсталер* — то же, что *талер* (см. прим. 44 к гл. I).

24 См. т. I, гл. IV, стр. 63.

25 В 1851—1859 гг. Бисмарк занимал пост прусского посланника при Союзном сейме.

26 В числе мер, которые были проведены в Пруссии реакцией в целях восстановления порядков, существовавших до издания конституции 1850 г., было преобразование верхней палаты в палату господ (указ от 12 октября 1854 г.). О сущности этого преобразования см. ниже, прим. 27.

27 Под *пэрией* в данном случае подразумевается система устройства верхней палаты по английскому типу. Согласно королевскому указу от 12 октября 1854 г., верхняя палата Прусского ландтага, созданная конституцией 1850 г., была реорганизована. Если раньше в верхнюю палату входили кроме наследственных и назначенных членов еще 120 выборных, то отныне она составлялась только из членов, назначенных королем пожизненно или наследственно.

28 Речь идет о переговорах, связанных с отказом герцога Христиана-Августа Августенбургского от права наследования в Дании. См. т. II, гл. XIX.

29 Речь идет о *«конституционном конфликте»,* см. прим. 1 к гл. XIV.

30 Право наложения запрета на решения.

31 *Палатой депутатов* называлась нижняя палата Прусского ландтага по конституции 1850 г. Во время «конституционного конфликта» (см. прим. 1 к гл. XIV) палата депутатов систематически отклоняла ассигнование средств на реорганизацию армии. После того как Бисмарк был призван к власти (1862 г.) палата депутатов демонстративно объявила незаконным всякий расход, который правительство совершило бы без ее утверждения. Верхняя палата безоговорочно утвердила предложенный Бисмарком бюджет.

32 Содержание статьи 99 конституционного акта Прусского государства от 31 января 1850 г. сводится к следующему: все доходы и расходы государства должны быть на каждый год вперед исчисляемы и вносимы в государственную роспись; последняя ежегодно утверждается законом.

33 *Магистрат* — орган городского управления, городская управа.

34 Другими словами, Бисмарк считал нужным допустить в палату господ известное число выборных членов от дворянства и крупной буржуазии.

35 См. выше, прим. 20.

36 *Путбус* — курорт на острове Рюген в Балтийском море.

37 См. прим. 17 к гл. V.

38 Речь идет о событиях Восточной войны 1853—1856 гг.

39 См. следующую главу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1 15 августа — день рождения Наполеона I (1769 г.).

2 Старшая дочь принца Альберта и королевы Виктории — Виктория-Адельгейда-Мария-Луиза (1840—1901) вступила в 1858 г. в брак с принцем Прусским Фридрихом, будущим кронпринцем, затем королем и императором Фридрихом III.

3 Муж графини Валевской с 1855 г. был министром иностранных дел Франции.

4 *Первая империя* во Франции — период с 1804 по 1814/15 г., когда императором Франции был Наполеон I Бонапарт.

5 *Вторая империя* — империя Наполеона III (1852—1870).

6 Наполеон III.

7 То есть выступить на стороне Англии и Франции в Восточной война 1853—1856 гг. против России (см. прим. 9, 11 и 13 к гл. V).

8 *Ремаген* — старинный немецкий город на Рейне, близ Кобленца.

9 См. прим. 1 к гл. III.

10 *Генрих V* — имя, принятое графом Шамбор (герцогом Бордосским), претендентом династии Бурбонов на французский престол. Бурбоны были свергнуты с престола июльской революцией 1830 г.

11 Со времен *Семилетней войны* (см. прим. 6 к гл. I) до революции 1848 г.

12 Речь идет о годах после *Тильзитского мира* 1807 г., когда Пруссия находилась в полной зависимости от Франции. Тильзитский мир, подписанный между Францией и Пруссией 9 июля 1807 г., явился результатом военного разгрома Пруссии наполеоновской армией.

13 Бисмарк цитирует стихотворение *Гете* «Жалоба пастуха».

14 В узком совете Союзного сейма Германского союза Пруссия имела один голос из общего числа 17 (см. прим. 8 к гл. I).

15 Во дворце князей Турн-и-Таксис во Франкфурте заседал Германский союзный сейм.

13 *Буоль* был министром-президентом и министром иностранных дел австрийского правительства в 1852—1859 гг.; *Бах* — министром и видным деятелем министерства Буоля.

17 *Леонид I* — царь Спарты в V веке до н. э.; по преданию, вместе со своим отрядом пал в бою в Фермопильском ущелье, самоотверженно защищая страну от нашествия персов.

18 *Фонтенебло*—дворец близ Парижа, резиденция французского императора. Под «королем Максом» подразумевается Максимилиан II, король. Баварии.

19 Конфликт между Пруссией и Швейцарией из-за Нейенбурга (Невшателя) (см. прим. 41 к гл. I) закончился компромиссом на Парижской конференции 1857 г. при посредничестве Наполеона III. Австрия мешала прусским войскам двинуться в 1849 г. через Баден в Швейцарию для подавления республиканского восстания в Нейенбурге.

20 См. прим. 19 к гл. III.

21 Речь идет о проекте сооружения военного порта на Северном море в заливе Яде, на территории, которую Фридрих-Вильгельм IV приобрел у великого герцога Ольденбургского 20 июля 1853 г. Постройка началась в 1855 г. Ныне это известная морская база Вильгельмсгафен, получившая свое название при открытии в 1869 г.

22 *Карл Великий* (768—814) — король франков, в 800 г. короновался императором. Увеличил территорию Франкского королевства, воюя в частности с соседними нехристианскими племенами. *Сарацины* — в данном случае мусульманские народы, завоевавшие в VIII веке Пиренейский полуостров. *Саксы* — древнегерманское племя. *Авары* — народ, пришедший в Европу из Азии и поселившийся между реками Дунаем и Тиссой, на территории современной Венгрии.

23 *Бранденбургское маркграфство* — историческое ядро Прусского королевства. *Тевтонский орден* — духовно-рыцарский орден, с XIII века проводивший огнем и мечом колонизацию территорий к востоку от Эльбы под флагом обращения в католическую веру. Впоследствии владения ордена отошли к бранденбургскому маркграфу. *Викарий* — наместник.

24 Под *«территориализмом»* подразумевается начавшийся в XII веке процесс распада Германии на множество мелких, более или менее самостоятельных *территорий* — духовных и светских княжеств, городов и т. д. Считая церковь, католическую веру связующим элементом и руководящим принципом в историческом существовании германской нации, Герлих видит в упадке церкви причину образования территорий. Господство территориализма привело к чрезвычайному ослаблению центральной императорской власти, к упадку империи. Решающие удары империи, как реальной политической силе, были нанесены в XVI—XVII веках, когда под флагом религиозных разногласий возник ряд войн между отдельными князьями и императором, приведших к окончательному уничтожению реального политического значения императорской власти.

25 Подразумевается период, начавшийся так называемой *войной за баварское наследство* 1778—1779 гг. между Пруссией и Саксонией с одной стороны и Австрией — с другой (когда Пруссия не решилась довести дело до открытия военных действий) и закончившийся выступлением Пруссии совместно с Австрией против революции во Франции.

26 Трактат об оборонительном союзе между Россией и Пруссией, подписанный в Петербурге 11 апреля 1764 г. и возобновленный 23 октября 1769 г., обязывал союзников, в случае нападения, на одного из них третьей державы, оказывать друг другу взаимную помощь. Помощь людьми могла заменяться денежной субсидией (400 тысяч рублей в год). Во время войны, объявленной России Турцией в 1768 г., Фридрих II выплачивал России обусловленную субсидию.

27 В 1787 г. прусский король Фридрих-Вильгельм И, племянник Фридриха II, предпринял военную интервенцию в Голландию для восста-

новления власти штатгальтера Вильгельма V, женатого на сестре Фридриха-Вильгельма II.

28 Конвенция, заключенная 27 июля 1790 г. в городе *Рейхенбахе* (Силезия) между Австрией с одной стороны и Пруссией, Англией, Голландией, Польшей — с другой стороны. Герлах считает, что заключавшаяся в конвенции гарантия европейских владений Турции являлась отступлением от принципа борьбы христианских государей с Турецкой империей.

29 Фридрих-Вильгельм III принимал участие в войнах коалиции европейских держав против наполеоновской Франции в 1806 и 1813—1815гг. С точки зрения Герлаха, война против Наполеона была войной против революции.

30 *Силезские войны* — войны, которые король Пруссии Фридрих II вел против австрийской императрицы Марии-Терезии и ее союзников в 1740—1742, 1744—1745 и 1756—1763 гг. за обладание Силезией. Третья Силезская война — иначе *Семилетняя* (см. прим. 6 к гл. I) закончилась тем, что Силезия осталась за Пруссией.

31 Имеется в виду объединивший всю монархическую Европу принцип борьбы против революции, нашедший свою формулу в политической доктрине *легитимизма* (см. прим. 1 к гл. III).

32 *Базельский мир* был заключен 5 апреля 1795 г. между Французской республикой и Пруссией в результате поражения прусских войск. Прусские владения на левом берегу Рейна отошли к Франции.

33 Речь идет о мире, заключенном в Базеле 22 июля 1795 г. между Французской республикой и Испанией.

34 Конгресс европейских государств в Вене заседал после разгрома наполеоновской Франции с ноября 1814 г. по июнь 1815 г. Фактическими вершителями судеб на конгрессе были Англия, Россия, Австрия и Пруссия. На Венском конгрессе были установлены основы той реакционной политической системы, которая господствовала в Европе на протяжении ближайших десятилетий; здесь же сложился союз наиболее реакционных европейских держав — Священный союз, задачей которого была охрана этой системы. В отношении Германии конгресс закрепил ее территориально-политическую раздробленность организацией Германского союза (см. прим. 8 к гл. I), включив основные статьи Союзного акта* в Заключительный акт конгресса.

35 В 1713 г. (после войны за испанское наследство) *Бельгия* перешла к австрийским Габсбургам и была освобождена от их владычества лишь в 1792 г. войсками революционной Франции. Венский конгресс 1815 г., стремясь к созданию сильного государства на северо-западных границах Франции, присоединил Бельгию к Голландии. С точки зрения Герлаха, передача франконских княжеств — *Ансбаха* (в 1806 г.) и *Байрейта* (в 1810 г.) — Баварии также была нарушением принципа легитимизма, так как некогда Ансбах и Байрейт принадлежали курфюрсту бранденбургскому, а в декабре 1791 г. ансбах-байрейтский маркграф уступил оба княжества прусскому королю Фридриху-Вильгельму III. В 1806 г. Пруссия была вынуждена передать княжества Наполеону, который отдал их Баварии. По постановлению Венского конгресса 1815 г. они остались во владении баварского короля.

36 Увеличение территорий *Баварии, Вюртемберга* (превращенных Наполеоном в королевства — отсюда заявление о «незаконнорожден-

ных») и великого герцогства *Дармштадт* было связано с решениями Венского конгресса.

37 *Дессау* — главный город герцогства Ангальт, близ реки Эльбы. Находится в самом центре Германии. Герлах хочет подчеркнуть, как далеко распространилось влияние Наполеона III на средние и мелкие государства Германии.

38 См. прим. 41 к гл. I и 19 к гл. VIII.

39 Лондонский протокол держав 1852 г. подтверждал права прусского короля на Нейенбург (Невшатель), которых он был лишен революционным восстанием 1848 г. в Невшателе (см. прим. 41 к гл. I).

40 Речь идет о роялистах, арестованных во время невшательского мятежа 1856 г. (см. прим. 41 к гл. I). По условиям компромисса, достигнутого в 1857 г., при разрешении невшательского конфликта, Швейцария предоставила амнистию роялистам — участникам мятежа.

41 *Франкмасон* (или *масон)* — участник религиозно-философского движения «вольных каменщиков». Возникнув в XVIII веке, это движение было тогда направлено против католицизма и религиозной нетерпимости и одновременно выдвигало идеи равенства, уничтожения сословных привилегий и т. д. Позже франкмасонство в значительной степени утратило свой первоначальный характер. Для реакционеров слово «франкмасон» было синонимом «вольнодумца».

42 Договор от 2 декабря—см. прим. 18 к гл. V.

43 *Парижский мир* — см. прим. 20 к гл. V.

44 Союз Австрии с Англией должен был повлечь за собой изменение в политике Пальмерстона по отношению к Сардинии и остальной Италии. Пальмерстон должен был отказаться от использования в интересах Англии итальянского национально-освободительного движения, поскольку оно было прямо направлено против Австрии.

45 Имеется в виду главным образом тот факт, что Швейцария была прибежищем для политических эмигрантов.

46 В связи с некоторым ухудшением отношений между Францией и Англией после Парижского мира 1856 г.

47 См. выше, прим. 44.

48 *Плон-Плон* — шуточное прозвище Жозефа-Шарля-Поля-Наполеона Бонапарта (1822—1891), двоюродного брата Наполеона Бонапарта.

49 *Секуляризация* (т. е. превращение в светские владения) 22 германских духовных княжеств была намечена Люневильским трактатом 1801 г., заключенным между Францией и Австрией. По этому договору левый берег Рейна был уступлен Франции. Статья I гласила, что наследственные князья получат взамен утраченных ими владений другие земли в пределах империи. Для этой цели были секуляризованы земли ряда епископств и отобраны владения большинства имперских городов. В 1802 г. состоялось соглашение между Россией и Францией об общем «плане секуляризации и назначении вознаграждений государствам и членам Германской империи». Указанный план был окончательно оформлен специально созванной для этой цели в Регенсбурге Чрезвычайной имперской депутацией в 1803 г. Пруссия получила епископства Гильдесгейм и Падерборн, часть епископства Мюнстер и 6 имперских аббатств.

50 Намек на модную в то время пьесу «Венцы в Берлине».

51 Раштатт — город в Бадене; в то время крепость.

52 Хотя Наполеон III считался избранным (10 декабря 1848 г.) на должность президента Французской республики только $5^1/_2$ миллионами голосов из общего числа 7 с лишним миллионов, все же он без стеснения называл себя «избранником семи миллионов».

53 См. выше, прим. 49.

54 В 1794 г. *Гаугвиц,* прусский министр иностранных дел, заключил с Англией договор о предоставлении Пруссии субсидий для борьбы против Французской республики. Однако уже в следующем, 1795 году он заключил невыгодный для Пруссии Базельский мир (см. выше, прим. 32). В 1805 г. он задержал вручение ультиматума Наполеону до тех пор, пока тот не выиграл сражение под Аустерлицем. После этого Пруссия заключила союз с Наполеоном.

55 См. прим. 4 к гл. IV.

56 Речь идет о перемирии, заключенном с Францией в июне 1813 г., после сражений при Люцене и Бауцене, не давших определенного перевеса ни одной из сторон.

57 Цитата из *Лукана,* Фарсалия, I, 128.

58 Герлах имеет в виду, что власть была сосредоточена в руках Бонапарта сразу же после произведенного им переворота 18 брюмера (9 ноября) 1799 г., а не только со времени провозглашения империи в 1804 г.

59 Бисмарк перечисляет ряд государств, где был нарушен «легитимный» порядок наследования или изменен образ правления.

60 *«Славная революция»* — так именуют английские буржуазные историки вторую английскую революцию 1688 г. «Славная революция» возвела на английский престол Вильгельма Оранского.

61 Цитата из свода законов византийского императора Юстиниана (VI век) Corpus Juris, Digesta de diversis regulis iuris antiqui 50, 17 fragm. 29.

62 *Гете,* Фауст, ч. I: «Hier hab'ich eine Flasche, aus der ich selbst zuweilen nasche, die auch nicht mehr im mind'sten stinkt».

63 *Генеральные штаты* — сословно-представительное собрание Соединенных провинций Нидерландов, восставших в XVI веке против испанского владычества.

64 Вильгельм III Оранский (1650—1702) — с 1672 г. штатгальтер (глава) Нидерландской республики; в 1688 г. (см. прим. 60 к гл. VIII) был возведен на английский престол.

65 Имеется в виду договор о дружбе и торговле между Пруссией и США, ратифицированный конгрессом США в 1786 г. США образовались в конце XVIII века в результате победы английских колоний в Америке, восставших против метрополии (американская революция — так называемая война за независимость 1775—1783 гг.). Отсюда — заявление о «революционном происхождении» США.

66 Король Педро V (1837—1861) — сын Марии II да Глориа и Фердинанда Саксен-Кобург-Готского. Переход престола к его матери Марии II был связан с продолжительной борьбой с претендентом на престол, доном Мигелом.

67 В Швеции в 1810 г. ввиду бездетности короля наследником престола был избран наполеоновский маршал Бернадот, принявший имя Карла-Иоганна (Карл XIV).

68 Английская буржуазная революция 1640—1660 гг.

69 Называя Данию «насквозь революционной», Бисмарк имеет в виду наличие в Дании с 1849 г. конституции, ограничивавшей власть короля.

70 Под «внедрением римского права в германский мир» здесь понимается так называемая *рецепция римского права* — процесс переработки правовых норм под влиянием римского права, начавшийся в Европе в XII веке.

71 Имеется в виду регентство (1715—1723) во время малолетства французского короля Людовика XV. Регентом был его дядя, герцог Филипп Орлеанский, прославившийся своей распущенностью.

72 Французский король Людовик XIV (1638—1715) на протяжении многих лет вел систематическую политику захвата земель, принадлежавших различным немецким государям. О бесцеремонности политики Людовика XIV в отношении немецких земель в особенности ярко свидетельствуют созданные им так называемые «палаты присоединения»: их приговор Людовик XIV считал достаточным основанием для захвата владений своих соседей на Рейне.

73 Наполеон III был племянником Наполеона I.

74 См. выше, прим. 10.

75 Бисмарк имеет в виду, что и после смерти князя Шварценберга (в 1852 г.) Австрия продолжала придерживаться его политики, направленной на установление преобладания Австрии среди немецких государств.

76 На Венском конгрессе 1814—1815 гг. произошло столкновение Пруссии с державами из-за требования Пруссии о присоединении к ней всей Саксонии. Пруссию поддержала Россия, но решительное сопротивление Австрии, Англии и Франции помешало осуществлению прусских планов.

77 См. выше, прим. 54.

78 См. выше, прим. 32.

79 В 1805 г. образовалась так называемая третья коалиция европейских держав (Англия, Австрия, Россия, Швеция и Неаполитанское королевство) против Наполеона. Пруссия колебалась, не решаясь примкнуть к коалиции. После блестящих побед Наполеона над коалицией Пруссия вынуждена была в декабре 1805 г. заключить с ним союз. Когда в следующем, 1806 году Пруссия объявила все же войну Наполеону, она подверглась полному военному разгрому под Иеной и Ауэрштедтом (14 октября).

80 Ср. т. I, гл. IX, стр. 141.

81 См. прим. 8 к гл. I.

82 См. выше, прим. 79.

83 См. выше, прим. 57.

84 Герлах имеет в виду позицию, которую заняла Австрия во время Восточной войны 1853—1856 гг. Эта позиция облегчила победу коалиции западных держав над Россией.

85 Герлах имеет в виду тот факт, что Россия по Парижскому миру 1856 г. (см. прим. 20 к гл. V) вынуждена была уступить южную часть Бессарабии (Измаильский уезд) «для лучшего обеспечения свободы плавания по Дунаю». Парижский мирный трактат отменил также протекторат России над дунайскими княжествами Валахией и Молдавией, фактически осуществлявшийся Россией с 1774 г.

86 См. прим. 41 к гл. I.

87 Радовиц, будучи в 1850 г. министром иностранных дел Пруссии, должен был уйти в отставку после того, как его политика потерпела крах в Ольмюце (см. прим. 24 к гл. III).

88 См. прим. 3 к гл. IV.

89 См. т. I, гл. VIII, стр. 136.

90 Библейские легенды об Авессаломе, Рувиме, Давиде, о которых идет здесь речь, рассказаны в Книге Бытия (гл. 49) и во второй Книге Царств (гл. XI—XVIII).

91 *Оскар I* (1797—1859) — король Швеции и Норвегии, сын Карла XIV, бывшего французского маршала Бернадота (см. выше, прим. 67).

92 *Майорат* — порядок, по которому недвижимое имущество нераздельно наследуется старшим в семье. Во Франции был отменен Французской буржуазной революцией конца XVIII века и частично восстановлен Наполеоном III. Майорат — одно из средств искусственно поддержать дворянское землевладение, воспрепятствовать его дроблению в условиях развития капиталистических отношений.

93 *Габсбургско-Лотарингский дом* — династия, правившая в Австрии до 1918 г. Получила свое название после брака императрицы Марии-Терезии (1740—1780), принадлежавшей к династии Габсбургов, с герцогом Францем-Стефаном Лотарингским.

94 *Иосиф II* — император Римско-Германской империи с 1780 по 1790 г. Проводил решительную политику централизации и с этой целью провел секуляризацию церковных владений. В реформаторской деятельности Иосифа II большое место занимает также освобождение крестьян от личных феодальных повинностей.

95 Барон *Бах* был участником революции 1848 г. в Вене и даже возглавлял 13 марта депутацию, требовавшую отставки Меттерниха. Впоследствии стал реакционером и, будучи министром, беспощадно расправлялся с национально-освободительным движением подвластных Австрии народов.

96 Цитата из *Горация,* «Послания», I, 10, 24.

97 Герцог *Ангьенский* (1772—1804)—принц французского королевского дома Бурбонов. Эмигрировал сразу же после революции 1789 г. и был командиром в эмигрантских войсках. В ответ на организованное роялистами неудачное покушение Жоржа Кадудаля на жизнь Наполеона I герцог Ангьенский был захвачен на баденской территории, и увезен в Париж, где был осужден и расстрелян 20 марта 1804 г.

98 О нейенбургских переговорах см. выше, прим. 39.

99 Псалом Давида 115, 5; 135, 16. *(Прим. нем изд.)*

100 В ноябре 1857 г. католическое министерство в Бельгии должно было уступить место либеральному. Удаление клерикалов произошло в напряженной политической обстановке под влиянием бурных массовых демонстраций в ряде бельгийских городов.

101 Герлах противопоставляет здесь цезаризм и бонапартизм легитимной абсолютной монархии.

102 *Автократ* (от греческого *авто* — сам и *кратос* — власть) — самодержавный правитель.

103 *Генрих V* — см. выше, прим. 10.

104 *Священный союз* — соглашение России, Австрии и Пруссии, заключенное 26 сентября 1815 г. в Париже после победы над Наполеоном I. Союзники обязались в вопросах своей внутренней и внешней политики держаться предначертаний «святой религии, справедливости и мира». Беспощадное подавление общими силами всякого революционного движения составило основу практической деятельности Священного союза и превратило его в опору европейской реакции. Хотя к Священному союзу присоединились почти все европейские государства, его вдохновителями и руководителями оставались указанные три державы. Священный союз фактически перестал существовать в конце 20-х годов XIX века.

105 Имеется в виду признание Пруссией, являвшейся участницей Священного союза, Луи-Филиппа королем Франции. Луи-Филипп пришел к власти в результате июльской революции 1830 г.

106 Речь идет о подготовке реформ 60-х годов XIX века в России.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1 *Декан* — глава духовенства Вестминстерского собора св. Петра в Лондоне. Собор вначале принадлежал монастырю, построенному еще в VII веке; отсюда сохранившееся за ним название аббатства.

2 См. т. I, гл. IV и VII, стр. 63 и 100.

3 Имеется в виду конфликт из-за Нейенбурга (Невшателя); см. прим. 41 к гл. I и прим. 39—40 к гл. VIII.

4 Речь идет о запрещении России держать военный флот на Черном море по Парижскому миру 1856 г. (см. прим. 20 к гл. V).

5 Лорд Пальмерстон.

6 Герцогства Шлезвиг и Гольштейн.

7 Христиан VIII.

8 *Мариенбад* — курорт, расположенный на территории Австрии.

9 *Шенбрунн* — дворец австрийских императоров в пригороде Вены.

10 *Пильниц* — летняя резиденция саксонских королей.

11 Александра II,

12 В 1857 г.

13 О событиях мартовской революции 1848 г. в Берлине см. гл. II.

14 Речь идет о прусской конституции 1850 г. Изданная в эпоху реакции, после подавления революции 1848 г., она все же долго продолжала казаться правящим кругам слишком «демократичной». Ее пересматривали по указанию Фридриха-Вильгельма IV.

15 *Ленное право* — совокупность правовых норм, определявших отношения между сеньером и его ленником, т. е. между вышестоящим и нижестоящим феодалом. Леном назывался приносивший доход объект, пожалованный леннику при условии несения службы. Передача лена по наследству была ограничена известными условиями. Бисмарк здесь указывает принцу, что по ленному праву он был бы связан лишь обязательствами, принятыми на себя отцом, но не братом (напомним, что Фридрих-Вильгельм IV приходился Вильгельму братом).

16 *Индемнитет* — освобождение должностного лица от ответственности за нарушение закона. В данном случае речь идет о решении Прусского ландтага, освободившего после удачной войны с Австрией в 1866 г. министерство Бисмарка от ответственности за расходование средств, не утвержденное законным порядком в течение четырех лет «конституционного конфликта» (см. прим. 1 к гл. XIV).

17 См. т. II, гл. XXI.

18 Т. е., что власть будет фактически находиться в руках королевы Елизаветы.

19 *Баден-Баден* — известный курорт на юго-западе Германии.

20 *Суверенитет* — верховные права; в данном случае суверенитет прусского короля.

21 См. следующее примечание.

22 *Регентство* — управление одного или нескольких лиц вместо монарха. Оно назначается в случаях неспособности государя лично выполнять свои функции ввиду несовершеннолетия, болезни — как в данном случае — и других обстоятельств. Принц Прусский Вильгельм был с 1857 г. вследствие тяжелой болезни старшего брата, короля Фридриха-Вильгельма IV, его заместителем, а с 1858 г.— регентом королевства. Как заместитель короля принц был ответственен перед ним, как регент же он не нес, подобно монарху, никакой ответственности.

23 Обеих палат ландтага.

24 9 октября 1858 г.

25 *Контрассигнирование* — скрепление подписью министра акта, изданного монархом. В данном случае требовалась подпись Вестфалена, как министра внутренних дел.

26 *Флотвель* был назначен на пост министра внутренних дел; до того он был обер-президентом Бранденбурга.

27 «*Новая* эра»—см..прим. 45 к гл. I.

28 *Обер-камергер* — почетное придворное звание.

29 Бисмарк намекает на свои отношения с католической церковью и ее деятелями, особенно обострившиеся в 70-х годах, в период «Культуркампфа».

30 *Децернент*—чиновник, подготавливавший материал для разрешения дел; в данном случае речь идет о министерстве иностранных дел.

31 *Узедом* был прусским посланником при дворе итальянского короля. Двор короля находился в городе Турине до 1865 г., когда он был перенесен во Флоренцию.

32 См. прим. 41 к гл. VIII.

33 Вильгельм I в 1849 г. принял звание главы (гроссмейстера) всех прусских масонских организаций (лож).

34 *Франкфурт-на-Майне* по решению Венского конгресса 1815 г. был признан вольным городом и являлся самостоятельным членом Германского союза. В 1866 г., после австро-прусской войны присоединен к Пруссии. 1 февраля 1869 г. правительство внесло в ландтаг законопроект о соглашении между прусским королевским правительством и городом Франкфуртом. Но еще до окончания обсуждения этого законопроекта франкфуртский магистрат добился от короля согласия на

выдачу городу Франкфурту из казны 2 миллионов гульденов для полюбовного удовлетворения претензий, предъявленных городом Франкфуртом. Соответственно этому пришлось изменить законопроект.

35 То есть дело Узедома, о котором Бисмарк рассказывает выше.

36 *Лауенбург* — герцогство в Шлезвиг-Гольштейне; с 1815 г. входило в состав Дании. По Венскому миру 30 октября 1864 г., закончившему войну между Пруссией и Австрией с одной стороны и Данией — с другой, король Дании отказался, между прочим, от прав на Лауенбург. В соответствии с Гаштейнским договором 1865 г. Австрия за $2^1/_2$ миллиона датских талеров уступила свою часть Лауенбурга Пруссии. Впоследствии Вильгельм I пожаловал Бисмарку земли в Лауенбурге; оставляя в 1890 г. пост канцлера, Бисмарк получил пожизненный титул герцога Лауенбургского.

37 *Ла Мармора* — итальянский политический и военный деятель; во время войны с Австрией в 1866 г. командовал итальянской армией. После разгрома его армии при Кустоцце вынужден был выйти в отставку. В 1868 г. выпустил книгу, наделавшую много шума, с резкими обвинениями против прусской политики во время войны. Об этом «эпизоде» и идет речь.

38 Предок графа Шверина — прусский генерал-фельдмаршал Курт-Кристоф Шверин во время Семилетней войны, 6 мая 1757 г. пал в сражении под Прагой со знаменем в руках.

39 *Френология* — наукообразная теория, занимающаяся отысканием связи между наружной формой черепа и умственными и душевными способностями его обладателя. *Френологи* — занимающиеся френологией.

40 *Обер-бюргермейстер* — городской голова в крупных городах.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1 При заключении *Ольмюцского соглашения* (см. прим. 24 к гл. III) Австрия добилась уступок от Пруссии главным образом благодаря поддержке, оказанной ей царской Россией.

2 Под *консервативной триадой* подразумеваются три основные державы Священного союза (см. прим. 104 к гл. VIII) — Россия, Австрия и Пруссия.

3 *Наследник Николая I* — Александр II. Хотя игра в либерализм Александра II и породила буржуазную легенду о его мягкости, гуманности и т. п., тем не менее в основном он воспринял политическую линию отца, и между ними существовало единомыслие по всем важнейшим вопросам.

4 В реакционной публицистике существовало мнение, будто во время революции 18—19 марта 1848 г. в Берлине победа осталась за королевскими войсками, а весь их успех был сорван приказом короля Фридриха-Вильгельма IV о выводе войск из Берлина. Эта точка зрения тенденциозна и не соответствует действительности; увод войск был вынужденной мерой.

5 Константин Владимирович *Чевкин* (1802—1875) был в 1853—1862 гг. главноуправляющим путей сообщения.

6 Речь идет о кампании 1813—1814 гг. против наполеоновской Франции.

[7] *Kunkellehn* — лен (см. прим. 15 к гл. IX), который в случае отсутствия наследника мужского пола мог передаваться по наследству по женской линии.

[8] См. гл. IV.

[9] См. т. I, гл. IV, стр. 58.

[10] Предместье Парижа, в то время один из аристократических кварталов.

[11] Ср. *Ювенал,* Сатиры, I, 168: «Inde irae et lacrimae» (отсюда гнев и слезы); *Теренций,* Андрианка, I, 1: «Hinc illae irae» (отсюда гнев).

[12] После 1866 г., т. е. после австро-прусской войны 1866 г.

[13] По Парижскому мирному договору 1856 г. (см. прим. 20 к гл. V) России было запрещено держать военный флот в Черном море и Черное море было объявлено нейтральным. Россия неоднократно делала попытки добиться пересмотра соответствующих статей этого договора. 31 октября 1870 г., воспользовавшись обстановкой, создавшейся в связи с происходившей в то время франко-прусской войной, русский канцлер князь Горчаков разослал всем державам, участвовавшим в Парижском конгрессе, циркулярную депешу. В ней говорилось, что Россия не считает себя более связанной обязательствами Парижского договора, ограничивавшими ее права в Черном море.

[14] Шарлотта — получившая в России имя Александры Федоровны, — вдова Николая I.

[15] *Шипка* — название одного из перевалов через Балканский хребет. Приобрела известность во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Русские войска героически обороняли этот важный стратегический участок. Отражая наступление противника, многие солдаты гибли в условиях суровой зимы в горах.

[16] *Итальянская война* (австро-итальянская война 1859 г.) происходила между Австрией и Сардинским королевством, вокруг которого происходило воссоединение итальянских территорий в единое самостоятельное государство; война продолжалась с 29 апреля по 11 июля 1859 г.; Франция принимала активное участие в войне на стороне Италии. В результате войны Франция получила Савойю и Ниццу, а Ломбардская область Италии была освобождена от австрийского владычества.

[17] *Австро-французская война;* см. предыдущее примечание.

[18] Ср. письмо Бисмарка к министру фон-Шлейницу от 20 мая 1859 г., Briefwechsel u. s. w., S. 22: «Его величество очень обижен множеством советов, которые ему приходится выслушивать от его высоких родственников, а также тоном, каким они даются. Обычно говорят: «Россия *должна*», «император *должен*», — а если с ними не соглашаешься, следуют оскорбительные альтернативы. Но наиболее неприятны письма, которые прибывают на имя членов императорской фамилии, например, на имя великой княгини Елены от ее братьев или на имя принцессы Ольденбургской из Нассау, и направляются почтой для того, чтобы их могли прочитать, тогда как они содержат величайшие грубости по отношению к императору». *(Прим. нем. изд.)*

[19] Почтовая монополия в Австрийской империи находилась в наследственном владении князей Турн-и-Таксис. Их предок в 1512 г. организовал первую регулярную почтовую связь, и с конца XVI Века привилегия на заведывание государственной почтой сохранялась за

этим родом. В 1867 г. дом Таксисов, чья почтовая организация к этому времени охватывала 17 немецких государств, отказался за 3 миллиона талеров от своей монополии в пользу государства.

20 Под *Кульмом* (деревня в Чехии) 29—30 августа 1813 г. войсками коалиции европейских держав были разбиты войска наполеоновской Франции, а командовавший ими маршал Вандам был взят в плен.

21 Синодальная патриаршая библиотека в Москве. Ее началом, предположительно, послужили книжные собрания митрополитов, привозивших из Константинополя греческие и славянские рукописи. Затем библиотека перешла в ведение московских патриархов. В XVI веке при патриархе Филарете в библиотеке насчитывалось более 500 греческих и славянских рукописных книг.

22 Оригинал на французском языке.

23 Оригинал на французском языке.

24 Бисмарк приехал в Берлин 5 марта 1860 г. и уехал 23 мая.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1 См. прим. 24 к гл. III.

2 См. прим. 16 к гл. X.

3 О позиции Пруссии во время Восточной войны 1853—1856 гг. см. прим. 11 и 13 к гл. V.

4 О позиции Пруссии во время польского восстания 1863 г. см. гл. XV и прим. к ней.

5 См. выше, стр. 154 и сл.

6 Заявление о «завещании» Фридриха-Вильгельма III не следует понимать буквально. Внешняя политика Фридриха-Вильгельма III с 1813 г. и до конца его царствования сводилась к принципу полной солидарности с Австрией; этот принцип распространялся как на германские дела (совместные выступления в защиту реакции), так и на всю европейскую политику (Священный союз). Только в этом смысле и говорится здесь о «завещании».

7 *Пронунсиаменто* — испанское слово, которым обычно обозначают частые в странах Южной Америки политические перевороты; приобрело несколько иронический характер. Под «Данцигским пронунсиаменто» подразумевается речь, произнесенная в июне 1863 г. в Данциге кронпринцем Фридрихом. В своей речи он протестовал против репрессивных мер, принятых его отцом, королем Вильгельмом I, по отношению к оппозиционной печати. Подробнее об этом см. гл. XVI настоящей книги, «Данцигский эпизод».

8 Здесь и ниже идет речь о конфликте, разразившемся между королем и министерством в 1861 г. по вопросу о присяге. Фридрих-Вильгельм IV умер 2 января 1861 г. При его вступлении на престол в 1840 г. ему была принесена присяга на верность. Новый король, Вильгельм I пожелал сохранить эту древнюю присягу подданных на верность королю. Однако большинство стоявшего тогда у власти министерства «новой эры» решительно выступило против этого требования, считая, что принятая в 1850 г. конституция исключает возможность принесения подобной присяги. На стороне короля остался один Роон. После долгих колебаний король, не желавший отступать, но боявшийся нанести ущерб своей популярности, поручил все же Роону

начать с Бисмарком переговоры о вступлении в министерство, рассчитывая на его поддержку. Однако раньше, чем Бисмарк успел приехать в Берлин, король фактически отступил: 3 июля он опубликовал манифест, в котором заменял принесение присяги торжественной коронацией.

9 За дуэль с Твестеном, который в брошюре «Was uns noch retten kann» назвал его злополучным человеком в злополучном положении.

10 Фраза эта не закончена и не совсем ясна в оригинале; повидимому, Роон подразумевает, что его коллеги по министерству считают себя не в состоянии поступить в вопросе о присяге так же, как он, Роон.

11 *Рейнфельд* — имение Путткамера, тестя Бисмарка.

12 Граф *Шверин* был министром внутренних дел в министерстве «новой эры».

13 Здесь и далее Бисмарк именует *вюрцбуржцами* средние и малые немецкие государства, представители которых собрались 24—27 ноября 1859 г. в городе Вюрцбурге на конференцию, направленную против Пруссии.

14 *Вандея* — департамент в Западной Франции, являвшийся очагом контрреволюционного монархического восстания во время Французской буржуазной революции конца XVIII века. Бисмарк хочет сказать, что он готов защищать права монарха в любой форме, вплоть до выступления с оружием в руках.

15 В 1861 г. ландтаг постановил, по предложению депутата Кюне, разрешить испрашиваемые правительством кредиты на армию лишь как «экстраординарные». Ландтаг делал тем самым серьезный шаг к «конституционному конфликту», разыгравшемуся уже в следующем году.

16 Великая княгиня Елена Павловна — вдова великого князя Михаила Павловича, дочь принца Павла Вюртембергского.

17 Шлейниц получил портфель министра двора.

18 Цитата из баллады «Ленора» поэта Бюргера.

19 См. прим. 6 к гл. VII.

20 См. выше, прим. 8.

21 Фон-Бланкенбургу.

22 В мае 1862 г. собралась новая, оппозиционно настроенная палата. В конце сентября того же года Бисмарк был назначен министром, а 8 октября — министром-президентом.

23 См. т. I, гл. IX, стр. 153—154.

24 Бисмарк покинул Петербург 8 мая и прибыл в Берлин 10 мая. *(Прим. нем. изд.)*

25 *Тюльерийский дворец* в Париже — резиденция Наполеона III.

26 Граф Бернсторф был с 1854 г. посланником в Лондоне; с октября 1861 г. по октябрь 1862 г. он был одновременно прусским министром иностранных дел; в октябре 1862 г. вернулся на свой пост в Лондон.

27 *Адрес* — в данном случае торжественное обращение депутатов ландтага к королю; принимается обычно в начале сессии.

См. выше, прим. 17 и 26.

29 В этот день в Бабельсбергском замке состоялась последняя аудиенция перед отъездом Бисмарка в Париж. *(Прим. нем. изд.)*

30 Речь идет о французском императоре Наполеоне III.

31 Бисмарк хочет сказать, что Австрия пойдет на то, чтобы в угоду Наполеону III возвратить Италии Венецию (которой она владела до 1866 г.) или отдать Франции все земли на левом берегу Рейна, принадлежавшие германским государствам.

32 Последняя фраза (от слов «она пожертвовала бы...») относится уже не ко времени пребывания Бисмарка во Франкфурте, так как она связана с более поздними событиями (1862 г.). Перед ней следовало бы вставить слова: «Также и теперь (1862 г.) я должен предположить...» и т. д. *(Прим. нем. изд.)*

33 В Прусском ландтаге палата господ (см. прим. 29 к гл. III) составлялась из наследственных и пожизненно назначаемых королем членов. Таким образом, состав ее был постоянен. В этом смысле и говорит Бисмарк о «перманентности» палаты.

34 Намек на то, что депутат ландтага должен был оплачивать лицо, замещавшее его (если он состоял на службе) во время сессии ландтага; чем продолжительнее сессия, тем больше возрастали эти расходы.

35 *Доберан* — курорт в герцогстве Мекленбург-Шверин.

36 День отъезда Бисмарка из Петербурга. *(Прим. нем. изд.)*

37 Подразумевается подготавливавшаяся в течение ряда лет реформа прусского провинциального устройства. По принятому лишь в 1872 г. закону в каждом уезде (Kreis) должен был существовать *крейзтаг* (уездный сейм), избираемый на основе сравнительно высокого ценза.

38 Окончательное назначение Бисмарка министром-президентом и министром иностранных дел последовало 8 октября.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1 В 1786 г. умер прусский король Фридрих II. В последний год своего правления, в 1785 г. ему удалось создать союз немецких князей во главе с Пруссией, направленный против попыток Австрии установить свою гегемонию в Германии. По мысли Бисмарка, со смертью Фридриха это плодотворное направление прусской политики исчезает; на первый план выступает вопрос о польских землях. В результате неправильной политики Пруссии ее ждал разгром в 1806 г. и тяжелый Тильзитский мир 1807 г. (см. прим. 12 к гл. VIII).

2 С точки зрения Бисмарка, Наполеон — преемник Французской буржуазной революции конца XVIII века. Поэтому тот факт, что в борьбе с наполеоновскими захватами стало складываться общенемецкое национальное самосознание, он непосредственно связывает с борьбой европейских держав против Французской революции.

3 По условиям Базельского мира 1795 г. между Пруссией и Францией северогерманские и среднегерманские государства, которые вслед за Пруссией выходили из войны с Францией и отзывали свои контингенты из имперской армии (Австрия продолжала военные действия), должны были отделяться «демаркационной линией» от продолжавшей войну империи и находиться под покровительством Пруссии.

4 Под присоединением немецких земель Бисмарк подразумевает присоединение к Пруссии в конце XVIII и начале XIX века, наряду с польскими, ряда немецких земель в западной и юго-западной Германии.

5 В 1792 г. Пруссия совместно с Австрией начала войну против революционной Франции.

6 *Тугут* и *Лербах* (см. т. III, именной указатель) играли видную роль в австрийской внешней политике в 90-х годах XVIII века.

7 *Краков* был получен Австрией по так называемому третьему разделу Польши в 1795 г. и принадлежал ей до 1809 г;

8 См. прим. 28 к гл. VIII.

9 *«Высокая Порта»,* «Блистательная Порта» — официальное название правительства турецкого султана.

10 Фридрих-Вильгельм (1640—1688). См. прим. 5 к гл. I.

11 *Переговоры в Пильнице,* летней резиденции саксонских королей, велись 25—27 августа 1791 г. между германским императором Леопольдом II и прусским королем Фридрихом-Вильгельмом II при участии представителей французской эмиграции во главе с братом французского короля Людовика XVI, графом д'Артуа. Пильницское свидание представляло собой попытку австро-прусского сближения, предпринятую после Рейхенбаха (см. прим. 28 к гл. VIII) в условиях назревавшего второго раздела Польши и перед лицом Французской революции. Декларация, принятая в результате пильницских переговоров, представляла собой выступление в защиту французского короля Людовика XVI, незадолго перед тем задержанного в Варение при попытке бежать из революционной Франции, и подготовляла вооруженную интервенцию против Франции.

12 *Базельский мир* — см. прим. 32 к гл. VIII.

13 См. прим. 12 к гл. VIII.

14 *Данциг* и *Торн* — крепости, расположенные в той полосе земель, которая отделяла историческое ядро Прусского государства — Бранденбург и Померанию от герцогства Пруссии (Восточной Пруссии). До приобретения этих земель, впоследствии образовавших провинцию Западная Пруссия, основные прусские территории были разобщены между собой. Данциг и Торн были присоединены к Пруссии в 1793 г. по так называемому второму разделу Польши.

15 Об *австрийском доме Габсбургов* см. прим. 93 к гл. VIII. При императоре Карле V (1519—1555) империя достигла наивысшего подъема своего могущества.

16 Граф *Гаугвиц*—министр иностранных дел до послеиенских дней (битва при Иене произошла 14 октября 1806 г.), считался вместе с советником кабинета Ломбардом виновником несчастья 1806 г. Барон Штейн характеризует его в одной записке 1806 г. как человека «без характера и без силы». Для оправдания Гаугвица и его действий после аустерлицской победы Наполеона следует указать на то, что он, считавшийся общественным мнением передатчиком ультиматума Наполеону, был снабжен секретной инструкцией короля: во всяком случае сохранить мир. *(Прим. нем. изд.)*

17 Русско-турецкая война 1828—1829 гг. закончилась миром, заключенным в *Адрианополе* 14 сентября 1829 г. между Россией и Турцией. Летом 1829 г. русская армия под командованием Дибича, благодаря смелому, но рискованному маневру, оказалась в довольно опасном положении. Николай I обратился за посредничеством к своему тестю, прусскому королю. Король направил к султану со специальной миссией барона Мюффлинга; с помощью прусских уполномоченных удалось ускорить заключение мира на чрезвычайно выгодных для России условиях.

18 Пруссия, как и Австрия, во время польского восстания 1831 г. обязалась не пропускать через свою границу вооруженной помощи

полякам в какой бы то ни было форме. Пруссия готова была даже оказать прямое военное содействие России.

19 Речь идет о переговорах, начатых Россией с Францией в 1828—1829 гг. через голову Пруссии и имевших целью заключение союза.

20 Династии Гогенцоллернов и Романовых уже с XVIII века были тесно связаны между собой взаимными браками. Так, в XIX веке император Николай I был женат на дочери прусского короля Фридриха-Вильгельма III, Александре Федоровне, а супруга Вильгельма I, королева Августа, была дочерью великой княгини Марии Павловны.

21 На Венском конгрессе 1814—1815 гг. Россия поддерживала территориальные притязания Пруссии; соответствующие обещания были даны в Бреславльском соглашении 26 февраля 1813 г.

22 Царская Россия помогла Австрии в 1849 г. раздавить венгерскую революцию. Под австрийской неблагодарностью Бисмарк подразумевает занятую Австрией антирусскую позицию во время Крымской войны. Князю Шварценбергу, австрийскому министру-президенту и министру иностранных дел, приписывают заявление: «Мы удивим Европу своей неблагодарностью», сделанное им по адресу России. См. также т. I, гл. XVII, стр. 255.

23 Император Франц-Иосиф вступил в 1848 г., в 18-летнем возрасте, на австрийский престол.

24 См. прим. 24 к гл. III.

25 См. прим. 9 и 11 к гл. V.

26 Ср. т. I, гл. XV, стр. 227. Подробнее об этом см. т. II, гл. XXI.

27 В результате революции 27—30 июля 1830 г. в Париже была свергнута восстановленная в 1814—1815 гг. династия Бурбонов и возведена на престол Орлеанская династия в лице Луи-Филиппа. В течение первых месяцев после революции перед державами Священного союза, видевшими в июльской революции нарушение охраняемой ими системы, стоял вопрос об активном вмешательстве во французские дела, тем более что они опасались перехода Франции к агрессивной внешней политике. Однако существовавшие между ними противоречия помешали созданию коалиции против Франции.

28 *Варшавским королевством* Бисмарк называет здесь Царство Польское— принадлежавшие России польские области со столицей в Варшаве.

29 Великий князь *Константин Павлович,* старший сын императора Павла I, был в 1816—1831 гг. главнокомандующим русских войск в Польше.

30 В начале 1831 г. значительная часть Италии была охвачена революционными волнениями. Несмотря на то, что они происходили за пределами австрийских владений в Италии, они были подавлены войсками Австрии (март 1831 г.). В качестве предлога, между прочим, указывалось, что охваченные волнениями герцогства Парма и Модена по решению Венского конгресса должны были в будущем отойти к Австрии.

31 Под влиянием июльской революции 1830 г. во Франции осенью того же года произошел ряд революционных выступлений в Германии (в Брауншвейге, Гессен-Касселе и других государствах), а в Бельгии в августе 1830 г. началось восстание против владычества Голландии (к которой Бельгия была присоединена в 1815 г.). Франция была прямо заинтересована в отделении Бельгии, другие же державы были лишены возможности выступить в данный момент на помощь Голландии. Лишь Пруссия заявила о своей готовности; однако угроза Франции выступить в защиту Бельгии заставила Пруссию отказаться от своих

планов. В Германии революционное движение было подавлено к 1832—1833 гг. совместно Пруссией и Австрией.

32 Пруссия добивалась участия в Парижском конгрессе держав 1856 г. (см. прим. 20 к гл. V), хотя и не участвовала в Восточной войне 1853—1856 гг. Однако полноправным членом конгресса Пруссии стать не удалось. Ее представитель Мантейфель был допущен к участию в работах конгресса не сразу, а лишь после открытия его заседаний, когда державы пришли уже к соглашению по всем основным вопросам.

33 Переговоры, предшествовавшие заключению 13 марта 1871 г. договора об изменении некоторых статей Парижского трактата 1856 г. В частности этим договором была отменена чрезвычайно ущемлявшая интересы России статья 13; она запрещала России держать военный флот в Черном море. См. также прим. 13 к гл. X.

34 См. т. I, гл. VIII, стр. 126.

35 На *Парижском конгрессе* 1856 г. Франция, игравшая активную роль в Восточной войне 1853—1856 гг., заняла демонстративно доброжелательную России позицию. Это объясняется стремлением Наполеона III обеспечить поддержку России в назревавшем столкновении Франции с Австрией из-за Италии.

36 *«Новым курсом»* называют политику императора Вильгельма II после отставки Бисмарка (1890 г.).

37 См. прим. 39 к гл. I.

38 См. т. I, гл. III, стр. 48.

39 См. т. I, гл. IV, VII, IX, стр. 63, 100, 139—140.

40 См. прим. 9 к гл. V.

41 См. прим. 16 к гл. X.

42 26 июля 1860 г. в *Теплице* произошла встреча австрийского императора с прусским принцем-регентом. Предметом переговоров являлся итальянский вопрос. Содержание договора, о котором говорит здесь Бисмарк, не было опубликовано. Повидимому, Пруссия обязалась оказать помощь Австрии в случае, если какая-либо неитальянская держава выступит против австрийских владений в Италии.

43 См. прим. 5 к гл. V.

44 *Тугут* участвовал в руководстве внешней политикой Австрии в 90-х годах XVIII века. Это было время так называемых «разделов Польши», когда в вопросе о судьбе польских областей сталкивались интересы Пруссии, Австрии и России.

45 См. т. I, гл. XI, стр. 193.

46 По мысли Бисмарка, датский вопрос явился поворотным моментом в истории австро-прусской борьбы за воссоединение Германии. Если в первой стадии развития этого вопроса (война 1864 г. с Данией) Пруссия действовала совместно с Австрией, то затем через два года бывшие союзницы выступили друг против друга с оружием в руках; при этом значительную роль сыграл вопрос о потерянных Данией в этой войне провинциях Шлезвиг и Гольштейн.

47 Князь *Полиньяк* — глава правительства, призванного к власти французским королем Карлом X в 1829 г. Его реакционные мероприятия спровоцировали революционный взрыв в июле 1830 г. Карл X был свергнут с престола, а Полиньяк приговорен к пожизненному тюремному заключению.—Граф *Страффорд* — приближенный английского короля Карла I, вдохновитель его системы деспотического управления;

был казнен 12 мая 1641 г. революционным «Долгим парламентом». — Французский король *Людовик XVI* был свергнут с престола и казнен 21 января 1793 г. по постановлению революционного Конвента.

48 Английский король *Карл I Стюарт* после долгой борьбы с восставшими подданными был казнен 30 января 1649 г.

49 На жизнь императора Вильгельма I были произведены в 1878 г. два покушения: 11 мая—подмастерьем Геделем и 2 июня—доктором Нобилингом. В результате второго покушения Вильгельм был ранен. Эти покушения были использованы Бисмарком для репрессий против социал-демократии, хотя она и не имела никакого отношения к ним.

50 *«Прясть шерсть на благо государства»* — т. е. подвергнуться тюремному заключению (Бисмарк намекает на работы, выполняемые заключенными).

51 *Книпгоф* — родовое поместье Бисмарков.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1 Председательство в Союзном сейме Германского союза принадлежало Австрии.

2 См. прим. 11 к гл. I.

3 См. прим. 24 к гл. III.

4 См. прим. 33 к гл. III.

5 *«Гордиевым узлом»* называется сложное, запутанное положение дел. По преданию, царь Фригии (в Малой Азии) Гордий пожертвовал богам колесницу, на дышле которой был завязан чрезвычайно сложный узел. Тот, кто сумел бы его распутать, должен был владеть всем миром. Когда Александр Македонский, великий полководец древности (IV век до нашей эры), явился во Фригию, он попросту разрубил этот узел мечом.

6 См. т. I, гл. XII, стр. 206.

7 Бисмарк говорит о войне Пруссии против французского владычества в 1813—1814 гг. См. прим. И к гл. I.

8 О *Тильзитском мире* 1807 г. см. прим. 12 к гл. VIII.

9 Бисмарк намекает здесь на неудачу попытки Пруссии на Венском конгрессе присоединить к своим владениям королевство Саксонское, оставшееся в союзе с Наполеоном дольше других немецких государств. Из всех участвовавших в Венском конгрессе держав только Россия поддержала эти притязания Пруссии.

10 *Швабы, саксы, тюринги* — древнегерманские племена, по имени которых названы различные исторические области Германии (Швабия, Саксония, Тюрингия).

11 *Баювары* — древнегерманское племя, название которого сохранилось в слове «Бавария». *Алеманы* — то же, что швабы. *Франки* — древнегерманское племя; западная его ветвь поселилась на территории Северной Франции (откуда и название страны), восточная — на территории современной Германии (отсюда название исторической области в Средней Германии — «Франкония»). *Аугсбург* — город в Южной Германии, в Баварии. *Пфальц* — историческая область на юго-западе Германии. *Майн* — река, правый приток Рейна.

12 *Ганзой* назывался существовавший в XIV—XVII веках союз торговых североевропейских городов. В Ганзейский союз входило до

90 городов. Он имел свои конторы в Англии, Франции, Нидерландах, России, скандинавских странах. Внутренняя организация Ганзы была весьма слаба. Именно на эту характерную черту и намекает здесь Бисмарк.

13 *Имперскими деревнями* в средневековой Римско-Германской империи назывались деревни, подчиненные непосредственно императору, свободные от власти какого-либо князя. Имперские деревни — одно из ярких проявлений исключительной территориальной раздробленности средневековой Германии. Пользуясь рядом прав самостоятельных государств, входивших в империю, они сохранили свое существование вплоть до XIX века: последние имперские деревни были присоединены к разным немецким государствам лишь в 1803 г.

14 *Померания, Ганновер, Гольштейн, Силезия* — различные провинции, в разное время присоединенные к Пруссии, а до того ведшие более или менее самостоятельное государственное существование. Города *Аахен* и *Кенигсберг* находились: первый — на крайнем западе, второй — на крайнем востоке прусских владений.

15 *Виттельсбахи* — средневековый княжеский род. Бавария принадлежала различным линиям Виттельсбахов с XII века до 1918 г.

16 Различным линиям герцогов Готторпских принадлежал в средние века Гольштейн.

17 *Приэльбские герцогства* — Шлезвиг и Гольштейн; они лежат на правом берегу реки Эльбы.

18 Читай: Буды. Во время осады Белграда в августе—сентябре 1688 г. маркграф Людвиг находился в Боснии. *(Прим. нем. изд.)*

19 О *Рейнском союзе* см. прим. 11 к гл. IV. С точки зрения Бисмарка, быстрый территориальный рост Бадена в созданном Наполеоном Рейнском союзе был результатом измены правителей Бадена национальной немецкой политике и сближения с захватчиком — Наполеоном.

20 Великий герцог Баденский Карл-Людвиг-Фридрих по желанию Наполеона женился в 1806 г. на его приемной дочери Стефании Богарне. Сыновья от этого брака умерли в раннем детстве; поэтому после смерти Карла-Людвига-Фридриха баденский престол перешел к боковой линии графов Гохбергов. Молва обвинила их в убийстве сыновей Карла-Людвига-Фридриха. В 1828 г. в Нюрнберге появился некий Каспар Гаузер, выдававший себя за родившегося 29 сентября 1812 г. сына Карла-Людвига-Фридриха и Стефании Богарне. Все эти обстоятельства, с точки зрения Бисмарка, должны были способствовать ослаблению привязанности баденцев к своей династии.

21 В 1831 г. и начале 1832 г. под влиянием июльской революции 1830 г. во Франции баденское правительство провело ряд либеральных реформ. Однако в 1832 г., под прямым давлением Союзного сейма, эти реформы были отменены и в стране, как и во всех германских государствах, восторжествовала реакция.

22 Бисмарк имеет в виду бегство великого герцога Баденского Леопольда со всем двором и министрами во время революционного восстания в Бадене в мае 1849 г. (см. прим. 3 к гл. III).

23 В австро-прусской войне 1866 г. великое герцогство Баденское выступило на стороне Австрии.

24 *Якобиты* — сторонники восстановления на английском престоле династии Стюартов, свергнутой «славной революцией» 1688 г. Название свое якобиты получили по имени короля Якова II, правившего с 1685 по

1688 г. Восстания якобитов в 1715 и в 1745—1746 гг. окончились неудачей. Под «чувствами», о которых говорит Бисмарк, он подразумевает верность династии.

25 *Вельфы* — средневековый немецкий герцогский род, к концу XVII века сделались курфюрстами (см. прим. 5 к гл. I) Ганноверскими. После присоединения Ганновера к Пруссии (в результате австро-прусской войны 1866 г.) название *«вельфов»* получила партия, требовавшая восстановления самостоятельности Ганновера.

26 Брауншвейгские курфюрсты — они же Ганноверские (см. предыдущее примечание).

27 В битве при *Леньяно* (Северная Италия) 29 мая 1176 г. император Фридрих Барбаросса, сражавшийся против союза ломбардских городов, потерпел крупное поражение. *Генрих Лев,* из рода Вельфов, могущественнейший вассал императора, отказал ему в помощи перед сражением; в этом заключалась одна из причин поражения императора.

28 См. т. II, гл. XX и примечания к ней.

29 В период Никольсбурга (1866 г.) кронпринцем был сын Вильгельма I, будущий император Фридрих III.

30 В средние века Римско-Германская империя распадалась на множество так называемых *территорий* — различного типа государственных образований, зачастую карликовых, но тем не менее обладавших — каждое в своих границах — почти всей полнотой высшей власти.

31 *Гогенштауфены* — средневековый немецкий владетельный род; в XII—XIII веках занимал престол Римско-Германской империи.

32 *Имперское рыцарство* — в средневековой Римско-Германской империи мелкое и среднее рыцарство, независимое от имперских князей и сохранившее непосредственную вассальную связь с империей.

33 *Имперские города* — города средневековой Германии, непосредственно зависевшие от империи и имевшие свое представительство в имперском сейме.

34 См. выше, прим. 13.

35 Намек на Ганноверскую династию, короли которой занимали одновременно троны Великобритании и Ганновера. Только в 1837 г. эта уния прекратилась и на ганноверский престол вступил король, живший уже не в Лондоне, как его предшественники, а в Ганновере.

36 Династия *Вельфов* занимала до 1866 г. престол королевства Ганновер, династия *Габсбургов* — до 1918 г. австрийский престол, династия *Гогенцоллернов* — до 1918 г. престол Прусского королевства (наряду с престолом Германской империи с 1871 г.). В австро-прусской войне Ганновер выступал на стороне Австрии, против Пруссии.

37 В австро-прусской войне Ганновер, Гессен и Нассау выступили на стороне Австрии.

38 *Северогерманский союз* — союзное государство, образованное после австро-прусской войны 1866 г. из 22 немецких государств во главе с Пруссией. Принятая на его учредительном рейхстаге в 1867 г. конституция была распространена с некоторыми изменениями на всю Германию после ее объединения в 1871 г., когда Северогерманский союз прекратил свое существование. См. т. II, гл. XXI.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1 Здесь и ниже речь идет о так называемом *«конституционном конфликте»* в Пруссии в 1862—1866 гг. Суть его кратко сводится к следующему. После того как мобилизация 1859 г. показала недостаточную готовность прусской армии, правительство решило провести коренную ее реорганизацию; дело шло об увеличении армейского контингента, о продлении срока службы, об изменении системы ландвера. Правительство обратилось к ландтагу за утверждением требовавшихся для этой цели кредитов. Однако нижняя палата, опасаясь чрезмерного усиления правительства, согласилась лишь на временное (на один год) предоставление кредитов. В следующем, 1861 году утверждение кредитов прошло с еще большим трудом. Выборы 1861 г. дали большинство либеральной оппозиции. Тогда ландтаг был распущен, но новые выборы (1862 г.) принесли оппозиции полную победу. Компромиссное предложение Ставенхагена, Зибеля и Твестена было отвергнуто (см. прим. 10 к этой главе). Король подумывал было об отречении, но все же решился призвать к власти Бисмарка (см. выше, гл. XI). Проведя бюджет через верхнюю палату, Бисмарк в течение четырех лет игнорировал оппозицию нижней палаты. Исключительные успехи внешней политики Бисмарка раскололи лагерь его противников: выделившиеся из прогрессистской партии национал-либералы поддержали правительство. В 1866 г. «конституционный конфликт» закончился принятием закона об индемнитете (см. прим. 16 к гл. IX), т. е. полным отступлением оппозиции.

2 *Обер-президент* — см. прим. 25 к гл. I.

3 Прусский король Вильгельм I был членом религиозно-философской организации масонов и гроссмейстером (главой) всех прусских масонских лож (местных организаций).

4 См. прим. 45 к гл. I.

5 См. прим. 6 к гл. VII.

6 Ср. т. II, гл. XXV.

7 В Гаштейне 14—20 августа 1865 г. происходили переговоры между Пруссией и Австрией по поводу Шлезвига и Гольштейна (см. т. II, гл. XIX и примечания к ней).

8 См. т. II, гл. XXI.

9 Содержание § 99 конституции 1850 г. см. в прим. 32 к гл. VII.

10 17 сентября 1862 г. был поставлен на обсуждение проект депутатов Ставенхагена, Зибеля и Твестена, по которому бюджет на 1862 г. (включая суммы, предназначенные на реорганизацию армии) утверждался за вычетом 223 тысяч талеров, окончательное же разрешение военного вопроса переносилось на следующую сессию ландтага. Большинство депутатов готово было согласиться с таким продлением временного состояния, если правительство примет предложение о сокращении в следующем году срока службы. 17 сентября Роон дал в косвенной форме отрицательный ответ; однако 18 сентября, когда от него потребовали категорического ответа, ему пришлось прямо отказать в согласии, которое могло бы связать правительство. В результате компромиссное предложение было отклонено.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1 *Переворотом в Италии* Бисмарк называет экспедицию итальянского народного героя Гарибальди в южную Италию в мае — сентябре 1860 г. (поход «тысячи»). При поддержке массового крестьянского движе-

ния Гарибальди освободил Сицилию от власти неаполитанских королей, а затем, перейдя на материк, сверг власть Бурбонов во всем Неаполитанском королевстве. В том же году области, освобожденные Гарибальди, были присоединены к Сардинскому королевству, принявшему название Итальянского королевства. Это было крупным шагом на пути к воссоединению Италии в самостоятельное государство.

2 Речь идет о событиях, предшествовавших польскому восстанию 1863 г. Годовщины революции 1830 г., Гроховской битвы 1831 г., смерти Костюшки и др. были использованы для организации политических демонстраций. *Земледельческое общество,* созданное в 1857 г., было центром польского националистически настроенного дворянства; в связи с его закрытием весной 1861 г. в Варшаве была организована манифестация.

3 Русский генерал *Герстенцвейг,* варшавский генерал-губернатор, был вдохновителем репрессивных мер против польского национального движения. Покончил с собой, проиграв графу Ламберту американскую дуэль, по правилам которой дуэлянт, вытянувший жребий, лишает себя жизни.

4 *Вера Засулич* (1849—1919)—русская революционерка, в начале 1878 г. совершила покушение на петербургского градоначальника Трепова. Под давлением общественного мнения суд присяжных 31 марта 1878 г. вынес ей оправдательный приговор. У Бисмарка неточность. Следует читать 12 апреля.

5 Фактическая неточность. Восстание в Польше началось 22 (10) января 1863 г.

6 См. прим. 19 к гл. XII. Бисмарк говорит об июльской революции 1830 г. во Франции.

7 *Укрепленным треугольником на Висле* называлась система трех крепостей: Варшавы, Новогеоргиевска (Модлина) и Зегрже в Варшавском укрепленном районе.

8 В 1849 г. революция в Венгрии была подавлена русскими войсками.

9 В 1870—1871 гг., во время франко-прусской войны, Россия заняла дружественную Пруссии позицию. Подробнее об этом см. в т. II.

10 В 1846 г. в польских владениях Австрии произошло восстание, организованное националистически настроенным дворянством.

11 *«Католическая империя»* — Австрия, где государственной религией был католицизм. Большинство поляков также принадлежало к католической церкви.

12 См. т. I, гл. XII, стр. 200, и т. II, гл. XXI.

13 См. об этом т. I, гл. XVII.

14 Подразумевается император Наполеон III.

15 Намек на французскую императрицу Евгению.

16 Франкфуртский съезд князей (см. гл. XVII), ввиду отказа от участия в нем прусского короля, не дал никаких результатов. На это обстоятельство намекает Бисмарк, называя весь план съезда «неуклюжим».

17 Подразумевается великий князь Константин.

18 *Велепольский* — польский политический деятель, аристократ, крупный землевладелец. Играл значительную роль в русской администрации в Польше в 1861—1863 гг. Его программа сводилась к осуществлению умеренной автономии Польши мирным путем, ориентируясь на полное соглашение с русским царизмом. Не располагая никакой массовой поддержкой в польском обществе (за ним шла лишь часть круп-

ных аграриев и промышленников), Велепольский встал на путь репрессий против деятелей национального движения. Произведенный по его предложению рекрутский набор, который должен был охватить всю революционно настроенную городскую молодежь, явился непосредственным поводом к январскому восстанию 1863 г. в Польше.

19 Конституция Царства Польского, введенная Александром I в 1815 г., была отменена Николаем I после восстания 1830—1831 гг.

20 Так называемая *конвенция Альвенслебена* заключена между Россией и Пруссией 8 февраля 1863 г., во время польского восстания. Со стороны России подписана Горчаковым, со стороны Пруссии — генералом Альвенслебеном (отсюда ее название). Конвенция предусматривала проведение ряда мер для совместного подавления польского движения. Пруссия должна была сосредоточить на восточной границе войска, которым предоставлялось право в случае необходимости перейти русскую границу; такое же право предоставлялось русским войскам для преследования повстанческих отрядов и т. д.

21 Ср. письмо Бисмарка графу Бернсторфу от 9 марта 1863 г., Bismarck-Jahrbuch, VI, 172 ff.: «В России полонофильская партия во главе с Горчаковым и Велепольским, которая хочет во всех ее разновидностях установить в Варшаве более или менее самостоятельную *польскую* Польшу, является одновременно и партией Франции и партией *честолюбивой* России с ее восточными планами. Партию их противников я назвал бы консервативной (но отнюдь не старорусской, более близкой к первой). К ней в глубине души принадлежит император, генералы, государственные деятели — немцы; они не доверяют Франции и видят невозможность полюбовного соглашения с польскими национальными притязаниями. Ясно, что первое направление, горчаковское, опаснее для Пруссии, поскольку мы не хотим иметь дела с русско-французскими комбинациями. Заключением нашей конвенции, имевшим место при сильном сопротивлении Горчакова, по прямому приказанию императора, мы создали — поскольку это зависело от нас — перевес антипольской и антифранцузской партии в императорском кабинете, и решения, прежде неопределенные, принимаются теперь в направлении неуклонного подавления восстания. Тенденция к уступкам движущему принципу восстания весьма скоро появилась бы вновь, если бы его как раз сейчас не оттеснило пока что на задний план раздражение в связи с английским вмешательством. Не могут же в Лондоне обманывать себя по поводу того, что все, предпринимаемое для Польши, в случае успеха служит лишь усилению позиции Франции на континенте. Независимость Польши равнозначна мощной французской армии на Висле, и всякое препятствие, чинимое России в Польше, дает толчок России к соглашению с Францией. Последнее было и есть цель Горчакова; речь идет лишь о том, удастся ли ему привлечь *императора* на свою сторону. Горчаков радостно потирает руки при каждой неприятности, проистекающей для нас из конвенции: фактическое устранение последней является для него победой в русской политике, одержанной над антифранцузскими государственными деятелями в России». *(Прим. нем. изд.)*

22 *Инсургент* — повстанец.

23 *Мысловицы* — польское местечко, на стыке границ России, Австрии и Пруссии.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1 *«Провинцией Пруссией»* иногда называются в Германии прусские провинции—Западная Пруссия и Восточная Пруссия. Город Данциг находился в провинции Западная Пруссия.

[2] Королевский указ о прессе был издан 1 июня 1863 г., в разгар «конституционного конфликта», и был направлен против оппозиционной печати. Согласно указу, достаточно было двух предостережений, чтобы прекратить издание неугодной правительству газеты.

[3] *«Его высочество»* — титулование кронпринца; *«его величество»* — титулование короля.

[4] Philippson, Kaiser Friedrich, S. 112: «Я считаю указ незаконным и опасным для моего дома и для будущности государства. Я отрекаюсь от всякого участия в подобном мероприятии и предлагаю вам поставить государственное министерство в известность об этом моем протесте». *(Прим. нем. изд.)*

[5] Philippson (S. 114) сообщает его содержание. Вначале король старается опровергнуть приведенные кронпринцем доказательства незаконности указа о прессе. Затем он переходит к вопросу о данцигской речи: если она воспроизведена печатью неверно, то кронпринц должен выступить публично с целью ее исправления; если же она напечатана правильно, то он должен взять свои слова обратно. «Я обязываю тебя не делать больше ни единого подобного заявления. Если же это повторится, то тогда последует отозвание в Берлин, где и будет решено, сможешь ли ты в дальнейшем сохранить занимаемый тобой командный пост». *(Прим. нем. изд.)*

[6] Philippson (S. 115): он просит простить его, если он поступил ошибочно. «Но мои слова не были не обдуманы. Я уже давно грешу против моей совести и положения, разделяя убеждение, истинность которого я с каждым днем чувствую все отчетливей. Лишь надежда на то, что, быть может, удастся избежать размолвки с тобой, заглушала мой внутренний голос. Но теперь министерство, полностью игнорируя меня, вынесло постановление, которое угрожает будущему моему и моих детей. Я буду с тем же мужеством защищать мои убеждения, как ты — твои. Я поэтому не могу ничего взять обратно, но буду хранить молчание. Что касается остального, то я повергаю к твоим стопам мои должности в армии и в государственном министерстве, если ты это приказываешь, и прошу назначить мне местопребывание или разрешить мне выбрать такое место, где я мог бы оставаться совершенно вдали от политики». *(Прим. нем. изд.)*

[7] В 1730 г. прусский король Фридрих-Вильгельм I сослал своего сына, будущего короля Фридриха II Великого, в крепость Кюстрин.

[8] По библейскому рассказу (II книга Самуила, гл. 15, стихи 2—6), честолюбивый сын царя Давида Авессалом привлекает к себе сердца израильтян, выдавая себя за их защитника перед дурным правителем — царем Давидом.

[9] См. т. I, гл. XVI, стр. 235—236.

[10] *«Times»* («Таймс») — одна из старейших и влиятельнейших лондонских газет, основанная в 1788 г.

[11] Речь идет о Геффкене. *(Прим. нем. изд.)*

[12] Во время франко-прусской войны 1870—1871 гг.

[13] Английская буржуазная революция XVII века.

[14] Бисмарк имеет в виду парламентскую систему.

[15] Во время английской буржуазной революции XVII века один из представителей царствовавшей династии Стюартов — Карл I был казнен (30 января 1649 г.), а другой — Яков II — свергнут с престола (1688 г.).

16 См. т. I, гл. XII, стр. 205—206.

17 *Партия прогрессистов* — либерально-буржуазная партия; образовалась в Пруссии в 1861 г. Основными требованиями ее были: всеобщее избирательное право, ответственное министерство, ежегодное утверждение армейского контингента. В 1866 г. партия раскололась; одна ее часть, принявшая название национал-либералов, поддержала внешнюю политику Бисмарка; другая осталась в оппозиции Бисмарку и после образования Германской империи.

18 В указанной сцене драмы Шиллера «Дон-Карлос» между наследником испанского престола Дон-Карлосом и наместником испанского короля в Нидерландах герцогом Альбой происходит бурное объяснение, заканчивающееся поединком. Дон-Карлос, по Шиллеру, не мог примириться с кровавыми методами господства своего отца, с той жестокостью, с которой он и его приближенный герцог Альба расправлялись с непокорными подданными.

19 Французский король Луи-Филипп получил корону в результате июльской революции 1830 г. В годы, предшествовавшие революции, он демонстративно примыкал к оппозиции и подготовил этим почву для предложения ему короны в 1830 г. На это намекает здесь Бисмарк.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1 17 августа 1863 г. во Франкфурте собрался съезд германских князей. Инициатива созыва съезда принадлежала Австрии, рассчитывавшей добиться таким образом реформы Германского союза в своих интересах и не надеявшейся на эффективность обращения к Союзному сейму. Однако замысел был расстроен отказом прусского короля принять участие в съезде; без него остальные участники съезда уклонились от определенных ответов на предложение Австрии. Таким образом, Франкфуртский съезд явился одним из этапов австро-прусского соперничества за гегемонию в Германии и привел к поражению Австрии.

2 Договор между Германией и Австро-Венгрией 7 октября 1879 г., заложивший основы *Тройственного союза,* обязывал союзников оказывать военную помощь в случае нападения России на одного из них или в случае поддержки Россией какой-либо страны, которая напала бы на союзников. При нападении на Германию или Австро-Венгрию какой-либо державы, кроме России, договаривавшиеся стороны гарантировали друг другу благожелательный нейтралитет. Подробнее об этом см. т. II, гл. XXIX.

3 *Бреттёр* (франц. bretteur) — дуэлянт, забияка.

4 Речь идет здесь о планах «дуалистического» разрешения проблемы воссоединения Германии, т. е. о планах совместной гегемонии Пруссии и Австрии.

5 *Следственная комиссия в Майнце* была учреждена в силу так называемых *карлсбадских постановлений* в августе 1819 г. для расправы с деятелями национально-либерального движения в Германии. Время ее деятельности—эпоха глубочайшей политической реакции в Германии.

6 Под *«датскими осложнениями»* Бисмарк имеет в виду совокупность проблем, связанных с герцогствами Шлезвиг и Гольштейн. До 1864 г. эти герцогства принадлежали Дании, затем были отобраны Пруссией и Австрией и, наконец, послужили поводом к австро-прусской войне 1866 г. Подробнее о шлезвиг-гольштейнском вопросе см. т. II, гл. XIX и примечания к ней.

7 Перемирие в шведском городе *Мальме* 26 августа 1848 г, прекратило войну между Пруссией и Данией из-за Шлезвиг-Гольштейна. На

этом этапе Пруссия не добилась никаких положительных результатов в вопросе о Шлезвиг-Гольштейне.

8 Об *Ольмюцском соглашении* см. прим. 24 к гл. III.

9 Во время *Семилетней войны* 1756—1763 гг. Англия, выступавшая вначале совместно с Пруссией, неожиданно отказала ей в поддержке.

10 *Сеньорен-конвентом* в парламентском обиходе называется совет старейшин — лидеров фракций. В данном случае подразумевается «европейский концерт», т. е. великие европейские державы.

11 О конференции в Дрездене см. прим. 33 к гл. III.

12 Австро-прусская война 1866 г. В 1850 г. австро-прусский конфликт был разрешен *Ольмюцским соглашением.*

13 В связи с психическим заболеванием прусского короля Фридриха-Вильгельма IV его заместителем, а с 1858 г. регентом был его брат кронпринц Вильгельм. 2 января 1861 г., после смерти Фридриха-Вильгельма IV, регент стал полноправным королем под именем Вильгельма I.

14 См. прим. 54 к гл. VIII.

15 Подразумевается так называемый «конституционный конфликт» 1862—1866 гг. См. гл. XIV и примечания к ней, особенно прим. 1.

18 См. прим. 5 к гл. XIII.

17 *Фердинанд Блинд* совершил 7 мая 1866 г. в Берлине покушение на жизнь Бисмарка; схваченный, он покончил с собой в тюрьме.

18 То есть с помощью *Союзного сейма,* большинство в котором шло за Австрией.

19 Подразумевается победа Пруссии в войнах 1866 г. с Австрией и 1870—1871 гг. с Францией.

20 Ср. об этом v. *Sybel,* Die Begrundung des Deutschen Reichs, Bd. IV, S. 375 f.;*v.Friesen,* Erinnerungen, Bd. II, S. 159 ff. Граф Лариш, австрийский министр финансов, заявил якобы, что через три месяца Австрии понадобится либо прусская военная контрибуция в 500 миллионов, либо объявление банкротства под благовидным предлогом военных действий. Впрочем, граф Белькреди, о котором Зибель утверждает, что в разговоре с бароном фон-Габленцем он высказывался в аналогичном смысле, заявил, что приведенный Зибелем рассказ — выдумка; по его сведениям, граф Лариш также не вступал в сношения с бароном Габленцем. Ср. *Friedjung,* Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland, Bd. I (8 Aufl.), S. 311 f., II, S. 579. *(Прим. нем. изд.)*

21 Это предложение было сделано министром (без портфеля) графом Эстергази.

22 См. прим. 23 к гл. V.

23 См. прим. И к гл. IV.

24 15 ноября 1863 г. умер датский король Фридрих VII, и на датский престол вступил принц Глюксбургский под именем Христиана IX. Смена династий послужила поводом для выступления Германского союза, выдвинувшего своего кандидата на датский престол — принца Августенбургского. Вместе с тем Дания предприняла ряд шагов, имевших целью подготовку полного слияния Шлезвига и Гольштейна с Данией. Пруссия и Австрия, давно требовавшие от Дании выполнения данных ею в 1850 г. обязательств ничего не предпринимать в Шлезвиге и Гольштейне без ведома Пруссии и Австрии, предъ-

явили 16 января 1864 г. Дании ультиматум с требованием отмены новой конституции в Шлезвиге (принятой незадолго до смерти Фридриха VII), а в конце января заняли Гольштейн. 1 августа того же года Данией был подписан с Пруссией и Австрией предварительный мирный договор, по которому Шлезвиг, Гольштейн и Лауенбург отходили к Пруссии и Австрии. Бои на реке Шлее происходили 6 и 7 февраля 1864 г.; Ютландия была оккупирована в июле 1864 г.; мирный договор был подписан 30 октября 1864 г. (Подробнее см. т. И, гл. XIX и примечания к ней.)

25 См. предыдущее примечание.

26 *Глац* — область в Прусской Силезии. Большинство ее населения в середине XIX века принадлежало к католической церкви.

27 Условия, на которых могло быть образовано отдельное Шлезвиг-Гольштейнское государство, предъявленные в феврале 1865 г. Пруссией претенденту на датский престол принцу Августенбургскому, сводились в основном к следующему. Новое государство, входящее в Германский союз, образует с Пруссией вечный и нерасторжимый оборонительный и наступательный союз. Военные силы Шлезвиг-Гольштейна предоставляются в распоряжение Пруссии; флот включается в состав прусского флота. На территории Шлезвиг-Гольштейна Пруссия получает ряд стратегических пунктов. Шлезвиг-Гольштейн навсегда включается в прусскую таможенную систему; почта и телеграф сливаются с прусскими. Суверенитет герцога Шлезвиг-Гольштейна обусловливается выполнением этих условий.

28 Речь идет о включении Австрии в систему *Таможенного союза* (см. прим. 14 к гл. I), объединявшего большую часть германских государств.

29 См. т. I, гл. IV, стр. 61.

30 Бисмарк противопоставляет здесь жителей наиболее передовых в экономическом отношении промышленных областей Германии жителям наиболее отсталых аграрных областей Австрии.

31 *Фритредер* (англ. free trade — «свободная торговля») — сторонник отмены всяких ограничений в торговых сношениях между государствами, сторонник невмешательства государства в экономическую жизнь.

32 Рехберг приписывал свое падение проискам гофрата фон-Бигелебена. Граф Менсдорф-Пуйи был назначен министром иностранных дел 27 октября 1864 г. по прямому ходатайству Рехберга; по желанию императора он должен был продолжать политику дружественного дуализма в духе Рехберга. Однако фактическое руководство немецкой политикой Австрии оказалось в руках гофрата фон-Бигелебена, так что Менсдорф был не в силах противиться дальнейшему ходу дел. 30 октября 1866 г. он получил отставку. *(Прим. нем. изд.)*

33 Шмерлинг вынужден был уйти в отставку 27 июля 1865 г.; его преемником был Белькреди.

34 Речь идет о статье 25 торгового и таможенного договора между Пруссией и Австрией от февраля 1853 г. Согласно этой статье, уполномоченные обоих государств должны были встретиться, чтобы договориться о полном таможенном объединении (с вхождением Австрии в Таможенный союз) или о дальнейших мероприятиях, которые должны были облегчить торговые сношения между обоими государствами.

35 *Шекспир,* Гамлет, акт V, сцена I; цитируется Бисмарком не вполне точно.

36 См. прим. 22 к гл. XII.

37 Война Пруссии и Австрии с Данией в 1864 г.

38 Подавление венгерской революции 1848—1849 гг. русскими войсками.

39 Восстание поляков в Кракове и в австрийской Галиции в 1846 г.

40 *Меттерних* (см. именной указатель) руководил австрийской политикой с 1809 по 1848 г. В особенности значительную роль он играл в период 1815—1848 гг., когда Австрия с исключительной последовательностью придерживалась в своей внешней политике принципа подавления прогрессивного и либерального движения во всей Европе.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1 *Мюнхен* — столица Баварии.

2 *Нимфенбург* — замок баварского короля.

3 *Кронпринц* — в данном случае наследник баварского королевского престола.

4 Намек на помешательство Людвига и на обстоятельства его смерти. В 1886 г. консилиум врачей признал его помешательство неизлечимым; через несколько дней после этого Людвиг утонул в озере во время прогулки в лодке вместе с сопровождавшим его врачом.

5 Письмо написано во время франко-прусской войны 1870—1871 гг.

6 Титул графа был пожалован Бисмарку в 1865 г., титул князя — в 1871 г.

7 13 июля 1874 г. в Киссингене подмастерье-бондарь, католик Кульман совершил покушение на жизнь Бисмарка. Он ранил его в руку.

8 *Киссинген* — курорт в Баварии.

9 По конституции Германской империи (16 апреля 1871 г.) наряду с общеимперской палатой депутатов *(рейхстагом)* существовала коллегия уполномоченных союзных германских государств — *Союзный совет* (Bundesrat), обладавший законодательной и исполнительной властью. Различные государства имели в нем неодинаковое количество голосов, в зависимости от своего удельного веса в империи. Бавария располагала шестью голосами в Союзном совете, занимая второе (после Пруссии) место.

10 По конституции Германской империи *канцлер* — единственный общеимперский министр, назначаемый императором; канцлер ответственен только перед ним. Первым канцлером империи был Бисмарк (с 1871 по 1890 г.).

11 Речь идет о событиях, связанных с восстаниями в Черногории, Болгарии и Сербии против турецкого владычества.

12 Свидание императоров Австрии и России 8 июля 1876 г. См. т. II, гл. XXVIII и примечания к ней.

13 Конституция Германской империи возлагала на канцлера обязанность контрассигнировать акты, исходящие от императора.

14 См. выше, прим. 9 и 10. Заседавшие в Союзном совете представители являлись уполномоченными монархов и их правительств.

15 Намек на Францию.

16 См. т. II, гл. XXVIII и примечания к ней.

17 *Нунций* — постоянный посол римского папы. В данном случае речь идет о папском нунции в Мюнхене, архиепископе Новокесарийском Мазелла. Он вел с Бисмарком переговоры о прекращении политики «культуркампфа» (см. прим. 25 к гл. II и т. II, гл. XXIV).

18 *Партия центра* — политическая партия в Германской империи; объединяла довольно разнородные в социальном отношении элементы на почве антипрусского партикуляризма и приверженности к католицизму. В годы «культуркампфа» находилась в резкой оппозиции к Бисмарку.

19 *«Его святейшество»* — титул римского папы.

20 См. прим. 17 к гл. XVI.

21 То есть до начала «культуркампфа».

22 Выборы в рейхстаг в 1878 г. происходили в обстановке сильного административного нажима. В результате выборов значительно выросло число мандатов крайней правой и уменьшилось число голосов, поданных за либерально-буржуазные партии. Так, консерваторы и свободные консерваторы получили 115 мандатов (вместо 78 в 1877 г.), национал-либералы—98 (вместо 127).

23 Конференция в Гейдельберге состоялась 5—8 августа 1878 г. *(Прим. нем. изд.)*

24 Здесь и ниже речь идет о борьбе Бисмарка за реформу системы налогового обложения в Германии в конце 70-х годов. Увеличением косвенного обложения, в частности обложения ввоза, Бисмарк рассчитывал дать в руки имперского правительства большие денежные суммы, освободив его от зависимости в этом отношении от взносов союзных государств.

25 *Национал-либералы* — политическая партия в Германской империи, представлявшая интересы крупной промышленной буржуазии; откололась в 1866 г. от прогрессистской партии. В своем большинстве национал-либеральная партия поддерживала Бисмарка в его планах финансовой реформы. Как правильно предсказывает здесь Бисмарк, раскол партии вскоре произошел. В 1880 г. часть ее членов во главе с Ласкером, не согласная с реформой Бисмарка, откололась и в дальнейшем вошла в «партию свободомыслящих».

26 Бисмарк намекает на попытку, предпринятую фон-Форкенбеком в 1879 г., сплотить оппозицию протекционистским планам Бисмарка под лозунгом создания союза немецких городов. 17 мая 1879 г. собрался съезд представителей 72 городов; однако его деятельность ограничилась принятием обращения к городскому населению страны.

27 *«Федератами»* в период Французской буржуазной революции конца XVIII века назывались вооруженные представители департаментов, прибывшие в Париж и сыгравшие большую роль при свержении монархии 10 августа 1792 г.

28 *Конвентом* называлось Национальное собрание времен Французской буржуазной революции, заседавшее с 1792 по 1795 г. Период Конвента до 1794 г. — период наивысшего подъема буржуазной революции.

29 Намек на договор 1879 г., см. т. II, гл. XXIX.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРВЫЙ ТОМ

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ